

О. Генри
Собрание сочинений в пяти томах
Том 1

Валентин Вербицкий Тайны О. Генри

1

Первая новелла под этим именем появилась в печати на грани двадцатого столетия и знаменовала собой вступление в американскую литературу писателя особого дарования. Слава его из года в год росла, и скоро уже столичные «толстые» журналы устраивали облаву на никому доселе не известного литератора, поначалу не принятого ими же всерьез. Это был своеобразный прорыв большой литературы в быт среднего класса США. Им зачитывались, о нем много писали, при этом оценки были самыми противоречивыми — от восхищения до полного неприятия. Споры эти не умолкли еще и поныне.

О. Генри поразил своих современников не только объемами таланта, сама фигура его вызывала странное ощущение прикосновения к тайне. Ажиотаж тем более разгорался, чем меньше могли «накопать» на него материала досужие репортеры, что само по себе не могло не вызвать рождения различного рода легенд как о литературной позиции писателя, так и о его личности, далеко, кстати, не заурядной.

Вот как описывает О. Генри один из его близких знакомых: «На крыльце приземистого деревянного бунгало, в котором помещалось американское консульство (рассказчик повествует о пребывании О. Генри в одном из центрально-американских государств), восседал внушительных размеров мужчина, преисполненный достоинства и облаченный в ослепительно белый костюм. У него была большая голова, благородно посаженная, покрытая шевелюрой цвета нового каната, и прямой взгляд серых глаз, которые глядели без малейшей искорки смеха».

Сразу заметим, что аристократическая внешность писателя всегда была средством самозащиты. С друзьями он становился другим человеком, а в те времена носил к тому же и другую фамилию. Звали его Уильям Сидни Портер, он родился в квакерском поселке Сентр-Коммюнити в штате Северная Каролина 11 сентября 1862 года и почти до двадцати лет прожил в городке Гринсборо, где его отец Олджернон Сидни Портер владел аптекой, а продавая ее, стал городским врачом. Мать — Мэри Джейн — происходила из квакерской семьи Суэймов и умерла от туберкулеза сразу после окончания гражданской войны, оставив трех мальчиков, один из которых также умер, не дожив и до года.

Мать Билла была одаренной женщиной, интересовалась музыкой, живописью и литературой, окончила женский колледж, рисовала, писала стихи, унаследовав литературные способности от своего отца, редактора городской газеты. Бабка — «матушка Портер» — была суровой, твердой в убеждениях типичной южанкой, хорошо знавшей фельдшерское и акушерское дело и до восьмидесяти пяти лет руководившая работами в огороде.

Таким образом, в жилах будущего писателя бродили как гены янки, так и южных «аристократов», а также, как выяснилось позже, Стюартов, английских парламентариев, аболиционистов, государственных деятелей, ученых и даже, по боковой линии, — В. Франклина.

Между тем отец Билли, начавший после смерти жены частенько заглядывать в бутылку, увлекся изобретением вечного двигателя, что, по его мнению, должно было облегчить труд негров на плантации, пока облегчал только свои карманы и стремительно сокращал практику, что заставило бабку и одну из теток юного Портера взять на свои плечи не только ведение

хозяйства, но и воспитание оставшихся фактическими сиротами детей.

В те времена в Гринсборо школ не было, и тетка Лина, имевшая диплом колледжа, сначала открыла учебный класс для своих племянников, а затем стала принимать в него всех желающих, что положительно отразилось и на семейном бюджете. В школе мисс Лины Уилл проучился девять лет, начав с пятилетнего возраста. В школьные годы Уилл совершил и первое путешествие «к океану», прекращенное на соседней станции из-за нехватки денежных средств. Были игры в индейцев и множество других детских развлечений. Но больше всего Билли читал, проглатывая все книги, попадавшие ему в библиотеке. Скотт, Диккенс, Теккерей, Бульвер-Литтон, Дюма, Гюго, Ч. Рид, Шпильгаген, Ауэрбах соседствовали с «Тысяча и одной ночью», «Анатомией меланхолии» Р. Бэртона, а объемистый Энциклопедический и толковый словарь Уэбстера стал его спутником на многие годы.

После теткинских «университетов» Портер еще полтора года занимался во вновь открытой городской школе, но детство кончилось, и уже в 1876 году Билл приступает к работе в аптеке своего дяди К. Портера — сначала учеником, а затем официально зарегистрированным фармацевтом. Но ему претила «нудная работа в аптеке», ставшая для него «сущей мукой», как он признался позже. К тому же у него появились признаки семейной болезни Портеров — туберкулеза. Поэтому, когда друг и «благодетель» доктор Холл пригласил Уилла в совместное путешествие в Техас, он с радостью согласился.

2

Техас периода конца девятнадцатого — начала двадцатого века был глухой провинцией, находящейся в полной власти так называемых земельных баронов, владевших огромными территориями. Война между ними, похищения скота, стычки с отрядами мексиканских десперато (отчаянных) были обычными явлениями в быте штата. И эта волнующая, опасная, неустойчивая атмосфера не могла не влиять на молодого человека.

Техасский период жизни Портера характерен тем, что у него прорезался «литературный зуб». Произошло это при писании писем, которые под его пером превращались в юморески. Разумеется, говорить о каком-то творчестве преждевременно, однако на отдельные места из его эпистолярных произведений обратили внимание друзья Уилла, один из которых, врач Бэлл, заочно рекомендовал Портера Литературному обществу города Лемуара в Северной Каролине.

Два года провел Портер на ранчо братьев Холлов. Полностью освоившись с ковбойской романтикой, а заодно и с игрой на гитаре, он читал Теннисона, Смоллетта, Шекспира, Гизо и Юма, занимался немецким, французским и испанским языками. «Главной» книгой оставался толковый словарь Уэбстера. К своим литературным занятиям он всерьез не относился, хотя и представил доктору Бэллу рассказ о скверном мальчишке, в котором не оставил камня на камне от легенды «наказанного порока», впервые сделав попытку приблизиться к будущему своему стилю. Постепенно однообразие скотоводческой жизни начало тяготить Уилла.

Весной 1884 года, воспользовавшись переездом Холлов в глубь штата, Портер перебрался в столицу Техаса Остин, где в семье переселенцев из Гринсборо Хэррелов прожил на правах почти что сына около трех лет.

Остин в то время не шел ни в какое сравнение с провинциальной родиной Билла. Десять тысяч жителей, развитая коммерция и «светская жизнь» не могли не привлечь молодого человека. Уилл работал в аптеке, потом клерком в фирме по продаже недвижимости. Ни одна, ни другая профессии ему не нравились, и он долго на них не задерживался. В то же время среди городской молодежи Билли был известен как участник любительских спектаклей местного музыкального общества, ставившего оперетты и даже оперы, а также как член вокально-инструментального квартета, выступавшего в церкви и под окнами известных красоток. Были у него и любовные увлечения, особенно сильное из них — Этол Эстес, девушкой далеко неординарной, с внешностью будущей героини рассказа «Дары волхвов».

Родители Этол — состоятельные обыватели, собственно, ничего серьезного против Портера не имели, не считая двух обстоятельств — необеспеченности Уилла и страшной наследственности двух семей — туберкулеза, а поэтому сочли за благо отослать дочь подальше от опасного претендента. Тогда Билли проявил характер: он выкрал свою возлюбленную и тайно обвенчался с ней. Родители Этол долго негодовали, но в конечном итоге примирились с произошедшим, тем более что симпатизировали своему зятю. Более того, Рочи (фамилия отчима Этол) стали впоследствии верными и стойкими его друзьями.

Но надо было искать источники существования, и Портер устраивается чертежником-составителем землемерных планов в земельном управлении штата. Потом О. Генри опишет нравы и порядки, царившие в учреждении, акулю хватку земельных магнатов в рассказах «Бексарское дело» и «Постановление Джорджии». Пока же работа ему нравилась, и он корпел вместе с другими чертежниками над картами и планами.

В это время Портер получает и свой первый гонорар в символическом размере 6 долларов от детройтской газеты «Детройт пресс» за посланные в нее юморески и приглашение редакции к сотрудничеству.

Ничто не предвещало беды, но первый свой удар судьба нанесла неожиданно: умер новорожденный мальчик. И хотя в 1889 году родился другой ребенок — девочка, названная Маргарет Уорз и занявшая огромное место в жизни Портера, ощущение непрочности бытия оставалось.

В 1891 году с уходом Ричарда Холла с поста комиссара по земельным делам окончилась и служба Портера в земельном управлении. Вынужденный искать работу, он принимает предложение друзей и занимает должность кассира в Остинском национальном банке, сделав шаг, который, как потом выяснилось, был роковым.

Новая работа Уилла была до тупости однообразна и чревата многими опасностями, о большинстве которых он и не подозревал. Дело в том, что Остинский национальный банк был довольно патриархальным учреждением. Управлялся он советом директоров, так сказать, отцами города, что позволяло им, когда это было нужно, запускать руку в денежный сейф, помещавший в себе значительные суммы. Брали, разумеется, взаимобразно, но при этом порой не только забывали об оформлении расписки, но просто ограничивались короткой записочкой. Все это возмущало Портера, но сделать он ничего не мог.

Утешение он находил в семье и литературной работе, для которой он даже устроил себе кабинет в сарае. Уилл подумывал о том, чтобы всерьез заняться литературой, журналистикой и книжной графикой. Под влиянием этих настроений он покупает прогоревшую городскую газету вместе с типографским оборудованием и с 1894 года становится во главе крошечной редакции иллюстрированного восьмиполосного еженедельника «Роллинг стоун».

Поначалу газета пошла хорошо, осилив тираж в тысячу экземпляров, и Портер решил выйти на тираж шесть тысяч и раздать его бесплатно, чем рассчитывал привлечь к изданию рекламодателей.

«Роллинг стоун» была юмористической газетой, освещавшей в этом ракурсе местную жизнь, и, за малым исключением, заполнялась текстами и рисунками самого редактора, а интересна тем, что содержит несколько рассказов О. Генри, включенных затем в собрание его сочинений.

Однако — чем дальше, тем больше — газета требовала денежных вложений, которые ее редактор и владелец должен был вносить. Денег у издателя не было.

На горизонте же сгущались тучи. Очередная ревизия в банке обнаружила множество неправильностей в отчетности, на основании чего окружной прокурор возбудил судебное дело против У.-С. Портера. Переполошенные олигархи покрыли недостачу, и дело было прекращено, однако Портер должен был покинуть банк, полностью уйдя в дела своей газеты, что, впрочем, ее не спасло — в апреле 1895 года вышел ее последний номер.

Как говорят в народе, беда не приходит одна. По требованию Вашингтона закрытое дело о растрате в Остинском банке было снова поднято из архивов, и Портера привлекли к уголовной ответственности.

Он уже несколько месяцев не работал. Судорожные попытки хотя как-то поправить тяжелое положение семьи, существовавшей на средства Рочей, ни к чему не приводили — его не печатали. Только в октябре 1895 года возник просвет — по ходатайству друзей он был приглашен в штат «Хьюстон пост» для ведения юмористического раздела. Первая его колонка появилась в газете под заглавием «Городские истории».

Очень скоро обязанности Портера в «Хьюстонской почте» расширились: он вел раздел «Постскриптумы» и светскую хронику, где ему на помощь приходила Этол, ибо муж ее имел манеру изображать светскую жизнь несколько «набекрень». Портер делал карикатуры с подписями, похожие на современные комиксы рассказы в картинках, писал стихи, очерки и рассказы. А современные исследователи творчества писателя нашли еще 28 рассказов, 7 очерков и фельетонов и 10 стихотворений, подписанных псевдонимом и явно принадлежащих О. Генри.

Вся эта бурная и практически кажущаяся невозможной литературная и журналистская деятельность будущего писателя была всего лишь подступом к новеллистическому исследованию мира, но с особенностями его стиля и метода. Уже в «Субботнем вечере Симмонса» и «Беспутном ювелире» появляются на свет непредвиденные развязки, уже сверкает внутренним обаянием «сюжетная фраза», закругляющая повествование, как из рога изобилия изливаются комические бурлески, а «крававые» эпизоды, как в «Вилле Веритон», не что иное, как насмешки над представлением янки о Юге — тема, которая всегда волновала О. Генри, хотя писатель никогда не доходил до квасного патриотизма, о чем и свидетельствует пародия «Легенда Сан-Хасинто».

Иногда О. Генри рассказывает немудрящие анекдоты, фантазирует на тему о жадных домовладельцах, пробует себя в драматическом жанре, превращающемся у него в мелодраму, и постоянно старается создать острый сюжет с характерным типом.

Именно в «Хьюстон пост» проявляются основные черты О. Генри-новеллиста, которые он будет использовать в разных связях и стилевых особенностях в своем творчестве.

В материалах, напечатанных в газете, О. Генри выдвигает и свою философскую доктрину. Она проста и особенно ярко просвечивает в монологе «Репортера Почты», предшествующем «Ночи заблуждений», и заключается в формуле: «Жизнь — не трагедия и не комедия. В ней смешалось и то и другое».

Казалось бы, постулат, более пригодный для экзистенциалистских экзерциций. Но это только кажущееся сходство.

«Мы — марионетки, — продолжает писатель, — пляшем и плачем обычно не по собственной своей воле, а к концу спектакля, когда гаснут сверкающие огни рамп, мы укладываемся на отдых в деревянные ящики, и опускается темная ночь, покрывая своей мглой арену краткого нашего триумфа».

Жутковатая сентенция, не правда ли? Но это еще не все. Хорошее есть в каждом из нас, утверждает О. Генри, в каждом из нас есть не одно лишь хорошее, но все мы — хорошие и плохие — слеплены из одной глины. А руки судьбы дергают за веревочки, и мы танцуем и делаем пируэты, и одни поднимаются вверх, а другие летят вниз.

«И где же мы оказываемся?» — спрашиваем мы у писателя и получаем ошеломляющий ответ — на самом краю непознаваемой вечности. «Все мы вышли из одного корня. Король и каменщик равны между собой... королева и коровница... усядутся рядышком на обрывистом краю судьбы, и кто же окажется сильнее и выше, когда судья начнет разбирать дела своих марионеток?»

Марионетки, судьба... Эти два критерия будут преследовать О. Генри во всей его жизни и прямо отразятся на его творчестве.

При всей демократичности своей позиции, при всем драматизме человеческого существования вообще О. Генри не может удержаться от легкой иронии в его адрес. Маски при этом он предпочитает не снимать.

Впрочем, своей маски он тоже не снял, когда оказался снова под следствием по делу о пресловутой банковской растрате.

История с растратой в (Эстонском банке до сих пор покрыта мраком. И тогда, и тем более впоследствии трудно было установить истину, хотя сам Портер решительно отрицал свою виновность. Тем не менее, видимо не надеясь добиться оправдательного приговора, он с занятыми у редактора «Хьюстон пост» 260 долларами и золотыми часами Этол оказывается в Новом Орлеане, где работает под чужим именем в нескольких газетах, а затем перебирается в Гондурас, знакомится с братьями Дженнингсами (своими будущими сокамерниками), посещает, по их словам, Мексику, Перу, а в январе 1897 года возвращается в Остин, попросив у Роча 25 долларов на дорогу. Непосредственной причиной возвращения стало полученное Портером известие об обострении болезни жены, уже длительное время страдавшей от туберкулеза. До суда он оставался на свободе, ухаживая за умирающей женой. Через полгода наступила страшная развязка — Этол скончалась.

По-видимому стремясь избавиться от одолевавших его мрачных мыслей, Портер теперь проводил время между пришедшей в отчаяние дочерью и литературными трудами. Жил затворником. И даже пришедший из национального синдиката «Макклюр и компания» восторженный отзыв о рассказе «Чудо в ущелье» не в силах был что-либо изменить в его душевном состоянии. Впоследствии О. Генри переработал эту новеллу и включил ее в сборник «Сердце Запада».

Суд присяжных состоялся в феврале 1898 года, длился три дня и закончился заключением Портера в тюрьму штата Огайо в Колумбусе сроком на пять лет. Приговор был воспринят им внешне равнодушно. В свое оправдание он не сказал ни единого слова. Душевные муки, которые он переживал после смерти Этол, были сильнее судебного крючкотворства.

О жестоких бесчеловечных порядках, царивших в каторжных тюрьмах США, в том числе и в той, в которую водворили Уильяма Портера, много написано давним его знакомым Элом Дженнингсом, угодившим в то же лоно человеческих мук позже Портера за очередную попытку грабежа банка. На Уильяма тюрьма в Колумбусе произвела настолько страшное впечатление, что он не раз задумывался о добровольном уходе из жизни. Спасли его два обстоятельства — старая профессия аптекаря, открывшая путь в тюремную элиту, и литературное творчество.

В тюрьме им написано четырнадцать рассказов, из которых опубликованы были только три. Вся переписка с редакциями велась через третьи руки, а все гонорары предназначались для любимой дочери Маргарет, от которой тщательно скрывали истинное положение отца.

Странно, но факт, именно тюремное заключение сделало из Портера О. Генри, создававшего в безнадежной глубине вонючих камер свой особый мир своими, присущими только ему средствами. «Санаторий на ранчо», «Без вымысла», «Сделка», «Туман в Сан-Антонио», две новеллы, вошедшие потом в роман «Короли и капуста», «Постановление Джорджии», «Рождественский чулок Дика Свистуна», «Возрождение Каллиопы», «Возрождение Шарльруа», «Прозрение слепого»... Все эти и другие новеллы резко отличаются от рассказов, написанных ранее, хотя и в них литературным фоном служил Юг США, а многие из них сделаны также в мелодраматическом тоне. Несомненно, что для О. Генри «инкубационный» период закончился. Мастер вышел на свою дорогу.

24 июля 1901 года Уильям Сидни Портер был досрочно освобожден из тюрьмы «за хорошее поведение» и, отдав причитающиеся ему 5 долларов арестантам, немедленно уехал в Питтсбург, к Маргарет.

Он не любил Питтсбурга, называя его, может быть, и несколько несправедливо, наигнуснейшей дырой на всем земном шаре, а жителей его злобным быдлом, по сравнению с которым обитатели Колумбуса — истинные рыцари без страха и упрека. Но надо было как-то устраиваться и налаживать жизнь, хотя бы ради Маргарет, повзрослевшей и очень похожей на него не только внешне, но и характером. Он поселился в маленькой гостинице и начал подрабатывать в местной газетенке «Диспатч», засыпав одновременно нью-йоркские журналы своими рассказами. Подписывались они различными псевдонимами — Сидни Портер, О. (Оливье) Генри и другими.

Еще в 1901 году «Энслис» опубликовал «Денежную лихорадку». Теперь в нем появились новые рассказы: «Исчезновение Черного Орла», «Друзья в Сан-Розарио», «Cherchez la femme».

Сразу поняв, что они имеют дело с новым дарованием, сотрудники редакции пригласили Портера посетить Нью-Йорк и даже выслали ему по его требованию деньги на дорогу, которые куда-то бесследно исчезли. Журналистам пришлось раскошелиться еще раз, и по истечении некоторого времени произошла встреча с будущей знаменитостью.

В Нью-Йорке Портер пишет сразу для нескольких газет, получает лестное предложение от крупнейшего издания США «Санди уорлд», оставаясь в то же время малоизвестным и умеренно оплачиваемым автором. И лишь в конце 1903 года «Санди уорлд» заключает с ним контракт на пятьдесят два рассказа в год с еженедельной публикацией и оплатой по сто долларов за новеллу. Начинается период потогонной работы и возрастающей известности писателя. Вслед за «Санди уорлд» охоту на него начинают крупнейшие издательства. Вместе со славой растут и гонорары. Тиражи его произведений впечатляют. Портер инсценирует новеллу «Пригодился», работает над подготовкой сборников, первым из которых стал авантюрный роман «Короли и капуста», а потом, еще при жизни автора, вышли «Четыре миллиона» (1906), «Горящий светильник» (1908), «Милый жулик» (1908), «Дороги судьбы» (1909), «На выбор» (1909), «Деловые люди» (1909). Появляется и постоянный псевдоним «О. Генри», ставший известным не только в Америке.

Нью-Йорк поразил писателя, он сразу и бесповоротно влюбился в город. Подолгу бродил по его улицам и скверам, заглядывал в полюбившиеся ресторанчики и кафе, много пил, несколько раз менял места жительства, пока не остановился в меблированных комнатах «Каледонии». И упорно писал.

Работать он начинал с утра, вооружившись остро отточенным карандашом, которым он писал почти без помарок и зачеркиваний каллиграфическим почерком свой очередной рассказ, бросая исписанные листы желтой бумаги на стоявший рядом стул или в руки одного из посыльных какого-нибудь журнала, томящегося в тягостном ожидании тут же в комнате. Сюжет был уже детально продуман, и он останавливался только для выбора нужного слова.

К вечеру подходило время для выполнения контракта с «Санди уорлд». Как правило, рассказ заканчивался к середине ночи.

Собственно, именно в нью-йоркский период, в эти восемь лет им и были написаны все основные произведения, принесшие ему славу и любовь поклонников. И мало кто подозревал, что этот респектабельный, похожий на англичанина дэнди, одаривающий без оглядки всех, кто обращался к нему за помощью, даже не пересчитав содержимое карманов, был снедаем настоящим страхом «разоблачения», что вместе с природной застенчивостью определяло замкнутый образ его жизни. И только, подобно своим героям, сбегав из ограниченного пространства квартиры в «клубы бедняков», он находил там успокоение. И лишь однажды, по-видимому измученный вконец неотвязными воспоминаниями, послал он одному из немногих своих друзей, Роберту Дэвису, странное письмо, заключавшееся всего в двух строках — «Сидни Портер» и «О. Генри — его маска».

Эту маску О. Генри не снимал всю свою жизнь и даже не подозревал, что некоторые близкие ему люди были посвящены в его тайну, только не подавали виду, что знают ее.

Давящее одиночество толкало О. Генри на недолгие связи с «доступными» женщинами и знакомства с эмансипированными интеллигентками. Он даже изобрел наиболее простой для

себя способ знакомств — через переписку, и одна из его корреспонденток, Сара Коулмен, которую он знал еще в Гринсборо девочкой, в 1907 году стала его второй женой.

Брак не был удачным — О. Генри не любил по-настоящему свою избранницу, как, впрочем, не смог бы любить любую другую, оставшись на всю жизнь верным памяти Этол.

Были и еще причины, отдалявшие супругов. В первую очередь холостяцкие привычки писателя, с которыми он ни за что не хотел расставаться, хотя они вели к падению его работоспособности, а стало быть, уменьшению доходов. Но самое страшное заключалось в состоянии здоровья О. Генри — у него начинался цирроз печени, который он упорно называл «неврастенией» и старался поддерживать привычный образ жизни.

Так это длилось до 3 июня 1910 года, когда вечером он позвонил своей знакомой Энн Партлан, жившей неподалеку, и сказал, что ему плохо. Приехав к О. Генри, Энн нашла его без сознания. Писателя отвезли в ближайшую лечебницу, куда его поместили под именем У.-С. Паркера, и лишь через три дня после его смерти врачи узнали, кто это был на самом деле.

«Зажгите свет, я не хочу идти домой в темноте», — произнес умирающий. Это были почти последние его слова.

Приехали Маргарет и Сара. На панихиде, проходившей почти одновременно с чьим-то венчанием, было много писателей и другой публики, пришедшей на свадьбу.

Похоронили О. Генри в Эшвилле, на гранитной плите выбили надпись: «Уильям Сидни Портер. 1862–1910», сняв таким образом с него маску, за которой он постоянно укрывался.

В номере гостиницы, где он умер, под кроватью нашли девять бутылок из-под виски, на столе — рассказ «Сон», оборванный на полупhrазе, а в кармане пиджака — все его деньги — 23 цента.

5

За свою творческую жизнь О. Генри написал 289 новелл и один роман. Лучшие рассказы вошли в его сборники. Вместе с тем отношение к нему американской критики было неоднозначным и резко менялось со временем. Дело в том, что, несмотря на тяжесть проблем, затрагиваемых в его сочинениях, О. Генри никогда не был «социальным» писателем, как, например, Джек Лондон или Теодор Драйзер. И вообще, попытки как-то «классифицировать» его всегда терпели неизбежный провал. Он не вмещался в прокрустово ложе теоретиков от литературы, старался держаться подальше от них и не вступать в научные баталии, хотя все его писательское кредо не что иное, как практическое утверждение выработанных им эстетических идеалов, и абсолютное большинство его новелл построено по одной и той же схеме, что хорошо видно на примере наиболее известных из них — таких, как «Дары волхвов».

Герои новеллы — простые, любящие молодые люди, ведущие полуголодное существование в квартире за 8 долларов, во имя любви жертвующие самым дорогим, что имеет каждый из них: Делла — своими роскошными волосами, а Джим — часами. Ситуация сама по себе тяжелая. Но у О. Генри заготовлен своеобразный «сюрприз», существующий как бы вне сюжета и срабатывающий, как *deix in machina*, в нужное время и в нужном месте. В качестве подарков Джим приобретает гребень для уже остриженных волос своей возлюбленной, а она — цепочку для проданных Джимом часов. И трагедия превращается в трагикомедию, драма озаряется доброй улыбкой.

Нет, автор не хочет рассмешить читателя, в чем, кстати, его постоянно упрекали, он просто смотрит на жизнь со своей, оптимистической точки зрения, утверждая парадоксальное: и в глухих дебрях погрязшего в денежной дистрофии общества есть место для любви и радости.

Отсюда покровительственное добродушие по отношению к героям, которым пронизаны все произведения писателя.

По сути своей О. Генри был романтиком, чуждым всякого рода типизации, четко различавшим понятия «тип» и «личность».

«Я задумал написать историю человека, — говорит он в одном письме, — личности, а не типа, но человека, который в то же время должен представлять по моему замыслу тип человеческой природы, если бы такое существо было возможно».

Отсюда следует, что для О. Генри личность — живая материя во всем своем многообразии, в то время как тип — нечто механистическое, надуманное, единичное, но тем не менее имеющее право на существование в определенных условиях и с установленной целью.

Эта попытка соединить несоединимое — тип и личность — неизбежно приводит к появлению в произведениях О. Генри автора как равноправного действующего лица, наделенного диктаторскими полномочиями. О чем бы ни повествовалось в рассказе, мы всегда чувствуем его присутствие, его твердую руку, легкую усмешку, ощущаем волю чародея, заставляющего своих персонажей, как марионеток, исполнять предназначенные для них роли, вовлекая одновременно в идущее на сцене действие нас самих. При этом поступки его героев парадоксально непредсказуемы и вытекают не из их психологии, а только из замысла автора.

Но читатель не замечает этого. Иллюзия действительности, созданная О. Генри, настолько велика, что полностью захватывает публику, делая ее соучастницей происходящего и добровольно принимающей условия игры.

В чем же фокус?

Очевидно, в реалистическом оформлении спектакля, в создании достоверного «задника», точно выписанного быта американской жизни, поданного поэтическими средствами с примесью легкой иронии. И эта театральность, откровенная условность совершающегося, сказочная смешанность личностей, типов и событий возводит творчество писателя на уровень мифа.

Возникает «Америка О. Генри» и рядом «страна О. Генри» — понятия совершенно неоднозначные, но тем не менее связанные друг с другом.

В его империи существовали свои законы: судьба — изменчивая, непознаваемая; случай, имеющий двуликое начало, но постоянно связанный у писателя с добрыми человеческими делами и отношениями; любовный пуританизм и антипсихологизм, то есть склонность переводить психологию на язык действий.

О. Генри жил в стране, именуемой Америкой, и характер ее неизбежно должен был отразиться в его творчестве. Так оно и случилось. Ничтожные и самовлюбленные, мизерные по размерам социальной среды снобы находят у него уничижительную характеристику. А еще в стране О. Генри существовала особая склонность ко всякого рода иллюзиям, прямо, несмотря на насмешки, противопоставляемая «деловитости» американцев, их погоне за собственным образом жизни.

Страна О. Генри существовала для всех, в том числе и отпетых грешников, всегда находивших приют у снисходительного хозяина. Он знал цену человеческим страданиям и на себе испытал трагизм борьбы добра со злом, принимающим в мире библейские масштабы.

Настоящим цементом «страны» были ирония и юмор, прочно спрессованные с природой таланта писателя. И хотя фабула новелл не всегда юмористична, самый стиль письма и его логика делают происходящее не только легко воспринимаемым, но и по-настоящему смешным даже, казалось бы, в самых трагических обстоятельствах (стоит только вспомнить самую веселую новеллу — «Вождь краснокожих»).

Вообще, юмор О. Генри никак не связан с социологией или психологией, он существует сам по себе и зависит от ситуаций. Это юмор положений, так близкий Ч. Чаплину, с которым иногда сравнивали литератора.

Однако созданная О. Генри страна постепенно раскочивалась, начала давать сбои и просто стала тесной для его таланта, искавшего сюжетной раскованности, ухода от им же созданных законов фабульной истории.

Он наслаждался языковыми эффектами. Началось это давно, наверное, с юности, когда он везде таскал за собой толковый словарь, и не покидало всю жизнь, благодаря чему О. Генри стал настоящим классиком английского языка. Как он мог одной фразой обозначить

человеческий облик, одним намеком создать характер! Он умел вывернуть слово так, что оно приобретало другой смысл.

«Беседовать с ним было все равно что слушать, как капает вода в медный таз, стоящий у изголовья кровати, когда хочется спать» («Среди текста»).

«Я был одинок, как коза Робинзона Крузо» («Как скрывался Черный Билл»).

«Когда Джекоб впервые начал соотносить размеры между игольным ушком и верблюдами, разгуливающими в зоологическом саду, он решил вступить на путь организованной благотворительности» («Новая сказка из тысячи и одной ночи»).

«Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик» («Вождь краснокожих»).

Эти афоризмы выбраны наугад из книг О. Генри и сами по себе являются языковыми совершенствами.

Впрочем, именно поэтому О. Генри не везло с переводчиками, в том числе и с русскими.

6

В России О. Генри открыли в 1915 году, причем почему-то считалось, что это талант «джек-лондоновского» направления. Бум «О. Генрианы» начался с издания в 1923 году сборника «Американские рассказы». В этом же году вышло пять книг, в следующем — пятнадцать, в 1926-м — двадцать. В 1954 году Гослитиздат выпускает двухтомник его избранных произведений в очень хороших переводах, далеко превзошедших переводы 20-х годов, которые, кроме разве К. Чуковского, создали «совсем иной», как пишет одна из исследователей творчества О. Генри, образ писателя.

В советской критике по отношению к О. Генри наметились два направления — восторженно-притягательное и ожесточенно-отрицательное. Полностью не принимали О. Генри как художника В. Фриче и Я. Фрид. При этом советская критика в общем совпадала с левыми в США, обливавшими в то время О. Генри грязью. Но в 1925 году выходит очень интересное и глубокое исследование об О. Генри Б. М. Эйхенбаума, которое печатается в Собрании сочинений О. Генри в 1926 году и вызывает неожиданно резкий окрик М. Горького. На протяжении последующих почти четырех лет Горький несколько раз возвращается к творчеству О. Генри, называя его писателем ловким, но не очень талантливым. Затем оценка усиливается — «талантливый шут, но пошлый». Ненависть пролетарского писателя к О. Генри была столь велика, что он даже собирался написать о нем статью специально для американцев. Слава богу, до такого срама русская литература не дошла.

Впрочем, и в самой Америке в эти бурные годы Драйзер высказался об О. Генри вполне в духе Горького.

Однако были у писателя в России и сторонники, среди них С. Вольский, М. Шагинян, А. В. Луначарский, К. И. Чуковский.

В наши дни об О. Генри написано также немало разного рода статей и исследований, среди которых выделяется несомненно талантливая работа И. Левидовой (1973 г.) «О. Генри и его новелла».

...Летят годы, меняется мир, вместе с ним изменяются и люди, но неизменным остается интерес человека к истории, культуре, жизни предшественников, создателям великих художественных произведений, среди которых незатухающей звездой светится имя О. Генри — большого писателя и гуманиста, верившего в светлое будущее человечества.

Короли и капуста

От переводчика

Морж и Плотник гуляли по берегу. У берега они увидели устриц. Им захотелось полакомиться, но устрицы зарылись в песок и глубоко сидели в воде. Морж, чтобы выманить их из засады, предложил им пойти прогуляться,

— Приятная прогулка! Приятный разговор! — соблазнял он простодушных устриц.

Те поверили и побежали за ним, как цыплята.

— Давайте же начнем! — сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. — Пришло время потолковать о многих вещах: о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях.

Но, несмотря на такую большую программу, рассказ Моржа оказался очень коротким: скоро слушатели все до одного были съедены.

Эту печальную балладу знают решительно все англичане, так как она напечатана в их любимейшей детской книге «Сквозь зеркало», которую они читают с раннего детства до старости. Сочинил ее Льюиз Керрол, автор «Алисы в волшебной стране». Книга «Сквозь зеркало» есть продолжение «Алисы».

Повторяем: Морж ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях, ни о сургучных печатях, ни о королях, ни о капусте. Вместо него сделал это О. Генри. Он так и озаглавил эту книгу — «Короли и капуста» и принял все меры к тому, чтобы «выполнить обещания» Моржа. В ней есть глава «Корабли», есть глава «Башмаки», в ней уже, во второй главе, фигурирует сургуч, и если чего в ней нет, так только королей и капусты. Не потому ли именно эти слова поставлены в заглавии книги? Но автор утешает нас тем, что вместо королей у него президенты, а вместо капусты — пальмы.

Сам же он — Плотник, меланхолический спутник Моржа, и свою присказку ведет от лица Плотника.

Присказка плотника

Вам скажут в Анчурии, что глава этой утлой республики, президент Мирафлорес, погиб от своей собственной руки в прибрежном городишке Коралио; что именно сюда он убежал, спасаясь от невзгод революции, и что казенные деньги, сто тысяч долларов, которые увез он с собой в кожаном американском саквояже на память о бурной эпохе своего президентства, так и не были найдены во веки веков.

За один реал любой мальчишка покажет вам могилу президента. Эта могила — на окраине города, у небольшого мостика над болотом, заросшим мангровыми деревьями. На могиле, в головах, простая деревянная колода. На ней кто-то выжег каленым железом:

Рамон Анхель де лас Крусес
и Мирафлорес
Президенте де ла Република
Де Анчуриа
Да будет ему судьбою господь!

В надписи сказался характер этих легких духом и незлобивых людей: они не преследуют того, кто в могиле. «Да будет ему судьбою Господь!» Даже потеряв сто тысяч долларов, о которых они всё еще продолжают вздыхать, они не питают вражды к похитителю.

Незнакомцу или заезжему человеку жители Коралио расскажут о трагической кончине своего бывшего президента. Они расскажут, как он пытался убежать из их республики с казенными деньгами и донной Изабеллой Гилберт, молодой американской певичкой; как, пойманный в Коралио членами оппозиционной политической партии, он предпочел застрелиться, лишь бы не расстаться с деньгами и сеньоритою Гилберт. Дальше они расскажут, как донна Изабелла, почувствовав, что ее предприимчивый челнок на мели, что ей не вернуть ни знатного любовника, ни сувенира в сто тысяч, бросила якорь в этих стоячих

прибрежных водах, ожидая нового прилива.

Еще вам расскажут в Коралио, что скоро ее подхватило благоприятное и быстрое течение в лице американца Франка Гудвина, давнего жителя этого города, негоцианта, создавшего себе состояние на экспорте местных товаров. Это был банановый король, каучуковый принц, герцог кубовой краски и красного дерева, барон тропических лекарственных трав. Вам расскажут, что сеньорита Гилберт вышла замуж за сеньора Гудвина через месяц после смерти президента и, таким образом, в тот самый момент, когда Фортуна перестала улыбаться, отвоевала у нее, вместо отнятых этой богиней даров, новые, еще более ценные.

Об американце Франке Гудвине и его жене здешние жители могут сказать только хорошее. Дон Франк жил среди них много лет и добился большого почета. Его жена стала — без всяких усилий — царицей великосветского общества, поскольку таковое имеется на этих непритязательных берегах. Сама губернаторша, происходящая из гордой кастильской фамилии Монтелеон-и-Долороса-де-лос-Сантос-и-Мендес, и та считает за честь развернуть салфетку своей оливковой ручкой, украшенной кольцами, за столом у сеньоры Гудвин. Если в вас еще живут суеверия Севера и вы попытаете намекнуть на то недавнее прошлое, когда миссис Гудвин была опереточной дивой и своей бестрепетно бойкой манерой увлекла немолодого президента, если вы заговорите о той роли, которую она сыграла в прегрешениях и гибели этого сановника, — жители Коралио, как истые латиняне, только пожмут плечами, и это будет их единственный ответ. Если у них и существует предвзятое мнение в отношении сеньоры Гудвин, это мнение целиком в ее пользу, каково бы оно ни было в прошлом.

Казалось бы, здесь не начало, а конец моей повести. Трагедия кончена. Романтическая история дошла до своего апогея, и больше уже не о чем рассказывать. Но читателю, который еще не насытил своего любопытства, покажется, пожалуй, поучительным всмотреться поближе в те нити, которые являются основой замысловатой ткани всего происшедшего.

Колоду, на которой начертано имя президента Мирафлореса, ежедневно трут песком и корою мыльного дерева. Старик метис преданно ухаживает за этой могилой со всею тщательностью прирожденного лодыря. Широким испанским ножом он выпалывает сорные растения и пышную, сочную траву. Своими загрубелыми пальцами он выковыривает муравьев, скорпионов, жуков; ежедневно он ходит за водою на площадь к городскому фонтану, чтобы окропить дерн на могиле. Нигде во всем городе ни за одной могилой не ухаживают так, как за этой.

Только высмотрев тайные нити, вы уясните себе, почему этот старый индеец Гальвес получает по секрету жалованье за свою нехитрую работу, и почему это жалованье платит Гальвесу такая особа, которая и в глаза не видала президента, ни живого, ни мертвого, и почему, чуть наступают сумерки, эта особа так часто приходит сюда и бросает издали печальные и нежные взгляды на бесславную насыпь.

О стремительной карьере Изабеллы Гилберт вы можете узнать не в Коралио, а где-нибудь на стороне. Новый Орлеан дал ей жизнь и ту смешанную испано-французскую кровь, которая внесла в ее душу столько огня и тревоги. Образования она почти не получила, но выучилась каким-то инстинктом оценивать мужчин и те пружины, которые управляют их действиями. Необыкновенная страсть к приключениям, к опасностям и наслаждениям жизни была свойственна ей в большей мере, чем обычным, заурядным женщинам. Ее душа могла порвать любые цепи; она был Евой, уже отведавшей запретного плода, но еще не ощутившей его горечи. Она несла свою жизнь, как розу у себя на груди.

Из всех бесчисленных мужчин, которые толпились у ее ног, она, говорят, снизошла лишь к одному. Президенту Мирафлоресу, блестящему, но беспокойному правителю Анчурийской республики, отдала она ключ от своего гордого сердца. Как же это так могло случиться, что она, если верить туземцам, стала супругой Франка Гудвина и зажила без всякого дела дремотною, тусклою жизнью?

Далеко простираются тайные нити — через море, к иным берегам. Если мы последуем за ними, мы узнаем, почему сыщик О'Дэй, по прозвищу Коротыш, служивший в Колумбийском агентстве, потерял свое место. А чтобы время прошло веселее, мы сочтем

своим долгом и приятной забавой прогуляться вместе с Момусом ¹ под звездами тропиков, где некогда, печально суровая, гордо выступала Мельпомена.²

Смеяться так, чтобы проснулось эхо в этих роскошных джунглях и хмурых утесах, где прежде слышались крики людей, на которых нападают пираты, отшвырнуть от себя копье и тесак и кинуться на арену, вооружившись насмешкой и радостью; из заржавленного шлема романтической сказки извлекать благодатную улыбку веселья — сладостно заниматься такими делами под сенью лимонных деревьев, на этом морском берегу, похожем на губы, которые вот-вот засмеются.

Ибо живы еще предания о прославленных «Испанских морях». Этот кусок земли, омываемый бушующим Карибским морем и выславший навстречу ему свои страшные тропические джунгли, над которыми высится заносчивый хребет Кордильер, и теперь еще полон тайн и романтики. В былые годы повстанцы и флибустьеры будили отклики среди этих скал, на побережье, работая мечами и кремневыми ружьями в зеленых прохладах и снабжая обильной пищей вечно кружащихся над ними кондоров. Эти триста миль береговой полосы, столь знаменитой в истории, так часто переходили из рук в руки, то к морским бродягам, то к неожиданно восставшим мятежникам, что едва ли они знали хоть раз за все эти сотни лет, кого называть своим законным владыкой. Пизарро, Бальбоа, сэр Френсис Дрейк и Боливар³ сделали все, что могли, чтобы приобщить их к христианскому миру. Сэр Джон Морган, Лафит⁴ и другие знаменитые хвастуны и громилы терзали их и засыпали их ядрами во имя сатаны Аваддона.

То же происходит и сейчас. Правда, пушки бродяг замолчали, но разбойник-фотограф (специалист по увеличению портретов), но щелкающий кодаком турист и передовые отряды благовоспитанной шайки факиров вновь открыли эту страну и продолжают ту же работу. Торгаши из Германии, Сицилии, Франции выуживают отсюда монету и набивают ею свои кошельки. Знатные проходимцы толпятся в прихожих здешних повелителей с проектами железных дорог и концессий. Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, покуда в один прекрасный день в их водах не появляется молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек! И вслед за другими приходит веселый человек, искатель счастья, с пустыми карманами, которые он жаждет наполнить, пронырливый, смысленный делец — современный сказочный принц, несущий с собою будильник, который лучше всяких поцелуев разбудит эти прекрасные тропики от тысячелетнего сна. Обычно он привозит с собою трилистник⁵ и кичливо водружает его рядом с экзотическими пальмами. Он-то и выгнал из этих мест Мельпомену и заставил Комедию плясать при свете рампы Южного Креста.

Так что, видите, нам есть о чем рассказать. Пожалуй, неразборчивому уху Моржа эта повесть полюбится больше всего, потому что в ней и вправду есть и корабли, и башмаки, и сургуч, и капустные пальмы, и (взамен королей) президенты.

¹ Момус — шут богов, бог насмешки.

² Мельпомена — муза трагедии.

³ Франсиско Пизарро (1475–1517) — испанец, завоеватель Перу; Бальбоа (1475–1571) — испанец, один из первых исследователей, добравшихся до Тихого океана; сэр Фрэнсис Дрейк (1540–1596) — англичанин, мореплаватель и колонизатор; Боливар (1783–1830) — виднейший борец за независимость испанских колоний в Центральной и Южной Америке.

⁴ Дж. Морган (1635–1688) — английский пират и завоеватель; Лафит (1780–1825) — французский корсар и путешественник

⁵ Трилистник — национальное растение Ирландии, ее эмблема и герб.

Прибавьте к этому шепотку любви и заговоров, посыпьте это горстью тропических долларов, согретых не только пылающим солнцем, но и жаркими ладонями искателей счастья, и вам покажется, что перед вами сама жизнь — столь многословная, что и болтливейший из Моржей утомится.

I. «Лиса-на-рассвете»

Коралио нежился в полуденном зное, как томная красавица в сурово хранимом гареме. Город лежал у самого моря на полоске наносной земли. Он казался бриллиантом, вкрапленным в ярко-зеленую ленту. Позади, как бы даже нависая над ним, вставала — совсем близко — стена Кордильер. Впереди расстилалось море, улыбающийся тюремщик, еще более неподкупный, чем хмурые горы. Волны шелестели вдоль гладкого берега, попугаи кричали в апельсиновых деревьях и сейбах, пальмы склоняли свои гибкие кроны, как неуклюжий кордебалет перед самым выходом прима-балерины.

Внезапно город закипел и взволновался. Мальчишка-туземец пробежал по заросшей травой улице, крича во все горло: «Busca el Senor Гудвин! Ha venido un telegrafo por el!» *{Разыщите сеньора Гудвина! Для него получена телеграмма! (исп.)}*

Весь город услышал этот крик. Телеграммы не часто приходят в Коралио. Десятки голосов с готовностью подхватили воззвание мальчишки. Главная улица, параллельная берегу, быстро переполнилась народом. Каждый предлагал свои услуги по доставке этой телеграммы. Женщины с самыми разноцветными лицами, начиная от светло-оливковых и кончая темно-коричневыми, кучками собрались на углах и запели мелодично и жалобно: «Un telegrafo por Senor Гудвин!» Comandante дон сеньор Эль Коронель Энкарнасион Риос, который был сторонником правящей партии и подозревал, что Гудвин на стороне оппозиции, с присвистом воскликнул: «Эге!» — и записал в свою секретную записную книжку изобличающую новость, что сеньор Гудвин такого-то числа получил телеграмму.

Кутерьма была в полном разгаре, когда в дверях небольшой деревянной постройки появился некий человек и выглянул на улицу. Над дверью была вывеска с надписью: «Кью и Клэнси»; такое наименование едва ли возникло на этой тропической почве. Человек, стоявший в дверях, был Билли Кью, искатель счастья и борец за прогресс, новейший пират Карибского моря. Цинкография и фотография — вот оружие, которым Кью и Клэнси осаждали в то время эти неподатливые берега. Снаружи у дверей были выставлены две большие рамы, наполненные образцами их искусства.

Кью стоял на пороге, опершись спиной о косяк. Его веселое, смелое лицо выражало явный интерес к необычному оживлению и шуму на улице. Когда он понял, в чем дело, он приложил руку ко рту и крикнул: «Эй! Франк!» — таким зычным голосом, что все крики туземцев были заглушены и умолкли.

В пятидесяти шагах отсюда, на той стороне улицы, что поближе к морю, стояло обиталище консула Соединенных Штатов. Из этого-то дома вывалился Гудвин, услышав громогласный призыв. Все это время он курил трубку вместе с Уиллардом Джедди, консулом Соединенных Штатов, на задней веранде консульства, которая считалась прохладнейшим местом в городе.

— Скорее! — крикнул Кью. — В городе и так уж восстание из-за телеграммы, которая пришла на ваше имя. Не шутите такими вещами, мой милый. Надо же считаться с народными чувствами. В один прекрасный день вы получите надушенную фиалками розовую записочку, а в стране из-за этого произойдет революция.

Гудвин зашагал по улице и разыскал мальчишку с телеграммой. Волоокие женщины взирали на него с боязливым восторгом, ибо он был из той породы, которая для женщин притягательна. Высокого роста, блондин, в элегантном белоснежном костюме, в zapatos *{Туфли (исп.)}* из оленьей кожи. Он был чрезвычайно учтив; его учтивость внушала бы страх, если бы ее не умеряла сострадательная улыбка. Когда телеграмма была, наконец, вручена ему,

а мальчишка, получив свою мзду, удалился, толпа с облегчением вернулась под прикрытие благодетельной тени, откуда выгнало ее любопытство: женщины — к своей стряпне на глиняных печурках, устроенных под апельсинными деревьями, или к бесконечному расчесыванию длинных и гладких волос, мужчины — к своим папиросам и разговорам за бутылкой вина в кабачках.

Гудвин присел на ступеньку около Кью и прочитал телеграмму. Она была от Боба Энглхарта, американца, который жил в Сан-Матео, столице Анчурии, в восьмидесяти милях от берега. Энглхарт был золотоискатель, пылкий революционер и вообще славный малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим воображением, доказывала телеграмма, которую получил от него Гудвин. Телеграмма была строго конфиденциального свойства, и потому ее нельзя было писать ни по-английски, ни по-испански, ибо политическое око в Анчурии не дремлет. Сторонники и враги правительства ревностно следили друг за другом. Но Энглхарт был дипломатом. Существовал один-единственный код, к которому можно было прибегнуть с уверенностью, что его не поймут посторонние. Это могучий и великий код уличного простонародного нью-йоркского жаргона. Так что, сколько ни ломали себе голову над этим посланием чиновники почтово-телеграфного ведомства, телеграмма дошла до Гудвина никем не разобранная.

Вот ее текст.

«Его пустозвонство юркнул по заячьей дороге со всей монетой в кисете и пучком кисеи, от которого он без ума. Куча стала поменьше на пятерку нолей. Наша банда процветает, но без кругляшек туго. Сгребите их за шиворот. Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль. Вы знаете, что делать.

Боб».

Для Гудвина эта нескладица не представила никаких затруднений. Он был самый удачливый из всего американского авангарда искателей счастья, проникших в Анчурию, и, не будь у него способности предвидеть события и делать выводы, он едва ли достиг бы столь завидного богатства и почета. Политическая интрига была для него коммерческим делом. Благодаря своему большому уму он оказывал влияние на главарей-заговорщиков; благодаря своим деньгам он держал в руках мелкоту — второстепенных чиновников. В стране всегда существовала революционная партия, и Гудвин всегда готов был служить ей, ибо после всякой революции ее приверженцы получали большую награду. И теперь существовала либеральная партия, жаждавшая свергнуть президента Мирафлореса. Если колесо повернется удачно, Гудвин получит концессию на тридцать тысяч акров лучших кофейных плантаций внутри страны. Некоторые недавние поступки президента Мирафлореса навели его на мысль, что правительство падет еще раньше, чем произойдет очередная революция, и теперь телеграмма Энглхарта подтверждала его мудрые догадки.

Телеграмма, которую так и не разобрали анчурийские лингвисты, тщетно пытавшиеся приложить к ней свои знания испанского языка и начатков английского, сообщала Гудвину важные вести. Она уведомляла его, что президент республики убежал из столицы вместе с вверенными ему казенными суммами; далее, что президента сопровождает в пути обольстительная Изабелла Гилберт, авантюристка, певица из оперной труппы, которую президент Мирафлорес вот уже целый месяц чествовал в своей столице так широко, что, будь актеры королями, они и то могли бы удовольствоваться меньшими почестями. Выражение «заячья дорога» означало выючную тропу, по которой шел весь транспорт между столицей и Коралио. Сообщение о «куче», которая стала меньше на пятерку нолей, ясно указывало на печальное состояние национальных финансов. Также было до очевидности ясно, что партии, стремящейся к власти и не нуждающейся уже в вооруженном восстании, «придется очень туго без кругляшек». Если она не отнимет похищенных денег, то, приняв во внимание, сколько военной добычи придется раздать победителям, невеселое будет положение у новых властей. Поэтому было совершенно необходимо «сгрести главного за шиворот» и вернуть средства для

войны и управления.

Гудвин передал депешу Кьюу.

— Прочитайте-ка, Билли. Это от Боба Энглхарта. Можете вы разобрать этот шифр?

Кьюу сел на пороге и начал внимательно читать телеграмму.

— Это совсем не шифр, — сказал он наконец. — Это называется литературой, это некая языковая система, которую навязывают людям, хотя ни один беллетрист не познакомил их с нею. Выдумали ее журналы, но я не знал, что телеграфное ведомство приложило к ней печать своего одобрения. Теперь это уже не литература, а язык. Словари, как ни старались, не могли вывести его за пределы диалекта. Ну а теперь, когда за ним стоит Западная Телеграфная, скоро возникнет целый народ, который будет говорить на нем.

— Все это филология, Билли, — сказал Гудвин. — А понимаете ли вы, что здесь написано?

— Еще бы! — ответил философ-практик. — Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен. Я как-то ухитрился понять даже приказ улетучиться, произнесенный на классическом китайском языке и подтвержденный дулом мушкета. Это маленькое произведение изящной словесности называется «Лиса-на-рассвете». Играли вы в эту игру, когда были мальчишкой?

— Как будто, — ответил Франк со смехом. — Все берутся за руки и...

— Нет, нет, — перебил его Кьюу. — Я говорю вам про отличную боевую игру, а вы путаете ее с игрою «Вокруг куста». «Лиса-на-рассвете» не такая игра — за руки здесь не берутся, напротив! Играют так: этот президент и дама его сердца, они вскакивают в Сан-Матео и, приготовившись бежать, кричат: «Лиса-на-рассвете!» Мы с вами вскакиваем здесь и кричим: «Гусь и гусыня!» Они говорят: «Далеко ли до города Лондона?» Мы отвечаем: «Близехонько, если у вас длинные ноги». И потом мы спрашиваем: «Сколько вас?» — и они отвечают: «Больше, чем вы можете поймать!» И после этого игра начинается.

— В том-то и дело! — сказал Гудвин. — Нельзя, чтобы гусак и гусыня ускользнули у нас между пальцев: очень уж у них дорогие перья. Наша партия готова хоть сегодня взять на себя верховную власть; но если касса пуста, мы останемся у власти не дольше, чем белоручка на необъезженном мустанге. Мы должны играть в лисицу на всем берегу, чтобы не дать беглецам улизнуть...

— Если они едут на мулах, — сказал Кьюу, — они доберутся сюда только на пятый день. Времени достаточно. Всюду, где можно, мы установим наблюдательные посты. Есть только три места на всем побережье, откуда они могут попасть на корабль: наш город, Солитас и Аласан. Там и нужно поставить стражу. Все это просто, как шахматная задача, — шах лисой и мат в три хода. Ах, гусыня и гусак, вот попали вы впросак! Милостью литературного телеграфа сокровища нашего захолустного отечества попадают прямо в руки честной политической партии, которая только и мечтает, как бы перевернуть его вверх тормашками.

Кьюу был прав. Путь из столицы был долгий и тяжкий. Неприятности сыпались одна за другой: лютая стужа сменялась жестоким зноем, из безводной пустыни вы попадали в болото. Тропинка карабкалась по ужасающим высям, вилась, как полусгнившая веревочка, над захватывающими дыхание безднами, ныряла в ледяные, сбегаящие со снежных вершин ручьи и скользила, как змея, по лесам, куда не проникает луч солнца, среди опасных насекомых и зверей. Спустившись с гор, эта дорога превращалась в трезубец, причем средний зубец вел в Аласан, один из боковых — в Коралио, другой — в Солитас. Между горами и морем лежала полоса наносной земли в пять миль шириной; здесь тропическая растительность приобретала особое богатство и разнообразие. Там и сям небольшие участки земли были отвоеваны у джунглей и на них разведены плантации сахарного тростника и бананов и апельсиновые рощи. Вся же остальная земля являла буйство бешеной растительности, где жили обезьяны, тапиры, ягуары, аллигаторы, чудовищные насекомые и гады. Где не было просеки, там была такая чаша, что змея и та с трудом протискивалась сквозь путаницу ветвей и лиан. По предательским мангровым зарослям могли двигаться главным образом крылатые твари. Бежавший президент и его спутница могли добраться до берега лишь по одной из описанных трех дорог.

— Только, Билли, не болтать никому! — посоветовал Гудвин. — Незачем нашим врагам знать, что президент сбежал. Я думаю, что в столице это мало кому известно. Иначе Боб не прислал бы мне секретной телеграммы. Да и в нашем городе давно кричали бы об этом. Теперь я пойду к доктору Савалья, и мы пошлем нашего человека перерезать телеграфный провод.

Когда Гудвин поднялся, Кьюо швырнул свою шляпу в траву перед дверью и испустил потрясающий вздох.

— Что случилось, Билли? — спросил Гудвин, останавливаясь. — Первый раз в жизни я слышу, что вы вздыхаете.

— И последний, — сказал Кьюо. — Этим скорбным дуновением ветра я обрекаю себя на жизнь, преисполненную похвальной, хоть и очень нудной честности. Что такое, скажите на милость, фотография по сравнению с возможностями великого и веселого класса гусаков и гусынь? Не то чтобы мне хотелось стать президентом, Франк, — и с таким богатством, как у него, я все равно не совладал бы, — но как-то совесть мучает, что засел тут и снимаю эти физиономии, вместо того чтобы набить карманы и удрать. Франк, а видали вы этот «пучок кисеи», который его превосходительство свернул по швам и увез с собою?

— Изабеллу Гилберт? — спросил Гудвин, смеясь. — Нет, не видел. Но слышал о ней много, и мне кажется, что справиться с нею будет не так-то легко. Она пойдет напролом, будет драться и когтями и зубами. Не обольщайте себя романтическими мечтами, Билли. Иногда я начинаю подозревать, не течет ли в ваших жилах ирландская кровь.

— Я тоже никогда не видал этой дамы, — продолжал Кьюо, — но говорят, что рядом с нею все красавицы, прославленные в поэзии, мифологии, скульптуре и живописи, кажутся дешевыми клише. Говорят, что стоит ей взглянуть на мужчину, и он тотчас же превращается в мартышку и лезет на самую высокую пальму, чтобы сорвать ей кокосовый орех. Счастье этому президенту, ей-богу! Вы только вообразите себе: в одной руке у него черт знает сколько сотен и тысяч долларов, в другой — эта кисейная сирена; он скачет сломя голову на близком его сердцу осле, кругом пение птиц и цветы. А я, Билли Кьюо, по причине своего великого благородства должен корпеть в этой глупой дыре и ради насущного хлеба бессовестно коверкать физиономии этих животных лишь потому, что я не вор и не мошенник. Вот она, справедливость!

— Не горюйте! — сказал Гудвин. — Что это за лисица, которая завидует гусю? Кто знает, быть может, прелестная Гилберт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии после того, как мы отнимем у нее президента.

— Что будет совсем не глупо с ее стороны! — сказал Кьюо. — Но этому не бывать, она достойна украшать галерею богов, а не выставку цинкографических снимков. Она очень порочная женщина, а этому президенту просто повезло. Но я слышу, что там, за перегородкой, ругается Клэнси: ворчит, что я лодырничая, а он делает за меня всю работу.

Кьюо нырнул за кулисы своего ателье, и скоро оттуда донесся его неунывающий свист, который как будто сводил на нет его недавний вздох по поводу сомнительной удачи беглого президента.

Гудвин свернул с главной улицы в боковую, которая была гораздо уже и пересекала главную под прямым углом.

Эти боковые улицы были покрыты буйной травой, которую ревностно укрощали кривые ножи полицейских — для удобства пешего хождения. Узенькие каменные тротуары бежали вдоль невысоких и однообразных глинобитных домов. На окраинах эти улицы таяли, и там начинались крытые пальмовыми листьями лачуги карибов и туземцев победнее, а также плюгавые хижины ямайских и вест-индских негров. Несколько зданий возвышалось над красными черепичными крышами одноэтажного города: башня тюрьмы, отель де лос Эстранхерос (гостиница для иностранцев), резиденция агента паровой компании «Везувий», торговый склад и дом богача Бернарда Брэнигэна, развалины собора, где некогда побывал Колумб, и самое пышное здание — Casa Morena, летний «белый дом» президента Анчурии. На главной улице, параллельной берегу, — на коралийском Бродвее, — были самые большие магазины, почта, казармы, распивочные и базарная площадь.

Гудвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Брэнигэну. Это было новое деревянное здание в два этажа. В нижнем этаже помещался магазин, в верхнем обитал сам хозяин. Длинный балкон, окружавший весь дом, был тщательно защищен от солнца. Красивая, бойкая девушка, изящно одетая в широкое струящееся белое платье, перегнулась через перила и улыбнулась Гудвину. Она была не темнее лицом, чем многие аристократки Андалузии, она сверкала и переливалась искрами, как лунный свет в тропиках.

— Добрый вечер, мисс Паула, — сказал Гудвин, даря ее своей неизменной улыбкой. Он с одинаковой улыбкой приветствовал и женщин и мужчин. Все в Коралио любили приветствия гиганта-американца.

— Что нового? — спросила мисс Паула. — Ради бога, не говорите мне, что у вас нет никаких новостей. Какая жара, не правда ли? Я чувствую себя как Марианна в саду^б — или то было в аду? Ах, так жарко!

— Нет, у меня нет никаких новостей, — сказал Гудвин, не без ехидства глядя на нее. — Вот только Джедди становится с каждым днем все ворчливее и раздражительнее. Если он в самом близком будущем не успокоится, я перестану курить у него на задней веранде, хотя во всем городе нет такого прохладного места.

— Он совсем не ворчит, — воскликнула порывисто Паула Брэнигэн, — когда он...

Но она не закончила и спряталась, внезапно покраснев, ибо ее мать была метиска и испанская кровь придавала ей прелестную пугливость, которая служила украшением другой — ирландской — половины ее непосредственной души.

II. Лотос и бутылка

Уиллард Джедди, консул Соединенных Штатов в Коралио, сидел и лениво писал свой годовой отчет. Гудвин, который, по обыкновению, зашел к нему покурить на своей любимой прохладной веранде, не мог отвлечь его от этого занятия и удалился, жестоко браня приятеля за отсутствие гостеприимства.

— Я буду жаловаться на вас в министерство, — сердился Гудвин. — Даже разговаривать со мною не хочет. Даже виски не попотчует. Хорошо же вы представляете здесь ваше правительство.

Гудвин побрел в гостиницу наискосок в надежде уломать карантинного доктора сразиться на единственном в Коралио бильярде. Он уже сделал все, что было нужно для поимки убежавшего президента, и теперь ему оставалось одно: ждать, когда начнется игра.

Консул был весь поглощен своим годовым отчетом. Ему было только двадцать четыре года, и в Коралио он прибыл так недавно, что его служебный пыл еще не успел остыть в тропическом зное, — между Раком и Козерогом такие парадоксы допускаются.

Столько-то тысяч гроздьев бананов, столько-то тысяч апельсинов и кокосовых орехов, столько-то унций золотого песку, столько-то фунтов каучука, кофе, индиго, сарсапариллы — подумать только, что экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился на двадцать процентов!

Сердце консула было преисполнено радости. Может быть, там, в государственном департаменте, прочтут его отчет и заметят... но тут он откинулся на спинку стула и засмеялся. Он становится таким же идиотом, как и все остальные. Неужели он мог забыть, что Коралио — ничтожное городишко ничтожной республики, ютящейся на задворках какого-то второстепенного моря? Ему вспомнился Грэгг, карантинный врач, выписывавший лондонский журнал «Ланцет» в надежде найти там выдержки из своих докладов о бацилле желтой лихорадки, которые он посылал в министерство здравоохранения. Консул знал, что из полсотни его добрых знакомых, оставшихся в Соединенных Штатах, едва ли один слышал об

^б «Марианна на Юге» — стихотворение Теннисона.

этом самом Коралио. Он знал, что только два человека прочтут его годовой отчет: какой-нибудь мелкий чиновник в департаменте да наборщик казенной типографии. Может быть, наборщик заметит, что в Коралио коммерция начала процветать, и даже скажет об этом два слова приятелю, сидя вечером за кружкой пива и порцией сыра.

Только что он написал: «Крупные экспортеры Соединенных Штатов обнаруживают непонятную косность, позволяя французским и немецким фирмам захватывать в свои руки почти все производительные силы этой богатой и цветущей страны...» — как услышал хриплый гудок паровой сирены.

Джедди отложил перо, надел панаму, взял зонт. По звуку он узнал, что прибыл пароход «Валгалла», один из грузовых пароходов компании «Везувий», занимавшейся перевозкой бананов, апельсинов и кокосов. Все в Коралио, начиная от пятилетних *pinos*, {*Младенцев (исп.)*} могли с точностью определить по свистку паровой сирены, какой пароход прибыл в город.

По извилистым дорожкам, защищенным от солнца, консул пробрался к морю. Благодаря долгой практике он вымеривал свои шаги так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время, когда от судна отчаливала шлюпка с таможенными, которые производили осмотр товаров согласно законам Анчурии.

В Коралио нет гавани. Такие суда, как «Валгалла», должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают в море, легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты. К Солитасу, где была отличная гавань, подходило много кораблей, но в Коралио — лишь грузовые, «фруктовые». Редко-редко остановится в здешних водах каботажное судно, или таинственный бриг из Испании, или — с самым невинным видом — бесстыжая французская шхуна. Тогда таможенные власти удваивают свою бдительность и зоркость. И вот во мраке ночи между прибывшими судами и берегом начинают крейсировать какие-то загадочные шлюпки, а утром в галантерейных и винных лавчонках Коралио замечается множество новых товаров, которых не было еще вчера, в том числе бутылки с тремя звездочками. И говорят, что у таможенных в карманах их синих штанов с пунцовыми лампасами в такие дни звенит больше серебра, чем накануне, а в таможне не найти никаких документов, свидетельствующих о получении пошлины.

Шлюпка с таможенными и гичка «Валгаллы» прибыли к берегу одновременно. Впрочем, было так мелко, что пристать к самому берегу не представлялось возможности. Пять ярдов хороших волн отделяло прибывших от суши. Тогда полуголые карибы вошли в воду и понесли на себе судового комиссара с «Валгаллы» и маленьких туземных чиновников в бумажных рубашках, в соломенных шляпах с опущенными большими полями и в сине-пунцовых штанах.

В колледже Джедди славился своею игрою в бейсбол. Теперь он закрыл зонт, воткнул его в песок и, как лихой бейсболист, нагнулся, опираясь руками в колени. Комиссар, встав в позу подающего, швырнул консулу тяжелую пачку газет, перевязанную бечевкой (каждый пароход привозил консулу газеты). Джедди высоко подпрыгнул и с громким «твак!» поймал брошенную пачку. Гуляющие по берегу — почти треть всего населения — стали аплодировать и весело смеяться. Каждую неделю они ждали этого зрелища, и всегда оно доставляло им радость. В Коралио не поощряли новшеств.

Консул снова раскрыл свой зонтик и пошел обратно в консульство.

Представитель великой нации занимал деревянный дом с двух комнатах, обведенный с трех сторон галереей из пальмового и бамбукового дерева. Одна комната служила канцелярией и была обставлена весьма целомудренно: письменный стол, гамак и три неудобных стула с тростниковыми сиденьями. Висевшие на стене две гравюры изображали президентов Соединенных Штатов, самого первого и самого последнего. Другая комната служила консулу жильем.

Было одиннадцать часов, когда он вернулся с берега: время для первого завтрака. Чанка, карибская женщина, которая стряпала для Джедди, только что накрыла стол на той стороне галереи, которая была обращена к морю и славилась как самое прохладное место в Коралио. На завтрак был подан бульон из акульих плавников, рагу из земных крабов, плоды хлебного

дерева, жаркое из ящерицы, вест-индские маслянистые груши авокадо, только что срезанный ананас, красное вино и кофе. Джедди сел за стол и блаженно-лениво развернул свою пачку газет. Два дня подряд он будет читать здесь, в Коралио, обо всем, что творится на свете, с таким же чувством, с каким мы читали бы маловероятные сведения, сообщаемые той неточной наукой, которая тщится описывать дела марсиан. После того как он прочтет эти газеты, он предоставит их поочередно другим англо-американцам, живущим в Коралио.

Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала к разряду тех обширных печатных матрацев, на которых, как принято думать, читатели нью-йоркских газет вкушают свой литературный сон по воскресеньям. Консул разостлал ее перед собою на столе и подпер ее увесистый край с помощью спинки стула. Потом он не спеша занялся едой; изредка он перевертывал страницы и небрежно пробежал глазами по строкам.

Вдруг ему бросилось в глаза что-то страшно знакомое — занимающая половину страницы неряшливо оттиснутая фотография какого-то судна. Лениво всмотревшись в картинку, он всмотрелся и в заглавие статьи, напечатанное рядом крупнейшими буквами.

Да, он не ошибся. Картинка изображала «Идалию», восьмисоттонную яхту, принадлежащую, как говорилось в газете, «лучшему из лучших, Мидасу денежного рынка и образцу светского человека Дж. Уорду Толливеру».

Медленно потягивая черный кофе, Джедди прочитал статью. В ней подробно исчислялось все движимое и недвижимое имущество мистера Толливера, потом столь же подробно была описана его великолепная яхта, а дальше, в конце, сообщалась главная новость, крошечная, как горчичное зерно: мистер Толливер вместе со своими друзьями отправляется в шестинедельное плавание вдоль среднеамериканского и южноамериканского берега и среди Багамских островов. В числе его гостей находятся миссис Камберленд Пэйн и мисс Ида Пэйн из Норфолька.

Чтобы угодить своим читателям, автор статейки сочинил целый роман. Он так часто склеивал имена мисс Пэйн и мистера Толливера, что казалось, будто он уже держит над ними брачный венец. Жеманно и двусмысленно играл он словами: «в городе упорно говорят», «носятся слухи», «нас не удивило бы, если бы» — и в конце концов приносил поздравления.

Джедди, окончив завтрак, взял газеты, отправился к концу веранды и, опустившись в свой любимый шезлонг, положил ноги на бамбуковые перила. Он закурил сигару и глядел в море. Ему было приятно сознавать, что прочитанное нисколько не взволновало его. Он радовался, что наконец-то ему удалось победить ту печаль, которая погнала его в добровольное изгнание в эту далекую страну лотоса.⁷

Конечно, Иды ему не забыть никогда, но мысль о ней уже не причиняла ему боли. Когда Ида повздорила с ним, он напросился на эту консульскую службу в Коралио, горя желанием отомстить Иде, порвать не только с ней, но и со всей атмосферой, которая окружала ее. И это ему удалось. За весь год, что он находился в Коралио, ни он ей, ни она ему не написали ни единого слова, хотя от немногочисленных друзей, с которыми он еще изредка переписывался, он кое-что узнавал о ней. И все же ему было приятно узнать, что она до сих пор не вышла ни за Толливера, ни за кого другого. Но, очевидно, Толливер еще не потерял надежды.

Впрочем, Джедди теперь все равно. Он вкусил цветов лотоса. Он чувствовал себя превосходно в этой земле вечно жаркого солнца. Те давно минувшие дни, когда он жил в Соединенных Штатах, казались ему раздражающим сном. Дай бог Иде такого же счастья, каким наслаждался он теперь. Воздух бальзамический, как в далеком Авалоне⁸, вольный, безмятежный поток зачарованных дней; жизнь среди этого праздного и поэтического народа, полная музыки, цветов и негромкого смеха; такое близкое море и такие близкие горы; многообразные видения любви, красоты, волшебства, распускающиеся белой тропической

⁷ Лотос — символ забвения всех печалей.

⁸ Авалон — блаженная страна, куда, по кельтской мифологии, отправляются души убитых героев.

ночью, — все это доставляло ему несказанную радость. Кроме того, не нужно забывать и о Пауле Брэнигэн.

Джедди думал жениться на Пауле, конечно, если она даст согласие; впрочем, он был твердо уверен, что она не откажет. Но почему-то он все не делал предложения. Несколько раз слова уже готовы были сорваться у него с языка, но что-то непонятное всегда мешало. Может быть, здесь сказывался бессознательный страх, что, если он произнесет эти слова, будет порвано последнее звено, соединяющее его с прежним миром.

С Паулой он будет очень счастлив. Мало было в этом городе девушек, которые могли бы сравняться с нею. Она два года училась в монастырской школе в Новом Орлеане, так что, когда на нее находила блажь пощеголять своим образованием, она оказывалась ничуть не хуже девушек из Норфолька и Манхэттена. Но сладостно было смотреть на нее, когда она облакалась в национальный испанский костюм и гуляла по комнате с голыми плечами и широко развевающимися рукавами.

Бернард Брэнигэн был крупнейший купец в Коралио. Он торговал не только на побережье, но и водил караваны мулов, поддерживая оживленную связь с жителями деревень и городишек, находящихся внутри страны. Его супруга была местная аристократка, знатного кастильского рода, но на ее оливковых щеках был коричневый оттенок, свидетельствующий об индейской примеси. От союза ирландца с испанкой произошел, как это часто бывает, отпрыск удивительно красивый и самобытный. И родители и дочь были в высшей степени приятные люди, и верхний этаж их дома был давно уже к услугам Джедди и Паулы, стоило ему только собраться с силами и заговорить об этом.

Прошло два часа. Консулу наскучило чтение. Газеты в беспорядке лежали возле него на галерее. Разлегшись в кресле, полусонными глазами смотрел он на раскинувшийся вокруг него рай. Банановая роща широкими своими щитами заслонила от его взоров море. Отлогий спуск от консульства к берегу был укутан темно-зеленой листвой апельсиновых и лимонных деревьев, только что начавших цвести. Лагуна врезалась в берег, как темный зубчатый кристалл, и над нею вздымалась чуть не к облакам белесая сейба. Зыблющаяся листва кокосовых пальм сверкала огненной декоративной зеленью на сером графите почти неподвижного моря. Джедди смутно чувствовал яркую охру и кричащую красную краску среди слишком зеленого молодого кустарника, чувствовал запах плодов, запах только что расцветших цветов, запах дыма от глиняной плиты кухарки Чанки, стряпающей под тыквенным деревом, он слышал дискантовый смех туземных женщин, несущийся из какой-то лачуги, слышал песню красногрудки, ощущал соленый вкус ветерка, *diminuendo* {*Постепенно затихающий звук (ит.).*} еле уловимой прибрежной волны — и понемногу возникло перед ним белое пятнышко, которое все росло и росло и в конце концов выросло в большое пятно на серой поверхности моря.

С ленивым любопытством он следил, как это пятно все увеличивалось и вдруг превратилось в яхту «Идалия», несущуюся на всех парах параллельно берегу. Не меняя позы, Джедди следил за хорошенькой белой яхтой, как она быстро приближалась, как поравнялась с Коралио. Потом, выпрямившись, он увидел, как она пронеслась мимо и скрылась из виду. Она прошла совсем близко, в какой-нибудь миле от берега. Он видел, как поблескивали ее надраенные медные части, он видел полосы ее палубных тентов, но подробнее он не мог рассмотреть ничего. Как корабль в волшебном фонаре, «Идалия» проплыла по освещенному кружочку его миниатюрного мира — и пропала. Если бы не осталось легкого дымка на горизонте, можно было бы подумать, что она явление нематериального мира, химера его праздного мозга.

Джедди вернулся в канцелярию и снова засел за отчет. Если чтение газетной статейки не слишком растревожило его, то это безмолвное движение внезапно появившейся яхты умиротворило его окончательно. Она принесла с собою мир и покой, ибо у него уже не осталось и тени сомнения. Он знал, что люди, сами не сознавая того, часто продолжают лелеять надежды. Теперь, когда Ида проехала по морю две тысячи миль и только что промчалась мимо него, не подав ему знака, даже подсознательно ему нечего больше было

цепляться за прошлое.

После обеда, когда солнце спряталось за гору, Джедди вышел прогуляться по узкой полоске берега, под кокосовыми пальмами. Легкий ветерок дул с моря, испещряя поверхность воды еле заметными волнами.

Крошечный девятый вал, нежно шелестя по песку, прибил к берегу какой-то блестящий и круглый предмет.

Волна отхлынула, и предмет покотился назад. Следующая волна снова вынесла его на песок, и Джедди поднял его.

Предмет оказался винной бутылкой из бесцветного стекла. У бутылки было длинное горло. Пробка была вдавлена очень глубоко и туго, и горло запечатано темно-красным сургучом. В бутылке не было ничего, кроме листа скомканной бумаги, которую, очевидно, смяли, когда протискивали в узкое горлышко. На сургуче был оттиск кольца с какой-то монограммой; но, должно быть, оттиск делали впопыхах: разобрать инициалы было невозможно. Ида Пэйн всегда носила перстень с печаткой и любила его больше других колец. Джедди казалось, что на сургуче оттиснуты знакомые буквы И. П., и почему-то он почувствовал волнение. Это напоминание гораздо интимнее отражало ее личность, чем та яхта, на которой она только что промчалась. Он вернулся домой и поставил бутылку на письменный стол.

Сбросив шляпу и пиджак, он зажег лампу, так как ночь стремительно сгущалась после коротких сумерек, и стал внимательно рассматривать свою морскую добычу.

Приблизив бутылку к свету и понемногу поворачивая ее, он в конце концов разглядел, что она заключала в себе два листа мелко исписанной почтовой бумаги, что бумага была того же формата и цвета, как та, на которой писала свои письма Ида Пэйн, и что почерк, насколько он мог установить, был ее. Грубое стекло так искривляло лучи света, что Джедди не мог прочитать ни единого слова, но некоторые заглавные буквы, которые ему удалось рассмотреть, были написаны Идой, это было совершенно бесспорно.

С еле заметной улыбкой смущения и радости Джедди снова поставил бутылку на стол и рядом с нею аккуратно расположил три сигары. Потом он пошел на галерею, принес оттуда шезлонг и комфортабельно разлегся в нем. Он будет курить сигары и размышлять над создавшейся проблемой.

А проблема была трудная. Лучше бы ему не вылавливать этой бутылки! Но бутылка была перед ним. Море, откуда приходит так много тревог, — зачем оно пригнало к нему эту бутылку, разрушившую его душевный покой!

В этой сонной стране, где времени было больше, чем нужно, он привык размышлять даже над ничтожными вещами.

Много самых причудливых гипотез пришло ему в голову по поводу этой бутылки, но каждая в конце концов оказывалась вздором.

Такие бутылки порою бросают с тонущих или потерпевших аварию кораблей, вверяя этим ненадежным вестникам призыв о помощи. Но ведь не прошло и трех часов с тех пор, как он видел «Идалию»: она была цела и невредима. Может быть, на яхте взбунтовались матросы, пассажиры заперты в трюме и письмом, заключенным в бутылке, молят о помощи? Нет, это слишком неправдоподобно, и, кроме того, неужели взволнованные узники стали бы исписывать мелким почерком четыре страницы, чтобы подробно доказывать, почему их необходимо спасти?

Так постепенно, путем исключения, он забраковал все эти невероятные гипотезы и остановился на одной, гораздо более правдоподобной: письмо в бутылке было адресовано ему. Ида знает, что он в Коралио; проезжая мимо, она бросила свое послание в море, а ветер пригнал его к берегу.

Едва Джедди пришел к такому выводу, как на лбу у него прорезалась морщинка и возле губ появилось выражение упрямства. Он продолжал сидеть, глядя в открытую дверь на гигантских светляков, бредущих по тихим улицам.

Если это послание было от Иды, о чем она могла писать ему, как не о примирении? Но в

таком случае, зачем она вверилась сомнительной и ненадежной бутылке? Ведь для писем существует почта. Бросать в море бутылку с письмом! Это легкомыслие, это дурной тон. Это даже, если хотите, обида!

При этой мысли в нем пробудилась гордыня, которая заглушила все прочие чувства, воскрешенные в нем найденной бутылкой.

Джедди надел пиджак и шляпу и вышел. Вскоре он оказался на краю маленькой площади, где играл оркестр и люди, свободные от всяких дел и забот, гуляли и слушали музыку. Пугливые сеньориты то и дело проносились мимо него со светляками в черных как смоль волосах, улыбаясь ему робко и льстиво.

Воздух одурял ароматами жасмина и апельсиновых цветов.

Консул замедлил шаги возле дома, где жил Бернард Брэнигэн. Паула качалась в гамаке на галерее. Она выпорхнула, словно птица из гнезда. При звуках голоса Джедди на щеках у нее выступила краска.

Ее костюм очаровал его: кисейное платье, все в оборках, с маленьким корсажем из белой фланели — какой стиль, сколько изящества и вкуса! Он предложил ей пойти прогуляться, и они побрели к старинному индейскому колодцу, выкопанному под горой у дороги. Сели рядом на колодезном срубе, и там Джедди наконец-то сказал те слова, которых от него так давно ждали. И хотя он знал, что ему не будет отказа, он весь задрожал от восторга, увидев, как легка была его победа и сколько счастья доставила она побежденной. Вот сердце, созданное для любви и верности. Не было ни кокетливых ужимок, ни расспросов, ни других требуемых приличиями капризов.

Когда Джедди в этот вечер целовал Паулу у дверей ее дома, он был счастлив как никогда.

*Здесь, в этом царстве лотоса,
В этой обманной стране,
Покоиться в сонной истоме —*

казалось ему, как и многим мореходам до него, самым упоительным и самым легким делом. Будущее у него идеальное. Он очутился в раю, где нет никакого змея. Его Ева будет воистину частью его самого, недоступная соблазнам и оттого лишь более соблазнительная. Сегодня он избрал свою долю, и его сердце было полно спокойной, уверенной радости.

Джедди вернулся к себе, насвистывая эту сладчайшую и печальнейшую любовную песню, «La Golondrina». *{Ласточка (исп.)}* У двери к нему навстречу прыгнула, весело болтая, его ручная обезьянка. Он направился к письменному столу, чтобы достать обезьяне орешков. Шаря в полутьме, его рука наткнулась на бутылку. Он отпрянул, словно дотронулся до холодного, круглого тела змеи.

Он совсем забыл, что существует бутылка.

Он зажег лампу и стал кормить обезьянку. Потом очень старательно закурил сигару, взял в руки бутылку и пошел по дорожке к берегу. Была луна, море сияло. Ветер переменялся и, как всегда по вечерам, дул с берега. Приблизившись к самой воде, Джедди размахнулся и швырнул бутылку далеко в море. На минуту она исчезла под водой, а потом выпрыгнула, и ее прыжок был вдвое выше ее собственной высоты. Джедди стоял неподвижно и смотрел на нее. Луна светила так ярко, что ему было ясно видно, как она прыгает по мелким волнам — вверх и вниз, вверх и вниз. Она медленно удалялась от берега, вертась и поблескивая. Ветер уносил ее в море. Вскоре она превратилась в блестящую точку, то исчезающую, то вновь появляющуюся, а потом ее тайна исчезла навеки в другой великой тайне: в океане. Джедди неподвижно стоял на берегу, курил сигару и смотрел в море.

— Симон! О Симон! Проснись же ты, Симон! — орал чей-то звонкий голос у края воды.

Старый Симон Крус был метис, рыбак и контрабандист, живший в хижине на берегу. Он только что вздремнул, и вот его будят.

Он вышел из хижины и увидел своего знакомого, младшего офицера с «Валгаллы», только что причалившего в шлюпке к берегу. Его сопровождали три матроса.

— Вставай, Симон! — крикнул офицер. — И разыщи доктора Грэгга, или мистера Гудвина, или кого другого из приятелей мистера Джедди и тащи их поскорее сюда.

— Святители небесные! — воскликнул сонный Симон. — Не случилось ли с консулом беды?

— Он под этим брезентом, — сказал офицер, указывая на свою шлюпку. — Еще немного, и был бы утопленником. Мы увидели его с судна, за милю от берега; он плыл как сумасшедший за какой-то бутылкой... но бутылка уплывала все дальше. Мы спустили ялик — и к нему. Казалось, что вот-вот он поймает бутылку, нужно было только руку протянуть, но тут он ослабел и погрузился в воду. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Может быть, он еще жив, но тут нужен доктор, — это уж ему решать.

— Бутылка? — сказал старик, протирая глаза. Он еще не совсем проснулся. — Где бутылка?

— Плывет где-нибудь там, — сказал моряк, тыкая большим пальцем по направлению к морю. — Да проснись же ты, Симон!

III. Смит

Гудвин и пылкий патриот Савалья сделали все возможное, чтобы не дать президенту Мирафлоресу скрыться. Они послали надежных людей в Солитас и Аласан, чтобы предупредить тамошних вожаков о побеге и выставить патрули, которые должны были сторожить побережье и во что бы то ни стало арестовать президента и его прекрасную подругу, если они появятся на берегу. После этого оставалось только позаботиться об установлении таких же наблюдательных постов вокруг Коралио и ждать, чтобы птицы прилетели. Силки были расставлены отлично. Дорог было так мало, количество мест, где можно было отчалить от берега, было так ограничено, все эти места были под такой сильной охраной, что показалось бы чудом, если бы из этой сети ускользнуло столько анчурийского достоинства, анчурийской романтики и денег. Президент, несомненно, сделает попытку достигнуть берега тайно; втихомолку попробует он пробраться на корабль в каком-нибудь укромном местечке.

На четвертый день после того как пришла телеграмма, трижды закричала сирена, и в водах Коралио бросил якорь норвежский пароход «Карлсефин». Он не принадлежал фруктовой компании «Везувий», а действовал как дилетант, работая на мелкую торговую фирму, которая была слишком ничтожна, чтобы соперничать с компанией «Везувий». Рейсы «Карлсефина» зависели от состояния рынка. Иногда он регулярно курсировал между Новым Орлеаном и Центральной Америкой, а потом отправлялся в Мобил или в Чарлстон, а то и в Нью-Йорк, смотря по тому, где повышался спрос на фрукты.

Гудвин бродил по берегу с обычной толпой ротозеев, собравшихся посмотреть на новоприбывшее судно. Теперь, когда каждую минуту можно было ждать беглеца-президента, требовалась строгая, неослабная бдительность. Каждое судно, появившееся у берегов, можно было рассматривать как потенциальное орудие бегства; даже шлюпки и тузики, составлявшие флотилию города, были взяты под сильнейшее подозрение. Гудвин и Савалья незаметно обследовали всю свою сеть, проверяя, нет ли где порванной петли, откуда могла бы ускользнуть их добыча.

Таможенные чиновники важно уселись в казенную шлюпку и поплыли к «Карлсефину». Пароходная шлюпка привезла на берег комиссара с бумагами, увезла с собой карантинного доктора с зеленым зонтиком и больничным термометром. Потом чернокожие начали нагружать на свои плоскодонки гроздь бананов, сложенные на берегу большими грудями, и отвозить их на пароход. Так как пассажиров на этом пароходе не было, власти скоро покончили со всеми формальностями. Комиссар заявил, что судно останется на якорю лишь до

утра и потому будет грузиться всю ночь. По его словам, «Карлсефин» пришел из Нью-Йорка, куда он в последний раз отвозил партию кокосовых орехов и апельсинов. Для ускорения работы были пущены в ход даже две или три пароходные шлюпки, ибо капитан хотел вернуться как можно скорее, чтобы не упустить возможностей, создавшихся благодаря некоторой нехватке фруктов на рынках Штатов.

Около четырех часов близ Коралио появилось следом за роковой «Идалией» еще одно морское чудовище, к каким в здешних водах еще не успели привыкнуть, — изящная паровая яхта, выкрашенная в бледно-желтую краску, четко очерченная, словно гравюра. Красавица неслась к берегам, распиливая волны легко, как утка в лохани с дождевой водой. Скоро к берегу приблизилась быстроходная шлюпка, управляемая гребцами в матросской форме, и на прибрежный песок выскочил коренастый мужчина.

Поглядев как бы с неодобрением на довольно пеструю толпу туземцев, мужчина прямо направился к Гудвину, который изо всех на берегу был самым несомненным англосаксом. Гудвин вежливо приветствовал его.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что фамилия новоприбывшего Смит и что прибыл он на яхте. Тощие биографические данные! Ведь яхта и без того была у всех на виду, а о том, что фамилия незнакомца Смит, можно было догадаться по его наружности. Но Гудвину, выдавшему виды, бросилось в глаза несоответствие между Смитом и его яхтой. У Смита голова была как пуля, у Смита были тупые и косые глаза, усы у Смита были как у бармена, который смешивает в кабаке коктейли. И если только он не переделался по прибытии в здешние воды, он, значит, имел дерзость оскорблять палубу своей благородной яхты котелком светло-серого цвета, клетчатым костюмчиком и водевильным галстуком. Люди, имеющие собственные яхты, обычно находятся в большей гармонии с ними.

Было ясно, что у Смита есть какое-то дело, но он не афишировал себя. Он сказал несколько слов о здешней местности, заметив, что она точка в точку похожа на картинку в географии; потом он спросил, где живет консул Соединенных Штатов. Гудвин указал ему на тряпицу в полосках и звездах, висевшую над маленьким консульским домиком за апельсиновыми деревьями.

— Вы, несомненно, застанете консула дома, — сказал Гудвин. — Мистер Джеджи чуть не утонул несколько дней назад, он заплыл слишком далеко во время купания. Доктор запретил ему пока что выходить из дома.

Смит пустился вспахивать ногами песок по дороге в консульство. Его крикливый и пестрый наряд был в жестокой вражде с мягкими — синими и зелеными — красками тропиков.

Джеджи лежал в гамаке, немного бледный и вялый. В ту ночь, когда шлюпка «Валгаллы» доставила на берег его бездыханное тело, доктор Грэгг и другие приятели промучились над ним два-три часа, чтобы сохранить искру жизни, еще тлеющую в нем. Бутылка с бесплодным посланием так и умчалась в море, и созданная ею проблема свелась к простой задачке на сложение: по правилам арифметики один да один — два; по правилам романтики — один.

Существует забавная старинная теория, что у человека могут быть две души — одна внешняя, которая служит ему постоянно, и другая внутренняя, которая пробуждается изредка, но, проснувшись, живет интенсивно и ярко. Подчиняясь первой, человек бреется, голосует, платит налоги, содержит семью, покупает в рассрочку мебель и вообще ведет себя нормально. Но стоит внутренней душе взять верх, и в один миг тот же человек начинает изливать на свою спутницу жизни поток яростного отвращения; не успеете вы оглянуться, как он изменяет свои политические взгляды, наносит смертельное оскорбление своему лучшему другу, удаляется в монастырь или в дансинг, исчезает, вешается, или — пишет стихи и песни, или целует жену, когда она его о том не просила, или отдает все свои сбережения на борьбу с каким-нибудь микробом. Потом внешняя душа возвращается, и перед нами снова наш уравновешенный, спокойный гражданин. То, что было, это всего лишь бунт Индивидуума против Порядка; надо было перетряхнуть атомы человека, чтобы дать им снова осесть на положенных местах.

У Джеджи встряска оказалась не очень серьезной — всего-навсего прогулка вплавь по теплому морю, погоня за столь прозаическим предметом, как дрейфующая бутылка. И теперь

он снова стал самим собою. У него на письменном столе лежало готовое к отправке прошение о скорейшем его увольнении с должности консула. Бернард Брэннигэн не терпел отлагательств и сразу предложил Джедди стать компаньоном в его прибыльных и разнообразных делах, а Паула с упоением строила планы новой мебелировки и нового убранства верхнего этажа Брэннигэнова дома.

Консул приподнялся в гамаке, увидев у себя столь заметного гостя.

— Сидите, сидите, любезнейший! — сказал гость, широко помахивая ручищей. — Моя фамилия Смит. Приехал на яхте. Вы как будто консул, не так ли? Там, на берегу, стоит вот этакий верзила, очень важный, он показал мне, как пройти. И я подумал: зайду. Окажу респект родному флагу.

— Присядьте, — сказал Джедди. — У вас великолепная яхта. Я все время люблюсь ею, с тех пор как она появилась у нас. И ход у нее, кажется, быстрый. А каков тоннаж?

— Черт ее знает! — сказал Смит. — Сколько она весит, для меня безразлично. Но ход у нее первый сорт: никому не даст пылечь себе в нос. Зовут ее «Бродяга», и это моя первая поездка. Надумал прокатиться, поглядеть на места, откуда к нам привозят перец, резину и революции. Я и не знал, что тут столько пейзажей. Куда ни пойдешь — пейзаж. Центральный парк в Нью-Йорке и тот, пожалуй, спасует перед этим. Тут у вас и кокосы, и мартышки, и попки, так ведь?

— Да, — ответил Джедди. — Я совершенно уверен, что наша флора и фауна могли бы затмить флору и фауну Центрального парка.

— Возможно! — согласился Смит весьма охотно. — Я их не видал. Но думаю, что по животной и растительной части вы нас перешибете. А много ли у вас путешественников?

— Путешественников? — переспросил консул. — Вы, должно быть, хотите сказать, пассажиров, приезжающих на пароходах? Нет, мало кто останавливается в Коралио. Разве что деловой человек, ищущий, куда поместить капиталы, а туристы и любители красивых видов обычно проезжают дальше, в те города, где есть гавани.

— А вот этот пароход, который нагружают бананами? — сказал Смит. — Есть на нем пассажиры какие-нибудь?

— Это «Карлсефин», — сказал консул. — Фруктовое судно без правильных рейсов. Сейчас оно, кажется, пришло из Нью-Йорка. На нем нет пассажиров. Я видел его шлюпку, когда она шла к берегу, и там не было никого постороннего. Ведь это, в сущности, наше единственное развлечение — рассматривать пароходы, которые прибывают к нам; всякий пассажир — большое событие в городе. Если вы намерены пожить некоторое время в Коралио, мистер Смит, я буду рад познакомить вас с несколькими здешними жителями. Здесь есть американцы — пять-шесть человек, — с которыми приятно познакомиться, а также лучшие представители местного общества.

— Спасибо, — сказал Смит. — Не беспокойтесь! Рад бы поболтать с земляками и прочее, но я здесь на самое короткое время. Этот важный там, на берегу, говорил о каком-то докторе, не можете ли вы сказать мне, где этот доктор живет? «Бродяга» не так твердо стоит на ногах, как гостиница на Бродвее, в Нью-Йорке, и с человеком то и дело приключается морская болезнь. Хорошо бы запастись пилюлями в дорогу, горсть маленьких и сладких пилюль не мешает.

— Вернее всего вы застанете доктора Грэгга в гостинице, — сказал консул. — Гостиница видна отсюда: то двухэтажное здание с балконом, где апельсиновые деревья.

Отель де лос Эстранхерос был мрачен, его избегали и свои и чужие. Он стоял на углу улицы Гроба Господня. К одному его крылу примыкала роща молодых апельсиновых деревьев, окруженная низкой каменной оградой, через которую легко мог перешагнуть человек высокого роста. Дом был оштукатурен, соленый ветер и солнце расцветили его пятнами всевозможных оттенков. На верхний балкон его выходила дверь и два окна с деревянными жалюзи вместо рам.

Из нижнего этажа две двери открывались на узкий каменный тротуар. Здесь внизу помещалась pulperia — распивочная, которую содержала хозяйка гостиницы, мадама Тимотеа

Ортис. Позади прилавка на бутылках с водкой, анисовкой, шотландской горькой и дешевыми винами лежала густая пыль, разве что редкий гость оставит на бутылке следы своих пальцев. В верхнем этаже было пять или шесть номеров, которые почти всегда пустовали. Редко-редко какой-нибудь плантатор прискачет на коне из своего сада, чтобы потолковать со своим агентом по продаже фруктов, и проведет меланхолическую ночь в одном из этих верхних номеров; иногда мелкий чиновник-туземец, приехавший сюда с помпой по какому-нибудь пустяковому казенному делу, в испуге предаст себя гробовому гостеприимству мадамы. Но мадама, вполне довольная, сидела за стойкой и не пыталась бороться с судьбой. Если кому нужно поесть, или выпить, или переночевать в отеле де лос Эстранхерос — милости просим, пожалуйста. *Esta bueno. {Отлично (исп.)}* Если же никто не приходит — ну что же! Никто не приходит. *Esta bueno.*

Когда изумительный Смит пробирался по зыбким тротуарам улицы Гроба Господня, единственный постоянный жилец этого увядшего отеля сидел возле дверей, улаживая себя дуновением моря.

Доктору Грэггу, карантинному врачу, было лет пятьдесят — шестьдесят. Он обладал румяными щеками и самой длинной бородой между Огненной Землей и Топикой. Должность карантинного врача досталась ему потому, что медицинский департамент в морском городке некоего южного штата испугался желтой лихорадки — этого древнего бича всех южных портов. Доктору Грэггу вменялось в обязанность осматривать команду и пассажиров всякого судна, покидающего Коралию, — не окажется ли у них ранних симптомов болезни. Обязанность легкая, жалование — для живущего в Коралию — большое. Свободного времени много, и милый доктор стал пополнять свои заработки частной практикой среди жителей всего побережья. По-испански он не знал и десяти слов, но это не смущало его: не нужно быть лингвистом, чтобы щупать пульс и получать гонорар. Если прибавить к этому, что доктор постоянно стремился рассказать одну историю по поводу трепанации черепа, что ни разу никто не дослушал этой истории до конца и что водку он считал профилактическим средством, то этим будут исчерпаны все его наиболее интересные качества. Доктор вынес на улицу стул. Он сидел без пиджака, прислонившись к стене, курил и поглаживал бороду. В его выцветших голубеньких глазках выразилось изумление, когда он увидел Смита в костюме всех цветов радуги.

— Вы и есть доктор Грэгг, не так ли? — сказал Смит, теребя украшавшую его галстук булавку: собачью голову. — Констебль... то есть консул, сказал мне, что вы живете в этом караван-сараяе. Моя фамилия Смит. Я приехал на яхте. Просто так, для прогулки: поглядеть на обезьян и ананасы. Зайдем-ка под крышу, док, и выпьем. Вид у этого кафе паршивый, но авось и в нем найдется влага.

— Я с удовольствием разделю ваше общество, сэр, — сказал доктор Грэгг, бодро вставая, — и позволю себе проглотить одну рюмочку водки. Я нахожу, что в качестве профилактического средства небольшая порция водки необычайно полезна при здешних климатических условиях.

Они направились к пульперии, как вдруг туземец, босой, бесшумно приблизился к ним и обратился к доктору на испанском языке. Он весь был серо-желтого цвета, как перезрелый лимон; на нем была рубаха из бумажной ткани, рваные полотняные брюки и кожаный пояс. Лицо у него было как у зверька, подвижное и шустрое, но проблесков ума было мало. Он заговорил взволнованно и так серьезно, что жаль было глядеть, как столько пыла пропадает напрасно.

Доктор Грэгг пощупал его пульс.

— Больны?

— *Mi mujer esta enferma en la casa,* — сказал человек; он сообщил на единственном доступном ему языке, что его жена лежит больная в лачуге под пальмовой крышей.

Доктор вытащил из кармана горсточку капсьюль, наполненных каким-то белым порошком. Он отсчитал десять штук, дал их туземцу и выразительно поднял указательный палец.

— Принимай по одной каждые два часа.

Тут он поднял два пальца и с чувством помахал ими перед лицом туземца. После этого он достал часы и дважды обвел пальцем вокруг циферблата. Затем два пальца опять потянулись к самому носу пациента.

— Два... два... два часа... — повторил доктор.

— *Si, Senor, {Да, сеньор (исп.)}* — безрадостно сказал пациент. Он вытащил из своего кармана дешевые серебряные часы и сунул их доктору в руку.

— Мой принесет, — говорил он, мучительно борясь с теми немногими английскими словами, которые были случайно известны ему, — мой принесет завтра другие часы.

Потом он удалился, унылый, со своими капсюлями.

— Невежественный народ, сэр! — сказал доктор, опуская часы в карман. — Кажется, этот субъект смешал мой рецепт с гонораром. Ну, не беда. Он все равно мой должник. А других часов — это он врет — не принесет! Разве можно полагаться на этих людей? Обещают и надуют... Ну а как же наша выпивка, мистер Смит? Каким путем вы прибыли в Коралию? Я и не знал, что в последнее время, кроме «Карлсефина», нас посетили другие суда.

Они остановились у покинутой стойки; доктор не промолвил больше ни слова, но мадама уже поставила перед ним бутылку. На этой бутылке пыли не было.

После второго стакана Смит сказал:

— Вы говорите, док, на «Карлсефине» нет пассажиров. А уверены вы в этом, мой милый? Как будто на берегу говорили, что есть... Двое или трое.

— Ни одного, — сказал доктор. — Я сам делал медицинский осмотр. Видел всю команду, там нет ни одного пассажира. Пароход снимется с якоря чуть только закончит погрузку, то есть рано утром, на рассвете... Все формальности уже закончены. Нет, там нет никаких пассажиров. Как вам нравится этот коньяк? Его привезла французская шкуна с месяц назад, целых две шлюпки с коньяком. Пари держу, что наша знаменитая республика не получила за него ни реала пошлины. Но вы не желаете пить? Тогда выйдем на улицу и посидим в холодке. Не часто нам, изгнанникам, случается беседовать с людьми из внешнего мира.

Доктор вынес на улицу еще один стул, поставил его рядом со своим и усадил нового знакомого.

— Вы человек бывалый, — сказал он. — Вы много путешествовали, много видели. Ваше суждение в вопросах этики, а также в вопросах чести, права и профессионального долга имеет значительный вес. Я был бы рад, если бы вы позволили мне рассказать один случай, который в летописях современной медицины является небывалым событием. Лет девять назад, когда я занимался практикой в моем родном городе, меня пригласили к больному, у которого была контузия черепа. Осколок кости нажимает на мозг — таков был мой диагноз. Хирургическая операция, называемая трепанацией черепа, была неизбежна. Но так как пациент был джентльменом богатым и уважаемым в городе, я счел необходимым пригласить на консилиум...

Смит вскочил с места и с видом нежной мольбы положил руку на плечо собеседнику.

— Вот что, док! — сказал он торжественным тоном. — Дело это очень интересное, и мне будет жаль не дослушать до конца. Я уже по началу чувствую, что дальше будет нечто замечательное, и я намерен изложить всю историю, если позволите, на ближайшем медицинском конгрессе. Но у меня срочные дела. Я живо управлюсь с ними и опять приду к вам вечером. И вы доскажете мне всю эту историю. Ладно?

— Конечно, конечно, — сказал доктор. — Идите раньше по своим делам, кончайте их и приходите сюда. Я подожду. Дело в том, что на консилиуме один из самых выдающихся врачей утверждал, будто у больного в мозгу сгустки крови, другой говорил, что нарыв, но я...

— Что вы делаете? Зачем вы рассказываете? Этак вы испортите всю вашу историю. Подождите, пока я вернусь. Тогда вы размотаете всю эту повесть медленно, как нитку с катушки.

Горы подняли свои мускулистые плечи, чтобы коням Аполлона промчаться по ним на покой, день умер и в лагунах, и в тенистых банановых рощах, и в мангровых болотах, откуда

выползли синие крабы для ночных прогулок по земле. И, наконец, он умер на высочайших вершинах. Потом — краткие сумерки, эфемерные, как полет мотылька, и вот верхнее око Южного Креста выглянуло из-за пальмовой аллеи, и огромные светляки возвещают своими факелами тихое пришествие ночи.

В море «Карлсефин» качался на якоре. Казалось, что его огни пронзают воду своими дрожащими копьями до неизмеримых глубин. Карибы грузили пароход, то и дело подвезжая к нему на больших плоскодонках, доверху полных бананами.

На песчаном берегу, прижавшись спиной к кокосовой пальме, весь окруженный окурками бесчисленных сигар, сидел Смит и глядел неустанно, не сводя своих острых глаз с парохода.

Этот нелепый турист почему-то сосредоточил все свое внимание на невиннейшем «фруктовом» пароходе. Дважды ему было сказано, что там нет ни одного пассажира. И все же с настойчивостью, которая едва ли подобала столь беспечному гуляке, он проверял эти сведения собственными глазами. Изумительно похожий на какую-то яркую и пеструю ящерицу, он скрючился у подножия кокосовой пальмы и кругленькими бойкими глазенками ящерицы вонзился в пароход «Карлсефин».

На белом песке покоилась еще более белая, принадлежавшая яхте гичка под охраной одного из ее белых матросов. Неподалеку, в прибрежной пульперии на Калье Гранде, три других матроса с яхты сражались друг с другом вокруг единственного в Коралио бильярда. Казалось, был отдан приказ, чтобы лодка была в любую минуту готова к отплытию. Вообще в атмосфере было ожидание, предчувствие — вот-вот что-то должно случиться, что совершенно чуждо воздуху Коралио.

Словно какая-то разноцветная залетная птица, Смит опустил на этот усеянный пальмами берег лишь для того, чтобы почистить перышки и опять улететь на бесшумных крыльях. Когда забрезжило утро, уже не было ни Смита, ни гички, ни яхты. Смит никому не оставил никаких поручений; он не оставил следов, по которым могли бы прочесть его тайну на песчаном побережье Коралио. Он появился, поговорил на своем странном жаргоне, жаргоне кафе и асфальта; посидел под кокосовой пальмой — и сгинул. На следующее утро Коралио, бессмитный, ел бананы и говорил: «Человек в раскрашенных одеждах ушел прочь». Вместе с сиестой *{Послеобеденный сон (исп.)}* весь этот случай отошел, зевая, в историю.

Та же участь до поры до времени должна постигнуть Смита и в нашем рассказе. Пусть подождет за кулисами. Он никогда не вернется в Коралио, никогда не вернется к доктору Грэггу, который напрасно сидит у порога, поглаживая роскошную бороду и готовясь обогатить своего залетного слушателя волнующей повестью о трепанации черепа и кознях завистников.

Но все же Смит снова возникнет среди этих разрозненных страниц: он пропорхнет среди них, чтобы придать им ясности. Тогда он поведаст нам, почему он разбросал в ту ночь столько взволнованных сигарных окурков вокруг кокосовой пальмы. Он обязан рассказать нам это; ибо, когда перед самым рассветом он отбыл на своем «Бродяге», он увез с собою и ключ к загадке, такой большой и нелепой, что немногие в Коралио осмеливались хотя бы загадать ее.

IV. Пойманы!

Президенту Мирафлоресу и его спутнице было мудрено ускользнуть. Сам доктор Савалья отправился в порт Аласан выставить в этом пункте сторожевые патрули. И в Солитасе это дело было поручено человеку надежному: либеральному патриоту Варрасу. Наблюдение за окрестностями Коралио взял на себя Гудвин.

Известие о побеге президента было сообщено лишь наиболее верным членам честолюбивой политической партии, жаждавшей захватить в свои руки власть. Телеграфный провод, соединяющий город с Сан-Матео, был перерезан далеко в горах одним из подручных Савальи. Когда еще отремонтируют провод, когда еще пошлют из столицы депешу, а беглецы

уже достигнут берега и будут пойманы или успеют ускользнуть.

Гудвин поставил вооруженных часовых вдоль берега — на милю от Коралио — справа и слева. Часовым было строго наказано с особым вниманием следить по ночам, чтобы не дать Мирафлоресу возможности воспользоваться челноком или шлюпкой, случайно найденными у края воды. Законспирированные патрули расхаживали по улицам Коралио, готовые схватить беглого сановника, как только он появится в городе.

Гудвин был уверен, что все меры предосторожности приняты. Он ходил по улицам, которые, при всех своих громких названиях, были всего лишь узкими, заросшими травой переулками, и глядел во все глаза, внося и свою лепту в дело охраны Коралио, порученное ему Бобом Энглхартом.

Город уже вступил в медлительный круг своих ежевечерних развлечений. Несколько томных денди, облаченных в белые костюмы, с развевающимися лентами галстука, размахивая бамбуковыми тросточками, прошли по тропинкам к своим сеньоритам. Влюбленные в музыку либо неустанно растягивали плаксивое концертно, либо в окнах и в дверях перебирали унылые гитарные струны. Изредка пронесется случайный солдат, без мундира, босой, в соломенной шляпе с широкими обвисшими полями, балансируя длинным ружьем. Повсюду в густой листве гигантские древесные лягушки квакали раздражающе громко. Дальше, у опушки джунглей, где кончались тропинки, спесивое молчание леса нарушали гортанные крики мародеров-павианов и кашель аллигаторов в черных устьях болотистых рек.

К десяти часам улицы опустели. Болезненно-желтые огоньки керосиновых фонарей были погашены каким-нибудь экономным приспешником власти. Коралио спокойно почивал между нависшими горами и вторгшимся морем, как похищенный младенец на руках у своих похитителей. Где-нибудь там, в этой тропической тьме, может быть уже внизу у моря, авантюрист-президент и его подруга продвигались к краю земли. Игра «Лиса-на-рассвете» скоро, скоро придет к концу.

Гудвин своей обычной неспешной походкой прошел мимо длинного и низкого здания казарм, где отряд анчурийского войска предавался мирному сну, воздев к небесам свои голые пятки. По закону, лица гражданского звания не имели права подходить так близко к этой боевой цитадели после девяти часов вечера, но Гудвин всегда забывал о таких пустяках.

— *Quien vive? {Кто идет? (исп.)}* — крикнул часовой, с усилием вскидывая свой длинный мушкет.

— *Americano*, — проворчал Гудвин, не поворачивая головы, и прошел беспрепятственно.

Направо он повернул и налево, по направлению к Национальной площади. Улицу, по которой он шел, пересекала улица Гроба Господня. За несколько шагов до нее Гудвин остановился как вкопанный.

Он увидел высокого мужчину, одетого в черное, с большим саквояжем в руке. Мужчина быстрыми шагами шел к берегу вниз по улице Гроба Господня. Вторично взглянув на него, Гудвин увидел, что рядом с ним идет женщина, которая не то торопит его, не то помогает ему продвигаться возможно быстрее. Шли они молча. Они жили не в Коралио, эти двое.

Гудвин шел за ними, ускорив шаги, но без всяких ловких шпионских ужимок, столь любезных сердцу ищейки. Он был слишком широк и осанист, инстинкты сыщика ему не пристали. Он считал себя агентом анчурийского народа и, не будь у него политических соображений, тут же потребовал бы возвращения денег. Его партия поставила себе целью найти похищенную сумму, вернуть ее в казну и добиться власти без кровопролития и сопротивления.

Неизвестные остановились у входа в отель де лос Эстранхерос, и мужчина постучался в дверь с нетерпением человека, не привыкшего, чтобы его заставляли ждать. Мадама долго не отзывалась; наконец в окне показался свет, дверь отворилась, и гости вошли.

Гудвин стоял в тихой улице и закурил еще одну сигару. Через две-три минуты наверху сквозь щели жалюзи пробился слабый свет.

— Они заняли номера, — сказал Гудвин. — Значит, ничего еще не готово к отплытию.

В эту минуту мимо прошел Эстебан Дельгадо, парикмахер, враг существующей власти, веселый заговорщик против всякого застоя. Этот парикмахер был одним из отъявленных гуляк Коралио, его часто можно было встретить на улице в одиннадцать часов — время позднее! Он был либералом и напыщенно приветствовал Гудвина как соратника в борьбе за свободу. Однако видно было, что у него какие-то важные вести.

— Подумайте только, дон Франк, — зашептал он тем голосом, каким во всем мире говорят заговорщики. — Сегодня я брил la barba — то, что вы зовете бородой, у самого Presidente. Вы только подумайте! Он послал за мною. В бедной casita одной здешней старухи он ждал меня — в очень маленьком домике, в темном месте. Caramba! До чего дошло — el Senor Presidente должен так таиться и прятаться. Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его узнали, но, черт возьми, можете вы брить человека и не увидеть его лица? Он дал мне эту золотую монетку и сказал, чтобы я помалкивал.

— А раньше вы видали когда-нибудь президента Мирафлореса? — спросил Гудвин.

— Видел раз, — отвечал Эстебан. — Он высокий, у него была борода, очень черная и большая.

— Был ли кто в комнате, когда вы брили его?

— Старуха краснокожая, сеньор, та, которой принадлежит эта хижина, и одна сеньорита, о, такая красавица — ah, dios!

— Отлично, Эстебан, — сказал Гудвин. — Это очень хорошо, что вы поделились со мной вашим парикмахерским опытом. Будущее правительство не забудет вам этой услуги.

И Гудвин вкратце рассказал парикмахеру о том кризисе, который переживает страна, и предложил ему остаться здесь, на улице, возле отеля, и следить, чтобы никто не пытался бежать через окно или дверь. Сам же Гудвин подошел к той двери, в которую вошли гости, открыл ее и шагнул через порог.

Мадама только что спустилась вниз. Она ходила смотреть, как устроились ее постояльцы. Ее свеча стояла на прилавке. Мадама намеревалась выпить крохотную рюмочку рома, чтобы вознаградить себя за прерванный сон. Она не выразила ни удивления, ни испуга, когда увидела, что входит еще один посетитель.

— Ах, это сеньор Гудвин. Не часто удостаивает он мой бедный дом своим присутствием.

— Да, мне следовало бы приходить к вам почаще, — сказал Гудвин, улыбаясь по-гудвински. — Я слышал, что от Белисе на севере до Рио на юге ни у кого нет лучшего коньяка, чем у вас. Поставьте же бутылочку, мадама, и давайте отведаем его вдвоем.

— Мой aguardiente, — сказала не без гордости мадама, — самого первого сорта. Он растет среди банановых деревьев, в темных местах, в очень красивых бутылках. Si, Senor. Его можно срывать только ночью; его срывают матросы, которые приносят его до рассвета к задней двери, к черному крыльцу. С хорошим aguardiente очень много возни, сеньор Гудвин. Нелегко разводить эти фрукты.

Говорят, что конкуренция — основа торговли. В Коралио основой торговли была контрабанда. О ней говорили с оглядкой, но все же хвастались, если она удавалась.

— Сегодня у вас постояльцы, — сказал Гудвин, кладя на стойку серебряный доллар.

— А почему бы и нет? — сказала мадама, отсчитывая сдачу. — Двое. Только что прибыли. Один сеньор, еще не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенькая. Они поднялись к себе в комнаты, не захотели ни есть, ни пить. Их комнаты — номеро девять и номеро десять.

— Я давно жду этого джентльмена и эту леди, — сказал Гудвин. — У меня к ним важное дело. Можно мне повидать их теперь?

— Почему бы не повидать? — сказала мадама спокойно. — Почему бы сеньору Гудвину не подняться по лестнице и не поговорить со своими друзьями? Esta bueno. Комната номеро девять и комната номеро десять.

Гудвин отстегнул в кармане свой револьвер и поднялся по крутой темной лестнице.

В коридоре наверху, при свете лампы, распространявшей шафрановый свет, Гудвин легко рассмотрел большие цифры, ярко намалеванные на дверях. Он нажал дверную ручку

девятого номера, вошел и затворил за собой дверь.

Если женщина, сидевшая у стола в этой убого обставленной комнате, была Изабеллой Гилберт, то надо сказать, что молва не отдала должного ее чарующей прелести. Она склонилась головой на руку. В каждой линии ее тела чувствовалась страшная усталость; на ее лице была тревога. Глаза у нее были серые, той формы, какая, очевидно, присуща очам всех знаменитых покорительниц сердец; белки блестящие, необычайной белизны. Сверху они были спрятаны тяжелыми веками, снизу оставалась открытой белоснежная полоска. Такие глаза выражают великую силу, великое благородство и — если только можно вообразить себе это — самоотверженный и щедрый эгоизм. Когда американец вошел, она подняла глаза с видом удивленным, но не испуганным.

Гудвин снял шляпу и со свойственной ему спокойной непринужденностью уселся на край стола. В руке у него дымилась сигара. Он решил быть фамильярным, так как знал, что слишком церемониться с мисс Гилберт не стоит: церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь; ему было известно, какую малую роль играли в этой жизни условности.

— Добрый вечер, — сказал он. — Ну, madame, не будемте мешкать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в саквояже. Это-то и привело меня сюда. Я пришел сказать вам: сдавайтесь без боя — я сейчас же продиктую вам условия.

Дама не шевельнулась и не сказала ни слова. Не отрываясь смотрела она на кончик его сигары.

— Мы, — продолжал Гудвин, раскачивая ногою и разглядывая свою изящную туфлю из оленьей кожи, — я говорю от лица значительного большинства всего народа, — мы требуем возвращения украденных денег, которые принадлежат народу; больше мы, в сущности, ничего не хотим. Наши требования очень несложны. Как представитель народа, я даю вам честное слово, что, если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги и уезжайте с вашим спутником, куда хотите. Вам даже будет оказана помощь; вам помогут уехать отсюда на любом пароходе, на каком вы только пожелаете. От себя же я могу только присовокупить, что у джентльмена из десятого номера удивительно тонкий вкус в отношении женской красоты.

Гудвин снова сунул сигару в рот и заметил, что дама ледяным взглядом следит за нею, подчеркнуто сосредоточив на ней все свое внимание. Очевидно, она не слыхала ни слова. Он спохватился, выбросил сигару в окно и с веселым смехом встал со стола.

— Так лучше, — сказала дама. — Теперь я могу выслушать вас. Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, скажите мне ваше имя. Нужно же мне знать, как зовут человека, который оскорбляет меня.

— Жаль, — сказал Гудвин, опираясь рукой о стол, — нет у меня сейчас времени для этикета. Послушайте, я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что хорошо понимаете, в чем состоит ваша выгода. Вот вам еще один случай обнаружить вашу незаурядную смышленость. В этом деле секретов нет. Я — Франк Гудвин. Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги уже давно были бы у меня в руках. Вы хотите, чтобы я сказал вам, в чем дело? Извольте. Джентльмен из десятого номера пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен; но если обстоятельства заставят меня увидеться с ним и он окажется высоким должностным лицом республики, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной, убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные условия, Я даже готов отказаться от личной беседы с джентльменом из десятого номера. Принесите мне саквояж с деньгами, и больше мне ничего не надо.

Дама встала с кресла и целую минуту стояла в глубоком раздумье.

— Вы живете здесь, мистер Гудвин? — спросила она наконец.

— Да.

— По какому праву вы вошли в мою комнату?

— Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте... джентльмена из

десятого номера.

— Можно задать вам два или три вопроса? Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости в вас, кажется, больше, чем деликатности. Что это за город — этот... Коралио, так, кажется, он называется?

— Ну какой же это город! — сказал Гудвин с улыбкой. — Так, городишко банановый! Соломенные лачуги, глинобитные домики, пять-шесть двухэтажных домов, удобств мало; население: помесь индейцев с испанцами, карибы, чернокожие. Развлечений никаких. Нравственность в упадке. Даже тротуаров порядочных нет. Вот вам описание Коралио, очень, конечно, поверхностное.

— Но есть же и достоинства, не правда ли? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов поселиться в этом городе надолго?

— О да! — сказал Гудвин, широко улыбаясь. — Достоинства есть, и огромные. Во-первых, полное отсутствие шарманок. Во-вторых, никого не приглашают к вечернему чаю. И в-третьих, широкое гостеприимство для преступников: бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они убежали.

— А он говорил мне, — промолвила дама, слегка нахмурившись и словно думая вслух, — что тут, на этом берегу, красивые большие города, что в них очень хорошее общество, особенно американская колония, состоящая из очень культурных людей.

— Да, здесь есть американская колония, — сказал Гудвин, с некоторым удивлением взирая на даму, — иные из них ничего. Но иные убежали от правосудия. Я помню двух сбежавших директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову — ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор, кажется, еще не прославил себя никаким сколько-нибудь заметным преступлением.

— Не теряйте надежды, — сказала дама сухо, — ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь. Произошла какая-то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка произошла несомненно. Но его вы не должны тревожить. Путешествие утомило его. Он буквально свалился с ног и, кажется, заснул не раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах! Я вас не понимаю. Вы, несомненно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Подождите здесь, я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете.

Она направилась к закрытой двери, что соединяла оба номера, но остановилась и окинула Гудвина серьезным, испытующим взглядом, который разрешился непонятной улыбкой.

— Вы насильно ворвались в мою комнату, вы вели себя как грубиян и предъявили мне позорнейшие обвинения; и все же... — тут она помедлила, как бы ища подходящее слово, — и все же... и все же это очень странно. Я уверена, что произошла ошибка.

Она сделала шаг к двери, но Гудвин остановил ее легким прикосновением руки. Я уже говорил, что женщины невольно оглядывались, когда он проходил мимо них. Он был из породы викингов, большой, благообразный и добродушно-воинственный. Она была брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнели, то пылали. Я не знаю, брюнетка или блондинка была Ева, но мудрено ли, что яблоко было съедено, если такая женщина обитала в раю?

Этой женщине суждено было сыграть большую роль в жизни Гудвина, но он еще не знал этого; все же какое-то предчувствие у него, очевидно, было, потому что, глядя на нее и вспоминая то, что о ней говорили, он испытал очень горькое чувство.

— Если и произошла здесь ошибка, — сказал Гудвин запальчиво, — то виноваты в этом вы. Я не обвиняю человека, который простился с родиной и честью и скоро должен будет проститься с последним утешением — с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Я теперь понимаю, что привело его к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как вы, заполняют наше побережье несчастными, которые принуждены здесь скрываться. Именно из-за таких мужчины забывают свой долг и доходят...

Дама остановила его усталым движением руки.

— Прекратите ваши оскорбления, — холодно сказала она, — я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю, какая глупая ошибка привела вас сюда, но если я избавлюсь от вас,

показав вам этот саквояж, я принесу его сию же минуту.

Она быстро и бесшумно вошла в соседнюю комнату и вернулась с тяжелым кожаным саквояжем, который и вручила американцу с видом покорного презрения.

Гудвин быстро поставил саквояж на стол и начал отстегивать ремни. Дама стояла подле с выражением бесконечной гадливости и утомления.

Саквояж широко распахнул свою пасть. Когда Гудвин извлек оттуда лежавшее сверху белье, внизу оказались туго перевязанные пачки крупных кредитных билетов государственного банка Соединенных Штатов. Судя по цифрам, написанным на бандеролях, там было никак не меньше ста тысяч.

Гудвин поднял глаза на женщину и увидел с удивлением и странным удовольствием (почему с удовольствием, он и сам не умел бы сказать), что она потрясена непритворно. Глаза ее расширились, у нее захватило дыхание, и она тяжело облокотилась о стол. Значит, она и вправду не знала, что ее спутник ограбил казну. Но почему, с раздражением допытывался Гудвин у себя самого, он так обрадовался, убедившись, что эта бродячая авантюристка-певица совсем не так черна, как ее изображала досужая сплетня?

Шум в соседней комнате заставил их обоих встрепенуться. Дверь широко распахнулась, и в комнату быстро вошел высокий, смуглый, свежесбрившийся пожилой человек.

Все портреты президента Мирафлореса изображают его обладателем холеной, роскошной бороды. Но парикмахер Эстебан уже подготовил Гудвина к такой перемене.

Он выбежал из полутемной комнаты, отяжелевший от сна, мигая от яркого света лампы.

— Что это значит? — спросил он на чистейшем английском языке, бросив на Гудвина острый взволнованный взгляд. — Воровство?

— Да, воровство, — ответил Гудвин. — Но я вовремя принял меры и не дал этому воровству совершиться. Я действую от имени людей, которым принадлежат эти деньги. Я пришел, чтобы взять эти деньги и вернуть их настоящим владельцам.

Он быстро сунул руку в карман своего просторного полотняного пиджака.

Старик сделал то же движение.

— Не надо! — резко крикнул Гудвин. — Я выну быстрее, и вам будет худо...

Женщина шагнула вперед и положила руку на плечо своего поникшего спутника. Она указала на стол.

— Скажи мне правду... Скажи мне правду... — повторила она тихим голосом. — Кому принадлежат эти деньги?

Тот не ответил. Он испустил очень глубокий вздох, наклонился к женщине, поцеловал ее в лоб, шагнул в соседнюю комнату и плотно закрыл за собой дверь.

Гудвин догадался, в чем дело, и кинулся к двери, но из-за двери раздался выстрел в ту самую минуту, когда он схватился за ручку. Послышалось падение тяжелого тела, и кто-то оттолкнул Гудвина и кинулся к упавшему.

Должно быть, подумал Гудвин, горе, более тяжелое, чем потеря любовника и золота, жило в сердце этой чаровницы, если в такую минуту у нее вырвался крик, с которым бегут к всепрощающей, к лучшей из всех земных утешительниц, если в этой поруганной, окровавленной комнате она застонала:

— О мама, мама, мама!

Но на улице уже была суматоха. Парикмахер Эстебан при звуке выстрела поднял тревогу. Выстрел и без того всколыхнул половину всего населения. Улица зашумела шагами, в тихом воздухе явственно слышались распоряжения начальства. Гудвину предстояло еще одно дело. Обстоятельства вынудили его стать охранителем богатств, принадлежавших его новой родине. Быстро запихал он деньги назад в саквояж, закрыл его и, высунувшись из окна почти всем корпусом, бросил свою добычу в самую чащу апельсиновых деревьев, что росли в маленьком садике, примыкавшем к отелю.

Вам подробно расскажут в Коралио, чем окончилась эта драма: в Коралио любят беседовать с заезжими людьми. Вам расскажут, как представители закона рысью примчались в отель, заслышав тревогу. — Comandante в красных туфлях и куртке как у метрдотеля,

препоясанный шпагой, солдаты с необыкновенно длинными ружьями, офицеры, которых было больше, чем солдат, офицеры, напяливающие на ходу эполеты и золотые аксельбанты, босые полицейские и взбудораженные горожане самых разнообразных цветов и оттенков.

Вам расскажут, что лицо убитого сильно пострадало от выстрела, но что и Гудвин, и цирюльник Эстебан, оба засвидетельствовали, что это президент Мирафлорес. На следующее утро по исправленному телеграфному проводу в город стали приходить депеши, и бегство президента стало известно всем. В Сан-Матео оппозиционная партия без всякого сопротивления захватила скипетр власти, и громкие vivas переменчивой черни быстро изгладили всякий интерес к незадачливому Мирафлоресу.

Вам расскажут, как новое правительство обшарило все города и обыскало дороги в поисках саквояжа, содержащего финансы Анчурии, которые похитил президент. Но все было напрасно. В Коралио сам сеньор Гудвин организовал особый отряд, который прочесал весь город, как женщина расчесывает волосы, но деньги пропали бесследно.

Мертвого похоронили без почестей, на задворках города, у мостика, переброшенного через болото, и за один реал любой мальчишка покажет вам его могилу. Говорят, что та старуха, у которой брился покойный, поставила у него в головах деревянную колоду и выжгла на ней надпись каленым железом.

Вы услышите также, что сеньор Гудвин стойко оберегал донну Изабеллу Гилберт в эти дни волнений и скорби, что ее прошлое перестало смущать его (если только прежде оно его смущало!), что привычки легкомысленной и разгульной жизни изгладились у нее совершенно (если были у нее такие привычки), что Гудвин женился на ней и что они были счастливы.

Американец построил себе дом за городом, на невысоком холме у подножия горы. Дом построен из драгоценного местного дерева, которое само по себе, если вывезти его в иные страны, дало бы человеку состояние, а также из стекла, кирпича, бамбука и местной глины. Вокруг дома раскинулся рай, но такой же рай и в самом доме. Когда местные жители говорят об убранстве дома, они в восторге поднимают руки ввысь. Там полы такие гладкие, как зеркала. Там шелковые индейские ковры и циновки ручной работы. Там картины, статуи, музыкальные инструменты и — «вы только представьте себе!» — оклеенные обоями стены.

Но никто не скажет вам в Коралио (впоследствии вы сами узнаете это!), что случилось с деньгами, которые Франк Гудвин швырнул в апельсиновую чашу. Об этом мы сейчас не говорим, ибо пальмы зыблются от легкого ветра и зовут нас к приключениям и радостям.

V. Еще одна жертва Купидона

Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровяном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Граффенрида Этвуда из местечка Дэйлсбург, штат Алабама, в качестве заместителя вышедшего в отставку Уилларда Джедди.

При всем уважении к мистеру Этвуду мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно самоизгнавшемуся Джедди, он был жертвою женской лукавой улыбки, которая погнала и его к презираемым федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог уехать далеко-далеко и никогда больше не видеть неверных прекрасных глаз, сгубивших его юную жизнь. Место консула в Коралио, казалось, обещало достаточно отдаленное и романтическое убежище, обещало придать идиллическим сценам дэйлсбургской жизни необходимый элемент драматизма.

В тот период, когда Джонни разыгрывал роль жертвы Купидона, он обогатил скорбные анналы Испанских морей своими мастерскими манипуляциями на обувном рынке, а также совершил небывалый подвиг — возвел самый презренный и бесполезный плевел своей родины в степень ценного объекта международной торговли.

Все неприятности, как это часто случается, начались с романа, вместо того чтобы окончиться им.

В Дэйлсбурге жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку бакалейных

и мануфактурных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. Вышеназванная молодая особа обладала неисчислимыми достоинствами, так что во всей округе сердца молодых людей волновались несказанно. И больше всех волновался Джонни, сын местного судьи Этвуда, который жил в большом и гордом доме на окраине Дэйлсбурга.

Казалось бы, прелестная Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней неравнодушен сам Этвуд: Этвуды еще до войны — и после войны — были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что она может войти хозяйкой в этот большой и важный, но пустоватый дом. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозное кучевое облако в образе дюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда.

Однажды вечером Джонни задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Все атрибуты были налицо: луна, олеандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Встала ли между ними роковая тень Пинкни Доусона, удачливого фермера, нам неизвестно, но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали. Мистер Джон де Граффенрид Этвуд отвесил такой низкий поклон, что его шляпа коснулась травы, и удалился прочь, высоко подняв голову, но чувствуя, что его гербу и сердцу нанесена неизлечимая рана. Какая-то Гемстеттер позволила себе отказать ему, Этвуду. Проклятие!

В том году в Соединенных Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ. Судья Этвуд издавна считался боевым конем этой партии. Джонни уговорил старика двинуть кое-какие колеса, дабы приискать для него место за границей. Ему хотелось уехать далеко-далеко. Может быть, когда-нибудь Розина поймет, как верно, преданно любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет снимать на завтрак Пинкни Доусону.

Колеса политики скрипнули, повернулись, и Джонни был назначен в Коралио консулом. Перед тем как тронуться в путь, он зашел к Гемстеттерам проститься. У Розины в тот день почему-то покраснели глаза; и если бы в комнате никого больше не было, может быть, Соединенным Штатам пришлось бы подыскивать другого консула. Но в комнате был, конечно, Пинк Доусон, без умолку говоривший о своем фруктовом саде в четыреста акров, о поле люцерны в три квадратных мили, о пастбище в двести акров. И Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на два дня в Монтгомери. Эти Этвуды, когда хотели, умели держать себя с королевским достоинством.

— Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать, — сказал Пинк Доусон. — У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот.

— Отлично, Пинк, — мягко и любезно сказал Джонни. — Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам знать.

И вот Джонни уехал в Мобил, откуда и отбыл в Анчурию на «фруктовом» пароходе.

По приезде в Коралио он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего двадцать два года от роду. Юноши не носят свое горе, как платье. Это удел пожилых. А у молодых оно перемежается с более острыми ощущениями.

На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Кью. Кью повел нового консула по городу и познакомил с горстью американцев, французов и немцев, составлявших иностранный контингент Коралио. Кроме того, ему, конечно, надлежало быть официально представленным местным властям и через переводчика передать свои верительные грамоты.

В молодом южанине было что-то, подкупавшее умудренного жизнью Кью. Новый консул держал себя просто, почти ребячливо, но в нем чувствовалась холодная независимость, свойственная более зрелым и опытным людям. Ни мундиры, ни титулы, ни чиновничья волокита, ни иностранные языки, ни горы, ни море — ничто не отягощало его сознания. Он был наследником всех эпох, он был Этвудом из Дэйлсбурга, и всякий мог прочесть любую мысль, зародившуюся у него в голове.

Джедди явился в консульство, чтобы ввести своего заместителя в обязанности новой службы. Вместе с Кью он попытался заинтересовать нового консула описанием того, какой

работы ждет от него правительство.

— Ну и прекрасно, — сказал Джонни из гамака, который он избрал в качестве служебного сидения. — Если потребуется что-нибудь сделать, вы этим и займетесь. Не воображаете же вы, что член демократической партии будет работать, пока он занимает официальный пост?

— Вы бы просмотрели вот эти заголовки, — предложил Джедди, — здесь перечислены все предметы экспорта, в которых вам придется отчитываться. Фрукты разбиты по сортам; потом идут ценные породы дерева, кофе, каучук...

— Этот последний пункт звучит приятно, — перебил его мистер Этвуд, — звучит, как будто его можно растянуть. Я хочу купить новый флаг, мартышку, гитару и бочку ананасов. Как вы думаете, хватит на все это вашего каучука?

— Это всего только статистика, — сказал Джедди, улыбаясь, — а вам нужен отчет о расходах. Тот обычно обладает некоторой эластичностью. Пункт «канцелярские принадлежности» в большинстве случаев не удостоивается особого внимания государственного департамента.

— Мы попусту теряем время, — сказал Кью. — Этот человек рожден для дипломатической службы. Он сумел проникнуть в самую суть этого искусства одним взглядом своего орлиного ока. В каждом его слове сквозит истинный административный гений.

— Я не для того занял эту должность, чтобы работать, — лениво объяснил Джонни. — Я хотел уехать в какое-нибудь место, где не говорят о фермах. Ведь здесь их, кажется, нет?

— Таких, к каким вы привыкли, нет, — отвечал экс-консул. — Искусства земледелия здесь не существует. Во всей Анчурии никогда не видели ни плута, ни жнейки.

— Вот это страна как раз по мне, — пролепетал консул и мгновенно уснул.

Веселый фотограф продолжал дружить с Джонни, несмотря на откровенные обвинения в том, что это якобы вызвано желанием абонировать постоянное кресло в излюбленном убежище — на задней веранде консульства. Но будь то из эгоистических или, напротив, из дружеских побуждений, Кью добился этого завидного преимущества. Почти каждый вечер друзья располагались на веранде, подставив лицо морскому ветру, задрав пятки на перила и придвинув поближе сигары и коньяк.

Однажды они сидели там, изредка перекидываясь словами, так как беседа их замерла под умиротворяющим влиянием изумительной ночи.

Светила огромная, полная луна, и море было перламутровое. Замолкли почти все звуки, воздух едва шевелился, город лежал усталый, ожидая, чтобы ночь освежила его. На рейде стоял «фруктовщик» «Андадор», пароходной компании «Везувий»; он был уже доверху нагружен и должен был отойти в шесть часов утра. Берег опустел. Луна светила так ярко, что с веранды можно было разглядеть камешки на берегу, поблескивающие там, где на них набегали волны и оставляли их мокрыми. Потом появился крошечный парусник, он медленно шел, не отдаляясь от берега, белокрылый, как большая морская птица. Он шел почти против ветра, отклоняясь то вправо, то влево длинными плавными поворотами, напоминая изящные движения конькобежца.

Вот он волей матросов опять приблизился к берегу, на этот раз почти что напротив консульства, и тут с него долетели какие-то чистые и непонятные звуки, словно эльфы трубили в рог. Да, это мог бы быть волшебный рожок, нежный, серебристый и неожиданный, вдохновенно играющий знакомую песню «Родина, милая родина».

Сцена была словно нарочно создана для страны лотоса. Ощущение моря и тропиков, тайна, связанная со всяким неведомым парусом, и прелесть далекой музыки над залитой луною водой — все чаровало и баюкало. Джонни Этвуд поддался очарованию и вспомнил Дэйлсбург; но Кью как только у него в голове созрела теория относительно этого непоседливого соло, вскочил с места, подбежал к перилам, и его оглушительный оклик прорезал безмолвие, как пушечный выстрел:

— Меллинджер, э-хой!

Парусник как раз повернул прочь от берега, но с него отчетливо донеслось в ответ:

— Прощай, Билли... е-ду до-мой, прощай!

Парусник шел к «Андадору». Очевидно, какой-то пассажир, получивший разрешение на отъезд в каком-то пункте дальше по побережью, спешил захватить фруктовое судно, пока оно не ушло в обратный рейс. Словно кокетливая горлица, лодочка зигзагами продолжала свой путь, пока, наконец, ее белый парус не растворился на фоне белой громады парохода.

— Это Г. П. Меллинджер, — объяснил Кьюу, снова опускаясь в кресло. — Он возвращается в Нью-Йорк. Он был личным секретарем покойного беглеца-президента этой бакалейно-фруктовой лавочки, которую здесь называют страной. Теперь его работа закончена, и, наверно, он себя не помнит от радости.

— Почему он исчезает под музыку, как Зозо, королева фей? — спросил Джонни. — Просто в знак того, что ему наплевать?

— Звуки, которые вы слышали, исходят из граммофона, — сказал Кьюу. — Это я ему продал. Меллинджер вел здесь игру, единственную в своем роде. Эта музыкальная вертушка однажды выручила его, и с тех пор он с ней не расстается.

— Расскажите, — попросил Джонни, проявляя признаки интереса.

— Я не распространитель повествований, — сказал Кьюу. — Я пользуюсь языком, чтобы говорить; но когда я пробую произнести речь, слова выскакивают из меня, как им вздумается, а когда ударяются об атмосферу, иногда получается смысл, а иногда и нет.

— Расскажите мне, какую он вел игру, — упорствовал Джонни. — Вы не имеете права мне отказывать. Я вам рассказал все решительно, обо всех жителях Дэйлсбурга без исключения.

— Ладно, расскажу, — сказал Кьюу. — Я только что говорил вам, что инстинкт повествования во мне атрофирован. Не верьте. Это искусство, которое я приобрел наряду со многими другими талантами и науками.

VI. Игра и граммофон

— Так в чем же состояла его игра? — спросил Джонни, проявляя нетерпение, свойственное широкой публике.

— Сообщить вам это, значит идти против искусства и философии, — спокойно сказал Кьюу. — Искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы. Хороший рассказ — все равно, что горькая пилюля, только сахар у нее не снаружи, а внутри. Я начну, если позволите, с того, как некоему воину из племени чероки предсказали судьбу, а закончу нравоучительной мелодией на граммофоне.

Мы с Генри Хорсколларом привезли в эту страну первый граммофон. Генри был на четверть индеец чероки, обучившийся на Востоке футбольному языку, а на Западе — винной контрабанде, и такой же джентльмен, как мы с вами. Характер у него был легкий и резвый; росту он был примерно шести футов и двигался, как резиновая шина. Да, небольшой был человек, примерно пять футов пять дюймов, либо пять футов одиннадцать. Ну, роста он был, что называется, среднего, не очень большой и не такой уж маленький. Генри один раз вылетел из университета и три раза вылетал из тюрьмы Маскоги — последнее потому, что вывозил из Штатов виски и продавал его, где не положено. Генри Хорсколлар никогда бы не позволил никакой табачной лавочке подобраться к нему и встать у него за спиной. Нет, он был не из этой породы индейцев.⁹

Мы с Генри встретились в Тексаркане и разработали наш граммофонный план. У него было триста шестьдесят долларов, вырученных за участок земли в резервации. Я только что прибыл из Литл-Рока, где оказался свидетелем очень прискорбной уличной сцены. Человек

⁹ В США принято перед магазинами табачных изделий ставить деревянные изображения индейцев.

стоял на ящике и предлагал желающим золотые часы — футляры на винтиках, заводятся ключиком, очень элегантно. В магазинах они стоили двадцать монет. Здесь их продавали по три доллара, и толпа буквально дралась из-за них. Человек где-то нашел целый чемодан этих часов, и теперь их раскупали у него, как горячие пирожки. Крышки футляров отвинчивались туго, но люди прикладывали футляры к уху, и там тикало этак приятно и успокаивающе. Трое часов были настоящие; остальное — один обман. А? Ну да, пустые футляры, а в них — такие черные твердые жучки, которые кружат около электрических ламп. Эти самые жучки так искусно отстукивают секунды и минуты, что любо-дорого слушать. Так вот человек, о котором я говорю, выручил двести восемьдесят восемь долларов, а потом уехал, потому что знал, что когда в Литл-Роке настанет время заводить часы, то для этого потребуется энтомолог, а у него была другая специальность.

Так вот я и говорю: у Генри было триста шестьдесят долларов, а у меня двести восемьдесят восемь. Идея везти в Южную Америку граммофон принадлежала Генри, но я жадно за нее ухватился, потому что питал пристрастие ко всяким машинам.

— Латинские расы, — говорит Генри, легко изъясняясь при помощи слов, которым его обучили в университете, — особенно склонны к тому, чтобы пасть жертвою граммофона. У них артистический темперамент. Они тянутся к музыке, к ярким краскам, к веселью. Они дают деньги шарманщику и четырехлапому цыпленку на ярмарке, когда за бакалею и за плоды хлебного дерева не плачено уже много месяцев.

— В таком случае, — говорю я, — будем экспортировать латинцам музыкальные консервы. Но я вспоминаю, что мистер Юлий Цезарь в своем отчете о них сказал: «*Omnia Gallia in tres partes divisa est*», {*Вся Галлия делится на три части (лат.)*}. что означает: «Умного галла в три партии не обставишь — вот мой девиз».

Мне очень не хотелось хвастать своей образованностью, но я не мог допустить, чтобы в синтаксисе меня забил какой-то индеец, представитель народа, не давшего нам ничего, кроме той земли, на которой расположены Соединенные Штаты.

Мы купили в Тексаркане отличный граммофон — самой лучшей марки — и целую кучу пластинок. Мы уложили чемоданы и направились поездом в Новый Орлеан. Из этого прославленного центра паточной промышленности и непристойных негритянских песенок мы отплыли на пароходе в Южную Америку.

Мы высадились в Солитасе, в сорока милях отсюда. Местечко на вид вполне сносное. Домишки были чистые, белые, и, глядя, как они воткнуты в окрестный пейзаж, я невольно вспоминал салат с крутыми яйцами. На окраине расположился квартал небоскребных гор; вели они себя тихо, словно подползли сзади и следят, что делается в городе. А море говорило берегу «шш-ш». Изредка в песок плюхался спелый кокосовый орех; вот и все. Да, тихий был городок. Я так думаю: когда Гавриил кончит трубить в рог и вагончик тронется — представляете картину, — Филадельфия цепляется за ремень, Пайн-Галли, штат Арканзас, повисла на задней площадке, — только тогда этот самый Солитас проснется и спросит, не говорил ли кто чего.

Капитан сошел с нами на берег и предложил возглавить то, что ему угодно было назвать похоронной процессией. Он представил нас с Генри консулу Соединенных Штатов и еще одному пегому — начальнику какого-то там Меркантильного департамента.

— Я опять загляну сюда через неделю, — сказал капитан.

— К тому времени, — отвечали мы ему, — мы будем наживать сказочное состояние с помощью нашей гальванизированной примадонны и точных копий оркестра Сузы, извлекающего марши из залежей олова.

— Ничего подобного, — говорит капитан. — К тому времени вы будете загипнотизированы. Любой джентльмен из публики, который пожелает подняться на сцену и посмотреть в глаза этой стране, проникнется убеждением, что он не более как муха в стерилизованных сливках. Вы будете стоять по колена в море и ждать меня, а ваша машинка для изготовления гамбургских бифштексов из дотоле почтенного искусства музыки будет играть: «Ах, родина, что может с ней сравниться!»

Генри снял со своей пачки верхнюю двадцатку и получил от Меркантильного бюро бумагу с красной печатью и какой-то басней на туземном языке, а сдачи не получил.

Потом мы накачали консула красным вином и попросили его предсказать нам будущее. Человек он был тощий, вроде как молодой, лет за пятьдесят, по вкусам — помесь француза с ирландцем, сплошная тоска. Да, этакий приплюснутый человек, которому и вино не шло впрок, и склонный к тучности и меланхолии. Да, ну, понимаете, этакий голландец, очень печальный и жизнерадостный.

— Поразительное изобретение, именуемое граммофоном, — говорит он, — еще никогда не вторгалось в эти края. Здешний народ никогда его не слышал. А если услышит, не поверит. Это простодушные дети природы. Прогресс еще не научил их принимать работу открывателя консервных жестянок за увертюру, а рэгтайм способен вдохновить их на кровавый мятеж. Но почему не попробовать? Лучшее, что может с вами случиться, когда вы начнете играть, — население просто не проснется. Они, — говорит консул, — могут принять это двояко. Либо они опьянеют от внимания, как плантатор из южных штатов при звуках марша «Шагая по Джорджии», либо рассердятся и перенесут мелодию в другой ключ топором, а вас — в каземат. Если случится последнее, — продолжает консул, — я исполню свой долг: пошлю каблогранму в государственный департамент, накрою вас звездным флагом, когда вас расстреляют, и пригрожу им отмщением самой великой, твердовалютной и золотозапасной державы в мире. Мой флаг и так уже весь продырявлен пулями, — говорит консул, — все результат подобных же инцидентов. Уже два раза, — говорит консул, — я телеграфировал правительству с просьбой выслать мне пару канонерок для защиты американских граждан. Один раз департамент прислал мне двух канареек. В другой раз, когда здесь должны были казнить человека по фамилии Томат и я возбудил вопрос о помиловании, они направили мою депешу в департамент земледелия. А теперь не будет ли добр сеньор, что стоит за стойкой, выдать нам новую бутылку красного вина?

Вот какой монолог преподнес мне и Генри Хорсколлари консул в Солитасе.

Но мы, несмотря на это, в тот же день сняли комнату на Калье де лос Анхелес, главной улице, идущей вдоль морского берега, и водворились там со своими чемоданами. Комната была большая, этакая темная и веселенькая, только маленькая. Помещалась она на не бог знает какой улице, которой придавали некоторое разнообразие дома и оранжерейные растения. Городские поселяне проходили мимо окон, по прекрасному пастбищу между тротуарами. Больше всего они напоминали оперный хор, когда на сцене вот-вот должен появиться шах Кафузлум.

Мы стирали со своей машины пыль, готовясь приступить к работе на следующий день, когда высокий, красивый белый человек в белом костюме остановился у нашей двери и заглянул в комнату. Мы сказали, что требовалось, по части приглашений, и он вошел и оглядел нас с ног до головы. Он жевал длинную сигару и шурил глаза этак задумчиво, как девушка, когда она старается решить, какое платье лучше надеть на вечеринку.

— Нью-Йорк? — говорит он наконец, обращаясь ко мне.

— Первоначально и время от времени, — говорю я. — Неужели еще не стерся?

— Понять нетрудно, кто умеет, — говорит он. — Все дело в покрое жилета. Правильно скроить жилет не умеют больше нигде. Пиджак — может быть, но жилет — никогда.

Потом этот белый человек смотрит на Генри Хорсколлара и колеблется.

— Индеец, — говорит Генри, — ручной индеец.

— Меллинджер, — говорит белый, — Гомер П. Меллинджер. Ну, друзья, вы конфискованы. Вы тут младенцы в темном лесу, и нет у вас ни няньки, ни арбитра, и моя обязанность позаботиться о вашем движении вперед. Я выбью подпорки и спущу вас, как на колесиках, на прозрачные воды этой тропической лужи. Придется вас окрестить, и, если вы пойдете со мной, я по всем правилам раздавлю у вас на носовой части бутылочку вина.

Ну вот, целых два дня после того мы были гостями Гомера П. Меллинджера. Этот человек знал свое дело. Не подкопаешься. Он был самый настоящий Кафузлум. Мы с ним и с Генри Хорсколлариом взяли под ручки и стали повсюду таскать наш граммофон и всячески

развлекаться. Где бы нам ни попалась открытая дверь, мы входили и заводили машинку, и Меллинджер предлагал публике обратить внимание на хитрую музыку и на его закадычных друзей, Senors Americanos. Оперный хор проникся к нам уважением и ходил за нами по пятам из дома в дом. После каждой пластинки появлялся новый сорт выпивки. Местные жители обладают очень приятным талантом по части одного напитка, который так и врезается в память. Они отрубают конец у незрелого кокосового ореха, а в сок наливают французского коньяку и прочие ингредиенты. Мы пили и это и еще много чего.

Наши с Генри деньги хождения не имели. За все платил Гомер П. Меллинджер. Этот человек умел извлекать пачки банкнот из таких мест на своей особе, где сам Герман Чародей, великий фокусник, не обнаружил бы ни кролика, ни яичницы. Он мог бы основать два-три университета и собрать коллекцию орхидей, и у него осталось бы достаточно денег, чтобы скупить голоса всего цветного населения страны. Мы с Генри все гадали, в чем секрет его незаконных богатств. Как-то вечером он просветил нас.

— Ребята, — сказал он, — я вас обманывал. Вы думаете, я — праздный мотылек; на самом же деле никто здесь не работает больше моего. Десять лет назад я пристал к этим берегам, два года назад я стал первым человеком в стране. Да, я в любую минуту могу направить дела этой пряничной республики, как мне захочется. Я доверяюсь вам, потому что вы — мои соотечественники и мои гости, хоть и наводнили мою приемную родину худшей из всех шумовых систем, когда-либо положенных на музыку.

Я занимаю пост личного секретаря при президенте республики, и мои обязанности состоят в том, чтобы управлять ею. Мое имя не фигурирует в официальных документах, а между тем я — горчица в приправе к салату. Все законы, которые проходят через Конгресс, все концессии, на которые мы даем разрешение, все ввозные пошлины, которые мы взимаем, — все это стряпня Г. П. Меллинджера. В парадной приемной я наливаю чернила в чернильницу президента и обыскиваю приезжих чиновников на предмет кортиков и динамита, но в задней комнате я диктую всю политику правительства. Вам никогда в жизни не отгадать, какая махинация помогла мне так возвыситься. Такими махинациями, кажется, еще никто не занимался. Вот послушайте. Помните заголовки в наших школьных тетрадах — «Честность — лучшая политика»? В этом все и дело. Я возвел честность в азартную игру. Я — единственный честный человек в республике. Правительство это знает; народ это знает; темные элементы это знают; иностранцы-концессионеры это знают. Я заставляю правительство держать слово. Если человеку обещано место, он получает его. Если иностранный капитал покупает концессию, ему дают то, что ему нужно. У меня здесь монополия на честные сделки. Конкуренции никакой. Вздумай полковник Диоген явиться сюда со своим фонарем, ему моментально сказали бы мой адрес. Денег это дает не ахти сколько, но заработок верный, и ночью спишь спокойно.

Так сказал Г. П. Меллинджер нам с Генри. А позднее он разрешился следующим замечанием:

— Ребята, сегодня вечером я устраиваю суарэ *{Вечеринка (фр).}* для целой кучи видных граждан, и мне нужна ваша помощь. Вы притащите свою музыкальную щелкушку для орехов, и получится как будто светский прием. Предстоят важные дела, но нельзя показывать виду. С вами я могу говорить откровенно. Я уже много лет страдаю оттого, что некому душу излить, не перед кем похвастаться. Иногда меня одолевает тоска по родине, и тогда, кажется, я отдал бы все свои доходы и привилегии, только бы посидеть где-нибудь на Тридцать четвертой улице, да съесть сэндвич с икрой, да запить пивом, а то просто стоять и смотреть на трамвай и вдыхать запах жареных орешков из фруктовой лавчонки старика Джузеппе.

— Да, — говорю я, — очень неплохая икра бывает в кафе Билли Ренфро, на углу Тридцать четвертой и...

— Истинная правда, — перебивает меня Меллинджер, — и если бы вы мне сказали, что знаете Билли Ренфро, чего только я не выдумал бы, чтобы доставить вам счастье. Мы с Билли были приятелями в Нью-Йорке. Вот человек, который ни разу не покривил душой. Я тут сделал из честности бизнес, а он так даже теряет на ней деньги. *Sagamba! {Проклятие! (исп.)}*

И приедается же мне иногда эта страна! Здесь все продажно. От высшего сановника до последнего батрака на кофейных плантациях все только и думают, как бы потопить друг друга и содрать шкуру со своих друзей. Если погонщик мулов снимает шляпу, здороваясь с чиновником, тот уже воображает себя народным кумиром и готовится устроить революцию и свергнуть существующую власть. В мелкие обязанности личного секретаря входит вынюхивать такие революции и не давать им вспыхивать и портить государственное добро. С этой-то целью я и нахожусь сейчас здесь, в этом заплесневелом приморском городишке. Здешний губернатор и его банда готовят восстание. Имена заговорщиков мне известны, и все они приглашены на сегодняшний вечер к Г. П. М. послушать граммофон. Таким образом, я их сгоню в одно место, а дальше все у нас пойдет по программе.

Мы сидели втроем за столиком в харчевне Всех Святых. Меллинджер подливал нам вина, и вид у него был озабоченный; я думал о своем.

— Плуты они ужасные, — говорит он вроде как тревожно. — Их финансирует один каучуковый синдикат, и они доверху нагружены деньгами для взяток. Осточертела мне вся эта оперетка, — продолжает Меллинджер. — Хочется вспомнить, как пахнет в Нью-Йорке Восточная река, и надеть подтяжки. Порой так и подмывает бросить эту должность, но черт меня подери — горжусь я ею, хоть это и глупо. «Вот идет Меллинджер, — говорят в здешних местах. — *Por Dios! {Клянусь богом! (исп.)}* Он не клонет и на миллион». Хотел бы я увезти этот отзыв в Нью-Йорк и показать его как-нибудь Билли Ренфро; и это поддерживает меня всякий раз, как я вижу какое-нибудь жирное животное, которое я с легкостью мог бы скрутить — стоило бы только мигнуть глазом и... отказаться от своей игры. Да, черт возьми, ко мне не подъедешь. Они это знают. Те деньги, которые попадают мне в руки, я зарабатываю честным путем и тут же трачу. Когда-нибудь наживу состояние и поеду домой к Билли есть икру. Сегодня я покажу вам, как обращаться с этими ворами и взяточниками. Я покажу им, что такое Меллинджер, личный секретарь, когда его подают без гарнира и соуса,

И тут у Меллинджера начинают трястись руки, и он разбивает стакан о горлышко бутылки.

Я сразу подумал: «Ну, мой милый, если я не ошибаюсь, кто-то положил вкусную наживку в такое место, где тебе ее видно уголком глаза».

В тот вечер мы с Генри, как и было условлено, притащили свой граммофон в какой-то глинобитный дом на грязной узенькой улочке, по колено заросшей травой. Комната, куда нас провели, была длинная, освещенная вонючими керосиновыми лампами. В ней было много стульев, а в одном конце стоял стол. На него мы поставили граммофон. Меллинджер пришел еще раньше нас; он шагал по комнате совсем расстроенный, все жевал сигары, выплевывал их и кусал ноготь на большом пальце левой руки.

Скоро начали собираться приглашенные на концерт — они приходили двойками, тройками и целыми мастями. Кожа у них была самых разнообразных цветов — от необкуренной пенковой трубки до начищенных лакированных туфлей. Вежливы были необычайно — их так и распирало от счастья приветствовать сеньора Меллинджера. Я понимал, что они там лопотали по-испански, — я два года работал у насоса в мексиканском серебряном руднике и все помнил, — но тут я и виду не подал.

Собралось их человек пятьдесят, и все расселись, когда в комнату вплыл сам пчелиный король, губернатор. Меллинджер встретил его у дверей и проводил на трибуну. Когда я увидел этого латинца, я понял, что ждать больше некого. Это был огромный, рыхлый дядя калошного цвета, с глазами как у главного лакея в гостинице.

Меллинджер без запинки объяснил на кастильском наречии, что душа его изнывает от восторга, потому что он имеет возможность показать своим уважаемым друзьям величайшее изобретение Америки, чудо нашего века. Генри понял намек и поставил шикарную пластинку — духовой оркестр, — и праздник, можно сказать, начался. Этот губернатор немножко кумекал по-английски, и, когда музыка захрипела и кончилась, он и говорит:

— Оч-чень красиво. *Gr-r-r-r-gracias {Спасибо (исп.)}* американским джентльменам за такую прекрасную музыку играть.

Стол был длинный, и мы с Генри сидели на одном его конце, у стены. Губернатор сидел на другом конце. Гомер П. Меллинджер стоял сбоку. Я только что подумал, как же Меллинджер возьмется за дело, как вдруг доморощенный талант сам открыл заседание.

Этот губернатор был создан для восстаний и всякой политики. Опрометчивый был человек: ничего не делал, не подумав. Да, он был полон выжидательности и всяких сюрпризов. Он положил руки на стол, а лицо обратился к секретарю.

— Что, сеньоры американцы понимают испанский язык? — спрашивает он по-своему.

— Нет, не понимают, — говорит Меллинджер.

— Ну так слушайте, — быстро продолжает латинец. — Музыка — это, конечно, очень мило, но не обязательно. Поговорим о деле. Я отлично понимаю, зачем меня пригласили, раз я вижу здесь моих соотечественников. Вчера, сеньор Меллинджер, вам шепнули кое-что о наших предложениях. Сегодня мы будем говорить начистоту. Мы знаем, что президент благоволит к вам, и знаем, каким вы пользуетесь влиянием. Правительство скоро падет. Мы сумели оценить вас. Мы так дорожим вашей дружбой и вашей помощью, что... — Меллинджер поднимает руку, но губернатор затыкает ему рот. — Не говорите ничего, пока я не кончу.

Потом этот губернатор вытаскивает из кармана завернутый в бумагу пакет и кладет его на стол, около руки Меллинджера.

— Вы найдете здесь пятьдесят тысяч долларов американскими деньгами. Вы бессильны против нас, но, служа нам, вы можете отработать их. Возвращайтесь в столицу и выполняйте наши распоряжения. Возьмите эти деньги. Мы вам доверяем. В пакете вы найдете бумагу с подробным изложением того, что вы должны будете для нас сделать. Будьте благоразумны и не отказывайтесь.

Губернатор замолчал и устремил на Меллинджера взгляд, полный всяких экспрессий и наблюдений. Я посмотрел на Меллинджера и порадовался, что Билли Ренфро не видит его в эту минуту. Пот выступил у него на лбу, он стоял, точно онемев, и постукивал пальцами по пакету. Эта черно-пегая банда подкапывалась под его махинации. Ему нужно было только изменить свои политические взгляды и сунуть пятерню во внутренний карман.

Генри шепчет мне на ухо, просит разъяснить, почему такой перерыв в программе. Я шепчу в ответ: «Г. П. предлагают взятку сенаторских размеров, эти черные совсем сбили его с толку». Я увидел, что рука Меллинджера пододвигается к пакету. «Он сдается», — шепнул я Генри. «Мы ему напомним, — говорит Генри, — жареные орешки на Тридцать четвертой улице в Нью-Йорке».

Генри нагнулся, достал из корзины, которую мы принесли с собой, одну пластинку, поставил ее и пустил граммофон. Это было соло на корнете, очень чистенькое и красивое, и называлось оно «Родина, милая родина». Из полусотни человек, сидевших в комнате, ни один не шелохнулся, пока пластинка вертелась, а губернатор все время в упор смотрел на Меллинджера. Я видел, как голова Меллинджера поднималась все выше, а рука отползала от пакета. Пока не прозвучала последняя нота, никто не сдвинулся с места. А когда стало тихо, Гомер П. Меллинджер взял пачку денег и швырнул ее в лицо губернатору.

— Вот вам мой ответ, — говорит Меллинджер, личный секретарь, — а утром будет второй. У меня есть доказательства, что все вы, до последнего, в заговоре против правительства. Спектакль окончен, джентльмены.

— Нет, осталось еще одно действие, — перебивает его губернатор. — Насколько мне известно, вы находитесь в услужении у президента — переписываете письма и открываете дверь, когда стучат. Я здесь губернатор. Сеньоры, призываю вас во имя нашего общего дела: хватайте этого человека.

Буро-серая шайка заговорщиков отодвинула стулья и повела наступление крупными силами. Я понял, что Меллинджер сделал промах, собрав всех своих врагов вместе, чтобы изобразить эффектную сцену. Я-то лично считаю, что он допустил целых два промаха, отказавшись от денег, но на этом останавливаться не стоит, так как наши с Меллинджером представления о честной игре не совпадают с точки зрения оценки и взглядов.

В комнате было только одно окно и одна дверь, и были они в дальнем конце. И вот, представьте себе, полсотни латинцев объявляют обструкцию против законодательства Меллинджера. Нас, можно сказать, было трое, так как мы с Генри одновременно заявили, что Нью-Йорк и племя чероки встают на сторону слабейшего. И тут Генри Хорсколлар высказался к беспорядку дня и вмешался, наглядно продемонстрировав преимущества американского воспитания в применении к природным способностям и врожденной культурности индейца. Он встал и обеими руками пригладил волосы, как девочка, когда садится за рояль.

— Станьте за мной, вы оба, — говорит Генри.

— Что будем делать, начальник? — спросил я.

— Я буду играть центра, — говорит Генри на своем футбольном наречии. — У них во всей команде нет ни одного приличного игрока. Не отставайте от меня, и больше жизни.

Потом этот культурный краснокожий изобразил своим ртом систему звуков, от которых вся латинская сходка застыла на месте в задумчивости и смятении. Его прокламация в общем сводилась к некоему сочетанию боевого клича Карлайлского колледжа с университетским припевом племени чероки. Он ударил по шоколадной команде, как горошина из детского пугача. Правым локтем он уложил губернатора на поле и расчистил сквозь всю толпу проход такой широкий, что женщина могла бы пронести по нему лестницу и никого не задеть. Нам с Меллинджером оставалось только следовать за ним.

Нам потребовалось ровно три минуты на то, чтобы добраться до штаба, где Меллинджер распоряжался, как у себя дома. Полковник и батальон босоногой пехоты вышли на улицу и проследовали с нами до места концерта, но заговорщики уже успели смыться. Зато мы вновь обрели граммофон и с этим трофеем зашагали обратно к казармам, поставив в дорогу пластинку «А все-таки наша взяла».

На следующий день Меллинджер отводит нас с Генри в сторонку и начинает швыряться десятками и двадцатками.

— Я хочу купить ваш граммофон, — говорит он. — Мне понравился последний мотивчик, который он играл на моем вечере.

— Тут больше денег, чем за него заплачено, — говорю я.

— Это из государственных средств, — говорит Меллинджер. — Платит правительство, и платит дешево.

Это мы с Генри хорошо знали. Мы знали, что граммофон спас Гомера П. Меллинджера, когда он чуть не проиграл свою партию, но мы не сказали ему, что знаем. — А теперь, друзья, отправляйтесь-ка вы куда-нибудь дальше по берегу, — говорит Меллинджер, — и помалкивайте, пока я не засажу этих молодцов за решетку. Иначе вы рискуете нарваться на неприятности. И если вам раньше меня случится увидеть Билли Ренфро, скажите ему, что я вернусь в Нью-Йорк, как только разбогатею... но честным путем.

Мы с Генри притаились и не показывались до того дня, когда вернулся наш пароход. Увидев, что капитан пристал в шлюпке к берегу, мы вошли в воду и стали ждать. Капитан так и расплылся, когда нас увидел.

— Я же вам говорил, что вы будете ждать, — сказал он. — А где гамбургская машинка?

— Она остается здесь, — говорю я, — будет играть «Родина, милая родина».

— Я же вам говорил, — повторяет капитан. — Ну, лезьте в лодку.

— И вот каким образом, — сказал Кью, — мы с Генри Хорсколларом ввезли в эту страну граммофон. Генри вернулся в Штаты, а я с тех пор так и застрял в тропиках. Говорят, Меллинджер после того случая шагу не ступил без граммофона. Наверно, он напоминал ему кое-что всякий раз, как сладкогласная сирена взяточников манила его, помахивая у него перед носом зелененькими.

— А теперь, вероятно, он везет его домой как сувенир, — заметил консул.

— Какой там сувенир, — сказал Кью. — В Нью-Йорке ему их понадобится целых два, и чтоб играли круглые сутки.

VII. Денежная лихорадка

С энтузиазмом взялось новое правительство Анчурии осуществлять свои права и выполнять обязанности. Первым долгом оно послало в Коралио своего представителя с поручением разыскать во что бы то ни стало казенные деньги, похищенные злосчастным Мирафлоресом. Полковник Эмилио Фалькон, личный секретарь нового президента Лосады, был командирован по этому важному делу в Коралио.

Быть личным секретарем у тропического президента нелегко. Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем своего господина. Нужно ежеминутно внюхиваться, не пахнет ли где революцией. Часто президент — только ширма, а подлинный хозяин страны — секретарь. Мудрено ли, что, когда президенту приходится выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем спутницу жизни.

Полковник Фалькон, человек изящный, обходительный, тонкий, с деликатными манерами, истый кастилец, приехал в Коралио искать пропавшие деньги по холодным следам. Здесь он совещался с военными властями, которые уже получили приказ всячески содействовать ему в его поисках.

Он устроил себе главную квартиру в одной из комнат Casa Morena. Здесь около недели велось неофициальное судебное следствие, сюда были приглашены те, кто своими показаниями мог осветить финансовую трагедию, которая сопровождала другую трагедию, помельче — смерть президента.

Двое или трое из допрошенных — и среди них цирюльник Эстебан — показали, что самоубийца был действительно президент Мирафлорес.

— Конечно, — говорил Эстебан всемогущему секретарю, — это был он, президент. Подумайте: можно ли брить человека и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе в хижину. У него была борода, черная и очень густая. Вы спрашиваете, видел ли я президента до той поры? Почему бы и нет? Я видел его один раз. Он ехал в карете с парохода, из Солитаса. Когда я побрил его, он дал мне золотую монету и просил не говорить никому. Но я — либерал, я — преданный друг моей родины, и я сейчас же рассказал обо всем сеньору Гудвину.

— Мы знаем, — вкрадчиво сказал полковник Фалькон, — что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег. Видели ли вы этот саквояж?

— De veras, *{Правду говоря (исп.)}* нет! — отвечал Эстебан. — Свет в хижине был тусклый: маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно. Может быть, и был саквояж, но, по совести, я его не видал. Нет. Была также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты — это я мог заметить даже при маленьком свете. Но деньги, сеньор, или саквояж — нет, я этого не видал.

Comandante и другие офицеры показали, что их разбудил и поднял на ноги звук выстрела в отеле де лос Эстранхерос. Поспешив, чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидели человека, лежащего на полу без признаков жизни с зажатым в руке револьвером. Возле него была молодая женщина, горько рыдавшая. Сеньор Гудвин также находился в этой комнате. Но никакого саквояжа они не видали.

Мадама Тимотеа Ортис, владелица отеля, где была сыграна «Лиса-на-рассвете», рассказала, как в ее отеле остановились двое гостей.

— В мой дом они пришли, — сказала она, — сеньор, не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенькая. Они не пожелали ни есть, ни пить, отказались даже от моего aguardiente, который у меня самого первого сорта! В свои комнаты они поднялись — в numero nueve и numero diez. *{Номер девятый и номер десятый (исп.)}* Вскоре пришел сеньор Гудвин, он поднялся к ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышала страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали, что robre Presidente *{Бедный президент (исп.)}* застрелился. Esta bueno. Никаких денег я не видала, а также не видала той вещи, которую вы называете саквояж.

Полковник Фалькон скоро пришел к вполне логичному заключению, что если кто из жителей Коралио может дать ему путеводную нить для отыскания денег, так это, несомненно,

Франк Гудвин. Но с американцем мудрый секретарь повел другую политику. Гудвин был мощной опорой для новых властей, с Гудвином нужно было обращаться деликатно и бережно: нельзя было набрасывать тень ни на его храбрость, ни на его порядочность. Даже личный секретарь президента и тот не осмеливался призвать к допросу этого каучукового принца и бананового барона, словно рядового обывателя. Поэтому он отправил Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мед так и капал со всех словесных лепестков, и просил Гудвина осчастливить его: назначить ему свидание. В ответ на это Гудвин пригласил его к себе отобедать.

За час до обеда американец отправился в Casa Mogena и дружески-задушевно приветствовал гостя. Потом, когда наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город, в дом Гудвина.

Американец извинился и оставил полковника в просторной, прохладной, хорошо занавешенной комнате, где паркет был составлен из брусков такого гладкого дерева, что ему позавидовал бы любой миллионер в Соединенных Штатах. Гудвин пересек внутренний дворик, искусно затененный навесами и растениями, и прошел в противоположное крыло дома, в большую комнату, выходящую окнами на море. Широкие жалюзи были открыты, в комнату врвался ветерок с океана — невидимый источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и писала акварелью предвечерний морской вид.

Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше — она казалась довольной. Если бы какой-нибудь поэт захотел изобразить ее с помощью сравнений, он сравнил бы ее серые, чистые, большие глаза, обведенные яркой белоснежной каймой, с цветами вьюнка. Он не нашел бы в ней ни малейшего сходства с богинями, традиционные чары которых сделались холодно-классическими. Нет, ее красота была не олимпийская, но эдемская. Вообразите себе Еву, которая после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов и мирно и кротко возвращается в рай; не богиня, но женщина в полной гармонии с окрестным эдемом.

Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза, и губы у нее полуоткрылись; веки задрожали, как (да простит нас Поэзия!) хвостик у верной собаки, и вся она затрепетала, как плакучая ива под еле заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они ни видались. Если бы те, кто порою за стаканом вина вспоминал старые забавные истории о сумасбродной карьере Изабеллы Гилберт, видели сегодня вечером жену Франка Гудвина в мирном ореоле счастливой семейной жизни, они либо стали бы отрицать, либо согласились бы забыть навеки эти живописные события из биографии той, ради кого покойный Мирафлорес пожертвовал и родиной, и добрым именем.

— Я привел к обеду гостя, — сказал Гудвин, — некий Фалькон из Сан-Матео, полковник/ Он здесь по казенному делу. Едва ли тебе хочется видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень.

— Он пришел расспросить тебя о пропавших деньгах, не правда ли? — спросила миссис Гудвин, снова принимаясь за этуод.

— Ты угадала, — ответил Гудвин. — Он уже три дня, как занимается инквизицией среди туземцев. Теперь дошло дело до меня, но так как он боится призывать к суду и расправе подданного дяди Сэма, он решил превратиться из судьи в визитера и допрашивать меня за обедом. Он будет терзать меня за моим собственным вином и десертом.

— Нашел ли он кого-нибудь, кто бы видел этот саквояж с деньгами?

— Никого. Даже мадама Ортис, у которой такой зоркий глаз на сборщиков налогов, и та не помнит, что у него был багаж

Миссис Гудвин положила кисть и вздохнула.

— Мне так совестно, Франк, — сказала она, — что из-за этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать правду, не так ли?

— Еще бы, — сказал Гудвин и передернул плечом, как делали здешние жители, у которых он и перенял этот жест, — это было бы совсем не умно. Хотя я и американец, они живо упрятали бы меня в *salaboza*, {Тюрьма (исп.).} если бы узнали, что этот саквояж присвоен нами. Нет, мы должны заявить, что знаем обо всем этом деле не больше, чем все остальные

невежды в Коралио.

— А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя в присвоении денег? — спросила она, сдвинув брови.

— Я бы ему не советовал! — небрежно отвечал Гудвин. — Хорошо, что никто, кроме меня, не видал саквояжа. Так как во время выстрела в комнате был только я, то, естественно, власти с особым вниманием захотят исследовать мою роль в этом деле. Но беспокоиться нечего. Этот полковник отлично покушает и на закуску получит порцию американского блефа. Тем все дело и кончится.

Миссис Гудвин встала и подошла к окну. Гудвин последовал за нею, и она прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты, как всегда с той мрачной ночи, когда он впервые стал ее защитником перед людьми. Так они постояли некоторое время.

Прямо перед ними в гуще тропических листьев, ветвей и лиан была прорублена просека, кончавшаяся у заросшего мангровыми деревьями болота на окраине Коралио. У другого конца этого воздушного туннеля им была видна могила, украшенная деревянной колодой, на которой было начертано имя несчастного президента Мирафлореса. В дождливую погоду миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна, а когда небеса улыбались, она выходила в тенистые зеленые рощи, разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спускала глаз с могилы; на лице у нее появлялось тогда выражение нежной печали, которая теперь, впрочем, уже не могла омрачить ее счастье.

— Я так любила его, Франк, — сказала она, — я любила его даже после этого страшного бегства, которое кончилось такой катастрофой. И ты был так добр ко мне и сделал меня такой счастливой. Но все запуталось, все стало неразрешимой загадкой. Если дознаются, что мы взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы ты возместил эту сумму?

— Без сомнения, потребуют, — отозвался Гудвин. — Ты права, это действительно загадка. И пусть она останется загадкой для Фалькона и его соплеменников до тех пор, пока отгадка не придет сама собой. Мы с тобой знаем в этом деле больше всех, но и мы не знаем всего. Боже нас упаси обмолвиться об этих деньгах хотя бы намеком. Пусть люди думают, что президент припрятал их в горах по дороге или что ему удалось переправить их куда-нибудь прежде, чем он прибыл в Коралио. Вряд ли этот Фалькон подозревает меня. Он делает то, что ему приказано, ведет следствие очень ретиво, но он не найдет ничего.

Такова была их беседа. Если бы кто посмотрел на их лица в то время, как они совещались о погибших финансах Анчурии, всякого поразила бы вторая загадка, ибо и на лицах и на всей повадке супругов лежал отпечаток саксонской гордости, честности, благороднейших мыслей. Спокойные глаза Гудвина, выразительные черты его лица, воплощение бесстрашной, справедливой, доброй души совершенно не вязались с его словами.

Что же касается его жены, то одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы не поверить обличающей их беседе. Благородства была исполнена вся ее поза; невинность сквозила в глазах. Ее ласковая преданность даже не напоминала то чувство, которое порой толкает женщину в порыве великодушной любви разделить вину своего возлюбленного. Нет, здесь было что-то неладно, уж очень разные картины представились бы глазу и слуху.

Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в *ratio*, {*Внутренний дворик (исп).*} под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед именитым секретарем: миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так как у нее от легкой *calentura* {*Лихорадка (исп).*} болит голова.

После обеда они, согласно обычаю, еще посидели за кофе и сигарами. Полковник Фалькон с истинно кастильской деликатностью ждал, чтобы хозяин сам заговорил о том деле, ради которого они сегодня встретились. Ждать ему пришлось недолго. Едва появились сигары, американец первый коснулся этой темы — он спросил у секретаря, удалось ли ему набрести на след пропавших денег.

— Увы, — признался полковник Фалькон, — я еще не нашел ни одного человека, который хотя бы видел у президента саквояж или деньги. Но я не теряю надежды. В столице твердо установлено, что президент Мирафлорес выехал из Сан-Матео, имея при себе сто тысяч

долларов, принадлежащих правительству, и в сопровождении сеньориты Изабеллы Гилберт, оперной певицы. Наше правительство не может допустить и мысли, — заключил полковник с улыбкой, — что вкус нашего покойного президента позволил бы ему расстаться по дороге с той или с другой из этих двух драгоценностей, усложнявших его бегство.

— Вероятно, вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по этому делу, — сказал Гудвин, прямо подходя к самой сути. — Мое показание будет короткое. В тот вечер я вместе с другими друзьями стоял на страже, поджидая президента, так как о его бегстве я был извещен шифрованной телеграммой Энглхарта, одного из наших агентов в столице. Около десяти я увидел мужчину и женщину, которые очень быстро шли по улице. Они подошли к отелю де лос Эстранхерос и сняли там комнаты. Я последовал за ними на верхний этаж, оставив Эстебана на улице. Эстебан только что перед тем рассказал мне, что он в тот вечер сбрил президенту бороду, так что я не был удивлен, когда увидел его гладко выбритое лицо. Когда я обратился к нему от лица народа с требованием возвратить народное добро, он вынул револьвер и застрелился. Через несколько минут на месте происшествия уже толпились офицеры и многие местные жители. Все дальнейшее вам, несомненно, известно.

Гудвин замолчал. Посланец Лосады тоже не произнес ни слова, как бы показывая, что ждет продолжения.

— И теперь, — продолжал американец, глядя прямо в глаза собеседнику и произнося каждое слово с особым ударением, — пожалуйста, запомните то, что я вам сейчас скажу. Я не видел никакого саквояжа, никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хранились бы деньги, составляющие собственность республики Анчурии. Если президент Мирафлорес и скрылся с деньгами, принадлежащими казначейству этой страны, или ему самому, или еще кому-нибудь, я не видал никаких следов этих денег. Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое. Мне кажется, что этим показанием вполне исчерпываются все вопросы, которые вам было желательно мне предложить.

Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затейливый и широкий зигзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить с Гудвином не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользовался безграничным доверием нового президента. Его честность была тем капиталом, который создал ему состояние в Анчурии так же, как в свое время она явилась прибыльной «игрой» Меллинджера, секретаря Мирафлореса.

— Благодарю вас, сеньор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ, — сказал Фалькон. — Президенту достаточно вашего слова. Но, сеньор Гудвин, мне приказано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению вопроса. Есть обстоятельство, которого я до сих пор не касался. Наши друзья французы, сеньор, обычно говорят: «*Cherchez la femme*», {*Ищите женщину (фр.)*}.} когда нужно разрешить неразрешимую загадку. Но здесь даже искать не приходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его злополучного бегства, несомненно, должна...

— Я вынужден остановить вас, — прервал его Гудвин. — Действительно, когда я вошел в отель, чтобы задержать президента Мирафлореса, я встретил там даму. Но я позволю себе напомнить вам, что теперь она моя жена. То, что я сказал, я сказал и от ее лица. Ей ничего не известно о судьбе саквояжа или денег, о которых вы хлопочете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее невиновность. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что я не хотел бы, чтобы ее подвергали допросу и вообще беспокоили.

Полковник Фалькон опять поклонился.

— *Por supuesto!* {*Разумеется! (исп.)*}.} — воскликнул он. И чтобы показать, что допрос кончен, он прибавил: — А теперь, сеньор, покажите мне тот вид с вашей галереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель морских видов.

Вечером, еще не поздно, Гудвин проводил своего гостя в город и оставил его на углу Калье Гранде. Когда он шел домой, из двери одной пульперии к нему выскочил с радостным видом некий Блайт-Вельзевул, человек, обладавший манерами царедворца и внешним обликом огородного чучела.

Блайта наименовали Вельзевулом, чтобы отметить, как велико было его падение.

Некогда, в горних кущах давно потерянного рая, он общался с другими ангелами земли. Но судьба швырнула его вниз головой в эти тропики и зажгла в его груди огонь, который ему редко удавалось погасить. В Коралио его называли бродягой, но на самом деле это был закоренелый идеалист, старавшийся похерить скучные истины жизни при помощи водки и рома. Как и подлинный падший ангел, который, должно быть, во время своего страшного падения в бездну с безрассудным упрямством зажимал у себя в кулаке райскую корону или арфу, так этот его тезка держался за свое золотое пенсне, последний признак его бывшего величия. Это пенсне он носил с удивительной важностью, бродяжничая по берегу и вымогая у приятелей монету. Посредством каких-то таинственных чар его пунцово-пьяное лицо было всегда чисто выбрито. С большим изяществом он поступал в приживальщики к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку и укрыть от дождя и полуночной росы.

— А-а, Гудвин! — развязно крикнул пропойца. — Я так и думал, что увижу вас. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. Пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить. Вы, конечно, знаете, что тут болтается приезжий субъект, который разыскивает пропавшие деньги старика Мирафлореса?

— Да, — сказал Гудвин, — у меня уже был с ним разговор. Пойдемте к Эспаде, я могу уделить вам минут десять.

Они вошли в пульперию и сели за маленький столик на табуретки с обитыми кожей сиденьями.

— Будете пить? — спросил Гудвин.

— Только бы поскорее, — сказал Блайт. — У меня с самого утра во рту засуха. Эй, muchacho! el aguardiente por aca. {*Мальчик, подай коньяку (исп.).*}

— А зачем я вам нужен? — спросил Гудвин, когда выпивка была поставлена на стол.

— Черт возьми, милый друг, — сказал сиплым голосом Блайт. — Почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения? Я хотел повидаться с вами... Но сначала вот это. — Он одним глотком выпил коньяк и с тоской заглянул в пустой стакан.

— Еще один? — спросил Гудвин.

— По совести говоря, — отозвался падший ангел, — мне не нравится ваше слово «один». Это не совсем деликатно. Но конкретная идея, которая воплощена в этом слове, неплоха.

Стаканы были наполнены снова. Блайт с упоением потягивал напиток и вскоре опять сделался идеалистом.

— Скоро мне пора уходить, — сказал Гудвин, — есть у вас какое-нибудь дело ко мне?

Блайт ответил не сразу.

— Старый Лосада здорово припечет того вора, — заметил он наконец, — который свистнул этот саквояж. Как по-вашему?

— Несомненно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду домой. Миссис Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела.

— Нет, — отозвался Блайт. — Когда будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стакан. И заплатите за все. Старый Эспада уже не верит мне в долг.

— Ладно, — сказал Гудвин. — Buenas noches. {*Спокойной ночи (исп.).*}

Вельзевул склонился над стаканом и вытер свое пенсне не внушающим доверия платком.

— Я думал, что удастся, — пробормотал он после паузы. — Но нет, не могу. Джентльмен не может шантажировать человека, с которым он пьет за одним столом.

VIII. Адмирал

Анчурийским властям не свойственно горевать о том, чего нельзя воротить. Источников дохода у них сколько угодно; любой час дня и ночи — самый подходящий для выкачивания средств. И даже обильные сливки, снятые околдованным Мирафлоресом, не заставили удачливых патриотов тратить попусту время на бесплодные сожаления. Правительство поступило мудро: оно немедленно стало пополнять дефицит — повысило ввозные пошлины и

намекнуло ряду богатых граждан, что посильные пожертвования с их стороны будут расценены как проявление патриотизма, и притом очень своевременное. Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит государству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии организовали новую «либеральную» партию и снова стали строить всевозможные планы для свержения власти. Политическая жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно разворачивать бесконечные, похожие друг на друга картины. Порой из-за кулис выглядывает Шутка и озаряет цветистые строки.

Дюжина шампанского в сочетании с неофициальным заседанием президента и министров привела к тому, что в стране появился военный флот, а Фелипе Каррера был назначен его адмиралом.

Шампанское, впрочем, было не единственной причиной возникновения флота. Немалую роль в этом деле сыграл также новый военный министр дон Сабас Пласидо.

Президент предложил кабинету собраться, чтобы обсудить ряд политических вопросов и провести несколько текущих государственных дел. Сначала заседание шло вяло и нудно; дела и вино были сухи. Неожиданная шалость, зародившаяся в уме дона Сабаса, придала не в меру серьезной правительственной процедуре оттенок приятной игривости.

На беспорядочной повестке дня стояло донесение береговой полиции о том, что в городе Коралио таможенники захватили шлюпку «Ночная звезда» с контрабандой: галантерейные товары, медицинские снадобья, сахарный песок и коньяк с тремя звездочками, а также шесть винтовок системы Мартини и бочонок американского виски. Так как шлюпка была схвачена в то время, когда она перевозила контрабанду, она по закону считалась собственностью государства.

Начальник таможни в своем донесении осмелился отступить от строго установленных правил и указал, что конфискованное судно могло бы послужить для нужд республики. Это было первое судно, захваченное таможенным департаментом за десять лет. Начальник таможни воспользовался случаем погладить свой департамент по головке.

Судно действительно могло пригодиться. Чиновникам нередко случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и перевозочных средств у них не хватало. Кроме того, шлюпку можно было бы предоставить верным и надежным матросам, которые, в качестве береговой охраны, отбили бы у контрабандистов охоту заниматься столь неблагоприятным ремеслом. Начальник таможни позволил себе даже указать то лицо, которому, по его мнению, с великой пользой для дела могло быть поручено управление судном. Это молодой уроженец Коралио, некто Фелипе Каррера. Правда, он не слишком умен, но он предан правительству и слывет лучшим моряком на побережье.

Вот это-то указание и дало военному министру возможность спастись от скуки заседания при помощи забавной буффонады.

В конституции этой маленькой приморской банановой республики была полузабытая статья, которая предусматривала создание военного флота. Эта статья вместе со многими другими, более мудрыми, лежала без всякого движения с первого дня основания республики. У Анчурии не было флота, и флот ей не был нужен. Характерно, что именно военный министр дон Сабас, человек веселый, ученый, отважный и своенравный, страхнул пыль с этой дряхлой и спящей статьи ради того, чтобы в мире стало немного больше веселья, чтобы его снисходительные коллеги улыбнулись.

С великолепной наигранной серьезностью он внес в Высший совет предложение создать флот. Он с таким веселым и остроумным пылом доказывал, каким образом эта государственная мера покроет республику славой и сослужит ей великую службу, что перед его пародией спасовала даже та чванная важность, которая отличала президента Лосаду.

Шампанское игриво кипело в жилах веселых сановников. Не в обычае солидных управителей Анчурии было оживлять свои заседания этим напитком, который набрасывает всеизменяющий покров на всякое серьезное дело. Вино было любезным подношением от представителя фруктовой компании «Везувий» в знак дружбы и кое-каких деловых отношений, существующих между этой компанией и Анчурийской республикой.

Шутка была доведена до конца. Был изготовлен внушительный официальный документ, украшенный печатями всех цветов радуги, а также развевающимися пестрыми лентами. На документе были кудрявые подписи всех анчурийских министров. Эта бумага давала сеньору Фелипе Каррера звание флаг-адмирала республики. Таким-то путем в какие-нибудь двадцать минут и с помощью дюжины бутылок extra dry {Сухого (шампанского) (англ.)} Анчурия заняла подобающее ей место среди морских держав мира, а Фелипе Каррера получил право требовать салюта из девятнадцати пушек всякий раз, когда он появлялся в порту.

Южные расы не обладают тем особенным юмором, который находит приятность в несчастьях и увечьях людей. Отсутствием этого юмора объясняется то, что они никогда не смеются, как смеются их братья на Севере, над юродивыми, сумасшедшими, больными, калеками. Фелипе Каррера был послан на землю с половиной ума. Поэтому жители Коралио называли его «El robrecito loco» — бедненький помешанный — и говорили, что Бог послал его на землю лишь в половинном размере и что другая его половина находится где-нибудь на небе.

Мрачный и горделивый Фелипе почти никогда не произносил ни единого слова. Его сумасшествие сказывалось лишь негативно. На берегу он обычно уклонялся от всяких разговоров. Он как будто догадывался, что на суше, где требуется столько различных родов понимания, ему лучше молчать, но на воде его единственный талант уравнивал его с другими людьми. Даже те мореплаватели, которых Бог делал тщательно, не наспех, не в половинном размере, и те едва ли могли управлять парусной лодкой так искусно. Когда стихии бушевали и заставляли всех людей дрожать, тогда слабоумие Фелипе не служило ему помехой. Он был несовершенный человек, но морское дело знал в совершенстве. Собственного судна у него не было, но он работал матросом на тех шхунах и шлюпках, которые постоянно шныряют вдоль берега, перевоза фрукты на пароходы в тех местах, где нет пристани. Начальник таможни и советовал предоставить в его распоряжение конфискованную шлюпку именно потому, что уважал его отвагу и талант, а кроме того, чувствовал к нему сострадание.

Когда маленькая шутка дона Сабаса приобрела форму внушительного государственного акта, начальник таможни улыбнулся. Он не ожидал, что его предложение будет выполнено так скоро и в таких преувеличенных формах. Он сейчас же послал muchacho за будущим адмиралом.

Начальник таможни ожидал его в своей канцелярии. Управление таможни помещалось на Калье Гранде, и в окна всегда врывались легкие морские ветерки. Начальник в белом костюме и в парусиновых туфлях сидел за древним письменным столом, перебирая бумаги. Попугай, забравшись на подставку для перьев, смягчал скуку, исходящую от казенных бумаг, огнем отборных кастильских ругательств. Рядом с комнатой начальника помещались две другие. В одной из них мелкочиновная рать, состоящая из юношей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью свои многообразные обязанности. В другой комнате можно было усмотреть бронзового младенца, нагишом резвящегося на полу. Тут же в гамаке худощавая женщина бледно-лимонного цвета играла на гитаре и с удовольствием покачивалась под дуновением прохладного ветра. Сочетая таким образом выполнение своих высоких обязанностей с видимыми признаками семейного благополучия, начальник таможни чувствовал себя еще более счастливым оттого, что ему была предоставлена власть даровать счастье «скудоумному Фелипе».

Фелипе пришел и стал перед начальником таможни. Это был юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением какой-то рассеянности и задумчивой пустоты. На нем были белые хлопчатобумажные брюки, украшенные по швам красными полосами, в чем сказывалось смутное желание приблизиться к военной форме. Его синяя рубаха была открыта у ворота; ноги были босы; в руке он держал самую дешевую соломенную шляпу американской работы.

— Сеньор Каррера, — сказал начальник важно, показывая пышную бумагу. — Я послал за вами по приказу самого президента. Этот документ, который ныне я передаю в ваши руки, возводит вас в чин адмирала нашей великой республики и предоставляет вам полную власть

над всеми морскими силами нашей страны. Вы, может быть, скажете, милый Фелипе, что флота у нас еще нет, но знайте: шлюпка «Ночная звезда», отнятая у контрабандистов моими храбрыми людьми, отдается вам под начало. Шлюпка будет служить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перевозить чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы также будете по мере сил охранять берег от контрабандистов. Вы будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и примете все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди морских держав мира. Вот инструкции, которые военный министр поручил мне передать вам. *Por dios!* Я не знаю, как вы исполните эту волю властей, так как в приказе министра ни слова не говорится ни о матросах, ни о суммах, ассигнованных на флот. Может быть, матросов вы должны добыть себе сами, сеньор адмирал, этого я не знаю, но все же вам оказана высокая честь. Теперь я передаю вам этот государственный акт. Когда вы будете готовы принять под свою команду наше судно, я распоряжусь, чтобы оно немедленно было предоставлено вам. Других инструкций у меня нет.

Фелипе взял из рук начальника бумагу. Некоторое время он смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным видом глубокого, но бесплодного раздумья. Потом повернулся, не сказав ни единого слова, и быстро зашагал по горячему песчанику улицы...

— *Pobrecito loco!* — вздохнул начальник таможни, и попугай, сидящий на подставке для перьев, закричал: «*Loco! loco! loco!*»

На следующее утро по улицам к зданию таможни потянулась странная процессия. Впереди шел адмирал флота. Кое-как ему удалось наскрести жалкое подобие военной формы — красные штаны, грязную короткую синюю куртку, обильно расшитую золотой тесьмой, и старую солдатскую фуражку, которую, должно быть, бросил за ненадобностью в. Белисе какой-нибудь британский солдат, а Фелипе подобрал во время одного из своих плаваний. К его поясу была пристегнута пряжкой старинная морская сабля, подаренная ему булочником Педро Лафитом, который с гордостью утверждал, что унаследовал ее от своего великого предка, знаменитого пирата. За адмиралом шествовали его матросы, только что призванные на его корабль, — тройка улыбающихся, лоснящихся черных карибов, обнаженных до пояса и поднимавших босыми ногами целые тучи песка.

В кратких выражениях, с большим достоинством потребовал Фелипе у начальника таможни свое судно. Тут ожидали его новые почести. Супруга начальника, которая весь день играла на гитаре и читала в гамаке романы, таила в своей желтой беззлобной груди большую любовь ко всему романтическому. Она разыскала в одной старой книге изображение флага, который в незапамятные времена был якобы морским флагом Анчурии. Может быть, идея его принадлежала еще родоначальникам нации; но так как флота им создать не удалось, флаг погрузился в забвение. Старательно, своими собственными ручками романтическая дама изготовила флаг по рисунку: малиновый крест на сине-белом поле. Она поднесла его Фелипе с такими словами:

— Отважный мореплаватель, это флаг твоей родины. Будь верен ему и, если нужно, умри за него! Да хранит тебя Бог!

Впервые на лице адмирала появился проблеск какого-то чувства. Он взял шелковый стяг и благоговейно погладил его.

— Я адмирал, — сказал он, обращаясь к супруге начальника. К более подробному выражению чувств на суше он не мог себя принудить. Но на море, когда он увенчает переднюю мачту своего флота флагом, у него, может быть, найдутся более красноречивые слова.

После этого адмирал удалился в сопровождении своих подчиненных. Три дня они трудились на берегу над «Ночною звездой»: красили ее в белый цвет с голубою каймой. После этого Фелипе украсил себя новыми знаками отличия — воткнул себе в фуражку яркие перья попугая. Затем он снова проследовал со своей верной командой к зданию таможни и официально уведомил ее начальника, что шлюпке дано новое название: «*El Nacional*».

Нелегко пришлось флоту в первые месяцы. Ведь и адмиралы не знают, что им делать, если они не получают приказов. Но приказов ниоткуда не поступало. Не поступало и

жалованья. «El Nacional» празднично качался на якоре.

Когда жалкие сбережения Фелипе истощились, он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах.

— Жалованье! — воскликнул начальник таможни, воздев руки к небесам. — *Valgame dios! {Боже милостивый! (исп.)}* Я сам не получаю жалованья, ни сентаво за последние семь месяцев! Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает! Не меньше, чем три тысячи песо! Скоро в стране будет опять революция. Первый знак, что идет революция: правительство только и делает, что требует у нас золота, золота, золота, а само не платит нам ни реала.

Фелипе повернулся и ушел. На его мрачном лице появилось даже какое-то подобие радости. Революция — это война, а если война, значит, адмирал не останется без дела. Довольно унижительно быть адмиралом и не делать ровно ничего. А тут еще голодные матросы ходят за тобою по пятам и надоедают, чтобы ты дал им на табак и бананы.

Когда он вернулся туда, где его ждала команда его беспечальных карибов, все они вскочили на ноги и отдали ему честь, как он сам научил их.

— Вот в чем дело, *muchachos*, — сказал он им, — оказывается, наше правительство бедное. У него нет денег ни для меня, ни для вас. Будем же сами зарабатывать на прожитие. Этим мы послужим родине. Скоро, — и тут его тусклый взгляд засветился, — она обратится к нам за помощью.

С этого времени «El Nacional» перестал выделяться из числа других прибрежных лодок. Он превратился в обыкновенное рабочее судно. Наравне с плоскодонками работал он, перевозя бананы и апельсины на пароходы, которые останавливались за милю от берега. Военный флот, не требующий у казны ассигновок, заслуживает того, чтобы быть отмеченным ярко-красными буквами в бюджете любой страны.

Заработав достаточно, чтобы обеспечить и себя и команду на целую неделю вперед, Фелипе ставил свое судно на якорь и отправлялся, в сопровождении свиты, к маленькому зданию почтово-телеграфной конторы. Глядя со стороны, можно было подумать, что это прогоревшая опереточная труппа осаждает укрывающегося антрепренера. В сердце у Фелипе никогда не умирала надежда, что вот-вот ему пришлют какой-нибудь приказ из столицы. Большой обидой для его самолюбия и его патриотизма было то, что в нем, как в адмирале, никто не нуждался. Всякий раз, придя на телеграф, он спрашивал очень серьезно, с надеждой во взоре, нет ли телеграммы на его имя.

Телеграфист делал вид, что роется среди телеграмм, и неизменно отвечал одно и то же:

— Покуда нет, *Senor el Almirante! Poco tiempo!* {*Подождите! (исп.)*}

А на улице, в холодке под лимонными деревьями, его команда жевала сахарный тростник или безмятежно спала. Какое удовольствие служить государству, которое довольствуется столь малой службой!

Однажды, в начале лета, в стране вспыхнула революция, предсказанная начальником таможни. Она давно уже тлела под спудом. При первом же раскате революционной грозы адмирал направил свое судно к берегам соседней республики и променял наскоро собранные фрукты на патроны для пяти винтовок системы Мартини — единственных орудий, которыми мог похвалиться флот. Потом он вернулся домой и поспешил на телеграф. Мундир его вылинял, длинная сабля цепляла о пунцовые штаны. Он растягивался в своем излюбленном углу и снова принимался ждать телеграмму — эту телеграмму, которая так долго не приходит, но теперь придет непременно.

— Покуда нет, *Senor el Almirante*, — говорил телеграфист. — *Poco tiempo!*

При этом ответе адмирал, гремя саблей, опускался на стул и снова ждал, когда затикает аппарат на столе.

— Придет! — говорил он с уверенностью. — Я адмирал!

IX. Редкостный флаг

Во главе повстанцев на этот раз оказался Гектор и Пиндар¹⁰ южных республик, дон Сабас Пласидо. Путешественник, воин, поэт, ученый, государственный деятель, тонкий ценитель искусств — что интересного мог он найти в мелких делах родного захолустья?

— Политические интриги для нашего друга Пласидо — просто каприз, — объяснял один его приятель. — Революция для него то же самое, что новые темпы в музыке, новые бациллы в науке, новый запах, или новая рифма, или новое взрывчатое вещество. Он выжмет из революции все возможные ощущения и через неделю забудет о ней и снова пустится на своей бригадине черт знает куда, за океан, чтобы пополнить какой-нибудь редкостью свою и так уже всемирно знаменитую коллекцию. Коллекцию чего? Боже мой, решительно всего: начиная с почтовых марок и кончая доисторическими каменными идолами.

Однако события под руководством этого эстета и дилетанта разворачивались довольно бурно. Население обожало его. Его яркая личность привлекала к нему сердца. Кроме того, всем было лестно, что такой большой человек мог заинтересоваться такой малостью, как собственная родина.

В столице многие примкнули к его знаменам, хотя войска (вразрез с его планами) оставались верны старому правительству. В прибрежных городишках уже начались весьма оживленные схватки. Говорили, будто за оппозиционной партией стоит пароходная компания «Везувий» — великая сила, которая всегда смотрела на республику Анчурию с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паинькой. Пароходная компания «Везувий» предоставила свои пароходы «Путник» и «Спаситель» для перевозки революционных отрядов.

Но в Коралио все было тихо. Город был объявлен на военном положении, и, таким образом, революционные дрожжи до поры до времени были прочно закупорены. А потом разнеслись слухи, что повстанцы повсюду разбиты. В столице войска президента одержали победу; передавали, будто вожди восстания были вынуждены скрыться и бежать и что за ними будто мчалась погоня.

В маленькой почтовой конторе всегда толпились чиновники и преданные правительству граждане, ожидая новостей из столицы. Однажды в конторе застучал телеграфный аппарат, и через минуту телеграфист закричал во все горло:

— Телеграмма для el Almirante дона сеньора Фелипе Каррера!

Послышался суетливый шорох, потом резкое бряцание жестяных ножен; адмирал быстро вскочил со своего обычного места и побежал через всю комнату к телеграфисту.

Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по складам. Это был первый приказ, полученный им от начальства. В приказе было начертано:

«Немедленно доставьте свое судно к устью реки Руис, откуда повезете говядину и другие припасы для солдатских казарм в Альфоране.

Генерал Мартинес».

Невелика честь везти говядину, но, как бы то ни было, адмирала наконец-то призвали на службу отечеству, и радость охватила его. Он еще туже затянул свой кушак, разбудил дремавшую команду, и через четверть часа «El Nacional» уже несся вдоль берега на всех парусах под свежим ветром, дувшим с океана.

Рио-Руис — небольшая речонка, впадающая в море за десять миль от Коралио. Этот участок берега дик и безлюден. С высот Кордильер несется Руис, холодная и пенистая, а потом, успокоившись на низине, широко и лениво течет по наносному болоту в море.

Через два часа «El Nacional» прибыл к устью реки. Берега были покрыты уродливыми, страшными деревьями. Буйные заросли тропиков опутали все берега и погрузились в красно-

¹⁰ Гектор — троянский воин в «Илиаде» Гомера; Пиндар — древнегреческий поэт (VI–V вв. до н. э.).

бурую воду. Беззвучно вошла туда шлюпка и была встречена еще более глубоким беззвучием. Сверкая зеленью, охрой, ярко-пунцовыми красками, Рио-Руис покоилась в тени, без движения, без звука. Только и было слышно, как вливавшаяся в море вода ворковала у носа шлюпки. Можно ли было надеяться получить в этом пустынном безлюдье говядину и другие припасы?

Адмирал решил бросить якорь, и едва загрела цепь, как в лесу раздался неожиданный шум, мгновенно подхваченный эхом. Устье реки Руис пробудилось от утреннего сна. Попугаи и павианы завизжали и залаяли в листве; свист, писк, рычание: животная жизнь проснулась; мелькнуло что-то синее: это вспугнутый тапир пробивал себе дорогу сквозь лианы.

Военный флот по приказу адмирала простоял в устье речки несколько долгих часов. Команда соорудила обед: похлебка из акульих плавников, бананы, вареные крабы и кислое вино. Адмирал в трехфутовый телескоп внимательно разглядывал непроходимую чашу листвы в пятидесяти футах от себя.

Дело шло к вечеру, когда внезапно в лесу, с левой стороны, послышались раскатистые крики «Ал-ло-о!». С судна ответили, и три человека, верхом на мулах, продрались сквозь густую листву и остановились ярдах в десяти от воды. Там они соскочили с мулов, и один из них расстегнул пояс и так яростно ударил ножами своей шпаги всех мулов одного за другим, что животные, вскинув ногами, галопом кинулись обратно в лес.

Странно: неужели этим людям поручено доставить на берег говядину? Совсем неподходящие люди! Один крупный, энергичный мужчина, весьма незаурядной наружности. Чистый испанский тип — темные курчавые волосы, тронутые кое-где сединой, глаза голубые, блестящие, и осанка важного сеньора, *caballero grande*. Двое других были невысокого роста, темнолицы, в военных мундирах, в высоких ботфортах и при шпагах. Платье у всех было мягкое, рваное, грязное. Очевидно, какая-то очень серьезная причина погнала их сломя голову через джунгли, болота и реки.

— О-гэ! *Senor Almirante!* — крикнул высокий мужчина. — Пошлите-ка нам ваш челнок.

Челнок был спущен на воду; Фелипе с одним из карибов взяли за весла и причалили к левому берегу.

Рослый, дородный мужчина стоял у самого края воды, по пояс в перепутанных лианах. Взглянув на воронье пугало, сидевшее на корме челнока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес; его подвижное лицо так и засветилось.

Месяцы бескорыстной службы — без всякого жалованья — сильно омрачили блистательную внешность адмирала. Его малиновые брюки превратились в лохмотья. Блестящие пуговицы почти все отвалились. Желтая тесьма тоже. Козырек его фуражки был оторван и болтался над самыми глазами. Ноги адмирала были босы.

— Дорогой адмирал! — крикнул дородный мужчина, и его голос зазвучал, словно охотничий рог. — Целую ваши руки, дорогой адмирал! Я знал, что мы можем положиться на вас. Вы такой надежный патриот! Вы получили нашу телеграмму от... генерала Мартинеса? Пожалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал. На этих зыбких дьявольских болотах мы всё еще не чувствуем себя в безопасности.

Фелипе смотрел на него с неподвижным лицом.

— Говядину и другие припасы для Альфоранских казарм, — процитировал он.

— Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать ножом, да не вышло. Скот будет спасен: вы приехали вовремя. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Сначала вы, *caballeros*, а *prisa!* {*Господа, живо! (исп.)*} А потом приедете за мной. Лодочка слишком мала.

Челнок подвез двух офицеров к шлюпке и вернулся к берегу за толстяком.

— А есть ли у вас, дорогой адмирал, такая презренная вещь, как еда? — крикнул он, очутившись на судне. — И, может быть, кофе?.. «Говядина и другие припасы». *Nombre de dios!* {*Клянусь богом! (исп.)*} Еще немного, и мы принуждены были бы съесть одного из этих мулов, которых вы, полковник Рафаэль, приветствовали так нежно в последнюю минуту ножами вашей шпаги. Давайте же подкрепимся едою — и в путь!.. Прямо к Альфоранским казармам, не так ли?

Карибы приготовили пищу, на которую три пассажира «El Nacional» накинулись с радостью сильно проголодавшихся людей. С наступлением вечера ветер, как всегда в этих местах, переменился; подуло с гор; повеяло прохладой, стоячими болотами, гнилыми растениями топей. Грот был поднят и надулся, и в ту же минуту с берега, из глубины лесной чащи, послышался нарастающий гул. Стали доноситься какие-то крики.

— Это мясники, — засмеялся большой человек, — мясники, дорогой адмирал! Но они опоздали. Скотинки для убоя уж нет.

Адмирал командовал судном и больше не произносил ни слова. Когда поставили кливер и марсель, шлюпка быстро выбралась из устья. Толстяк и его спутники устроились на голой палубе с наибольшим доступным в их положении комфортом. Очевидно, до сих пор они были охвачены единственной мыслью, как бы отчалить от этого неприятного берега; теперь, когда опасность уменьшилась, они могли позволить себе подумать о дальнейшем избавлении. Впрочем, увидев, что шлюпка повернула и понеслась в направлении Коралио, они успокоились, вполне довольные курсом, которого держался адмирал.

Толстяк сидел развалившись; его живые синие глаза задумчиво вглядывались в командующего военным флотом. Он пытался разгадать этого мрачного, нелепого юношу. Что таится за его непроницаемым, неподвижным лицом? Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не ушел от опасности, его ищут, за ним погоня, только что он был разбит и побежден, и все же, несмотря ни на что, в нем уже пылает любопытство к новому, неизведанному явлению жизни. Да и кто, кроме него, мог бы придумать такой рискованный и сумасшедший план: послать депешу этому несчастному, безмозглому *fanático* в несусветном мундире, носителю опереточного титула? Его спутники потеряли голову; убежать, казалось, было невозможно. И все же они убежали, и все же план, который они называли безумным, удался превосходно. Толстяк был положительно доволен собой.

Краткие тропические сумерки быстро растворились в жемчужном великолепии лунной ночи. Справа, на фоне потемневшего берега, появились огоньки Коралио. Адмирал стоял молча у румпеля. Карибы, как темные пантеры, бесшумно прыгали с места на место, подчиняясь коротким словам его команды. Три пассажира внимательно вглядывались в море, и когда, наконец, перед ними возник силуэт парохода с отраженными глубоко в воде огнями, стоящего на якоре за милю от берега, у них закипел оживленный секретный разговор. Шлюпка шла не к берегу, но и не к судну. Она держала курс посередине.

Спустя некоторое время толстяк отделился от своих товарищей и приблизился к пугалу, стоящему у руля.

— Мой дорогой адмирал, — сказал он, — наше правительство положительно слепо: оно ухитрилось не заметить, как верно и доблестно вы служите ему. Мне стыдно, что оно до сих пор не вознаградило вас по заслугам. Это непростительно. Но ничего, подождите: в награду за вашу верную службу вам дадут новый корабль, новый мундир и новых матросов. А куда вот вам еще поручение. Пароход, который вы видите впереди, — «Спаситель». Мне и моим друзьям желательно попасть туда возможно скорее по делу государственной важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда.

Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и повернул судно вправо. «El Nacional» накренился и стрелой помчался к берегу.

— Сделайте милость, — сказал пассажир с чуть заметным раздражением, — дайте же, по крайней мере, знак, что вы слышите мои слова и понимаете их.

Может быть, у этого несчастного нет не только ума, но и слуха?

У адмирала вырвался жесткий, каркающий смех, и он заговорил:

— Тебя поставят лицом к стене и застрелят. Так убивают изменников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видал тебя на картинке. Ты Сабас Пласидо, изменник своей родине. Лицом к стене, да, да, лицом к стене. Так ты помрешь. Я адмирал, и я повезу тебя в город. Лицом к стене. Да, да, лицом к стене.

Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукою.

— Вам, caballeros, я рассказывал историю заседания, когда мы сочинили эту... о! эту смешную бумагу. Поистине наша шутка обернулась против нас же самих. Взгляните на чудовище Франкенштейна, которое мы создали!¹¹

Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Коралио все приближались. Он уже мог различить полосу песчаного берега, государственные склады рома — Bodega Nacional, длинное низкое здание казармы, набитое солдатами, и там, позади, — озаренную луной высокую глиняную стену. Не раз в своей жизни он видел, как людей ставили лицом к этой стене и расстреливали.

И снова он обратился к причудливой фигуре на корме.

— Правда, — сказал он, — я хочу убежать отсюда. Но уверяю вас, что разлука с отчизной очень мало волнует меня... Меня, Сабаса Пласидо, всюду встретят с распростертыми объятиями — при любом дворе, в любом военном лагере. *Vaya! {Хорошо! (исп.)}* А это свиное логово, кротовая нора, эта республика — что делать в ней такому человеку, как я? Я *paisano {Житель (исп.)}* всех стран. В Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене — всюду мне скажут одно: добро пожаловать, дон Сабас! Вы снова приехали к нам! Ну, ты, *tonto, {Дурак (исп.)}* павиан... адмирал, как бы там тебя ни величали, поверни свою лодку. Посади нас на борт парохода «Спаситель» и получай — здесь пятьсот песо деньгами *Estados Unidos {Соединенных Штатов (исп.)}* — это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в двадцать лет.

Дон Сабас стал втискивать в руку молодого человека пухлый кошелек с деньгами. Адмирал не обратил никакого внимания ни на его слова, ни на его жесты. Он был словно прикован к рулю. Шлюпка неслась прямо к берегу. На неосмысленном лице адмирала появилось что-то светлое, почти разумное, как будто он придумал какую-то хитрость, которая доставляла ему много веселья. Он снова закричал, как попугай:

— Вот для чего они делают так: чтобы ты не видел винтовок. Выстрелят — бум! — и ты мертвый. Лицом к стене. Да.

Потом внезапно он отдал своей команде какой-то приказ. Ловко и беззвучно карибы закрепили шкоты, которые они держали в руках, и нырнули в трюм через люк. Когда скрылся последний из них, дон Сабас, как большой бурый леопард, кинулся вперед, захлопнул люк и сказал с улыбкой:

— Ружей не нужно, дорогой адмирал. Когда-то для забавы я составил словарь карибского языка, и потому я понял ваш приказ... Может быть, теперь...

Но он не договорил, потому что раздалось пренеприятное «звяк» какого-то железа, которое царапало жесть. Адмирал извлек из ножен саблю Педро Лафита и кинулся с нею на своего пассажира. Занесенный клинок опустился, и лишь благодаря изумительной ловкости великан ускользнул, отделавшись царапиной на плече. Вскочив на ноги, он вынул револьвер и выстрелил в адмирала. Адмирал упал.

Дон Сабас нагнулся над ним, но через минуту встал на ноги.

— В сердце, — сказал он. — Сеньоры, военный флот уничтожен.

Полковник Рафаэль бросился к рулю, другой офицер стал развязывать шкоты; передняя рея описала дугу, «E1 Nacional» повернулся и поплыл к пароходу «Спаситель».

— Сорвите флаг, сеньор! — сказал полковник Рафаэль. — Наши друзья на пароходе не поймут, почему мы крейсируем под таким флагом.

— Справедливо! — сказал дон Сабас. Подойдя к мачте, он спустил флаг прямо к тому месту, где на палубе лежал доблестный защитник этого флага. Таково было окончание маленькой послеобеденной шутки, придуманной военным министром... Кто начал ее, тот и кончил.

Но вдруг дон Сабас испустил крик радости и побежал по откосой палубе к полковнику Рафаэлю. Через руку он перекинул флаг погибшего флота.

¹¹ В романе Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818) чудовище, которое некий студент создал из трупов и наделил жизнью при помощи гальванической силы, убивает своего создателя.

— Mire! Mire! *{Смотрите! (исп.)}* Señor! Ah, dios! Ну и зарычит этот австрийский медведь! «Ты разбил мое сердце!» — скажет он. «Du hast mein Herz gebrochen!» Mire! Вы слышали, я уже рассказывал вам о моем венском приятеле, о герре Грюнитце. Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию — за головным украшением... в Бенарес — за туфлей... в Мозамбик — за наконечником копья. Тебе известно, amigo Рафаэль, что я тоже собиратель всяких редкостей. Моя коллекция военно-морских флагов была до прошлого года самая обширная в мире. Но герр Грюнитц раздобыл два таких экземпляра, о! два таких экземпляра, что его коллекция стала считаться полнее моей. К счастью, их можно достать, и я их достану! Но этот флаг, сеньор, знаете ли вы, какой это флаг? Видите: малиновый крест на сине-белом поле. Вы не видели его до сих пор ни разу? Seguramente, no! *{Конечно нет! (исп.)}* Это морской флаг вашей родины. Mire! Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, — ее флот; этот мертвый какаду — начальник флота; этот взмах сабли и единственный выстрел из револьвера — морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь! Другого такого флага никогда не было и не будет. Это уникам. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы герр Грюнитц за этот флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам его и за сто. Дивный флаг! Единственный флаг! Неземной флаг, черт тебя возьми! О-гэ, старый ворчун, герр Грюнитц, подожди, когда дон Сабас вернется на Кенигин-штрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага. О-гэ! ты шнырял по всему миру со своими очками, а его проморгал.

Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боль и обида разгрома. Охваченный всепоглощающей страстью коллекционера, он шагал взад и вперед по маленькой палубе, прижимая свою находку к груди. Он с торжеством поглядывал на восток. Голосом звонким, как труба, он воспевал свое сокровище, словно старый герр Грюнитц мог услышать его в своей затхлой берлоге за океаном.

На «Спасителе» их ждали и встретили радостно. Шлюпка скользнула вдоль борта парохода и остановилась у глубокого выреза, устроенного в борту для погрузки фруктов. Матросы «Спасителя» зацепили шлюпку баграми и подтащили к борту.

Через борт перегнулся капитан Мак-Леод.

— Говорят, сеньор, делу-то крышка...

— Крышка? Какая крышка? — С минуту дон Сабас был в недоумении, с минуту, не больше. — А! Революция. Да! — И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней.

Капитану рассказали о побеге и о команде, запертой в трюме.

— Карибы? — сказал он. — Они не причинят нам вреда.

Он спрыгнул в шлюпку, отодвинул скобу, и из трюма стали выползать черномазые — потные, но улыбающиеся.

— Эй вы, черненькие! — сказал капитан. — Возьмите свою лодку и валяйте назад, домой.

Он указал на шлюпку, на них и на Коралию. Их лица озарились еще более широкой улыбкой, они закивали и заговорили:

— Да, да!

Дон Сабас, оба офицера и капитан собрались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в ярких отряпях.

— Robrecito loco! — сказал он нежно.

Дон Сабас был блистательный космополит, первоклассный знаток и ценитель искусств; но в конце концов по инстинктам и крови он был сын своего народа. Как сказал бы самый простой коралийский крестьянин, так сказал и дон Сабас; без улыбки посмотрел он на адмирала и сказал:

— Бедный несмышлениш!

Нагнувшись, он приподнял мертвого за тощие плечи и подостлал под них свой бесценный, единственный флаг. Потом он снял с себя бриллиантовую звезду — орден Сан-Карлоса и, словно булавкой, скрепил ею концы флага на груди у адмирала.

Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе «Спасителя». Матросы,

державшие шлюпку, оттолкнули ее от борта. Карибы отчалили, натянули паруса, и шлюпка понеслась к берегу.

А коллекция военно-морских флагов, принадлежащая герру Грюнитцу, так и осталась самой полной и первой в мире.

Х. Трилистник и пальма

Однажды в душный безветренный вечер, когда казалось, что Коралио еще ближе придвинулся к раскаленным решеткам ада, пять человек собрались у дверей фотографического заведения Кью и Клэнси. Так во всех экзотических, дьявольски жарких местах на земле белые люди сходятся вместе по окончании работ, чтобы, браня и порицая чужое, тем самым закрепить за собою права на великое наследие предков.

Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как кариб в жаркое время года, и еле слышно лепетал о холодной воде, которую в таком изобилии дают осененные магнолиями колодцы его родного Дэйлсбурга. Доктору Грэггу, из уважения к его бороде, а также из желания подкупить его, чтобы он не начал делиться своими медицинскими воспоминаниями, был предоставлен гамак, протянутый между дверным косяком и тыквенным деревом. Кью вынес на улицу столик с принадлежностями для фотографической ретуши. Он единственный из всех пятерых занимался делом. Горный инженер Бланшар, француз, в белом прохладном полотняном костюме, сидел, словно не замечая жары, и следил сквозь спокойные стекла очков за дымом своей папиросы. Клэнси сидел на ступеньке и курил короткую трубку. Ему хотелось болтать. Остальные так размякли от жары, что являлись идеальными слушателями: ни возражать, ни уйти они не могли.

Клэнси был американцем с ирландским темпераментом и вкусами космополита. Многими профессиями он занимался, но каждой — только короткое время. У него была натура бродяги. Цинкография была лишь небольшим эпизодом его скитальческой жизни. Иногда он соглашался передать своими словами какое-нибудь событие, отметившее его вылазки в мир экзотический и неофициальный. Сегодня, судя по некоторым симптомам, он был склонен кое-что разгласить.

— Элегантная погодка для боя! — начал он. — Это мне напоминает то время, когда я пытался освободить одно государство от убийственного гнета тиранов. Трудная работа: спины не разогнуть, на ладонях мозоли.

— Я и не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным народам, — промямлил Этвуд, лежа на траве.

— Да! — сказал Клэнси. — Но мой меч перековали на орало.

— Что же это за страна, которую вы осчастливили своим покровительством? — спросил Бланшар немного свысока.

— Где Камчатка? — отозвался Клэнси без всякой видимой связи с вопросом.

— Где-то в Сибири... у полюса, — неуверенно вымолвил кто-то.

Клэнси удовлетворенно кивнул головой.

— Я так и думал... Камчатка — это где холодно! Я всегда путаю эти два названия. Гватемала — это где жарко. Я был в Гватемале. На карте вы найдете это место в районе, который называется тропиками. По милости Провидения страна лежит на морском берегу, так что составитель географических карт может печатать названия городов прямо в морской воде. Названия длинные, не меньше дюйма, если даже напечатать их мелкими буквами, составлены из разных испанских диалектов и, сколько я понимаю, по той же системе, от которой взорвался «Мэйн».¹²

¹² «Мэйн» — американский крейсер, в 1898 г. взорвавшийся на рейде Гаваны (Куба), что послужило поводом для испано-американской войны.

Да, вот в эту страну я и помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотов, стреляя в них из одноствольной кирки, да еще незаряженной. Не понимаете, конечно? Да, тут кое-что нужно разъяснить.

Это было в Новом Орлеане, утром, в начале июня. Стою я на пристани, смотрю на корабли. Прямо против меня, внизу, вижу, небольшой пароход готов тронуться в путь. Из труб его идет дым, и босяки нагружают его какими-то ящиками. Ящики большие — фута два ширины, фута четыре длины — и как будто довольно тяжелые. Они штабелями лежали на пристани.

От нечего делать я подошел к ним. Крышка у одного из них была отбита, я приподнял ее из любопытства и заглянул внутрь. Ящик был доверху набит винтовками Винчестера.

«Так, так, — сказал я себе. — Кто-то хочет нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов. Кто-то хочет помочь кому-то оружием. Интересно узнать, куда отправляются эти пугачи».

Слышу, сзади кто-то кашляет! Оборачиваюсь. Передо мною кругленький, жирненький, небольшого роста человек. Личико у него темненькое, костюмчик беленький, а на пальчике брильянт в четыре карата. Замечательный человек, лучше не надо. В глазах у него вопрос и уважение. Похож на иностранца — не то русский, не то японец, не то житель Архипелагов.

— Тс! — говорит человек шепотом, словно секрет сообщает. — Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он с уважением отнестись к той тайне, которую ему случайно удалось подсмотреть, — чтоб люди на пароходе не узнали о ней? Сеньор будет джентльменом, он не скажет никому ни слова.

— Мусью, — сказал я (потому что он казался мне вроде француза), — позвольте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает никто. Джеймс Клэнси не такой человек. К этому разрешите добавить: вив ля либерте — да здравствует свобода! Я, Джеймс Клэнси, всегда был врагом всех существующих властей и правительств.

— Сеньор очень карош! — говорит человек, улыбаясь в черные усы. — Не пожелает ли сеньор подняться на корабль и выпить стаканчик вина?

Так как я — Джеймс Клэнси, то не прошло и минуты, как я уже сидел вместе с этим заграничным мусью в каюте парохода за столиком, а на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, которые швыряли в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, появилась другая. Дать Джеймсу Клэнси бутылку вина — все равно что спровоцировать восстание. Я много слышал о революциях в тропических странах, и мне захотелось приложить к ним руку.

— Что, мусью, — спросил я, подмигивая, — вы немного хотите расшевелить вашу родину, а?

— Да, да! — закричал человек, ударяя кулаком по столу. — Произойдут большие перемены! Довольно дурачить народ обещаниями! Пора, наконец, взяться за дело. Предстоит большая работа! Наши силы двинутся в столицу. *Caramba!*

— Правильно, — говорю я, пьянея от восторга, а также от вина. — Другими словами, вив ля либерте, как я уже сказал. Пусть древний трилистник... то есть банановая лоза и пряничное дерево, или какая ни на есть эмблема вашей угнетенной страны, цветет и не вянет веки.

— Весьма благодарен, — говорит человек, — за ваши братские чувства. Больше всего нашему делу нужны сильные и смелые работники. О, если бы найти тысячу сильных, благородных людей, которые помогли бы генералу де Вега покрыть нашу родину славой и честью. Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы.

— Слушайте, мусью, — кричу я, хватая его за руку, — я не знаю, где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью, так горячо я люблю ее. Сердце Джеймса Клэнси никогда не было глухо к страданиям угнетенных народов. Мы все, вся наша семья, флибустьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вам нужны руки Джеймса Клэнси и его кровь, чтобы свергнуть ярмо тирана, я в вашем распоряжении, я ваш.

Генерал де Вега был в восторге, что заручился моим сочувствием к своей конспирации

и политическим трудностям. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали его толстое брюхо и вино, которое раньше было в бутылках. Таким образом я стал флибустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что это самое великое государство, какое когда-либо омывал океан. В глазах у него были слезы, и время от времени он повторял:

— А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот что нужно моей родине!

Потом этот генерал де Вега, как он себя называл, принес мне бумагу и попросил подписать ее. Я подписал и сделал замечательный росчерк с чудесной завитушкой.

— Деньги за проезд, — деловито сказал генерал, — будут вычтены из вашего жалованья.

— Ничего подобного! — сказал я не без гордости. — За проезд я плачу сам.

Сто восемьдесят долларов хранилось у меня во внутреннем кармане. Я был не то, что другие флибустьеры: флибустьерил не ради еды и штанов.

Пароход должен был отойти через два часа. Я сошел на берег, чтобы купить себе кое-что необходимое. Вернувшись, я с гордостью показал свою покупку генералу: легкое меховое пальто, валенки, шапку с наушниками, изящные рукавицы, обшитые пухом, и шерстяной шарф.

— Caramba! — воскликнул генерал. — Можно ли в таком костюме ехать в тропики!

Потом этот хитрец смеется, зовет капитана, капитан — комиссара, комиссар зовет по трубке механика, и вся шайка толпится у моей каюты и хохочет.

Я задумываюсь на минуту и с серьезным видом прошу генерала сказать мне еще раз, как зовется та страна, куда мы едем. Он говорит: «Гватемала» — и я вижу тогда, что в голове у меня была другая: Камчатка. С тех пор мне трудно различить эти нации — так у меня спутались их названия, климаты и географическое положение.

Я заплатил за проезд двадцать четыре доллара — еду в каюте первого класса, столуюсь с офицерами. На нижней палубе пассажиры второклассные. Люди — человек сорок — какие-то итальяшки, не знаю. И к чему их столько и куда они едут?

Ну, хорошо. Ехали мы три дня и причалили, наконец, к Гватемале. Это синяя страна, а не желтая, как ее малюют на географических картах. Вышли мы на берег. Там стоял городишко. Нас ожидал поезд, несколько вагонов на кривых, расшатанных рельсах. Ящики перенесли на берег и погрузили в вагоны. Потом в вагоны набились итальяшки, я вместе с генералом сел в первый. Да, мы с генералом де Вега были во главе революции! Приморский городишко остался позади. Поезд шел так быстро, как полисмен на склоку. Пейзаж вокруг был такой, какой можно увидеть только в учебниках географии. За семь часов мы сделали сорок миль, и поезд остановился. Рельсы кончились. Мы приехали в какой-то лагерь, гнусный, болотистый, мокрый. Запустение и меланхолия. Впереди рубили просеку и вели земляные работы. «Здесь, — говорю я себе, — романтическое убежище революционеров, здесь Джеймс Клэнси, как доблестный ирландец, представитель высшей расы и потомок фениев, отдаст свою душу борьбе за свободу».

Из вагона вынули ящики и стали сбивать с них крышки. Из первого же ящика генерал де Вега вынул винтовки Винчестера и стал раздавать их отряду каких-то омерзительных солдат. Другие ящики тоже открыли, и — верьте мне или не верьте, черт возьми, — ни одного ружья в них не оказалось. Все ящики были набиты лопатами и кирками.

И вот, провалиться бы этим тропикам, гордый Клэнси и презренные итальяшки — все получают либо кирку, либо лопату, и всех гонят работать на этой поганой железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда макаронники, вот какую бумагу подписал флибустьер Джеймс Клэнси, подписал, не зная, не догадываясь. После я разведаль, в чем дело. Оказывается, для работ по проведению железной дороги трудно было найти рабочую силу. Местные жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им работать? Стоит им протянуть одну руку, и в руке у них окажется самый дорогой, самый изысканный плод, какой только есть на земле; стоит им протянуть другую — и они заснут хоть на неделю, не боясь, что в семь часов утра их разбудит фабричный гудок или что сейчас к ним войдет сборщик квартирной платы. Поневоле приходится отправляться в Соединенные Штаты и обманом завлекать рабочих. Обычно привезенный землекоп умирает через два-три месяца — от гнилой, перезрелой воды и

необузданного тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заставляли подписывать контракты на год и ставили над ними вооруженных часовых, чтобы они не вздумали дать стрекача.

Вот так-то меня обманули тропики, а всему виною наследственный порок — любил совать нос во всякие беспорядки.

Мне вручили кирку, и я взял ее с намерением тут же взбунтоваться, но неподалеку были часовые с винчестерами, и я пришел к заключению, что лучшая черта флибустьера — скромность и умение промолчать, когда следует. В нашей партии было около ста рабочих, и нам приказали двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел к генералу де Вега, который курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел по сторонам. Он улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой.

— В Гватемале, — говорит он, — есть много работы для сильных, рослых людей. Да. Тридцать долларов в месяц. Деньги не маленькие. Да, да. Вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы скоро достроим эту железную дорогу. До самой столицы. А сейчас ступайте работать. Adios, сильный человек!

— Мусью, — говорю я, — скажите мне, бедному ирландцу, одно. Когда я впервые взшел на этот ваш тараканий корабль и дышал свободными революционными чувствами в ваше кислое вино, думали ли вы, что я воспеваю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патриотическими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу за свободу, замыслили ли вы и тогда принизить меня до уровня этих скованных цепями итальяшек, корчующих пни в вашей низкой и подлой стране?

Человек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он долго смеялся, а я, Клэнси, я стоял и ждал.

— Смешные люди! — закричал он наконец. — Вы смешите меня до смерти, ей-богу. Я говорил вам одно: трудно найти сильных и смелых людей для работы в моей стране. Революция? Разве я говорил о р-р-революции? Ни одного слова. Я говорил: сильные, рослые люди нужны в Гватемале. Так. Я не виноват, что вы ошиблись. Вы заглянули в единственный ящик с винтовками для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не так, вы ошиблись. Гватемала не воюет ни с кем. Но работа? О да. Тридцать долларов в месяц. Возьмите же кирку и ступайте работать для свободы и процветания Гватемалы. Ступайте работать. Вас ждут часовые.

— Ты жирный коричневый пудель, — сказал я спокойно, хотя в душе у меня было негодование и тоска. — Это тебе даром не пройдет. Дай только мне собраться с мыслями, и я найду для тебя отличный ответ.

Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе с итальяшками и слышу, как почтенный патриот и мошенник весело смеется.

Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу для этой непотребной страны. Флибустьерствовал по двенадцати часов в сутки тяжелой киркой и лопатой, вырубая роскошный пейзаж, который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах, которые издавали такой аромат, как будто лопнула газовая труба, мы топтали ногами самые лучшие и дорогие сорта оранжерейных цветов и овощей. Все кругом было такое тропическое, что не придумать никакому географу. Все деревья были небоскребы; в кустарниках — иголки и булавки; обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, а нам — стоять по колено в вонючей воде и выкорчевывать пни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отвести москитов, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками. Рабочих было двести человек — по большей части итальянцы, негры, испанцы и шведы. Было три или четыре ирландца.

Один из них, старик Галлоран, — тот мне все объяснил. Он работал уже около года. Большинство умирало, не протянув и шести месяцев. Он высох до хрящей, до костей, и каждую третью ночь его колотил озноб.

— Когда только что приедешь сюда, — рассказывал он, — думаешь: завтра же улепетну.

Но в первый месяц у тебя удерживают жалованье для уплаты за проезд на парохоме, а потом — кончено, ты во власти у тропиков. Тебя окружают сумасшедшие леса и звери с самой дурной репутацией — львы, павианы, анаконды — и каждый норовит тебя сожрать. Солнце жарит немилосердно, даже мозг в костях тает. Становишься вроде этих пожирателей лотоса, про которых в стихах написано. Забываешь все возвышенные чувства жизни: патриотизм, жажду мести, жажду беспорядка и уважение к чистой рубашке. Делаешь свою работу да глотаешь керосин и резиновые трубки, которые повар-итальяшка называет едой. Закуриваешь папироску и говоришь себе: на будущей неделе уйду непременно, и идешь спать, и зовешь себя лгуном, так как прекрасно знаешь, что никуда не уйдешь.

— Кто этот генерал, — говорю я, — который зовет себя де Вега?

— Он хочет возможно скорее закончить дорогу, — отвечает Галлоран. — Вначале этим занималась одна частная компания, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот де Вега — большая фигура в политике и хочет быть президентом. А народ хочет, чтобы железная дорога была закончена возможно скорее, потому что с него дерут налоги, и де Вега двигает работу, чтобы угодить избирателям.

— Не в моих привычках, — говорю я, — угрожать человеку мстью, но Джеймс О'Дауд Клэнси еще предъявит этому железнодорожнику счет.

— Так и я говорил, — отвечает Галлоран с тяжелым вздохом, — пока не отведал этих лотосов. Во всем виноваты тропики. Они выжимают из человека все соки. Это такая страна, где, как сказал поэт, вечно послеобеденный час. Я делаю мою работу, курю мою трубку и сплю. Ведь в жизни ничего другого и нет. Скоро ты и сам это поймешь. Не питай никаких сантиментов, Клэнси.

— Нет, нет, — говорю я. — Моя грудь полна сентиментами. Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны, чтобы сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют уродовать ее пейзаж и подрывать ее корни. За это заплатит мне мой генерал.

Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался случай бежать.

Как-то раз нескольких человек из нашей партии послали назад, к конечному пункту проложенного пути, чтобы мы привезли в лагерь заступы, которые были отданы в Порт-Барриос к точильщику. Они были доставлены нам на дрезине, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах.

В ту ночь, около двенадцати часов, я разбудил Галлорана и сообщил ему свой план побега.

— Убежать? — говорит Галлоран. — Господи боже, Клэнси, неужели ты и вправду затеял бежать? У меня не хватает духу. Очень холодно, и я не выспался. Убежать? Говорю тебе, Клэнси, я объелся этого самого лотоса. А все тропики. Как там у поэта: «Забыл я всех друзей, никто не помнит обо мне; буду жить и покоиться в этой сонной стране». Лучше отправляйся один, Клэнси. А я, пожалуй, останусь. Так рано, и холодно, и мне хочется спать.

Пришлось оставить старика и бежать одному. Я тихонько оделся и выскользнул из палатки. Проходя мимо часового, я сбил его, как кеглю, незрелым кокосовым орехом и кинулся к железной дороге. Вскрываю на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета я увидел огни Порт-Барриоса — приблизительно за милю от меня. Я остановил дрезину и направился к городу. Признаюсь, не без робости я шагал по улицам этого города. Войска Гватемалы не пугали меня, а вот при мысли о рукопашной схватке с конторой по найму рабочих сердце замирало. Да, здесь, раз уж попался в лапы, — держись. Так и представляется, что миссис Америка и миссис Гватемала как-нибудь вечером сплетничают через горы. «Ах, знаете, — говорит миссис Америка, — так мне трудно доставать рабочих, сеньора, мэм, просто ужас». — «Да что вы, мэм, — говорит миссис Гватемала, — не может быть! А моим, мэм, так и в голову не приходит уйти от меня, хи-хи».

Я раздумывал, как мне выбраться из этих тропиков, не угодив на новые работы. Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит парохом. Дым валит у него из труб. Я свернул в переулок, заросший травой, и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который сидел в

челноке и собирался отчалить.

— Стой, Самбо! — крикнул я. — По-английски понимаешь?

— Целую кучу... очень много... да! — сказал он с самой любезной улыбкой.

— Что это за корабль и куда он идет? — спрашиваю я у него. — И что нового? И который час?

— Это корабль «Кончита», — отвечает черный человек добродушно, свертывая папироску. — Он приходил за бананы из Новый Орлеан. Прошедшая ночь нагрузился. Через час... или через два он снимается с якорь. Теперь будет погода хороший. Вы слышали, в городе, говорят, была большая сражения. Как, по-вашему, генерала де Вега поймана? Да? Нет?

— Что ты болтаешь, Самбо? — говорю я. — Большое сражение? Какое сражение? Кому нужен генерал де Вега? Я был далеко отсюда, на моих собственных золотых рудниках, и вот уже два месяца не слыхал никаких новостей.

— О, — тараторит негр, гордясь своим английским языком, — очень большая революция... в Гватемале... одна неделя назад... Генерала де Вега, она пробовала быть президент... Она собрала армию — одна, пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера была большая сражения в Ломагранде — отсюда девятнадцать или пятьдесят миль. Солдаты правительства так отхлестали генералу де Вегу, — очень, очень. Пятьсот, девятьсот, две тысячи солдат генералы де Веги убито. Революция чик — и нет. Генерала де Вега села на большого-большого мула и удрала. Да, саганба! Генерала удрала, и все солдаты генералы убиты. А солдаты правительства ищут генералу де Вегу. Генерала им нужно очень, очень. Они хочет ее застрелить. Как, по-вашему, сеньор, поймают они генералу де Вегу?

— Дай бог! — говорю я. — Это была бы ему Господняя кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонючем болоте. Но сейчас, мой милый, меня увлекает не столько вопрос о восстании, сколько стремление спастись из кабалы. Важнее всего для меня сейчас отказаться от высокоответственной должности в департаменте благоустройства вашей великой и униженной родины. Отвези меня в твоём челноке вон на тот пароход; и я дам тебе пять долларов, синка пасе, синка пасе, — говорю я, снисходя к пониманию негра и переводя свои слова на тропический жаргон.

— Cinco pesos, — повторяет черный. — Пять долла?

В конце концов он оказался далеко не плохим человеком. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякий, покидающий эту страну, должен иметь паспорт и бумаги, но потом взялся за весла и повез меня в своем челноке к пароходу.

Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода — ни души. Море было очень тихое. Негр подсадил меня, и я взобрался на нижнюю палубу, там, где выемка для ссыпки фруктов. Люки в трюм были открыты. Я глянул вниз и увидел бананы, почти до самого верха наполнявшие трюм. Я сказал себе: «Клэнси! Ты уж лучше поезжай зайцем. Безопаснее. А то как бы пароходное начальство не вернуло тебя в контору по найму. Попадешься ты тропикам, если не будешь глядеть в оба».

После чего я прыгаю тихонько на бананы, выкапываю в них ямку и прячусь. Через час, слышу, загудела машина, пароход закачался, и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Люки были открыты у них для вентиляции; скоро в трюме стало довольно светло, и я мог оглядеться. Я почувствовал голод и думаю: почему бы мне не подкрепиться легкой вегетарианской закуской? Я выкарабкался из своей берлоги и приподнял голову. Вижу: ползет человек, в десяти шагах от меня, в руке у него банан. Он сдирает с банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный человек, темнолицый, вида гнусного и очень потрепанного — прямо карикатура из юмористического журнала. Я всмотрелся в него и увидел, что это мой генерал — великий революционер, наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал де Вега. Когда он увидел меня, банан застрял у него в горле, а глаза стали величиною с кокосовые орехи.

— Тсс... — говорю я. — Ни слова! А то нас вытащат отсюда и заставят прогуляться пешком. Вив ля либерте! — шепчу я, запихивая себе в рот банан. Я был уверен, что генерал

не узнает меня. Зловредная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Лицо мое было покрыто саврасо-рыжеватой щетиной, а костюм состоял из синих штанов да красной рубашки.

— Как вы попали на судно, сеньор? — заговорил генерал, едва к нему вернулся дар речи.

— Вошел с черного хода, вот как, — говорю я. — Мы доблестно сражались за свободу, — продолжал я, — но численностью мы уступали врагу. Примем же наше поражение, как мужчины, и скушаем еще по банану.

— Вы тоже бились за свободу, сеньор? — говорит генерал, поливая бананы слезами.

— До самой последней минуты, — говорю я. — Это я вел последнюю отчаянную атаку против наемников тирана. Но враг обезумел от ярости, и нам пришлось отступить. Это я, генерал, достал вам того мула, на котором вам удалось убежать... Будьте добры, передайте мне ту ветку бананов, она отлично созрела... Мне ее не достать. Спасибо!

— Так вот в чем дело, храбрый патриот, — говорит генерал и пуще заливается слезами. — Ah, dios! И я ничем не могу отблагодарить вас за вашу верность и преданность. Мне еле-еле удалось спастись. *Saramba!* ваш мул оказался истинным дьяволом. Он швырял меня, как буря швыряет корабль. Вся моя кожа исцарапана терновником и жесткими лианами. Эта чертова скотина терлась о тысячу пней и тем причинила ногам моим немалые бедствия. Ночью приезжаю я в Порт-Барриос. Отделяюсь от подлеца-мула и спешу к морю. На берегу челнок. Отвязываю его и плыву к пароходу. На пароходе никого. Карабкаюсь по веревке, которая спускается с палубы, и зарываюсь в бананах. Если бы капитан корабля увидел меня, он швырнул бы меня назад в Гватемалу. Это было бы очень плохо. Гватемала застрелила бы генерала де Вега. Поэтому я спрятался, сижу и молчу. Жизнь сама по себе восхитительна. Свобода тоже хороша, никто не спорит, но жизнь, по-моему, еще лучше.

До Нового Орлеана пароход идет три дня. Мы с генералом стали за это время закадычными друзьями. Бананов мы съели столько, что глазам было тошно смотреть на них и глотке было больно их есть. Но все наше меню заключалось в бананах. По ночам я осторожноенько выползал на нижнюю палубу и добывал ведро пресной воды.

Этот генерал де Вега был мужчина, обожравшийся словами и фразами. Своими разговорами он еще увеличивал скуку пути. Он думал, что я революционер, принадлежащий к его собственной партии, в которой, как он говорил, было немало иностранцев — из Америки и других концов земли. Это был лукавый хвастунишка и трус, хотя он сам себя считал героем. Говоря о разгроме своих войск, он жалел одного себя. Ни слова не сказал этот глупый пузырь о других идиотах, которые были расстреляны или умерли из-за его революции.

На второй день он сделался так важен и горд, как будто он не был несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и крадеными бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути, который собирался достроить, и тут же сообщил мне комический случай с одним простофилей-ирландцем, которого он так хорошо одурачил, что тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото, в мертвецкую гниль, работать киркой на узкоколейке. Было больно слушать, когда этот мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на хвост неосмотрительной глупой пичуге Клэнси. Он смеялся искренно и долго. Весь так и трясся от хохота, чернорожий бунтовщик и бродяга, зарытый по горло в бананы, без родины, без родных и друзей.

— Ах, сеньор, — заливался он, — вы сами хохотали бы до упаду над этим забавным ирландцем. Я говорю ему: «Сильные и рослые мужчины нужны в Гватемале». А он отвечает: «Я отдам все свои силы вашей угнетенной стране». — «Ну, конечно, говорю, отдадите». Ах, такой смешной был ирландец! Он увидел на пристани сломанный ящик, в котором было несколько винтовок для часовых. Он думал — винтовки во всех ящиках. А там были кирки да лопаты. Да, Ах, сеньор, посмотрели бы вы на лицо этого ирландца, когда его послали работать!

Так этот бывший агент конторы по найму рабочих усиливал скуку пути шуточками и анекдотами. А в промежутках он снова орошал бананы слезами, ораторствуя о погибшей свободе и о проклятом муле.

Было приятно слышать, как пароход ударился бортом о новоорлеанский мол. Скоро мы услышали шлепанье сотни босых ног по сходням, и в трюм вбежали итальянцы — разгружать

пароход. Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики, стали в цепь, чтобы передавать гроздь, а через час незаметно ускользнули с парохода в гавань.

Клэнси выпала честь ухаживать за представителем великой иноземной державы. Первым долгом я раздобыл для него и для себя много выпивки и много еды, в которой не было ни одного банана. Генерал семенял со мною рядом, предоставляя мне заботиться о нем. Я повел его в сквер Лафайета и посадил там на скамью. Еще раньше я купил ему папирос, и он комфортабельно развалился на скамье, как жирный, самодовольный бродяга. Я посмотрел на него издали, и, признаюсь, его вид доставил мне немалую радость. Он и от природы черный, и душа у него была черная, а тут еще грязь и пыль. По милости мула его платье превратилось в отрепья. Да, Джеймсу Клэнси было очень приятно смотреть на него.

Я спрашиваю у него с деликатностью, не привез ли он из Гватемалы случайно чьих-нибудь денег. Он вздыхает и пожимает плечами: ни цента. Отлично. Он надеется, что его друзья из-под тропиков пришлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если был на свете нищий безо всяких средств к пропитанию — это был генерал де Вега.

Я попросил его никуда не ходить, а сам отправился на тот перекресток, где стоял мой знакомый полисмен О'Хара. Жду его минут пять, и вот вижу, идет: рослый, красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют. Идет и помахивает дубинкой. О, если бы Гватемала была в полицейском участке О'Хары! Раз или два в неделю он подавлял бы тамошние революции дубинкой — просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и без дальних предисловий спросил:

— Что, статья 5046 еще действует?

— Действует с утра до поздней ночи! — отвечает О'Хара и смотрит на меня подозрительно. — По-твоему, она подходит к тебе?

Статья 5046 была знаменитая статья городского устава, подвергающая аресту и тюремному заключению лиц, скрывших от полиции свои преступления.

— Что, не узнал Джимми Клэнси? — говорю я. — Ах ты, чудовище красножаброе!

Когда О'Хара распознал меня под той скандальной внешностью, которой наделили меня тропики, я втолкнул его в какой-то подъезд и рассказал ему все, что мне нужно и почему.

— Отлично, Джимми! — говорит О'Хара. — Воротись назад и садись на скамейку. Я приду через десять минут.

Вот идет О'Хара по скверу Лафайета и видит: два босяка оскорбляют своим видом скамейку, на которой они сидят. Еще через десять минут Джимми Клэнси и генерал де Вега, вчерашний кандидат в президенты республики, оказываются в полицейском участке. Генерал испуган, он говорит о своих высоких орденах и чинах и ссылается на меня как на свидетеля.

— Этот человек, — говорю я, — был железнодорожным агентом. Но его прогнали. Он потерял должность, и теперь он просто сумасшедший.

— *Saramba!* — говорит генерал, шипя, как сифон с сельтерской. — Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор, почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал де Вега, солдат, *caballero*...

— Железнодорожный агент! — говорю я опять. — За душой ни цента. Темная личность. Три дня питался краденными бананами. Посмотрите на него. Сами убедитесь.

Двадцать пять долларов штрафа или шестьдесят дней заключения закатали генералу в участке. Денег у него не было, пришлось посидеть. А меня отпустили! Я знал, что меня не задержат: при мне были деньги, да и О'Хара шепнул обо мне два-три слова. Да! На два месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я киркой великую республику Кам... Гватемалу.

Клэнси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что в его взоре, устремленном в былое, светятся довольство и счастье. Кбоу откинулся на спинку стула и хлопнул своего товарища по еле прикрытой спине.

— Расскажи ты им, дьявол этакий, — сказал он, хихикая, — как ты сквитался с этим генералом на почве земледельческих махинаций.

— Так как у генерала не было денег, — заговорил Клэнси с большим удовольствием, — то для того, чтобы получить с него штраф, полиция заставила его работать с партией других

арестантов по уборке улицы Урсулинок. За углом находился салун, художественно убранный электрическими вентиляторами и холодными напитками. Я сделал этот салун своей главной квартирой и каждые четверть часа выбегал оттуда на улицу поглядеть на маленького человека, флибустьерствующего граблями и лопатой. Жара стояла страшная, не меньше, чем сейчас.

— Эй, мусью! — кричал я ему, и он смотрел на меня, злой, как черт; на рубашке у него были мокрые пятна.

— Жирные, здоровые люди, — говорил я генералу де Вега, — очень нужны в Новом Орлеане. Да, им предстоит великая работа. Caramba! Да здравствует Ирландия!

XI. Остатки кодекса чести

В Коралио завтракают не раньше одиннадцати. Поэтому на рынок уходят поздно. Маленькое деревянное строение крытого рынка стоит на короткой, подстриженной травке под ярко-зеленой листвой хлебного дерева. Однажды утром в обычный час пришли на рынок торговцы и принесли с собой свои товары. Здание рынка со всех сторон окружала галерея в шесть футов шириной, защищенная от полуденного зноя соломенной крышей, далеко выступавшей над стенами. Обычно на этой галерее торговцы раскладывали свои товары — свежую говядину, рыбу, крабов, фрукты, кассаву, яйца, сласти и высокие дрожжистые груды маисовых лепешек, каждая такой ширины, как сомбреро испанского гранда.

Но в это утро те торговцы, которые обычно занимали сторону галереи, обращенную к морю, не разложили товаров, а сбились в кучу и, размахивая руками, негромко залопотали о чем-то. Потому что там, на галерее, лежала объятая сном — нисколько не прекрасная — фигура Блайта-Вельзевула. Он покоился на измытанном кокосовом коврик, больше чем когда-либо похожий на падшего ангела. Его грубый полотняный костюм, весь испачканный, разорванный по швам, был испещрен тысячами всевозможных морщин и так нелепо облекал его туловище, словно Вельзевул был не человек, а чучело, на которое забавы ради напялили одежду, а потом, когда вдоволь наиздевались над ним, бросили. Но непоколебимо на его переносице сверкало золотое пенсне — единственный уцелевший знак его бывшего величия.

Лучи солнца, отразившиеся в мелкой ряби моря и заигравшие на лице Вельзевула, а также голоса рыночных торговцев разбудили его. Он приподнялся на своем ложе, мигая глазами, оперся о стену рынка. Вынув из кармана злокачественный шелковый носовой платок, он тщательно протер и отполировал пенсне. И постепенно ему стало ясно что в его спальне чужие и что учтивые бурые и желтые люди умоляют именно его уступить свое ложе товарам.

— Если сеньор будет так добр... Тысяча извинений за беспокойство... но скоро придут покупатели... покупать провизию... Десять тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить сеньора!

В таком стиле они возвещали ему, что он должен убраться и не тормозить колес торговли.

Блайт покинул галерею с видом принца, покидающего осененное великолепным балдахинном ложе. Этого вида он не терял никогда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности не обязателен в программе аристократического образования.

Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зашагал по горячим пескам Калье Гранде. Куда он идет, он не знал. Городок лениво предавался своим повседневным занятиям. В траве копошились младенцы с золотистыми телами. Морской ветер навевал ему аппетит, но не навевал средств для утоления оного. Как всегда по утрам, Коралио был полон тяжелым запахом тропических цветов, и запахом печеного хлеба, приготовляемого тут же, на улице, и запахом дыма от глиняных печек/ В тех местах, где не было дыма, виднелись горы, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществом евангельской веры, придвинул их почти к самому морю, — придвинул так близко, что можно было сосчитать все скалистые прогалины на покрытых лесами склонах. Легконогие карибы спешили на берег к ежедневным трудам.

Уже среди кустов, по тропинкам, медленно спускались лошади одна за другою — от банановых плантаций к морю. Видны были только их головы да ноги. Все остальное было прикрыто огромными связками золотисто-зеленых плодов, свешивающихся у них со спины. На порогах сидели женщины и расчесывали длинные черные волосы, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. В Коралио царил покой — скучный, выжженный зноем, но все же покой.

В это яркое, ясное утро, когда Природа, казалось, подавала лотос забвения на золотой тарелке Рассвета, Блайт-Вельзевул докатился до дна. Дальше падать было уже некуда. Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него над головой был кров, все еще оставалось что-то, отличающее джентльмена от лесного зверя и птиц поднебесных. Но теперь он — жалкая устрица, которую ведут на съедение по песчаному берегу Южного моря хитрый Морж — Случай и безжалостный Плотник — Судьба.¹³

Деньги давно уже были для Блайта легендой. Он выкачал из своих приятелей все, что их дружба могла ему дать; потом он выжал до последней капли то, что могло дать ему их великодушие, и, наконец, подобно Аарону, выбил из их затвердевших сердец, как из камня, скудные капли унижительной милостыни.

Он истощил свой кредит до последнего реала. С той ясной отчетливостью, которая отличает ум потерявшего стыд паразита, он знал наперечет все места в Коралио, где можно раздобыть стакан рома, порцию съестного, серебряную монетку. Теперь он перебирал в уме все эти источники благ, вникая в них с тем прилежным вниманием, которое дается лишь жаждой и голодом. Весь его оптимизм не мог найти ни зерна надежды в мякине его жизненных планов. Игра сыграна. Эта ночевка на улице доконала его. До сих пор он мог просить займы. Теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильна была бы назвать возвышенным именем ссуды монету, небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках базара.

Но в это утро он, как последний нищий, с благодарностью принял бы любое подаяние, ибо демон жажды схватил его за горло, — демон утренней жажды привычного пьяницы, требующей утоления на каждой станции по пути в геенну огненную.

Блайт медленно шел по улице, зорко высматривая какое-то чудо, которое пошлет манну в его пустыню. Проходя мимо простонародной харчевни мадамы Васкес, он увидел, как завсегдатаи этой харчевни сидят за столом и поглощают ломти свежее испеченного хлеба, авокадо, ананасы и очаровательный кофе, аромат которого свидетельствовал о его отменных достоинствах. Мадама прислуживала за столом; отвернувшись на мгновение к окну и кинув на улицу робкий, бессмысленный, меланхолический взор, она увидела Блайта; взгляд ее стал еще более смущенным и робким. Вельзевул был должен ей двадцать песо. Он поклонился ей так, как некогда кланялся менее робким дамам, которым ничего не был должен, и пошел дальше.

Купцы и их подручные открывали массивные деревянные двери магазинов. Вежливы, но холодны были их взоры, когда они смотрели на Блайта, как он гордо шагает по улице с остатками своей прежней элегантной осанки, потому что они все без изъятия были его кредиторами.

На площади у фонтана он совершил туалет при помощи смоченного в воде носового платка.

По площади тянулась печальная вереница людей. То были друзья заключенных в тюрьме; они несли арестантам их утренний завтрак. Пища не возбудила в Блайте никаких вожделений. Ему нужна была не пища, но выпивка или монета для ее приобретения.

По дороге ему встретилось немало людей, которые некогда были его друзьями и близкими. Но у всех у них он уже истощил и терпение и щедрость. Уиллард Джедди и Паула проскакали мимо него, возвращаясь с ежедневной прогулки верхом по старой индейской

¹³ См. предисловие переводчика.

дороге, и ответили ему самым холодным поклоном. На другом углу ему встретился Кьюу, который шел, весело насвистывая и неся, словно приз, свежие яйца на завтрак себе и Клэнси. Лихой искатель счастья был одной из жертв Блайта; чаще всех он опускал руку в карман, чтобы дать Вельзевулу подачку. Но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и зловещий блеск в серых больших глазах заставили Вельзевула ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном «займе».

После этого злосчастный отверженец посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были истрачены; но сегодня Блайт готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток *aguardiente*. В двух пульпериях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее ругани. Третье заведение усвоило себе американские методы: посетителя схватили за шиворот и дали ему такого пинка, что он вылетел на улицу и упал на колени.

Физическое оскорбление изменило его самым неожиданным образом. Когда он встал с колен и пошел дальше, весь облик его выражал полное и абсолютное спокойствие. Та искательная и притворная улыбка, которая словно застыла у него на лице, сменилась упорной и злобной решимостью. До сих пор Вельзевул барахтался в море бесчестия, держась за веревочку, которая соединяла его с порядочным обществом, вышвырнувшем его за борт. И вот он почувствовал, что эту веревочку внезапно выдернули у него из рук, и на него снизошло то блаженное спокойствие духа, которое испытывает всякий пловец, когда, утомившись бороться с волнами, он видит, что ему осталось одно: утонуть.

Блайт отошел к ближайшему углу, счистил там со своего костюма песок и протер стекла пенсне.

— Ничего другого не осталось, — сказал он вслух самому себе. — Будь у меня бутылка рома, я бы подождал еще немного. Но для Вельзевула, как они называют меня, рома нет больше нигде. Клянусь пламенем Тартара... Если меня сажают по правую руку самого сатаны, кто-нибудь должен платить за эту царственную роскошь. Придется расплачиваться вам, мистер Франк Гудвин. Вы славный малый, я знаю, но нельзя же, чтобы джентльмена выбрасывали из питейной на улицу. Шантаж — нехорошее слово, но шантаж есть ближайшая станция на той дороге, по которой я теперь путешествую.

Решительной поступью Блайт зашагал через город, держась наиболее удаленных от моря окраин. Он миновал грязные домишки беззаботных негров и живописные лачуги беднейших метисов, по пути он то и дело, со многих улиц, видел сквозь тенистые просеки дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гальвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мирафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога вилась от края банановой рощи к дому. Тропические деревья самого разнообразного вида давали ей обильную тень. Блайт пошел по этой дороге, шагая широко и решительно.

Гудвин сидел на той галерее, где было прохладнее, и диктовал письма своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше с болезненно желтым лицом. В доме завтракали по-американски — рано. Прошло уже больше получаса с тех пор, как Гудвин встал из-за стола.

Отверженный подошел к ступенькам и помахал рукой.

— Доброе утро, Блайт, — сказал Гудвин. — Входите и садитесь. У вас есть ко мне дело?

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

Гудвин сделал знак секретарю; тот вышел в сад, стал под манговым деревом и закурил папиросу. Блайт сел на освободившийся стул.

— Мне нужны деньги, — сказал он отрывисто и хмуро.

— Извините, пожалуйста, — сказал Гудвин, — но денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Ваши друзья делали все, что могли, чтобы поставить вас на ноги, но их помощь шла вам во вред: вы сами губили себя. Больше денег вам давать нельзя.

— Милый человек, — сказал Блайт, откачнувшись назад вместе с креслом, — оставим политическую экономию в покое. Я говорю о другом. Я люблю вас, Гудвин, но я пришел

всадить вам нож между ребер. Сегодня меня выгнали из салуна Эспады, и я хочу, чтобы общество заплатило мне за нанесенное оскорбление.

— Но ведь выгнал вас не я.

— Все равно: вы представитель общества, и в частности вы моя последняя надежда. Что делать! Не нравится мне эта история, но иного пути нет. Еще месяц тому назад, когда здесь был секретарь Лосады, я попробовал это сделать, но тогда я не мог. Тогда я не мог. А теперь могу. Теперь времена другие. Мне нужна тысяча долларов, Гудвин, и вам придется выдать мне эти деньги немедленно.

— Только на прошлой неделе вы просили не больше одного серебряного доллара, — сказал Гудвин с улыбкой.

— Что доказывает, — нахально подхватил Блайт, — что даже в тисках нищеты я все еще сохранял благородство. Согласитесь, что какого-то несчастного мексиканского доллара мало, чтобы заплатить за грех. Будем же говорить, как деловые люди. Я негодяй из третьего акта пьесы. Мне подобает полный, хоть и временный триумф. Я видел, как вы зажали в кулак чемоданчик покойного президента... с монетой. О, я знаю, это шантаж; но зато я недорого беру. Я знаю, я дешевый негодяй, прямо из мелодрамы... но так как вы мой душевный приятель, я не хочу выжимать из вас последние соки.

— А не можете ли вы поподробнее? — сказал Гудвин, спокойно разбирая письма у себя на столе.

— С удовольствием, — сказал Блайт. — Мне нравится, как вы относитесь к делу. Театральщина мне ненавистна, и я предупреждаю заранее, что в моем рассказе не будет ни фейерверков, ни бенгальских огней, ни фиоритур на саксофоне.

В ту ночь, когда беглое превосходительство прибыло в город, я был очень пьян. Мне простительно гордиться этим фактом, ибо я достигаю такого блаженства не часто. Кто-то поставил скамью под апельсиновыми деревьями в садике мадамы Ортис. Я перелез через ограду, лег и заснул. Разбудил меня апельсин, который упал мне на нос. Я очень рассердился и стал проклинать сэра Исаака Ньютона — или как его звали? — за то, что, выдумав притяжение земли, он не ограничил своей теории яблоками.

А тут прибыл мистер Мирафлорес со своей возлюбленной и с деньгой в саквояже и прошел в отель. Вскоре явились вы и завели разговор с артистом парикмахерского цеха, который обязательно желал разговаривать на профессиональные темы, хоть время уже было не рабочее. Я пытался заснуть опять, но меня опять разбудили, на этот раз выстрелом из пистолета во втором этаже. А через минуту, смотрю, на меня летит саквояж и застревает в ветвях моего апельсинового дерева. Я встаю и думаю: уж не чемоданный ли дождь? Но тут со всего города сбежалась полиция, армия в орденах и медалях, наскоро приколотых к пижамам, с обнаженными ножиками, и я предпочел затаиться под тенью благодетельных бананов. Там я просидел около часа; к этому времени все успокоилось. И тогда, мой милый Гудвин, — простите, пожалуйста, — я видел, как вы пробрались в сад и тихомолком сорвали с апельсинового дерева этот спелый, сочный саквояж. Я поплелся за вами и видел, как вы внесли его к себе в дом. Чтобы одно-единственное апельсиновое дерево в один сезон принесло такой огромный урожай — сто тысяч долларов чистого дохода — это ли не рекорд для фруктовой промышленности?

В то время я был еще джентльменом и, конечно, не сказал никому ни слова. Но сегодня меня выгнали из питейной, у меня нет больше ни чести, ни совести; сегодня я продал бы за рюмку коньяку молитвенник моей матери! Я не ставлю вам тяжелых условий... Я прошу только тысячу долларов за то, что во время всей вашей кутерьмы я спал непробудным сном и ничего не видел.

Гудвин распечатал еще два письма и сделал на них карандашные пометки. Потом он кликнул секретаря:

— Мануэль!

Секретарь мгновенно появился.

— Когда отходит «Ариэль»? — спросил Гудвин.

— Сеньор, — ответил молодой человек, — сегодня в три. Он зайдет еще в порт Соледад за дополнительным грузом, а оттуда прямо в Новый Орлеан.

— Bueno, — сказал Гудвин. — Эти письма могут подождать.

Секретарь снова удалился под манговое дерево к своей папиросе.

— Круглым счетом, — спросил Гудвин, глядя прямо в лицо Вельзевулу, — сколько денег вы должны в этом городе, не считая тех, которые вы «брали займы» у меня?

— Долларов пятьсот... приблизительно, — ответил, не задумываясь, Блайт.

— Ступайте в город и составьте там точный список всех ваших долгов. Этот список принесите мне через два часа, и я пошлю Мануэля с деньгами, чтобы он заплатил все до последнего гроша. Я также распорядюсь, чтобы вам купили приличный костюм. Вы уедете на «Аризле» в три. Мануэль проводит вас к самому судну, и, перед тем как оно тронется в путь, он вручит вам тысячу долларов. Но, надеюсь, вы понимаете сами, что за это...

— Вполне понимаю! — весело выкрикнул Блайт. — Всю ту ночь я проспал без просыпу под апельсинным деревом мадамы Ортис и теперь должен навеки отряхнуть от себя прах Коралио. Не беспокойтесь, я выполню свое обязательство честно. Лотоса мне больше не есть. Ваше предложение отличное, и сами вы отличный человек и дешево отделались. Я подчиняюсь всем вашим условиям. Но куда... у меня страшная жажда... и, милый Гудвин...

— Не дам ни реала, — твердо сказал Гудвин, — куда вы не сядете на пароход. Если вам дать деньги сейчас, вы через полчаса так напьетесь...

Но тут Гудвин всмотрелся в покрасневшие глаза Вельзевула, увидел, как дрожат у него руки и какой он весь расхлябанный. Он шагнул через стеклянную дверь террасы в столовую и вынес оттуда стакан и графинчик водки.

— Выпейте куда, на дорогу! — сказал он, угощая шантажиста, как своего лучшего друга.

У Блайта-Вельзевула даже глаза заблестели при виде той благодати, по которой все утро томилась его душа. Сегодня в первый раз его отравленные нервы не получили той установленной дозы, которая была им нужна. И в отместку они мучили его жестоко. Он схватил графин, и хрустальное горлышко застучало о стакан в его дрожащих руках. Он налил полный стакан и встал навтыжку, держа стакан перед собою в руке. На минуту ему удалось высунуть голову из заливающих его губельных волн. Он небрежно кивнул Гудвину, поднес стакан ко рту и пробормотал: «Ваше здоровье», соблюдая древний ритуал своего потерянного рая. А потом, так внезапно, что вино расплескалось у него по руке, он отставил стакан, не отпив ни единого глотка.

— Через два часа, — прошептал он Гудвину сухими губами, сходя вниз по ступенькам и направляя стопы свои в город.

Дойдя до тенистой банановой рощи, Вельзевул остановился и туже затянул пояс.

— Этого я сделать не мог, — лихорадочно сказал он, обращаясь к верхушкам банановых деревьев. — Хотел, но не мог. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует.

ХII. Башмаки

Джон де Граффенрид Этвуд объедался лотосом сверх всякой меры: ел корни, стебли и цветы. Тропики околдовали его. С энтузиазмом принялся он за работу, а работа у него была одна: забыть во что бы то ни стало Розину.

Те, кто объедается лотосом, никогда не вкушают его без приправы. А приправа к нему — подливка *au diable*, и изготавливают ее водочные заводы. Все вечера Джонни и Билли Кьюо проводили за бутылкой на террасе консульского домика, так громко распевая непристойные песни, что прохожие туземцы только пожимали плечами и бормотали что-то по поводу «*Americanos diablos*».

Однажды слуга принес Джонни почту и положил ее на стол. Джонни протянул руку с

гамака и меланхолично взял четыре или пять писем. Кью сидел на столе и от нечего делать отрубал разрезным ножом ноги у большой сороконожки, которая ползла среди бумаг. Джонни находился в той стадии объедения лотосом, когда все слова отдают горечью.

— Все то же!.. — роптал он. — Идиоты! Пишут мне письма, задают вопросы об этой стране. Все желают узнать, как им устроить плантации и как нажить миллионы, не затрачивая никакого труда. Многие даже марок на ответ не прилагают. Они думают, что у консула нет другого дела, как только писать им письма. Распечатайте конверты, мой милый, и прочитайте, в чем дело, а мне что-то лень.

Кью, который так обжился среди тропиков, что они уже не могли испортить ему настроения, придвинул стул к столу и с покладистой улыбкой на румянном лице стал разбирать корреспонденцию консула. Четыре письма были из разных концов Соединенных Штатов, от лиц, очевидно, смотревших на консула в Коралио как на некий энциклопедический словарь. Они присылали ему длинные столбцы всевозможных вопросов — каждый вопрос за особым номером — и требовали сведений о климате, естественных богатствах, статистических данных, возможностях, законах и перспективах страны, где консул имел честь быть представителем их государства.

— Каждому напишите, пожалуйста, Билли, — сказал апатично консул, — одну строчку, не больше: «Смотрите последний отчет коралийского консульства». Да прибавьте, что всякие беллетристические подробности им с радостью сообщат в государственном департаменте. И подпишите мое имя. Вот и все. И, пожалуйста, не скрипите пером: это не дает мне заснуть.

— Если вы не будете храпеть, — сказал благодушно Кью, — я сделаю за вас всю работу. Вам нужен целый штат секретарей, я и вообразить не могу, как вы справились с вашим отчетом. Проснитесь на минуту! Вот еще одно письмо — оно из вашего родного города, из Дэйлсбурга.

— Да? — протянул Джонни, обнаруживая снисходительное любопытство. — О чем оно?

— Пишет почтмейстер, — пояснил Кью. — Он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. И ему хотелось бы знать, выгодно ли это предприятие. Он, видите ли, слышал, что для наживы тут места благодатные, и хочет воспользоваться.

Джонни жестоко страдал от жары, состояние духа у него было убийственное, и все же его гамак так и затрясся от хохота. Кью тоже не мог удержаться от смеха; и ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции: захихикала пронзительным голосом.

— Боже милосердный! — крикнул консул. — Башмачный магазин! Что еще придумают эти ослы? Мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Билли, скажите на милость, сколько человек из наших трех тысяч жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?

Кью задумался.

— Сколько человек? Погодите... Вы да я...

— Нет, не я! — сказал Джонни и вытянул ноги, облаченные в истоптанные туфли. — Я не был жертвой башмаков уже несколько месяцев.

— Но все же у вас они есть, — возразил Кью. — Дальше: Гудвин, Бланшар, Джеджи, старый Лютц, доктор Грэгг, и этот... как его? итальянец... агент по закупке бананов... и старик Дельгадо... впрочем, нет, он носит сандалии. Ну, кто еще? Мадама Ортис, хозяйка гостиницы. На вчерашней baile {Танцевальная вечеринка (исп.).} я видел у нее на ногах красные козловые туфельки. И ее дочка, мисс Паса... ну, та училась в Штатах и знает, что такое культурная обувь... Кто же еще? Сестра comandante; по большим праздникам она действительно носит ботинки. И миссис Джеджи: у нее номер тридцать третий, с высоким подъемом. А больше, кажется, нет никого. Стойте, а солдаты? Впрочем, нет, им обувь полагается только в походе, а в казармах они все босиком.

— Правильно, — согласился консул. — Из трех тысяч человек едва ли двадцать чувствовали когда-нибудь прикосновение кожи к ногам. О да! Коралио самое подходящее место для продажи обуви... если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром.

Нет, это, должно быть, написано в шутку. Просто дядя Паттерсон хотел рассмешить меня. Он всегда считал себя большим остряком. Напишите ему письмо, Билли, я продиктую. Мы покажем ему, что мы тоже умеем шутить! Кью обмакнул перо и стал писать под диктовку Джонни. Были большие паузы, бутылка и стаканы путешествовали от одного к другому, и в результате получилось такое послание:

«Мистеру Обедая Паттерсону,
Дэйлсбург, штат Алабама
Милостивый государь,

В ответ на ваше уважаемое письмо от 2 июня с. г. честь имею уведомить вас, что, по моему убеждению, на всем земном шаре нет другого места, где первоклассная обувная торговля имела бы больше шансов на успех, чем именно город Коралио. В этом городе 3000 жителей и ни одного магазина обуви. Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предприимчивых коммерсантов, но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекло никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви.

Но это нужда не единственная. Есть много других неудовлетворенных потребностей. Настоятельно необходимы: пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для отопления домов, а также кукольный театр с участием Панча и Джуди!¹⁴

Остаюсь ваш покорный слуга
Джон де Граффенрид Эвуд,
Консул Соединенных Штатов в Коралио.

P. S. Дядя Паттерсон, ау! Наш городишко еще не провалился сквозь землю? Что бы делало правительство без нас с вами? Ждите, на днях я пришлю вам попугая с зеленой головкой и пучок бананов.

Ваш старый приятель *Джонни* ».

— Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма и дайте их Панчо: пусть отнесет на почту. Завтра «Ариадна» увезет почту, если успеет сегодня закончить погрузку.

Вечерняя программа Коралио всегда одна и та же. Развлечения снотворны и скучны. Люди слоняются без цели, босые, вяло болтают друг с другом. В зубах у них сигара или папироса. Глядя вниз на слабо освещенные улицы, можно подумать, что там беспорядочно движутся черномазые призраки и спятившие с ума светляки. Треньканье заунывной гитары усугубляет ночную тоску. Гигантские лягушки сидят на деревьях и квакают оглушительно, как трещотки в негритянском оркестре. Около десяти часов на улицах уже нет никого.

В консульстве царила такая же рутинная жизнь. Каждый вечер появлялся Кью — посидеть в самом прохладном месте города, на веранде консульского дома.

Графинчик водки скоро приходил в движение, и около полуночи в сердце изгнанника-консула начинали пробуждаться сентименты. Тогда он излагал Кью свою любовную историю, завершившуюся таким печальным концом. И каждый вечер Кью безропотно выслушивал друга, не уставая выражать ему сочувствие.

Свои lamentации Джонни неизменно заканчивал так:

— Но, ради бога, не думайте, что у меня сохранились какие-нибудь чувства к этой девушке. Я никогда не вспоминаю о ней. Мне нет до нее дела. Если бы она сейчас вошла в эту дверь, пульс у меня бился бы так же спокойно. Это все в прошлом.

— Еще бы! — отвечал Кью. — Не сомневаюсь, что вы забыли ее. Таких и надо забывать.

¹⁴ Панч и Джуди — популярные герои английского национального кукольного театра. Панч во многом сходен с Петрушкой.

С ее стороны было даже совсем некрасиво поддаться на удочку этого грубияна... Динка Поусона.

— Пинка Доусона! — произносил Джонни тоном величайшего презрения. — Ничтожество. Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, пятьсот акров, и потому его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Кто такие Доусоны? Никто. А Этвуды известны по всей Алабаме. Скажите, Билли, знаете ли вы, что моя мать — урожденная де Граффенрид?

— Нет, — отвечал неизменно Кьюу. — Неужели?

Он слышал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз.

— Факт! Де Граффенрид из округа Хэнкок... Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли, Билли?

— Так, так, — поддакивал Кьюу, и это было последнее, что слышал победитель Купидона.

На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон, а Кьюу покидал террасу и брел через площадь в свою хижину под тыквенным деревом.

Через два-три дня коралийские изгнанники забыли письмо почтмейстера. Забыли они и свой забавный ответ на него. Но двадцать шестого июня плод этого ответа появился на древе событий.

В коралийские воды прибыл пароход «Андадор», совершавший регулярные рейсы. Он стал на якорь за милю от города. Побережье было усеяно зрителями. Карантинный доктор и таможенные отбыли в шлюпке на судно.

Через час Билли Кьюу вошел в консульство, сверкая белоснежным костюмом и ухмыляясь, как довольная акула.

— Что я вам скажу? Угадайте, — сказал он консулу, разлегшемуся в гамаке.

— Куда там угадывать в такую жару, — лениво проямлил консул.

— Приехал ваш человек с сапогами, тот самый, — медленно заговорил Кьюу, с удовольствием ворочая на языке этот сладкий леденец. — И привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент — до Огненной Земли. Сейчас их перевозят на таможню. Шесть лодок, переполненных доверху, уже привезли и уехали за новой партией. Святители небесные! Вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул. Стоило прокорпеть в тропиках девять лет, чтобы дожждаться такого веселого зрелища.

Кьюу любил веселиться с комфортом. Он выбрал чистое место на коврике и повалился на пол. Стены дрожали от его удовольствия.

Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал:

— Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез?

— Товару на четыре тысячи долларов! — захлебывался Кьюу в экстазе. — Привез бы уголь в Ньюкасл! Или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье. Посмотрели бы вы на него, когда он вздел себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев. Пятьсот человек, и все босиком!

— И это правда? — спросил консул слабым голосом.

— Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин. Красота! Рядом с нею кирпичные лица наших сеньорит показались черными, как вакса.

— Дальше! Рассказывайте дальше, — сказал Джонни, — если только вы способны прекратить ваше ослиное ржанье. Терпеть не могу, когда взрослый человек гогочет, как гиена!

— Зовут его Гемстеттер, — продолжал Кьюу — Он... ах, что это с вами?

Джонни стукнул подошвами об пол и выкарабкался из гамака.

— Да встаньте вы, идиот, — закричал он в сердцах, — или я размозжу вам голову этой чернильницей! Ведь это Розина и ее отец. Ах, боже мой, что за болван этот старый почтмейстер! Ну встаньте же, Билли Кьюу, и помогите мне. Что же нам делать? Или весь мир сошел с ума?

Кьюу поднялся и стряхнул с себя пыль. Кое-как ему удалось придать себе

благопристойный вид.

— Нужно что-нибудь предпринять, Джонни, — сказал он, с трудом переходя на серьезный тон. — Я ведь не думал, что это ваша возлюбленная. Раньше всего нужно найти им квартиру. Вы идите на берег, встречайте гостей, а я сбегая к Гудвину: может быть, миссис Гудвин приютит их у себя. Ведь у них лучший дом во всем Коралио.

— Милый Билли! — сказал консул. — Я знал, что вы не оставите меня. Наступил конец света, в этом нет никакого сомнения, но попробуем отсрочить катастрофу... на день или на два.

Кью раскрыл зонтик и направился к дому Гудвина. Джонни надел пиджак и шляпу. Он схватил было графинчик с водкой, но поставил его снова на стол, не отпив ни глотка, и смело двинулся к берегу.

Он нашел мистера Гемстеттера и его дочь в холодке, у таможи. Окружавшая их толпа молча глазела на них. Таможенные чиновники кланялись и расшаркивались, в то время как капитан «Андадора» переводил им, с какой целью эти люди приехали в Коралио. Розина была, по-видимому, в полном здоровье, она с веселым интересом рассматривала все вокруг. Все было так ново! Ее круглые щечки чуть-чуть покраснели, когда она увидела своего бывшего поклонника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это был пожилой человек без всяких житейских талантов, один из тех многочисленных неудачников, дельцов-непосед, которые никогда не бывают довольны и вечно мечтают о чем-нибудь новом.

— Очень рад вас видеть, милый Джон... Можно называть вас просто Джоном? — сказал он. — Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так скоро ответили на запрос нашего почтмейстера. Он был очень любезен, — предложил похлопотать обо мне. Он знал, что я ищу себе такое дело, где прибыль была бы побольше. Я читал в газетах, что здешние места привлекают много капиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что имел, и купил вот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт. Живописный у вас городишко, Джон! Я надеюсь, что дела у меня пойдут превосходно. Судя по вашему письму, спрос на обувь здесь будет огромный.

Страдания злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кью, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистеру Гемстеттеру и его дочери. Туда-то и были отведены новоприезжие. Там их и оставили: пусть отдыхают с дороги. Консул пошел проследить, чтобы обувь пока что, в ожидании досмотра, убрали в таможенный склад. Кью, улыбаясь, как акула, побежал по городу разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговли в Коралио, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно.

Вечером у Кью с консулом состоялся на подветренной террасе отчаянный военный совет.

— Отправьте их домой, — начал Кью, читая у консула в мыслях.

— Отправил бы, — сказал Джонни, помолчав, — только, Билли, дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас.

— Это ничего, — сказал покладистый Кью.

— Я говорил вам сто раз, — медленно продолжал Джонни, — что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы.

— Триста семьдесят пять раз вы говорили об этом, — согласился монумент терпения.

— Я лгал, — повторил консул, — я лгал каждый раз. Я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел: убежал черт знает куда лишь потому, что она мимоходом сказала «нет». И, как спесивый болван, не хотел вернуться. Но сегодня я обменялся с нею двумя-тремя словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за нею?

— Динка Поусона?

— Пинка Доусона. Он для нее — ноль. Она, оказывается, не верила его рассказам обо мне. Но все равно, я погиб. Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, расстроило все мои шансы. Она с презрением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл

такую жестокую шутку над ее старым отцом, — шутку, недостойную самого глупого школьника. Башмаки! Боже мой, да сиди он здесь двадцать лет, он не продаст и двадцати пар башмаков. Напяльте-ка башмаки на карибу или на чумазого испанца — и что сделают эти люди? Встанут на голову и будут визжать, пока не стряхнут их. Никогда не носили они башмаков и не будут носить. Если я пошлю их домой, я должен буду рассказать им всю историю, и что подумает Розина обо мне? Я люблю эту девушку больше прежнего, Билли, и теперь, когда она тут, в двух шагах, я теряю ее навеки лишь потому, что я попробовал шутить, когда термометр показывал сто два градуса.

— Не падайте духом! — сказал оптимист Кьюу. — И пусть они откроют магазин. Я недаром поработал нынче. На первое время мы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я войду и куплю шесть пар. Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков, как будто они стеножки. Франк Гудвин купит целый ящик или два. Джедди покупают одиннадцать пар. Клэнси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грэгг готов купить три пары туфель крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размер. Бланшар видел мельком мисс Розину Гемстеттер, и, так как он француз, он потребует не меньше двенадцати пар.

— Десяток покупателей, — сказал Джонни, — а товару на четыре тысячи долларов. Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, Билли, домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. И прихватите с собой этот коньяк, да, да, без разговоров! Больше консул Соединенных Штатов не выпьет ни капли вина. Я буду сидеть всю ночь и думать. Если есть в этом деле какая-нибудь зацепка, я найду ее. Если нет — на совести роскошных тропиков прибавится еще одна гибель.

Кьюу ушел, видя, что он больше не нужен. Джонни разложил на столе три или четыре сигары и растянулся в кресле. Когда внезапно на землю пал тропический рассвет и посеребрил морские струи, консул все еще сидел за столом. Потом он встал, насвистывая какую-то арию, и принял ванну.

В девять часов утра он направился в грязную почтово-телеграфную контору и провозился больше получаса с бланком. В результате получилась следующая каблограмма, которую он подписал и отправил, заплатив тридцать три доллара:

«П. Доусону, Дэйлсбург. Алабама.

Сто долларов посланы вам почтою. Пришлите мне немедленно пятьсот фунтов крепких колючих репейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена двадцать центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь».

ХIII. Корабли

В течение ближайшей недели на Калье Гранде было найдено отличное помещение для магазина. Мистер Гемстеттер снял его за довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках. Магазин украсился изящными белыми коробками, выглядевшими очень заманчиво.

Друзья Джонни постояли за него горой. В первый день Кьюу заглядывал в магазин как бы мимоходом каждый час и покупал башмаки. После того как он купил башмаки на резинках, башмаки на шнурках, башмаки на пуговках, башмаки с гетрами, башмаки для тенниса, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков и вышитые ночные туфли, он кинулся разыскивать Джонни — спросить у него, какие сорта обуви существуют еще, дабы закупить и их. Столь же благородно сыграли свою роль остальные: покупали часто и помногу. Кьюу руководил операциями и распределял клиентов так, чтобы растянуть торговлю на несколько дней. Мистер Гемстеттер был доволен, но его смущало одно: почему никто из туземцев не приходит покупать башмаки?

— Ах, они такие застенчивые, — говорил Джонни, нервно вытирая лоб. — Дайте им немного попривыкнуть. От них отбою не будет; раскупят весь товар моментально.

Однажды предвечерней порой в конторе консула появился Кьюу, задумчиво пожевывая кончик незажженной сигары.

— Ну, придумали какой-нибудь фокус? — спросил он Джонни. — Если придумали, то сейчас самое время показать его. Если вы сумеете взять у одного из зрителей шляпу и вынуть оттуда несколько сот покупателей, которые желают купить башмаки, действуйте немедленно. Мы все накупили себе столько обуви, что хватит на десять лет. Теперь в башмачном магазине затишье, *dolce far niente*. {*Блаженное безделье (ит.)*.} Я сейчас оттуда. Ваша жертва — почтенный Гемстеттер — стоит у порога и с изумлением взирает сквозь очки на босые ноги, проходящие мимо его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художественные. Сегодня утром мы с Клэнси за два часа сфотографировали восемнадцать человек. А башмаков за весь день продана одна пара. Ее купил Бланшар. Ему показалось, что в магазине дочь хозяина. Он вошел и купил комнатные туфли, меховые. Потом я видел, как он размахнулся и швырнул их в залив.

— Завтра или послезавтра придет фруктовый пароход из Мобила, — сказал Джонни. — А до той поры нам делать нечего.

— Но что вы намерены делать? Создать спрос?

— Много вы понимаете в политической экономии, — ответил консул довольно невежливо. — Спроса создать нельзя. Но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят.

Через две недели после того как консул послал каблогранму, в Коралио прибыл фруктовый пароход и привез консулу огромный серый тюк, наполненный чем-то загадочным. Так как консул был официальное лицо, таможенники сделали ему поблажку и не распаковали тюка. Тюк был доставлен в консульство и с комфортом водворен в задней комнате.

Вечером консул сделал в холсте надрез, сунул туда руку и вытащил горсть репейников. Долго он осматривал их, как воин осматривает оружие, перед тем как ринуться в бой за жизнь и любимую женщину. Репейники были первого сорта, августовские, крепкие, как лесные орехи. Они были покрыты колючей и прочной щетиной, словно стальными иголками. Джонни тихонько засвистал какую-то арию и отправился к Билли Кьюу.

Позже, когда Коралио погрузился в сон, консул и Билли прокрались на опустелые улицы. Их пиджаки раздувались наподобие воздушных шаров. Медленной поступью прошли они по Калье Гранде, засевая пески колючками; тщательно обработали боковые дорожки, не пропустили и травы меж домами: засеяли каждый фут. Потом проследовали в боковые улицы, не пропустив ни одной. Не забыто было ни одно место, куда могла ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Не раз возвращались они в консульство за пополнением колючих запасов. Лишь на рассвете, вернувшись домой, они с чистым сердцем легли почивать, как великие полководцы накануне сражения, после того как, разработав план кампании, они видят, что победа обеспечена.

Когда встало солнце, на базарную площадь пришли торговцы, продававшие фрукты и мясо, и разложили свои товары в здании рынка и на окружавшей его галерее. Базарная площадь была почти на самом морском берегу, так далеко сеятели колючек не заходили. Наступил установленный час, а покупателей не было. Еще полчаса — никого! «*Que hay?*» {*Что случилось? (исп.)*} — стали они восклицать, обращаясь друг к другу.

Между тем в обычное время из каждого глинобитного домика, каждой пальмовой лачуги, каждого *ratio* выпорхнули женщины, черные женщины, коричневые женщины, лимонно-желтые женщины, каштановые женщины, краснокожие женщины, загорелые женщины. Все они стремились на рынок — купить для своей семьи кассаву, бананы, мясо, кур и маисовых лепешек. Все они были декольте, с голыми руками, босыми ногами, в юбках чуть ниже колен. Скудоумные и волоокие, они отошли от дверей и зашагали по узким тротуарам или посреди улицы по мягкой траве.

Вдруг самая первая издала странный писк и высоко подняла ногу. Еще немного, и несколько женщин сразу так и сели на землю с пронзительными воплями испуга, — поймать ту опасную неведомую тварь, которая кусает их за ноги. «*Que picadores diablos!*» {*Какие*

колючие дьяволы! (исп.) — визжали они, переключаясь друг с другом через узкую улицу. Некоторые перебежали с дорожек на траву, но и там их кусали и жалили непонятные колючие шарики. Они тоже повалились на землю, и их причитания слились с причитаниями тех, что сидели на песчаных тропинках. Весь город наполнился женским вытьем. А торговцы на рынке все гадали, почему не идут покупатели.

Вот на улицу вышли владыки земли, мужчины. Они тоже начали прыгать, танцевать, приседать и ругаться. Одни, словно лишившись рассудка, остановились как вкопанные, другие нагнулись и стали ловить ту нечисть, которая кусала им пятки и щиколотки. Некоторые во всеуслышание заявили, что это ядовитые пауки новой, неизвестной породы.

А вот хлынули на улицу дети — порезвиться с утра на воле. И тут к общему гаму прибавился вой уязвленных и захромавших младенцев. Жертвы множились с каждой минутой.

Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас вышла, как всегда по утрам, из своего достопочтенного дома купить в panaderia напротив свежего хлеба. На ней была золотистая атласная юбка, вся в цветочках, батистовая сорочка, вся в складочках, и пурпурная мантилья из Испании. Ее лимонно-желтые ноги были, увы, босы. Поступь у нее была величавая, ибо разве ее предки не чистокровные арагонские гидальго? Три шага она сделала по бархатным травам и вдруг наступила аристократической пяткой на одну из колючек Джонни. Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас завизжала, как дикая кошка. Упав на колени, упираясь руками в землю, она поползла — да, поползла, как животное, — назад, к своему достопочтенному дому.

Дон сеньор Ильдефонсо Федерико Вальдасар, мировой судья, весом в двадцать английских стон, *{То есть больше ста килограммов.}* повлек свое грузное туловище на площадь в пульперию — утолить утреннюю жажду. С первого же шага его незащищенная нога наткнулась на скрытую мину. Дон Ильдефонсо рухнул, как обвалившийся кафедральный собор, крича, что его насмерть укусил скорпион. Всюду, куда ни глянь, прыгали безбашмачные граждане, дрыгая ногами и отрывая от пяток ядовитых насекомых, которые появились в одну ночь неизвестно откуда и доставили им столько хлопот.

Первый, кто догадался, как спастись от беды, был парикмахер Эстебан, человек бывалый и ученый. Сидя на камне и вынимая у себя из большого пальца занозы, он произнес такую речь:

— Посмотрите, милые друзья, на этих клопов сатаны. Я знаю их отлично. Они летают в небе, как голуби, стаями. Живые улетели, а мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще мелочь, а в Юкатане я видел вот таких, величиной с апельсин. Да! Там они шипят, как змеи, а крылья у них как у летучей мыши. От них одно спасение — башмаки. Zapatos — zapatos para mí! — Эстебан заковылял к магазину Гемстеттера и купил себе пару ботинок. Выйдя оттуда, он гордо зашагал по улицам, не боясь ничего и громко понося сатанинских клопов. Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливого парикмахера. Женщины, мужчины и дети — все подхватили клич:

— Zapatos! Zapatos!

Условия, порождающие спрос, были созданы. Спрос не замедлил последовать. В этот день мистер Гемстеттер продал триста пар башмаков.

— Удивительно, — сказал он консулу, который заглянул к нему вечером помочь ему навести порядок в магазине, — какое внезапное оживление торговли. Вчера я продал всего три пары.

— Я говорил вам, что если уж они начнут покупать, от них буквально не будет отбоя.

— Завтра же выпишу еще ящичков десять, не меньше, в запас, — сказал Гемстеттер, сияя сквозь очки. — Чтобы, знаете, не остаться вдруг без товара.

— Я бы не советовал, — сказал Джонни, — Не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет торговля дальше.

Каждую ночь Джонни и Кьюо бросали в землю семя, всходившее поутру долларами. Через десять дней в магазине Гемстеттера разошлось две трети товара; репейник у Джонни разошелся весь без остатка. Джонни выписал от Пинка Доусона еще пятьсот фунтов по

двадцати центов за фунт. Мистер Гемстеттер выписал еще башмаков на полторы тысячи долларов от северных фирм. Джонни околичивался в магазине, чтобы перехватить заказ, и уничтожил его прежде, чем он поступил на почту.

В этот вечер он ушел с Розиной под то манговое дерево, что росло у террасы Гудвина, и рассказал ей все. Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Вы очень нехороший человек. Мы с папой сейчас же уедем домой. Вы говорите, что это была шутка? По-моему, это очень серьезное дело.

Но через полчаса тема их беседы изменилась. Они горячо обсуждали вопрос, какими обоями — розовыми или голубыми — лучше украсить колониальный дом Этвудов в Дэйлсбурге после их свадьбы.

На следующее утро Джонни покался перед мистером Гемстеттером. Сапожный торговец надел очки и сказал:

— Вы большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение. Хорошо, что я, как опытный делец, поставил все дело на солидную ногу, а не то я был бы банкротом. Что же вы предлагаете сделать теперь, чтобы распродать остальное?

Когда прибыла новая партия репейников, Джонни нагрузил ими шхуну, захватил оставшуюся обувь и направился вдоль берега в Аласан.

Там таким же дьявольским манером он устроил свое темное дело и вернулся с туго набитым бумажником и без единого башмачного шнурка.

После этого он упробил своего великого Дядюшку, щеголяющего в звездном жилете и трясущего козлиной бородкой,¹⁵ принять его отставку, так как лотос уже не прельщал его. Он мечтал о шпинате и редиске с огородов Дэйлсбурга.

Временно замещающим должность консула Соединенных Штатов был назначен, по совету Джонни, мистер Уильям Теренс Кьюу, и вскоре Джонни отплыл с Гемстеттерами к берегам своей далекой отчизны.

Кьюу принял свою синекуру с той легкостью, которая никогда не покидала его даже на высоком посту. Его фотографическая мастерская вскоре прекратила свое бытие, хотя следы ее смертоносной работы и до сих пор не изгладились на этих мирных, беззащитных берегах. Компаниям не сиделось на месте. Они снова готовы были пуститься в погоню за быстроногой Фортуной. Но теперь дороги у них были разные. Воинственный Клэнси прослышал о том, что в Перу готовится восстание, и жаждал направить туда свой предприимчивый шаг. А Кьюу — у того созрел и уже уточнялся на официальных бланках консульства новый план, перед которым работа по искажению человеческих лиц совершенно ступевывалась.

— Мне бы, — часто говорил Кьюу, — подошло какое-нибудь этакое дельце, не скучное, и чтобы казалось труднее, чем есть на самом деле, какое-нибудь деликатное жульничество, еще не настолько разработанное, чтобы его можно было включить в программу заочного обучения. Я не гонюсь за быстрыми доходами, но мне хочется иметь хотя бы столько же шансов на успех, как у того человека, который учится играть в покер на океанском пароходе. А когда я начну считать прибыль, мне совершенно не улыбается найти у себя в кошельке лепты вдовиц и сирот.

Весь земной шар, заросший травой, был тем зеленым столом, за которым Кьюу предавался азартной игре. Он играл только в те игры, которые сам изобрел. Он не хватался за каждый подвернувшийся под руку доллар, не преследовал его с охотничьим рогом и гончими, но предпочитал ловить его на блестящую редкостную мушку в водах диковинных рек.

И все-таки он был хороший делец, и его планы, несмотря на всю их фантастичность, были так же всесторонне обдуманы, как планы какого-нибудь строительного подрядчика. Во времена короля Артура сэра Уильям Кьюу был бы рыцарем Круглого Стола. В наши дни он

¹⁵ Дядя Сэм — символ Соединенных Штатов. Его принято изображать в виде сухопарого верзилы с длинной бородкой, в жилете, усеянном звездами (национальный флаг).

разъезжает по свету, но цель его — не Грааль, а Игра.

Через три дня после отъезда Джонни два маленьких парусных судна появились у берегов Коралио. Вскоре одно из них спустило на воду шлюпку, и в ней прибыл загорелый молодой человек. У молодого человека был острый, сметливый глаз; с удивлением осматривал он диковинки, которые видел вокруг. Кто-то на берегу указал ему, где дом консула, и туда он направился нервной походкой.

Кью сидел, развалившись, в казенном кресле, рисуя на кипе казенных бумаг карикатуры на дядюшку Сэма. Когда посетитель вошел, он поднял голову.

— Где Джонни Этвуд? — деловым тоном спросил загорелый молодой человек.

— Уехал, — ответил Кью, тщательно отделявая галстук дядюшки.

— Узнаю моего Джонни! — сказал загорелый, опираясь руками о стол. — Такой он всегда был. Чем заниматься делом, шляется где-нибудь по пустыкам. А скоро он вернется?

Кью подумал и сказал:

— Едва ли.

— Бездельничает, как всегда, — сказал посетитель убежденно-добродетельным тоном. — Никогда у него не было выдержки: работать и работать до конца, чтобы добиться успеха. Как же он может вести дело здесь, если он даже в канцелярии не бывает?

— Теперь это дело поручено мне, — сказал заместитель консула.

— Вам! А, вот оно что! Скажите же мне, где фабрика?

— Какая фабрика? — спросил Кью с учтивым любопытством.

— Да та, где обрабатывают эти репейники! Что с ними там делают, кто его знает. Вот эти два судна доверху набиты репейником, я сам зафрахтовал их. Продам вам всю партию, — и дешево. В Дэйлсбурге я нанял всех женщин, мужчин и детей специально для сбора репейника. Собирали целый месяц без отдыха. Все думали, что я сумасшедший. Ну, теперь я могу продать вам всю свою партию по пятнадцати центов за фунт. С доставкой, пересылкой и другими накладными расходами. И если вам нужно еще, мы поднимем на ноги всю Алабаму. Джонни, когда уезжал сюда, обещал мне, что, если наклонится какое-нибудь выгодное дело, он тотчас даст мне знать. Могу ли я подъехать к берегу и разгрузиться?

Огромная, почти невероятная радость засветилась на розовой физиономии Кью. Он уронил карандаш. Его глаза обратились к загорелому молодому человеку, в них отразились и веселье и страх. Он боялся, как бы все это прелестное событие не оказалось сновидением.

— Ради бога, — сказал он взволнованно, — скажите мне: вы Динк Поусон?

— Меня зовут Пинкни Доусон, — ответил король репейного рынка.

В тихом упоении Кью соскользнул с кресла на пол, на свой любимый коврик.

Не много было звуков в Коралио в тот душный и знойный полдень. Среди них мы могли бы упомянуть восторженный и несправедливый хохот простертого на коврике ирландского янки, пока загорелый молодой человек стоит и смотрит на него пронизательным глазом в великом изумлении и замешательстве. А также топ-топ-топ-топ многих обутых ног, шагающих по улицам. А также тихий шелест волн Карибского моря, омывающего этот исторический берег.

XIV. Художники

Огрызок синего карандаша служил Кью жезлом, с помощью которого он совершал предварительные действия своего волшебства. Зажав его в пальцах, он покрывал бумагу диаграммами и цифрами, выжидая, когда Соединенные Штаты пришлют в Коралио заместителя вышедшему в отставку Этвуду.

Новый план, зародившийся у него в уме, поддержанный его отважным сердцем и зафиксированный его синим карандашом, строился на свойствах и человеческих слабостях нового президента Анчурии. Эти свойства, а также ситуация, на которой Кью надеялся вытянуть золотую дань, заслуживают того, чтобы мы изложили их более подробно, дабы связь событий стала понятнее.

Великие таланты президента Лосады — многие звали его диктатором — были бы заметны даже среди англосаксов, если бы к этим талантам не примешивались другие черты, мелочные и пагубные. Благородный патриот (в духе Джорджа Вашингтона, которому он поклонялся), он обладал душевными силами Наполеона и в значительной мере — мудростью великих мудрецов. Все это давало бы ему несомненное право именоваться «Достославным Освободителем Народа», если бы не его изумительное и несуразное чванство, которое отодвигало его в менее достойные ряды диктаторов.

Правда, он сослужил своей родине великую службу. Могучей дланью он встряхнул ее так, что с нее чуть не спали оковы оцепенения, лени, невежества. Анчурия чуть было не стала державой, с которой считаются другие нации. Он учреждал школы и больницы, строил мосты и шоссе, строил железные дороги, дворцы. Щедрой рукой раздавал он субсидии для поощрения наук и художеств. Он был абсолютный тиран и в то же время кумир народа. Богатства страны так и текли к нему в руки. Другие президенты грабили без толку. Лосада хоть и стяжал несметные суммы денег, все же некоторую долю уделял и народу.

Его наиболее уязвимым местом была ненасытная жажда монументов, похвал, славословий. В каждом городе он приказал воздвигнуть себе статуи и на пьедесталах высечь слова, восхваляющие его величие. В стены каждого общественного здания вделывались мраморные доски с надписями, повествующими о его великолепном правлении и о благодарности его верноподданных. Статуэтки и портреты президента наполняли всю страну, их можно было видеть в каждом доме, в каждой лачуге. Один из лизоблюдов при его дворе изобразил его в виде апостола Иоанна, с золотым ореолом вокруг головы и целой шеренгой приближенных в полной парадной форме. Лосада не усмотрел в этой картине ничего непристойного и распорядился повесить ее в одной из церквей столицы. Одному французскому скульптору он заказал мраморную группу, где рядом с ним, президентом, стояли Наполеон, Александр Великий и еще два-три человека, которых он счел достойными этой чести.

Он обшарил всю Европу, чтобы добыть себе знаки отличия. Деньги, интриги, политика — все годилось как средство получить лишний орден от королей или правителей. В особо торжественных случаях вся его грудь, от одного плеча до другого, была покрыта лентами, звездами, орденами, крестами, золотыми розами, медалями, ленточками. Говорили, что всякий, кто мог раздобыть для него новую медаль или как-нибудь по-новому прославить его, получал возможность глубоко запустить руку в казначейство республики.

На этом-то человеке и сосредоточились помыслы Кьюу. Благородный разбойник заметил, что на тех, кто льстит непомерному честолюбию Лосады, целыми потоками льется дождь богатых и щедрых милостей. Кто же вправе требовать от него, от Кьюу, чтобы он раскрыл зонтик для защиты от этого ливня!

Вскоре в Коралио прибыл новый консул и освободил Кьюу от временного исполнения обязанностей. Новоприбывший был молодой человек, только что с университетской скамьи, и цель жизни у него была одна: ботаника. Консульская служба в Коралио давала ему возможность изучать тропическую флору. Очки у него были дымчатые, а зонтик зеленый. На прохладной террасе консульства он поместил такое количество всевозможных растений, что не осталось места ни для бутылки, ни для кресла. Кьюу посмотрел на него с тоскою, но без всякой вражды, и начал упаковывать свой чемодан, ибо его новые планы требовали путешествия за море.

Вскоре снова прибыл «Карлсефин» — пароход-бродяга — и стал грузиться кокосовыми орехами для нью-йоркского рынка. Кьюу устроился пассажиром на этот пароход.

— Да, я еду в Нью-Йорк, — говорил он знакомым, собравшимся на берегу проводить его. — Но не успеете вы соскучиться, как я опять буду здесь. Надо же заняться художественным воспитанием этой желто-черно-красной страны. И не такой я человек, чтобы оставить ее в ранних конвульсиях цинкографической стадии.

С этой загадочной декларацией он взшел на пароход.

Через десять дней, дрожа от холода и высоко подняв воротник своего легкого пальто, он

ворвался в мастерскую Кэрлоса Уайта на верхнем этаже многоэтажного дома на Десятой улице в Нью-Йорке.

Кэрлос Уайт курил папиросу и поджаривал на керосиновой печке колбасу. Ему было всего двадцать три года, и его идеи об искусстве были чрезвычайно благородны.

— Билли Кью! — вскричал Уайт, протягивая левую руку (в правой была сковородка). — Откуда? Из каких нецивилизованных стран?

— Здравствуй, Кэрри! — сказал Кью, пододвигая стул к печке и грея около нее окоченелые пальцы. — Хорошо, что я разыскал тебя так скоро. Я целый день рылся в телефонных книжках и картинных галереях и ничего не нашел, а в распивочной за углом мне сразу сказали твой адрес. Я был уверен, что ты все еще не бросил своего малевания.

Кью окинул стены мастерской испытующим взглядом.

— Да, ты настоящий художник, — объявил он, несколько раз кивнув головой. — Вот эта картина, большая, в углу, где ангелы, зеленые тучи и фургон с оркестром, превосходно подойдет для нас. Как называется эта картина? «Сцена на Кони-Айленд»?¹⁶

— Это? Я хотел назвать ее: «Илья-пророк возносится на небо», но, может быть, ты ближе к истине.

— Дело не в названии! — философски заметил Кью. — Самое главное — рама и пестрые краски. Теперь я скажу тебе без околичностей, зачем я пришел к тебе. Я проехал на пароходе две тысячи миль, чтобы вовлечь тебя в одно предприятие. Чуть только я затеял это дело, я сразу же подумал о тебе. Хочешь поехать со мною, чтобы смастерить одну картину? Работать три месяца. Пять тысяч долларов.

— А какая работа? — спросил Уайт. — Рекламы средств для ращения волос? Или овсяной каши?

— Никакой рекламы тебя малевать не заставят!

— Что же это за картина?

— Долго рассказывать.

— Ничего, рассказывай. А я, уж извини, буду следить за колбасой. Чуть она примет ван-дейковский коричневый тон, нужно снимать. Иначе пиши пропало.

Кью рассказал ему весь свой проект. Они должны были поехать в Коралию, где Уайту надлежало разыграть из себя знаменитого американского художника-портретиста, который будто бы разъезжает по тропикам для отдохновения от напряженной и высокооплачиваемой работы. Можно было с уверенностью сказать, что художник с такой репутацией непременно получит казенный заказ — увековечить на полотне бессмертные черты Лосады — и окажется под тем ливнем червонцев, который обеспечен каждому, кто умеет играть на слабой струне президента.

Кью решил назначить десять тысяч долларов. Случалось, художникам платили за портреты и больше. Расходы по путешествию пополам, все доходы тоже пополам. Такова была схема; он сообщил ее Уайту. С Уайтом он познакомился на Западе еще до того, как один посвятил себя искусству, а другой ушел в бедуины.

Заговорщики покинули мастерскую и заняли уютный уголок в кафе, где и просидели до ночи в обществе старых конвертов и огрызка синего карандаша, принадлежавшего Кью.

Ровно в полночь Уайт скрючился на стуле, положив подбородок себе на кулак, и закрыл глаза, чтобы не видеть безобразных обоев.

— Хорошо, я поеду, Билли, — сказал он спокойно и твердо. — У меня есть две-три сотни, чтобы платить за колбасу и мастерскую, я рискну. Пять тысяч! Эти деньги дадут мне возможность уехать на два года в Париж и на год в Италию. Завтра же начну собираться.

— Ты начнешь собираться через десять минут. Завтра уже наступило. «Карлсефин» отходит в четыре часа. Пойдем в твою красильню, я помогу тебе.

На пять месяцев в году Коралию становится фешенебельным центром Анчурии. Только

¹⁶ Кони-Айленд — остров близ Нью-Йорка, где сосредоточены балаганы, качели, американские горы и пр.

тогда в городе кипит жизнь. С ноября по март город, в сущности, является столицей. Там имеет пребывание президент со своей официальной семьей; высшее общество тоже перебирается туда. Люди, живущие в свое удовольствие, превращают весь этот сезон в сплошной праздник: развлечениям и забавам нет конца. Празднества, балы, игры, морские купанья, прогулки, спектакли — все способствует увеселению. Знаменитый швейцарский оркестр из столицы играет каждый вечер на площади, и все четырнадцать карет и экипажей, имеющих в городе, кружат по улицам в похоронно-медленном, но сладостном темпе. Индейцы, похожие на доисторических каменных идолов, спускаются с гор и продают на улицах свои изделия. Узенькие улочки полны народом — журчащий, беззаботный, веселый поток человечества. Нахальные мальчишки, вся арматура которых состоит из коротенькой туники и золотых крылышек, визжат под ногами кипучей толпы. Особенно помпезно обставлено прибытие в город президента и его приближенных. Это великое торжество начала сезона, и сопровождается оно всегда парадами и патриотическими изъявлениями восторга и преданности.

Когда Кью и Уайт прибыли на «Карлсефине» в Коралио, веселый зимний сезон был уже в полном разгаре. Ступив на берег, они услышали швейцарский оркестр. Деревенские девы, украсив светляками свои черные кудри, уже скользили по тропинкам, босые, с пугливыми взорами. Франты в белых полотняных костюмах, помахивая тросточками, уже начали свою вечернюю прогулку, столь опасную для женских сердец. Человеческое заполнило собою весь воздух: искусственные чары, кокетство, праздность, развлечения — созданный человеком смысл жизни.

В первые два-три дня по прибытии в Коралио Кью и его приятель занялись подготовкой почвы. Кью сопровождал художника во всех его прогулках по городу, познакомил его с маленьким кружком англичан и американцев и всеми возможными способами внушал окружающим, что приезжий — знаменитый художник

Желая нагляднее показать, что это действительно так, Кью наметил целую программу.

Приятель снял комнату в отеле де лос Эстранхерос. Оба щеголяли в новых костюмах из девственно-чистой парусины, у обоих были американские соломенные шляпы и трости, очень экстравагантного вида и совершенно ненужные. Даже среди пышно-мундирных офицеров анчурийского воинства числилось не много таких *caballeros* — таких элегантных и непринужденных в обращении джентльменов, как Кью и его друг, великий американский художник сеньор Уайт.

Уайт поставил свой мольберт на берегу и сделал несколько ярких этюдов моря и гор. Туземцы образовали у него за спиной широкий и болтливый полукруг и следили за работой его кисти. Кью, никогда не пренебрегавший деталями, усвоил себе роль, которую и выдержал до самого конца: он друг великого художника, деловой человек на покое. Эмблемой его положения служил карманный фотоаппарат.

— Как признак дилетанта из высшего общества, — говорил он, — обладателя чистой совести и солидного счета в банке, аппарат забывает даже частную яхту. Человек ничего не делает, шатается по берегу и щелкает затвором, значит — он пользуется большим уважением в денежных кругах. Чуть только он кончает обирать своих ближних, он начинает снимать их. Кодак действует на людей больше, чем брильянтовая булавка в галстук или титул.

Таким образом, Кью разгуливал по Коралио и снимал красивые виды и робких сеньорит, а Уайт парил в более высоких эмпиреях искусства.

Через две недели после их прибытия великий план начал осуществляться. К отелю подъехал один из адъютантов президента в великолепной четырехместной коляске. Президент хотел бы, чтобы сеньор Уайт побывал в Casa Morena с неофициальным визитом.

Кью крепко сжал трубку зубами.

— Десять тысяч, ни цента меньше, — сказал он художнику. — Помни свою цену. И, пожалуйста, золотом! Не давай им всучить тебе гнусные бумажки, которые считаются деньгами в здешних местах.

— Может быть, он зовет меня совсем не для этого, — сказал Уайт.

— Еще чего! — сказал Билли с великолепным апломбом. — Уж я знаю, что ему нужно. Ему нужно, чтобы знаменитый американский художник и флибустьер, ныне живущий в его презренной стране, написал его портрет. Собирайся же скорей!

Коляска отбыла вместе с художником. Кью шагал по комнате взад и вперед, выпускал из трубки огромные клубы дыма и ждал. Через час коляска снова остановилась у двери отеля, оставила Уайта и покатила прочь. Художник взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки. Кью перестал курить и превратился в молчаливый вопросительный знак.

— Вышло! — крикнул Уайт. Его детское лицо пылало. — Билли, ты просто восторг. Да, ему нужен портрет. Я сейчас расскажу тебе все. Черт возьми! Этот диктатор молодчина! Диктатор до кончиков ногтей. Некая смесь из Юлия Цезаря, Люцифера и Чонси Депью,¹⁷ написанных сепией. Вежливость и мрачность — его стиль. Комната, где он принял меня, площадью в десять акров и напоминает увеселительный пароход на Миссисипи — зеркала, позолота, белая краска. По-английски он говорит лучше, чем я. Зашел разговор о цене. Я сказал: десять тысяч. Я был уверен, что он позовет часовых, прикажет вывести меня и расстрелять. Но у него даже ресницы не дрогнули. Он только махнул своей каштановой ручкой и сказал небрежно: «Сколько скажете, столько и будет». Завтра я должен явиться к нему, и мы обсудим все детали портрета.

Кью повесил голову. Легко было прочитать на его помрачневшем лице сильнейшие угрызения совести.

— Я провалился, — сказал он печально. — Куда мне браться за такие большие дела? Мое дело продавать апельсины с тележки, для более сложных махинаций я не гожусь. Когда я сказал: десять тысяч, клянусь, я думал, что больше этот черномазый не даст, а теперь я вижу, что из него можно было с тем же успехом выжать все пятнадцать. Ах, Кэрри, отдай старого Кью в уютный и тихий сумасшедший дом, если еще хоть раз с ним случится подобное.

Летний дворец, Casa Morena, хотя и был одноэтажным зданием, отличался великолепным убранством. Он стоял на невысоком холме в обнесенном стеною роскошном тропическом саду на возвышенной окраине города. На следующий день коляска президента снова приехала за живописцем. Кью пошел прогуляться по берегу, где и он и его «коробка с картинками» уже стали обычным явлением. Когда он вернулся в гостиницу, Уайт сидел на балконе в шезлонге.

— Ну, — сказал Кью, — была ли у тебя беседа с его пустозвонством? Решили, какая мазня ему надобна?

Уайт вскочил с кресла и несколько раз прошелся взад и вперед по балкону. Потом он остановился и засмеялся самым удивительным образом. Он покраснел, и глаза у него блестели сердито и весело.

— Вот что, Билли, — сказал он резко. — Когда ты пришел ко мне в мастерскую и сказал, что тебе нужна картина, я думал, что тебе нужно, чтобы я намалевал где-нибудь на горном хребте объявление об овсянке или патентованном средстве для ращения волос. Так вот, по сравнению с тем, что мне предлагают теперь по твоей милости, это было бы самой возвышенной формой живописи. Я не могу написать эту картину, Билли. Отпусти меня домой. Дай я попробую рассказать тебе, чего хочет от меня этот варвар. У него все уже заранее обдуманно, и есть даже готовый эскиз, сделанный им самим. Недурно рисует, ей-богу. Но, музы! послушай, какую чудовищную чепуху он заказывает. Он хочет, чтобы в центре картины был, конечно, он сам. Его нужно написать в виде Юпитера, который сидит на Олимпе, а под ногами у него облака. Справа от него стоит Джордж Вашингтон в полной парадной форме, положив ему руку на плечо. Ангел с распростертыми крыльями парит в высоте и возлагает на чело президента лавровый венок, точно он победитель на конкурсе красоток. А на заднем плане должны быть пушки, а потом еще ангелы и солдаты. У того негодяя, который намалевал бы

¹⁷ Чонси Депью (1834–1928) — видный американский адвокат и политический деятель, тесно связанный с крупным капиталом.

такую картину, не человечья, а собачья душа; единственный достойный удел для него — погрузиться в забвение даже без жестянки, прикрепленной к хвосту и напоминающей о нем своим дребезжанием.

Мелкие бусинки пота выступили у Кью на лбу. Такого оборота огрызок его синего карандаша не предусмотрел. До сих пор колеса его плана вертелись так гладко, что он чувствовал себя поистине польщенным. Он выволок на балкон еще одно кресло и снова усадил Уайта. Потом с напускным спокойствием закурил свою трубку.

— Ну, сынок, — сказал он нежно и в то же время очень серьезно, — давай поговорим, как художник с художником. У тебя свое искусство, у меня свое. Твое искусство — классическое: не дай бог нарисовать пивную вывеску или, скажем, олеографию «Старая мельница». А мое искусство — бизнес. Весь этот план — мой. Я разработал его, как дважды два. Малюй этого чудака-президента в виде короля Коля,¹⁸ или в виде Венеры, или в виде пейзажа, или в виде фрески, или в виде букетика лилий, или на что бы он ни считал себя похожим, но малюй и получай монету. Ты не покинешь меня, Кэрри, теперь, когда игра началась. Подумай: десять тысяч.

— Об этом я не забываю, — сказал Уайт, — и это страшно мучает меня. Меня и самого подмывает втоптать в грязь все свои идеалы и опаскудить свою душу малеванием этой картины. Эти пять тысяч долларов означали для меня три года учения в Европе. Ради этого я бы, кажется, продал душу дьяволу.

— Ну зачем же дьяволу? — сказал Кью ласково. — Это чисто деловое предложение. Столько-то красок и времени — столько-то денег. Я не согласен с тобою, что в этой картине совершенно нет места искусству. Джордж Вашингтон был вполне порядочный человек, и что можно сказать против ангела? По-моему, группа задумана не так уж плохо. Если ты дашь Юпитеру эполеты и шпагу да сделаешь облака, что висят над его головой, похожими на грядку черной смородины, получится отличная батальная сцена. Конечно, если бы мы заранее не назначили цену, можно было бы спросить с него добавочную тысячу за Вашингтона да за ангела не меньше пятисот.

— Ты ничего не понимаешь, Билли, — сказал Уайт, напряженно смеясь. — У некоторых из нас, художников, такие огромные требования! Я мечтал о том, что когда-нибудь люди станут перед моей картиной и забудут, что она написана красками. Картина проникнет им в душу, как музыка, и засядет там, как мягкая пуля. Люди отойдут от картины и спросят: «А что еще написал этот художник?» — и окажется, что ничего, никаких обложек для журнала, никаких иллюстраций, никаких женских головок — ничего. Только картина. Вот ради чего я питался одной колбасой: я не хотел изменять себе. Я согласился сварганить этот президентский портрет, чтобы выбраться в чужие края и учиться. Но эта гнусная, ужасная карикатура! Боже, Боже! Неужели ты сам не понимаешь, в чем дело?

— Понимаю! Превосходно понимаю! — сказал Кью так нежно, как будто говорил с ребенком, и положил свой длинный палец на колено Уайта. — Я понимаю. Ужасно, что приходится так унижать свое любимое искусство. Я понимаю. Ты хотел намалевать картину огромных размеров, какую-нибудь этакую панораму «Битва при Геттисбурге», но позволь представить тебе один небольшой эскиз. Маленький набросок пером. До нынешнего дня мы затратили на все это дело триста восемьдесят пять долларов пятьдесят центов. Мы вложили сюда весь наш капитал. У нас осталось ровно столько, чтобы доехать до Нью-Йорка. Мне нужны мои пять тысяч долларов. Я намерен добывать медь в Айдахо и заработать сто тысяч. Такова деловая сторона положения. Слезай со своего высокого искусства, мой милый, и давай не будем упускать эту охапку долларов.

— Билли, — сказал Уайт, и чувствовалось, что он преодолевает себя. — Я попробую. Не ручаюсь, но попробую. Я возьмусь за эту картину и постараюсь довести ее до конца.

¹⁸ Король Коль — персонаж известных английских детских стихов. В переводе Маршака «Старый дедушка Коль был веселый король...».

— Вот это бизнес! — радостно сказал Кью. — Молодчина! И слушай: заканчивай картину скорее! Если нужно, найми двух помощников, чтобы смешивали тебе краски. Торопись! В городе нехорошие слухи. Здешним людям начинает надоедать президент. Говорят, что он слишком швыряется концессиями. Толкуют, будто он снюхался с Англией и понемногу распродает свою родину. Нужно закончить картину и получить гонорар прежде, чем наступит революция.

В обширном ратио дворца президент приказал натянуть большой холст. Под этим балдахином сеньор Уайт устроил свою временную мастерскую. Каждый день великий человек позировал ему по два часа.

Уайт работал добросовестно. Но по мере того как работа подвигалась к концу, на него стала находить тоска. Он жестоко клеймил себя, издевался над собой, презирал себя. Кью с терпением великого полководца утешал его, ласкал, успокаивая всевозможными доводами, не давая ему уйти от картины.

К концу месяца Уайт объявил, что картина окончена. Юпитер, Вашингтон, ангелы, облака, пушки и прочее. Лицо художника было бледно, губы кривились. Он сказал, что президенту картина пришлась по душе. Ее решили повесить в Национальной галерее героев и государственных деятелей. Художнику было предложено завтра же явиться в Casa Morgana за деньгами. В назначенный час он ушел из гостиницы, ни слова не отвечая на веселую болтовню Кью.

Через час он вошел в комнату, где его ждал Кью, швырнул шляпу на пол и уселся на стол.

— Билли, — сказал он с натугой, сдавленным голосом, — у меня есть небольшой капитал, вложенный в дело моего брата на Западе. Эти-то деньги и дают мне возможность изучать искусство и жить. Я возьму у брата мою долю и возвращу тебе то, что ты потратил на эту затею.

— Как! — вскричал Кью и вскочил со стула. — Он не заплатил за картину?

— Заплатил, заплатил, — сказал Уайт. — Но картины больше нет, нет и платы. Если интересно, послушай. Дело поучительное. Президент и я стояли рядом и смотрели на картину. Его секретарь принес чек на десять тысяч долларов, — для предъявления в нью-йоркский банк. Чуть только в руке у меня оказалась эта бумажка, я буквально сошел с ума. Я разорвал ее в мелкие клочки и швырнул на пол. Невдалеке стоял маляр и красил колонны дворика, возле него было ведро с краской. Я взял его огромную кисть и в одну минуту замазал весь этот десятитысячный кошмар. Потом поклонился и вышел. Президент не двинулся с места, не сказал ни слова. Он был ошеломлен неожиданностью. Я знаю, Билли, что я поступил не товарищески, но иначе я не мог, пойми!

На улице послышался шум. В городе было беспокойно. Смешанный, все растущий ропот вдруг пронзили резкие крики:

— *Vajo el traidor!.. Muerte al traidor! {Долой изменника! Смерть изменнику! (исп.)}*

— Слышишь? — воскликнул огорченный Уайт. — Я немного понимаю по-испански. Они кричат: долой изменника! Я слышал эти крики и раньше. Они кричат обо мне. Изменник — это я. Я изменил искусству. Я не мог не уничтожить картину.

— Долой дурака! Долой идиота! Эти крики были бы более к стати, — сказал Кью, пылая возмущением. — Ты уничтожил десять тысяч долларов, разорвал их, как старую тряпку, потому что тебя мучает совесть, что ты извел на пять долларов красок иначе, чем тебе хотелось. В следующий раз, когда у меня будет какой-нибудь коммерческий план, я поведу своего компаньона к нотариусу и заставлю его присягнуть, что он никогда не слышал слова «идеал».

Кью выбежал из комнаты в бешенстве. Уайт не обратил никакого внимания на его свирепые чувства. Презрение Билли Кью было для него ничто по сравнению с тем презрением к себе самому, от которого он только что спасся.

А в Коралио недовольство росло. Вспышка была неизбежна. Всех раздражало появление в городе краснощекого толстяка-англичанина, который, как говорили, был агентом

британских властей и вел тайные переговоры с президентом о таких торговых сделках, в результате которых весь народ должен был оказаться в кабале у иностранной державы. Говорили, что президент предоставил англичанам самые дорогие концессии, что весь государственный долг будет передан англичанам и что в обеспечение долга им будут сданы все таможни. Долготерпеливый народ решил, наконец, заявить свой протест.

В этот вечер в Коралио и в других городах послышался голос народного гнева. Шумные толпы, беспорядочные, но грозные, загрохотали улицы. Они свергли с пьедестала бронзовую статую президента, стоявшую посреди площади, и разбили ее на куски. Они сорвали с общественных зданий мраморные доски, где прославлялись деяния «Великого освободителя». Его портреты в правительственных учреждениях были уничтожены. Толпа атаковала даже Casa Mogena, но была рассеяна войсками, которые остались верны президенту. Всю ночь царствовал террор.

Лосада доказал свое величие тем, что к полудню следующего дня в городе был восстановлен порядок, а сам он снова стал полновластным диктатором. Он напечатал правительственное сообщение о том, что никаких переговоров с Англией он не вел и не намерен вести. Сэр Стаффорд Воан, краснощекий британец, заявил от своего имени в газетах и в особых афишах, что его пребывание в этих местах лишено международного значения. Он просто путешественник, турист. Он (по его словам) и в глаза не видал президента и ни разу не разговаривал с ним.

Во время всей этой смуты Уайт готовился к обратному пути. Пароход отходил через два дня. Около полудня Кьюу, непоседа, взял свой фотографический аппарат, чтобы как-нибудь убить слишком медленно ползущие часы. Город был снова спокоен, как будто и не бунтовал никогда.

Спустя некоторое время Кьюу влетел в гостиницу с каким-то особенным, решительно-сосредоточенным видом. Он удалился в тот темный чулан, в котором обычно проявлял свои снимки.

Оттуда он прошел на балкон, где сидел Уайт. На лице у него играла яркая, хищная, злая улыбка.

— Знаешь, что это такое? — спросил он, показывая издали маленький фотографический снимок, наклеенный на картонку.

— Снимок сеньориты, сидящей на стуле, — аллитерация непреднамеренная, — лениво сказал Уайт.

— Нет, — сказал Кьюу, и глаза у него засверкали. — Это не снимок, а выстрел. Это жестянка с динамитом. Это золотой рудник. Это чек от президента на двадцать тысяч долларов, да, сэр, двадцать тысяч, и на этот раз картина испорчена не будет. Никакой болтовни о высоком назначении искусства. Искусство! Ты, мазилка с вонючими тубиками! Я окончательно перешиб тебя кодаком. Посмотри-ка, что это такое!

Уайт взял карточку и протяжно свистнул.

— Черт! — воскликнул он. — В городе будет бунт, если ты покажешь этот снимок. Но как ты раздобыл его, Билли?

— Знаешь эту высокую стену вокруг президентского сада? Там, позади дворца? Я пробрался к ней, снять весь город с высоты. Вижу: из стены выпал камешек, и штукатурка чуть держится. Думаю, дай-ка посмотрю, как растет у президента капуста. И вдруг предо мною в двадцати шагах — этот сэр англичанин вместе с президентом, за столиком. На столике бумаги, и оба они воркуют над ними совсем как два пирата. Славное местечко в саду, тенистое, уединенное. Кругом пальмы, апельсиновые деревья, а на траве ведерко с шампанским, тут же под рукой. Я почувствовал, что пришла моя очередь создать нечто великое в искусстве. Я приставил аппарат к отверстию в стене и нажал кнопку. Как раз в эту минуту те двое стали пожимать друг другу руки — они закончили свою тайную сделку, — видишь, это так и вышло на снимке.

Кьюу надел пиджак и шляпу.

— Что же ты думаешь сделать с этим? — спросил Уайт.

— Я? — воскликнул обиженным тоном Кьюу. — Я привяжу к нему красную ленточку и повешу у себя над камином. Ты меня изумляешь, ей-богу! Я уйду, а ты, пожалуйста, прикинь-ка в уме, какой именно пряничный деспот захочет приобрести мою картинку для своей частной коллекции, лишь бы только она не попала ни к кому постороннему.

Солнце уже обагрило верхушки кокосовых пальм, когда Билли Кьюу вернулся из Casa Morena. Художник встретил его вопросительным взглядом. Кьюу кивнул головой и тотчас же растянулся на койке, подложив руки под голову.

— Я видел его. Он заплатил деньги, вполне превосходно. Сначала меня не хотели пускать к нему. Я сказал, что это очень важно. Да, да, этот президент молодчина. Способная бестия. Безусловно деловое устройство мозгов. Мне стоило только показать ему снимок и назвать мою цену. Он улыбнулся, пошел к несгораемому шкафу и вынул деньги. С такой легкостью он выложил на стол двадцать новеньких бумажек по тысяче долларов, как я бы положил один доллар и двадцать пять центов. Хорошие бумажки, хрустят, как сухая трава во время пожара.

— Дай пощупать, — сказал с любопытством Уайт. — Я еще никогда не видал тысячедолларовой бумажки.

Кьюу отозвался не сразу.

— Кэрри, — сказал он рассеянно, — тебе дорого твое искусство, не правда ли?

— Да, — сказал тот. — Ради искусства я готов пожертвовать и своими собственными деньгами, и деньгами моих милых друзей.

— Вчера я думал, что ты идиот, — спокойно сказал Кьюу. — Но сегодня я переменяю свое мнение. Или, вернее, я оказался таким же идиотом, как ты. Я никогда не отрекался от жульничества, но всегда искал равного по силам противника, с которым стоило бы потягаться и мозгами и капиталом. Но схватить человека за горло и ввинтить в него винт — нет, темная это работа, и она носит гнусное имя... Она называется... ну, да ты понимаешь. Ты знаешь, что такое профанация искусства... Я почувствовал... ну да ладно. Я разорвал свою карточку, положил клочки на пачку денег, да и отодвинул все назад к президенту. «Простите меня, мистер Лосада, — сказал я, — но мне кажется, я ошибся в цене. Получайте свою фотографию бесплатно». Теперь, Кэрри, бери-ка ты карандаш, мы составим маленький счетик. Не может быть, чтобы от нашего капитала не осталось достаточной суммы тебе на жареную колбасу, когда ты вернешься в свою нью-йоркскую берлогу.

XV. Дикки

Последовательность в Анчурии не в моде. Политические бури, бушующие там, перемежаются с глубоким затишьем. Похоже, что даже Время вешает каждый день свою косу на сук апельсинового дерева, чтобы спокойно вздремнуть и выкурить папиросу.

Побунтовав против президента Лосады, страна успокоилась и по-прежнему терпимо взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В Коралио вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время все несходство своих убеждений.

Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кьюу. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды Фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кьюу уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово Джеджи — и торговый дом Брэнигэн и компания предоставил ему в кредит любые товары. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Йорк, Кьюу, замыкая караван из пяти мулов, навьюченных ножами и прочим скобяным товаром, двинулся внутрь страны, в мрачные, грозные горы. Там племена краснокожих намывают золотой песок из золотоносных ручьев, и когда товар доставляют им на место, торговля в Кордильерах идет бойко и muy bueno. В Коралио Время сложило крылья и томной походкой шло своим дремотным путем. Те, кто больше всех наполнял весельем эти душевные часы, уже уехали. Клэнси помчался в Калао, где, как ему говорили, шел бой. Джеджи, чей

спокойный и приветливый характер в свое время сильно помог ему в борьбе с расслабляющим действием лотоса, был теперь семьянин, домосед: он был счастлив со своей яркой орхидеей Паулой и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет которой, теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море.

Недаром Морж, самый сообразительный зверь и великий эклектик, поместил сургуч в середине своей программы, среди многих других забавных номеров.

Этвуд уехал — хитроумный Этвуд с гостеприимной задней веранды. Правда, оставался доктор Грэгг; но история о трепанации черепа по-прежнему кипела в нем, как лава вулкана, и каждую минуту готова была вырваться наружу, а эта катастрофа, по совести, не могла служить к уменьшению скуки.

Мелодия нового консула звучала в унисон с печальными волнами и безжалостной зеленью тропиков: мелодии Шехерезады и Круглого Стола были чужды его лютне. Гудвин был занят большими проектами, а в свободное время никуда не ходил, потому что полюбил домоседство.

Прежние дружеские связи распались. Иностранная колония скучала.

И вдруг с облаков свалился Дикки Малони и занял своей особой весь город.

Никто не знал, откуда он приехал и каким образом очутился в Коралио. Вдруг в один прекрасный день его увидели на улице, вот и все. Впоследствии он утверждал, будто прибыл на фруктовом пароходе «Тор»; но в списках тогдашних пассажиров этого парохода никакого Малони не значилось. Впрочем, любопытство, вызванное его появлением, скоро улеглось: мало ли какой рыбы не выбрасывают на берег волны Карибского моря.

Это был подвижной, беспечный молодой человек. Привлекательные серые глаза, неотразимая улыбка, смуглое — или очень загорелое — лицо и огненно-рыжие волосы, такие рыжие, каких в этих местах еще никогда не видали. По-испански он говорил так же хорошо, как и по-английски; в кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желанным гостем повсюду. У него была большая слабость к *vino bianco*, {Белому вину (исп.)} и скоро весь город узнал, что он один может выпить больше, чем любые три человека в Коралио. Все звали его Дикки; куда бы он ни пришел, всюду встречали его веселым приветом — все, в особенности местные жители, у которых его изумительные рыжие волосы и простота в обращении вызывали восторг и зависть. Куда бы вы ни пошли, вы непременно увидите Дикки или услышите его искренний смех; вечно он был окружен толпой почитателей, которые любили его и за хороший характер и за то, что он охотно угощал белым вином.

Много было толков и догадок, зачем он приехал сюда, но вскоре все стало ясно: Дикки открыл лавочку для продажи сладостей, табака и различных индейских изделий — шелковых вышивок, тувель и плетеных камышовых корзин. Но и после этого он не переменял своего нрава: день и ночь играл в карты с *comandante*, с начальником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных чиновников.

Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадамы Ортис; она сидела у боковой двери отеля де лос Эстранхерос. И в первый раз за все время своего пребывания в Коралио Дикки остановился как вкопанный, но сейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротою лани разыскивать местного франта Васкеса, чтобы тот представил его Пасе.

Молодые люди называли Пасу «*La Santita Naranjadita*». *Naranjadita* по-испански означает некоторый оттенок цвета. У англичан такого слова нет. Описательно и приблизительно мы могли бы перевести это так: «Святая с замечательно-прекрасно-деликатно-апельсиново-золотистым отливом». Такова и была дочь мадамы Ортис. Мадама Ортис продавала ром и другие напитки. А ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров. Ибо не забывайте, что изготовление рома является в Анчурии монополией правительства, а продавать изделия государства есть дело вполне respectable. Кроме того, самый строгий цензор нравов не мог бы найти в учреждении мадамы Ортис никакого изъяна. Посетители пили очень робко и мрачно, как на похоронах, ибо у мадамы было такое старинное и пышное родословное дерево, что оно не допускало легкомысленных шуток даже у сидящих за бутылкою рома. Разве она не была из рода Иглесиа, которые прибыли сюда вместе с Пизарро?

И разве ее покойный супруг не был *comisionado de caminos y puentes* {Уполномоченный по мостам и дорогам (исп.).} во всей этой области?

По вечерам Паса сидела у окна, в комнатке рядом с распивочной, и сонно перебирала струны гитары. И вскоре в эту комнатку по двое, по трое входили молодые кабальеро и садились у стены на стульях. Их целью была осада сердца молодой «Santita». Их система (не единственная и, вероятно, не лучшая в мире) заключалась в том, что они выпячивали грудь, принимая воинственные позы, и выкуривали бездну папирос. Даже святые с золотисто-апельсиновым отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-нибудь иначе.

Донья Паса заполняла периоды отравленного никотином молчания звуками своей гитары и с удивлением думала: неужели все романы, которые она читала о галантных и более... более осязательных кавалерах, — ложь? Через определенные промежутки времени в комнату врывалась из пульперии мадама; что-то в ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание накрахмаленных белых брюк, — это один из кабальеро направлялся к стойке.

Что рано или поздно на этом попроще появится Дикки Малони, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в Коралию, куда бы он не совал свою рыжую голову.

В невероятно короткий срок после того, как он впервые увидел Пасу, он уже сидел с нею рядом, у самой качалки, на которой сидела она. У него были свои собственные правила ухаживания за молодыми девицами; молчаливое сидение у стены не входило в его программу. Он предпочитал атаку на близкой дистанции. Взять крепость одним концентрированным, пыльным, красноречивым, неотразимым штурмом — такова была его боевая задача.

Род Пасы был один из самых аристократических и горделивых во всей стране. Кроме того, у нее были и большие личные достоинства — два года, проведенные ею в одном новоорлеанском училище, поставили ее значительно выше заурядных коралийских девиц. Она требовала от судьбы гораздо больше. И все же она покорила первого попавшемуся рыжему нахалу с бойким языком и приятной улыбкой, потому что он ухаживал за нею как следует.

Вскоре Дикки повел ее в маленькую церковку, тут же на площади, и ко всем именам Пасы прибавилось еще одно: «миссис Малони».

И вот довелось ей — с такими кроткими, святыми глазами, с фигурой терракотовой Психеи — сидеть за покинутым прилавком убогой лавчонки, покуда ее Дикки пьянствовал и разгильдяйничал со своими беспутными приятелями.

Женщины, как известно, по природе бессознательно склонны к добру, и потому все соседки с большим удовольствием стали запускать в нее шпильки и колоть ее поведением ее молодого супруга. Она обратилась к ним с прекрасным и печальным презрением.

— Вы, коровы, — сказала она им ровным, хрустально-звонким голосом. — Что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья — *magomeros*. {Канатные плясуны (исп.).} Они годятся лишь на то, чтобы свертывать себе в тени папироски, покуда солнце не припечет их и не выгонит вон. Они, как трутни, валяются у вас в гамаках, а вы причесываете их и кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другая кровь, совсем другая. Пусть себе пьет вино. Когда он выпьет столько, что можно было бы утопить любого из ваших заморышей, он придет ко мне сюда, домой, и будет больше мужчиной, чем тысяча ваших *robrecitos*. Тогда он гладит и заплетает мне волосы, он мне, а не я ему. Он поет мне песни; он снимает с меня туфли и целует мои ноги, здесь и здесь. И он обнимает меня... да нет, вы никогда не поймете! Несчастные слепые, никогда не знавшие мужчины!

Иногда по ночам странные вещи творились в лавчонке у Дикки. В переднем помещении, где происходила торговля, было темно, но в маленькой задней комнатке Дикки и небольшая кучка его ближайших приятелей сидели за столом и далеко за полночь тихо беседовали о каких-то делах. Потом он украдкой выпускал их на улицу, а сам шел наверх, к своей маленькой «святой». Ночные гости имели вид заговорщиков: темные костюмы, темные шляпы. Конечно, в конце концов их темные дела не ускользнули от внимания жителей, и в городе поднялись всевозможные толки.

На иностранцев, живущих в Коралио, Дикки, казалось, не обращал внимания. Гудвина он явно избегал. А тот хитрый маневр, посредством которого ему удалось ускользнуть от истории доктора Грэгга о трепанации черепа, и до сих пор вызывает в Коралио восторг как шедевр дипломатической ловкости.

Он получал много писем, адресованных «мистеру Дикки Малони» или «сеньору Диккею Малони». Паса была очень польщена: если столько людей желают ему писать, значит, и вправду цвет его красно-рыжих волос сияет во всем мире. А каково было содержание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену!

Дикки допустил в Коралио лишь одну оплошность: он оказался без денег в самое неподходящее время. Откуда он вообще добывал свои средства, было загадкой для всех, так как его лавчонка давала ничтожную прибыль. Деньги приходили к нему из какого-то другого источника, и вдруг этот источник иссяк, и в очень тяжелую пору; иссяк тогда, когда *comandante* дон сеньор полковник Энкарнасион Риос взглянул на святую, сидевшую в лавке, и почувствовал, как сердце у него пошло ходуном.

Comandante, который был тончайшим знатоком всех галантных наук, раньше всего выразил свои чувства деликатным, ненавязчивым намеком: он напялил на себя парадный мундир и стал шагать перед окнами сеньоры Малони. Паса застенчиво глянула на него из окошка своими святыми глазами, увидела, что он страшно похож на ее попугая Чичи, и на лице у нее появилась улыбка.

Comandante увидел улыбку и, решив, что произвел впечатление, вошел в лавку с интимным видом и приблизился к даме, чтобы сказать комплимент. Паса съежилась; он не унимался. Она царственно разгневалась; он, очарованный еще больше, стал настойчивее; она приказала ему уйти вон; он попробовал схватить ее за руку, и... вошел Дикки, широко улыбаясь, полный белого вина и дьявола.

Пять минут он потратил на то, чтобы наказать *comandante* самым тщательным научным способом, то есть принял все меры, чтобы боль от побоев не прекращалась возможно дольше. По окончании экзекуции он вышвырнул пылкого волокиту за дверь, на камни мостовой, бездыханного.

Босоногий полицейский, наблюдавший это происшествие, вынул свисток и свистнул. Из-за угла, из казарм прибежали четыре солдата. Когда они увидели, что нарушитель порядка — Дикки, они остановились в испуге и тоже стали свистеть. Скоро пришло подкрепление: еще восемь солдат. Считая, что силы сторон теперь примерно равны, воины стали наступать на буяна.

Дикки, все еще не остывший от боевого пыла, нагнулся к ножнам *comandante* и, обнажив его шпагу, напал на врага. Он прогнал регулярную армию через четыре квартала, подгоняя шпагой визжащий арьергард и норовя уколоть шоколадные пятки.

Но справиться с гражданскими властями оказалось труднее. Шесть ловких, мускулистых полицейских в конце концов одолели его и победоносно, хоть и с опаской, потащили в тюрьму. «*El Diablo Colorado*», {*Рыжий черт (исп.)*.} — ругали они его и издевались над военными силами за то, что те отступили перед ним.

Дикки было предоставлено, вместе с другими арестантами, смотреть из-за решетчатой двери на заросшую травой площадь, на ряд апельсиновых деревьев да на красные черепичные крыши и глиняные стены каких-то захудалых лавчонок.

На закате по тропинке, пересекающей площадь, потянулось печальное шествие: скорбные, понурые женщины, несущие бананы, кассаву и хлеб — пропитание жалким узникам, томящимся здесь в заключении. Женщинам было разрешено приходить дважды в день: утром и вечером, ибо республика давала своим подневольным гостям воду, но не пищу.

В этот вечер часовой выкрикнул имя Дикки, и он подошел к железным прутьям двери. У двери стояла «святая», покрытая черной мантилей. Ее лицо было воплощение грусти; ясные глаза смотрели на Дикки так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки сюда, к ней. Она принесла жареного цыпленка, два-три апельсина, сласти и белый хлебец. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее Дикки. Паса говорила спокойно, — она всегда

говорила спокойно, — своим чарующим голосом, похожим на флейту.

— Ангел моей жизни, — сказала она. — Воротись ко мне скорее. Ты знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя, если ты не со мною, не рядом. Скажи мне, чем я могу тебе помочь. Если же я бессильна, я буду ждать — но недолго. Завтра утром я приду опять.

Сняв башмаки, чтобы не мешать другим заключенным, Дикки полночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье и причину его, какова бы она ни была. Он отлично знал, что деньги сразу купили бы ему свободу.

Два дня подряд Паса приходила к нему в урочное время и приносила поесть. Всякий раз он спрашивал ее с большим волнением, не получено ли по почте какое-нибудь письмо или, может быть, пакет, и всякий раз она грустно качала головой.

На утро третьего дня она принесла только маленькую булочку. Под глазами у нее были темные круги. По внешности она была так же спокойна, как всегда.

— Клянусь чертом, — воскликнул Дикки, — это слишком постный обед, *muchachita*. {*Девочка (исп.)*.} Не могла ты принести своему мужу что-нибудь повкуснее, побольше?

Паса посмотрела на него, как смотрит мать на любимого, но капризного сына.

— Не надо сердиться, — сказала она тихим голосом, — завтра не будет и этого. Я истратила последний *centavo*.

Она сильнее прижалась к решетке.

— Продай все товары в лавке, возьми за них, сколько дадут.

— Ты думаешь, я не пробовала? Я хотела продать их за какие угодно деньги, хоть за десятую долю цены. Но никто не дает ни одного песо. Чтобы помочь Дикки Малони, в городе нет ни реала.

Дикки мрачно сжал зубы.

— Это все *comandante*, — сказал он. — Это он восстанавливает всех против меня. Но подожди, подожди, когда откроются карты.

Паса заговорила еще тише, почти шепотом.

— И слушай, сердце моего сердца, — сказала она, — я старалась быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже три дня...

Дикки увидел, что в складках ее мантильи слабо блеснула сталь. Взглянув на него, Паса впервые увидела его лицо без улыбки — строгое, выражающее угрозу и какую-то непреклонную мысль. И вдруг он поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, словно взошло солнце. С моря донесся хриплый рев паровой сирены. Дикки обратился к часовому, который шагал перед дверью:

— Какой это пароход?

— «Катарина».

— Компании «Везувий»?

— Несомненно.

— Слушай же, *picarilla*, {*Плутовка (исп.)*.} — весело сказал Дикки. — Ступай к американскому консулу. Скажи ему, что мне нужно сказать ему несколько слов. И пусть придет сию минуту, не медля. Да смотри, чтобы я больше не видал у тебя таких замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодня же ночью ты положишь голову на эту руку.

Консул пришел через час. Под мышкой у него был зеленый зонтик, и он нетерпеливо вытирал платком лоб.

— Ну, вот видите, Малони, — сказал он раздраженно. — Вы все думаете, что вы можете сколько угодно скандалить, а консул должен вызволять вас из беды. Я не военное министерство и не золотой рудник. У этой страны, знаете ли, есть свои законы, и, между прочим, у нее есть закон, воспрещающий вышибать мозги из регулярной армии. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. Нет, я ничем не могу вам помочь. Табаку, пожалуй, я пришлю... или, скажем, газету...

— Несчастный! — сурово прервал его Дикки. — Ты не изменился ни на йоту. Точно такую же речь, слово в слово, ты произнес и тогда, когда — помнишь? — на хоры нашей церковки забрались гуси и ослы старика Койна и виновные в этом деле хотели спрятаться у

тебя в комнате.

— Боже мой! — воскликнул консул, быстро поправляя очки. — Неужели вы тоже окончили Йельский университет? Вы тоже были среди шутников? Я не помню никого такого рыж... никого с такой фамилией — Малони. Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование! Один из наших лучших математиков выпуска девяносто первого года продает лотерейные билеты в Белисе. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящем птичий помет, гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент, Малони. Также, если вам нужен табак или, скажем, газеты...

— Мне нужно одно, — прервал его Дикки, — скажите капитану «Катарины», что Дикки Малони хочет его видеть возможно скорее. Скажите ему, что я здесь. Да поживее. Вот и все.

Консул был рад, что так дешево отделался, и поспешил уйти. Капитан «Катарины», здоровяк, родом из Сицилии, скоро пробился к дверям тюрьмы, без всякой церемонии растолкав часовых. Так всегда вели себя в Коралио представители компании «Везувий».

— Ах, как жаль! Мне очень больно видеть вас в таком тяжелом положении, — сказал капитан. — Я весь к вашим услугам, мистер Малони. Все, что вам нужно, будет вам доставлено. Все, что вы скажете, будет сделано.

Дикки посмотрел на него без улыбки. Его красно-рыжие волосы не мешали ему быть суровым и важным. Он стоял, высокий и спокойный, сомкнув губы в прямую горизонтальную линию.

— Капитан де Лукко, мне кажется, что у меня еще есть капиталы в пароходной компании «Везувий», и капиталы довольно обширные, принадлежащие лично мне. Еще неделю назад я распорядился, чтобы мне перевели сюда некоторую сумму немедленно. Но деньги не прибыли. Вы сами знаете, что необходимо для этой игры. Деньги, деньги и деньги. Почему же они не были посланы?

Де Лукко ответил, горячо жестикулируя:

— Деньги были посланы на пароходе «Кристоваль», но где «Кристоваль»? Я видел его у мыса Антонио со сломанным валом. Какой-то катер тащил его за собой на буксире обратно в Новый Орлеан. Я взял деньги и привез их с собой, потому что знал, что ваши нужды не терпят отлагательства. В этом конверте тысяча долларов. Если вам нужно еще, можно достать еще.

— Покуда и этих достаточно, — сказал Дикки, заметно смягчаясь, потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачку зеленых, гладких, грязноватых банкнот.

— Зелененькие! — сказал он нежно, и во взгляде его появилось благоговение. — Чего только на них не купишь, правда, капитан?

— В свое время, — ответил де Лукко, который был немного философом, — у меня было трое богатых друзей. Один из них спекулировал на акциях и нажил десять миллионов; второй уже на том свете, а третий женился на бедной девушке, которую любил.

— Значит, — сказал Дикки, — ответа надо искать у Всевышнего, на Уолл-стрит и у Купидона. Так и будем знать.

— Скажите, пожалуйста, — спросил капитан, охватывая широким жестом всю обстановку, окружавшую Дикки, — находится ли все это в связи с делами вашей маленькой лавочки? Ваши планы не потерпели крушения?

— Нет, нет, — сказал Дикки. — Это просто маленькое частное дело, некоторый экскурс в сторону от моего основного занятия. Говорят, что для полноты своей жизни человек должен испытать бедность, любовь и войну. Может быть, но не сразу, не в одно и то же время, *capitatio*. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в лавчонке идут хорошо.

Когда капитан ушел, Дикки позвал сержанта тюремной стражи и спросил:

— Какою властью я задержан? Военной или гражданской?

— Конечно, гражданской. Военное положение снято.

— Вуено! Пойдите же и пошлите кого-нибудь к алькаду, мировому судье и начальнику полиции. Скажите им, что я готов удовлетворить правосудие.

Сложенная зеленая бумажка скользнула в руку сержанта.

Тогда к Дикки вернулась его бывшая улыбка, ибо он знал, что часы его заточения сочтены; и он стал напевать в такт шагам своих часовых:

*Нынче вешают и женщин и мужчин,
Если нет у них зеленой бумажки.*

Таким образом, в тот же вечер Дикки сидел у окна своей комнаты, на втором этаже над лавкой, а рядом с ним сидела «святая» и вышивала что-то шелковое, очень изящное. Дикки был задумчив и серьезен. Его рыжие волосы были в необыкновенном беспорядке. Пальцы Пасы так и тянулись поправить и погладить их, но Дикки никогда не позволял ей этого. Весь вечер он корпел над какими-то географическими картами, книгами, бумагами, покуда у него на лбу не появилась та вертикальная черточка, которая всегда беспокоила Пасу. Наконец она встала, ушла, принесла его шляпу и долго стояла с шляпой, пока он не взглянул на нее вопросительным взглядом.

— Дома тебе невесело, — пояснила она. — Пойди и выпей vino bianco. Приходи назад, когда у тебя опять появится твоя прежняя улыбка.

Дикки засмеялся и отодвинул бумаги.

— Теперь мне не до vino bianco. Эта эпоха прошла. Вино сыграло свою роль, и довольно. Сказать правду, гораздо больше входило мне в уши, чем в рот. Едва ли кто догадывался об этом. Но сегодня не будет больше ни карт, ни морщин на лбу. Обещаю. Иди сюда.

Они сели у окна и стали смотреть, как отражаются в море дрожащие огоньки «Катарини».

Вдруг заструился негромкий смех Пасы. Она редко смеялась вслух.

— Я подумала, — сказала она, чувствуя, что Дикки не может понять ее смеха, — я подумала, как глупы бываем мы, девушки. Вот я, поучилась в Штатах и чего только не воображала! Представь себе, я мечтала о том, чтобы сделаться женой президента. Женою президента — не меньше. Но вышла за рыжего жулика — и живу в нищете, в темноте.

— Не теряй надежды, — сказал Дикки улыбаясь. — В Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В Чили был диктатор по имени О'Хиггинс. Почему Малони не может быть президентом Анчурии? Скажи только слово, santita mia, и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность.

— Нет, нет, нет, ты, рыжий разбойник, — вздохнула Паса. — Я довольна (она положила голову ему на плечо) и здесь.

XVI. Rouge Et Noir

Мы уже упоминали о том, что с самого начала своего президентства Лосада сумел заслужить неприязнь народа. Это чувство продолжало расти. Во всей республике чувствовалось молчаливое, затаенное недовольство. Даже старая либеральная партия, которой так горячо помогали Гудвин, Савалья и другие патриоты, разочаровалась в своем ставленнике. Лосаде так и не удалось сделаться народным кумиром. Новые налоги и новые пошлины на ввозимые товары, а главное, потворство военным властям, которые притесняли гражданское население страны, сделали его одним из самых непопулярных правителей со времен презренного Альфорана. Большинство его собственного кабинета было в оппозиции к нему. Армия, перед которой он заискивал, которой он разрешал тиранить мирных жителей, была его единственной и до поры до времени достаточно прочной опорой.

Но самым опрометчивым поступком нового правительства была ссора с паровой компанией «Везувий». У этой организации было двенадцать своих пароходов, а капитал ее

выражался в сумме несколько большей, чем весь бюджет Анчурии — весь ее дебет и кредит.

Естественно, что такая солидная фирма, как компания «Везувий», не могла не разгневаться, когда вдруг какая-то ничтожная розничная республика вздумала выжимать из нее лишние деньги. Так что когда агенты правительства обратились к компании «Везувий» за субсидией, они встретили учтивый отказ. Президент сквитался с нею, наложив на нее новую пошлину: реал с каждого пучка бананов — вещь, невиданная во фруктовых республиках! Компания «Везувий» вложила большие капиталы в пристани и плантации Анчурии, служащие этой компании выстроили себе в городах, где им приходилось работать, прекрасные дома и до этого времени были в наилучших отношениях с республикой к несомненной выгоде обеих сторон. Если бы компания вынуждена была покинуть страну, она потерпела бы большие убытки. Продажная цена бананов — от Вера-Крус до Тринидада — три реала за один пучок. Эта новая пошлина — один реал — должна была разорить всех садоводов Анчурии и причинила бы большие неудобства компании «Везувий», если бы компания отказалась платить. Все же по какой-то непонятной причине «Везувий» продолжал покупать анчурийские фрукты, платя лишний реал за пучок и не допуская, чтобы владельцы плантаций потерпели убытки.

Эта кажущаяся победа ввела его превосходительство в заблуждение, и он возжаждал новых триумфов. Он послал своего эмиссара для переговоров с представителем компании «Везувий». «Везувий» направил для этой цели в Анчурию некоего мистера Франзони, маленького, толстенького, жизнерадостного человечка, всегда спокойного, вечно насвистывающего арии из опер Верди. В интересах Анчурии был уполномочен действовать сеньор Эспирисион, чиновник министерства финансов. Свидание состоялось в каюте парохода «Спаситель».

Сеньор Эспирисион с первых же слов сообщил, что правительство намерено построить железную дорогу, соединяющую береговые районы страны. Указав, что благодаря этой железной дороге «Везувий» окажется в больших барышах, сеньор Эспирисион добавил, что, если «Везувий» даст правительству ссуду на постройку дороги, — скажем, пятьдесят тысяч песо, — эта трата в скором времени окупится полностью.

Мистер Франзони утверждал, что никаких выгод от железной дороги для компании «Везувий» не будет. Как представитель компании, он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить двадцать пять.

— Двадцать пять тысяч pesos? — переспросил дон сеньор Эспирисион.

— Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а серебром.

— Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! — воскликнул сеньор Эспирисион, с негодованием вставая с места.

— Тогда, — сказал мистер Франзони угрожающим тоном, — мы переменим его.

Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил о перемене правительства?

Таково было положение вещей в Анчурии, когда, в конце второго года правления Лосады, в Коралио открылся зимний сезон. Так что, когда правительство и высшее общество совершили свой ежегодный въезд в этот приморский город, президента встретили без всяких чрезмерных восторгов. Приезд президента и веселящихся представителей высшего света был назначен на десятое ноября. От Солитаса на двадцать миль в глубь страны идет узкоколейная железная дорога. Обычно правительство следует в экипажах из Сан-Матео до конечного пункта этой дороги и дальше едет поездом в Солитас. Оттуда торжественная процессия тянется к Коралио, где в день ее прибытия устраиваются пышные торжественные празднества. Но в этом году наступление десятого ноября предвещало мало хорошего.

Хотя время дождей уже кончилось, воздух был душный, как в июне. До самого полудня моросил мелкий, унылый дождик. Процессия въехала в Коралио среди странного, непонятного молчания.

Президент Лосада был пожилой человек с седеющей бородкой, его желтое лицо

изобличало изрядную примесь индейской крови. Он ехал впереди всей процессии. Его карету окружала кавалькада телохранителей, знаменитая кавалерийская сотня капитана Круса — El Ciento Huilando. Сзади следовал полковник Рокас с батальоном регулярного войска.

Остренькие, круглые глазки президента беспокойно бегали по сторонам: президент ожидал приветствий, но всюду он видел сумрачные, равнодушные лица. Жители Анчурии любят зрелища, это у них в крови. Они зеваки по профессии; поэтому все население, за исключением тяжелобольных, высыпало на улицу посмотреть на торжественный посад. Но стояли, смотрели — и молчали. Молчали неприязненно. Заполнили всю улицу, до самых колес кареты, залезли на красные черепичные крыши, но хоть бы один крикнул viva. Ни венков из пальмовых листьев и лимонных веток, ни гирлянд из бумажных роз не свешивалось с окон и балконов, хотя этого требовал стародавний обычай. Апатия, уныние, молчаливый упрек чувствовались в каждом лице. Это было тем более тяжело, что нельзя было понять, в чем дело. Вспышки народного гнева президент не боялся: у этой недовольной толпы не было вождя. Ни Лосада, ни его верноподданные никогда не слыхали ни об одном таком имени, которое могло бы организовать глухое недовольство в оппозицию. Нет, никакой опасности не было. Толпа сначала обзаводится новым кумиром и лишь тогда свергает старый.

Майоры с алыми шарфами, полковники с золотым шитьем на мундирах, генералы в золотых эполетах — все это гарцевало и охорашивалось, а потом процессия повернула на Калье Гранде, построилась в новом порядке и направилась к летнему дворцу президента, Casa Morena, где ежегодно происходила официальная встреча новоприбывшего хозяина страны.

Во главе процессии шел швейцарский оркестр. Затем comandante верхом, с отрядом войска. Затем карета с четырьмя министрами, среди которых особенно выделялся военный министр, старик, генерал Пилар, седоусый, с военной осанкой. Затем окруженная сотней капитана Круса карета президента, где находились также министр финансов и министр внутренних дел. А за ними остальные сановники, судьи, важные военные и другие украшения общества.

Едва заиграл оркестр и процессия тронулась, как в водах Коралио, словно какая-то зловещая птица, появился пароход «Валгалла», самое быстроходное судно компании «Везувий». Появился перед самыми глазами президента и всех его приближенных. Разумеется, в этом не было ничего угрожающего: промышленные фирмы не воюют с государствами, но и сеньор Эспирисион и еще кое-кто из сидевших в колясках сейчас же подумали, что компания «Везувий» готовит им какой-то сюрприз.

Покуда процессия двигалась по направлению к дворцу, капитан «Валгаллы» и мистер Винченти, один из членов компании «Везувий», успели высадиться на берег. Весело, задорно, небрежно протискались они сквозь толпу. Это были крупные, упитанные люди, благодушные и в то же время властные; они были в белоснежных полотняных костюмах и, естественно, привлекали внимание среди темных и малоимпозантных туземцев. Они пробились сквозь толпу и встали на виду у всех в нескольких шагах от ступенек дворца. Глядя поверх голов, они заметили, что над низкорослой толпой возвышается еще одна голова: это была рыжая макушка Дикки Малони — яркое пятно на фоне белой стены неподалеку от нижней ступени. Широкая, чарующая улыбка, появившаяся у Дикки на лице, показала, что он заметил их появление.

Как и подобало в такой высокоторжественный день, Дикки был в черном, отлично сшитом костюме. Паса стояла тут же рядом. Голова ее была покрыта неизменной черной мантильей.

Мистер Винченти внимательно посмотрел на нее.

— Мадонна Боттичелли, — сказал он серьезно. — Хотел бы я знать, как она попала в это дело: мне, признаться, не нравится, что тут замешана женщина, лучше бы ему держаться от них подальше.

Капитан Кронин засмеялся так громко, что чуть было не отвлек внимание толпы от процессии.

— Это с такой-то шевелюрой держаться подальше от женщин! Да еще фамилия-то какая ирландская. А что, разве он женился без необходимых формальностей? Но оставим вздор, что

вы думаете обо всем этом деле? Признаться, я мало смыслю в таких флибустьерских затеях.

Винченти снова посмотрел на огненную макушку Дикки.

— Rouge et noir, — сказал он улыбаясь. — Это как в рулетке: красное и черное. Делайте вашу игру, джентльмены! Наши деньги на красном.

— Малый он стоящий, — сказал капитан, одобрительно глядя на высокого, изящного Дикки. — Но все это вместе до странности напоминает мне любительский домашний спектакль.

Они перестали разговаривать, так как в это самое время генерал Пилар вышел из кареты и встал на верхней ступеньке дворца. Согласно обычаю, он, как старейший член кабинета, должен был произнести приветственную речь и вручить президенту ключи от его официальной резиденции.

Генерал Пилар был один из самых уважаемых граждан республики. Герой трех войн, участник революции, почетный гость многих европейских дворов, друг народа, красноречивый оратор, он являл собою высший тип анчурийца.

Держа в руке позолоченные ключи дворца, он начал свою речь в ретроспективной, исторической форме. Он указал, как постепенно, от самых отдаленных времен, в стране воцарялись культура и свобода, росло народное благосостояние. Перейдя затем к правлению президента Лосады, он, согласно обычаю, должен был воздать горячую хвалу его мудрости и заявить о благоденствии его народа. Но вместо этого он замолчал. А потом, не говоря ни слова, поднял ключи высоко у себя над головой и стал внимательно рассматривать их. Лента, перевязывающая эти ключи, заметалась от налетевшего ветра.

— Он все еще дует, этот ветер! — воскликнул в экстазе оратор. — Граждане Анчурии, воздадим благодарность святителям: наш воздух, как и прежде, свободен!

Покончив таким образом с правлением Лосады, он неожиданно перешел к Оливарре, самому любимому из всех анчурийских правителей. Оливарра был убит девять лет тому назад, в полном расцвете сил, в разгаре полезной, плодотворной работы. По слухам, в этом преступлении была виновата либеральная партия, во главе которой стоял тогда Лосада. Верны были эти слухи или нет, несомненно одно, что вследствие этого убийства честолюбивый карьерист Лосада только через восемь лет добился верховной власти.

Красноречие Пилара полилось вольным потоком, чуть он подошел к этой теме. Любящей рукой нарисовал он образ благородного Оливарры. Он напомнил, как счастливо и мирно жилось народу в то время. Как бы для контраста, он воскресил в уме слушателей, какими оглушительными vivas встречали президента Оливарру в Коралио.

В этом месте речи впервые народ стал проявлять свои чувства. Тихий, глухой ропот прокатился по рядам, как волна по морскому побережью.

— Ставлю десять долларов против обеда в «Святом Карлосе», — сказал мистер Винченти, — что *красное* выиграет.

— Я никогда не держу пари против своих же интересов, — ответил капитан, зажигая сигару. — Красноречивый старичок, ничего не скажешь. О чем он говорит?

— Я понимаю по-испански, — отозвался Винченти, — если в одну минуту говорят десять слов. А здесь — не меньше двухсот. Что бы он ни говорил, он здорово разжигает их.

— Друзья и братья, — говорил между тем генерал, — если бы сегодня я мог протянуть свою руку над горестным молчанием могилы Оливарре «Доброму», Оливарре, который был вашим другом, который плакал, когда вы страдали, и смеялся, когда вы веселились, если бы я мог протянуть ему руку, я привел бы его снова к вам, но Оливарра мертв — он пал от руки подлого убийцы!

Тут оратор повернулся к карете президента и смело посмотрел на Лосаду. Его рука все еще была поднята вверх. Президент вне себя, дрожа от изумления и ярости, слушал эту необычайную приветственную речь. Он откинулся назад, его темнокожие руки крепко сжимали подушки кареты.

Потом он встал, протянул одну руку к оратору и громко скомандовал что-то капитану Крузу, начальнику «Летучей сотни». Но тот продолжал неподвижно сидеть на коне, сложив

на груди руки, словно и не слышал ничего. Лосада снова откинулся на подушки кареты; его темные щеки заметно побледнели.

— Но кто сказал, что Оливарра мертв? — внезапно выкрикнул оратор, и, хотя он был старик, его голос зазвучал как боевая труба. — Тело Оливарры в могиле, но свой дух он завещал народу, да и свои знания, и свою доблесть, и свою доброту, и больше — свою молодость, свое лицо, свою фигуру... Граждане Анчурии, разве вы забыли Рамона, сына Оливарры?

Капитан и Винченти, внимательно глядевшие все время на Дикки, вдруг увидели, что он снимает шляпу, срывает с головы красно-рыжие волосы, вскакивает на ступеньки и становится рядом с генералом Пиларом. Военный министр положил руку ему на плечо. Все, кто знал президента Оливарру, вновь увидели ту же львиную позу, то же смелое, прямое выражение лица, тот же высокий лоб с характерной линией черных, густых, курчавых волос.

Генерал Пилар был опытный оратор. Он воспользовался минутой безмолвия, которое обычно предшествует буре.

— Граждане Анчурии! — прогремел он, потрясая у себя над головой ключами от дворца. — Я пришел сюда, чтобы вручить эти ключи, ключи от ваших домов, от вашей свободы, избранному вами президенту. Кому же передать эти ключи — убийце Энрико Оливарры или его сыну?

— Оливарра, Оливарра! — закричала и завывала толпа. Все выкрикивали это магическое имя — мужчины, женщины, дети и попугаи.

Энтузиазм охватил не только толпу. Полковник Рокас взошел на ступени и театрально положил свою шпагу к ногам молодого Рамона Оливарры. Четыре министра обняли его, один за другим. По команде капитана Круса двадцать гвардейцев из «Летучей сотни» спешили и образовали кордон на ступенях летнего дворца.

Но тут Рамон Оливарра обнаружил, что он действительно гениальный политик. Мановением руки он удалил от себя стражу и сошел по ступеням к толпе. Там, внизу, нисколько не теряя достоинства, он стал обниматься с пролетариатом: с грязными, с босыми, с краснокожими, с карибами, с детьми, с нищими, со старыми, с молодыми, со святыми, с солдатами, с грешниками — всех обнял, не пропустил никого.

Пока на подмостках разыгрывалось это действие драмы, рабочие сцены тоже не сидели без дела. Солдаты Круса взяли под уздцы лошадей, впряженных в карету Лосады, остальные окружили карету тесным кольцом и ускакали куда-то с диктатором и обоими непопулярными министрами. Очевидно, им заранее было приготовлено место. В Коралио есть много каменных зданий с хорошими, надежными решетками.

— *Красное* выиграло, — сказал мистер Винченти, спокойно закуривая еще одну сигару.

Капитан уже давно всматривался в то, что происходило внизу у каменных ступеней дворца.

— Славный мальчик! — сказал он внезапно, как будто с облегчением. — А я все думал: неужели он забудет свою милую?

Молодой Оливарра снова взошел на террасу дворца и сказал что-то генералу Пилару. Почтенный ветеран тотчас же спустился по ступеням и подошел к Пасе, которая, вне себя от изумления, стояла на том самом месте, где Дикки оставил ее. Сняв шляпу с пером, сверкая орденами и лентами, генерал сказал ей несколько слов, подал руку и повел вверх по каменным ступеням дворца. Рамон Оливарра сделал несколько шагов ей навстречу и на глазах у всех взял ее за обе руки. И тут, когда ликование возобновилось с новой силой, Винченти и капитан повернулись и направились к берегу, где их ожидала гичка.

— Вот и еще один «*presidente proclamado*», {*Президент, пришедший к власти без формальных выборов.*} — задумчиво сказал мистер Винченти. — Обычно они не так надежны, как те, которых избирают. Но в этом молодце и в самом деле как будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и выдумал и провел он один. Вдова Оливарры, вы знаете, была женщина состоятельная. После того как убили ее мужа, она уехала в Штаты и дала своему сыну образование в Йельском университете. Компания «Везувий» разыскала его и оказала ему

поддержку в этой маленькой игре.

— Как это хорошо в наше время, — сказал полушутя капитан, — иметь возможность низвергать президентов и сажать на их место других по собственному своему выбору.

— О, это чистый бизнес, — заметил Винченти, остановившись и предлагая окуроч сигары обезьяне, которая качалась на ветвях лимонного дерева. — Нынче бизнес управляет всем миром. Нужно же было как-нибудь понизить цену бананов, уничтожить этот лишний реал. Мы и решили, что это будет самый быстрый способ.

XVII. Две отставки

Прежде чем опустить занавес над этой комедией, сшитой из пестрых лоскутьев, мы считаем своим долгом выполнить три обязательства. Два из них были обещаны; третье не менее важно.

В самом начале книги, в программе этого тропического водевиля, мы обещали поведать читателю, почему Коротыш О'Дэй, агент Колумбийского сыскного агентства, потерял свое место. Было также обещано, что загадочный Смит снова явится на сцену и расскажет, какую тайну он увидел в ту ночь, когда сидел на берегу, на песке под кокосовой пальмой, разбрасывая вокруг этого дерева столько сигарных окурков. Но, кроме того, мы обязаны совершить нечто большее — снять мнимую вину с человека, совершившего, если судить по приведенным выше (правдиво изложенным) фактам, серьезное преступление. И все эти три задачи выполнит голос одного человека.

Два субъекта сидели на одном из моллов Северной реки в Нью-Йорке.¹⁹

Пароход, только что прибывший из тропиков, стал выгружать на пристань апельсины и бананы. Порою от перезрелых гроздьев отваливался банан, а порою и два, и тогда один из субъектов не спеша вставал с места, хватал добычу и делился с товарищем.

Один из этих людей был в состоянии крайнего падения. Все, что могли сделать с его платьем солнце, ветер и дождь, было сделано. На лице у него было начертано чрезмерное пристрастие к выпивке. И все же на его пунцовом носу сверкало безупречное золотое пенсне.

Другой еще не успел так далеко зайти по наклонной Дороге Слабых. Правда, он тоже, по-видимому, знавал лучшие времена. Но все же там, где он бродил, еще были тропинки, по которым он мог, без вмешательства чуда, снова выйти на путь полезного труда. Он был невысокого роста, но коренастый и крепкий. У него были мертвые рыбы глаза и усы как у бармена, смешивающего за стойкой коктейли. Мы знаем этот глаз и этот ус, мы видим, что Смит, обладатель роскошной яхты, щеголявший таким пестрым костюмом, приезжавший в Коралио непонятно зачем и уехавший оттуда неизвестно куда, — этот самый Смит опять появился на сцене, хотя и лишенный аксессуаров былого величия.

Сунув себе в рот третий банан, человек в золотом пенсне внезапно выплюнул его с гримасой отвращения.

— Черт бы побрал все фрукты! — сказал он презрительным тоном патриция. — Два года я прожил в тех самых краях, где растет эта дрянь. Ее вкус навеки остается во рту. Апельсины лучше. Постарайтесь, О'Дэй, подобрать мне в следующий раз парочку апельсинов, если они выпадут из какой-нибудь дырявой корзинки.

— Так вы жили там, где мартышки? — спросил О'Дэй, у которого немного развязался язык под влиянием солнца и благодатных плодов. — Я тоже там был как-то раз. Но недолго, несколько часов. Это когда я служил в Колумбийском сыскном агентстве. Тамошние мартышки и подгадили мне. Если б не они, я бы и сейчас был в сыскном. Я расскажу вам все дело.

В один прекрасный день получается у нас в конторе такая записка: «Пришлите сию минуту О'Дэя. Важное дело». Записка от самого шефа. Я в ту пору был один из самых шустрых

¹⁹ Северная река — Гудзон в его нижнем течении.

агентов. Мне всегда поручали серьезные дела. Дом, откуда писал шеф, находился в районе Уолл-стрит.

Приехав на место, я нашел шефа в чьей-то частной конторе: его окружали большие дельцы, и у каждого была на лице неприятность. Они рассказали, в чем дело. Президент страхового общества «Республика» убежал неизвестно куда, захватив с собою сто тысяч долларов. Директоры общества очень желали, чтобы он воротился, но еще больше им хотелось воротить эти деньги, которые, по их словам, были им нужны дозарезу. Им удалось дознаться, что в этот же день, рано утром, старик со всем семейством, состоявшим из дочери и большого саквояжа, уехал на фруктовом пароходе в Южную Америку.

У одного из директоров была наготове яхта, и он предложил ее мне, *carte blanche*. Через четыре часа я уже мчался по горячим следам в погоне за фруктовом суденышком. Я сразу смекнул, куда улепетывает этот старый Уорфилд — такое у него было имя: Дж. Черчилл Уорфилд. В то время у нас были договоры со всеми странами о выдаче преступников, со всеми, за исключением Бельгии и этой банановой республики, Анчурии. В Нью-Йорке не было ни одной фотографической карточки старого Уорфилда; он, лисица, был слишком хитер, не снимался, но у меня было подробное описание его наружности. И, кроме того, с ним была дама — это тоже недурная примета. Она была важная птица, из самого высшего общества, не из тех, чьи портреты печатают в воскресных газетах, а настоящая. Из тех, что открывают выставки хризантем и крестят броненосцы.

Представьте, сэр, нам так и не удалось догнать эту фруктовую лоханку. Океан велик, — вероятно, мы поехали разными рейсами, но мы всё держали курс на Анчурию, куда, по расписанию, направлялся и фруктощик.

Через несколько дней, часа в четыре, мы подъехали к этой обезьяньей стране. Недалеко от берега стояло какое-то плюгавое судно, его грузили бананами. Мартышки подвозили к нему бананы на шлюпках. Может быть, это был тот пароход, на котором приехал мой старик, а может быть, и нет. Неизвестно. Я пошел на берег — порасспросить, поискать. Виды кругом — красота. Я таких не видал даже в нью-йоркских театрах. Вижу, стоит на берегу среди мартышек рослый, спокойный детина. Я к нему: где здесь консул? Он показал. Я пошел. Консул был молодой и приятный. Он сказал мне, что этот пароход — «Карлсефин», что обычный его рейс — Новый Орлеан, но что сейчас он прибыл из Нью-Йорка. Тогда я решил, что мои беглецы тут и есть, хотя все говорили, что на «Карлсефине» не было никаких пассажиров. Я решил, что они прячутся и ждут темноты, чтобы высадиться на берег ночью. Я думал: может быть, их напугала моя яхта? Мне оставалось одно: ждать и захватить их врасплох, чуть они выйдут на берег. Я не мог арестовать старика Уорфилда, мне нужно было разрешение тамошних властей, но я надеялся выцарапать у него деньги. Они почти всегда отдают вам украденное, если вы нагрянете на них, когда они расшатаны, устали, когда у них развинчены нервы.

Чуть только стемнело, я сел под кокосовой пальмой на берегу, а потом встал и пошел побродить. Ну уж и город! Лучше оставаться в Нью-Йорке и быть честным, чем жить в этом мартышкином городе, хотя бы и с миллионом долларов.

Глиняные гнусные мазанки; трава на улицах такая, что тонет башмак; женщины без рукавов, с голой шеей, ходят и курят сигары; лягушки сидят на деревьях и дребезжат, как телега с пожарной кишкой, горы (с черного хода), море (с парадного). Горы сыплют песок, море смывает краску с домов. Нет, сэр, лучше человеку жить в стране Господа Бога²⁰ и кормиться у стойки с бесплатной закуской.

Главная улица тянулась вдоль берега, и я пошел по ней и повернул в переулок, где дома были из соломы и каких-то шестов. Мне захотелось посмотреть, что делают мартышки у себя дома, в жилищах, когда они не шмыгают по кокосовым деревьям. И в первой же лачуге, куда я заглянул, я увидел моих беглецов. Должно быть, высадились на берег, покуда я шатался по

²⁰ Ироническое название Соединенных Штатов.

городу. Мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, нависшие брови, черный плащ и такое лицо, будто он хочет сказать: «А ну-ка, маленькие мальчики, ответьте мне на этот вопрос», — как инспектор воскресной школы. Подле него саквояж, тяжелый, как десять золотых кирпичей; тут же на деревянном стуле сидит шикарная барышня — прямо персик, одетая, как с Пятой авеню. Какая-то старуха, чернокожая, угощает их бобами и кофе. На гвозде висит фонарь — вот и все освещение. Я вошел и стал в дверях. Они посмотрели на меня, и я сказал:

— Мистер Уорфилд, вы арестованы. Надеюсь, что, щадя свою даму, вы не станете сопротивляться и шуметь. Вы знаете, зачем вы мне нужны.

— Кто вы такой? — спрашивает старик.

— О'Дэй, — говорю я. — Сыщик Колумбийского агентства. И вот вам мой добрый совет: возвращайтесь в Нью-Йорк и примите то лекарство, которое вы заслужили. Отдайте людям краденое; может быть, они простят вам вину. Едем сию же минуту. Я замолвлю за вас словечко. Даю вам пять минут на размышление.

Я вынул часы и стал ждать.

Тут вмешалась эта молодая. Высшего полета девица! И по ее платью, и по всему остальному было ясно, что Пятая авеню создана для нее.

— Войдите! — сказала она. — Не стойте на пороге. Ваш костюм взбудоражит всю улицу. Объясните подробнее, чего вы хотите?

— Прошло три минуты, — сказал я. — Я объясню вам подробнее, покуда не прошли еще две. Вы признаете, что вы президент «Республики»?

— Да, — сказал он.

— Отлично, — говорю я. — Остальное понятно. Необходимо доставить в Нью-Йорк Дж. Черчилла Уорфилда, президента страхового общества «Республика», а также деньги, принадлежащие этому обществу и находящиеся в незаконном владении у вышеназванного Дж. Черчилла Уорфилда.

— О-о! — говорит молодая леди в задумчивости. — Вы хотите увезти нас обратно в Нью-Йорк?

— Не вас, а мистера Уорфилда. Вас никто ни в чем не обвиняет. Но, конечно, мисс, никто не мешает вам сопровождать вашего отца.

Тут девица взвизгивает и бросается старику на шею.

— О отец, отец, — кричит она таким контральным голосом. — Неужели это правда? Неужели ты похитил чужие деньги? Говори, отец.

Вас бы тоже кинуло в дрожь, если бы вы услышали ее музыкальное тремоло.

Старик вначале казался совершенным болваном. Но она шептала ему на ухо, хлопала по плечу; он успокоился, хоть и вспотел.

Она отвела его в сторону, они поговорили минуту, а потом он надевает золотые очки и отдает мне саквояж.

— Господин сыщик, — говорит он. — Я согласна вернуться с вами. Я теперь и сам кончаю видеть (говорил он по-нашему ломанно), что жизнь на этот гадкий и одинокий берег хуже чем смерть. Я вернусь и отдам себя в руки общества «Республика». Может быть, оно меня простит. Вы привезти с собой грабль?

— Грабли? — говорю я. — А зачем мне...

— Корабль! — поправила барышня. — Не смейтесь. Отец по рождению немец и неправильно говорит по-английски. Как вы прибыли сюда?

Барышня была очень расстроена. Держит платочек у лица и каждую минуту всхлипывает: «Отец, отец!» Потом подходит ко мне и кладет свою лилейную ручку на мой костюм, который, по первому разу, показался ей таким неприятным. Я, конечно, начинаю пахнуть, как двести тысяч фиалок. Говорю вам: она была прелесть! Я сказал ей, что у меня частная яхта.

— Мистер О'Дэй, — говорит она, — увезите нас поскорее из этого ужасного края. Пожалуйста! Сию же минуту. Ну, скажите, что вы согласны.

— Попробую, — говорю я, скрывая от них, что я и сам тороплюсь поскорее спустить их

на соленую воду, покуда они еще не передумали.

Они были согласны на все, но просили об одном: не вести их к лодке через весь город. Говорили, что они боятся огласки. Не хотели попасть в газеты. Отказались двинуться с места, покуда я не дал им честного слова, что доставлю их на яхту, не говоря ни одному человеку из тамошних...

Матросы, которые привезли меня на берег, были в двух шагах, в кабачке: играли на бильярде. Я сказал, что прикажу им отъехать на полмили в сторону и ждать нас там. Но кто доставит им мое приказание? Не мог же я оставить саквояж с арестованным, а также не мог взять его с собою — боялся, как бы меня не заметили эти мартышки.

Но барышня сказала, что черномазая старуха отнесет моим матросам записку. Я сел и написал эту записку, дал ее черномазой, объяснил, куда и как пойти, она трясет головой и улыбается, как павиан.

Тогда мистер Уорфилд заговорил с нею на каком-то заграничном жаргоне, она кивает головой и говорит «си, сеньор», может быть, тысячу раз и убегает с запиской.

— Старая Августа понимает только по-немецки! — говорит мисс Уорфилд и улыбается мне. — Мы остановились у нее, чтобы спросить, где мы можем найти себе квартиру, и она предложила нам кофе. Она говорит, что воспитывалась в одном немецком семействе в Сан-Доминго.

— Очень может быть, — говорю я. — Но можете обыскать меня, и вы не найдете у меня немецких слов; я знаю только четыре: «ферштей ништ» и «нох эйне». {«Не понимаю» и «еще одну» (рюмку).} Но мне казалось, что «си, сеньор» — это, скорее, по-французски.

И вот мы трое двинулись по задворкам города, чтобы нас никто не увидел. Мы путались в терновнике и банановых кустах и вообще в тропическом пейзаже. Пригород в этом мартышкином городе — такое же дикое место, как Центральный парк в Нью-Йорке. Мы выбрались на берег за полмили от города. Какой-то темно-рыжий дрыхнул под кокосовым деревом, а возле него длинное ружье в десять футов. Мистер Уорфилд поднимает ружье и швыряет в море.

— На берегу часовые, — говорит он. — Бунты и заговоры зреют, как фрукты.

Он указал на спящего, который так и не шевельнулся.

— Вот, — сказал он, — как они выполняют свой долг. Дети!

Я видел, что подходит наша лодка, взял газету и зажег ее спичкой, чтобы показать матросам, где мы. Через полчаса мы были на яхте.

Первым долгом я, мистер Уорфилд и его дочь взяли саквояж в каюту владельца яхты, открыли его и сделали опись всего содержимого. В саквояже было сто пятьдесят тысяч долларов и, кроме того, куча брильянтов и разных ювелирных вещичек, а также сотня гаванских сигар. Я вернул старику сигары, а насчет всего остального выдал ему расписку как агент сысканого бюро и запер все эти вещи у себя в особом помещении. Никогда я еще не путешествовал с таким удовольствием. Чуть мы выехали в море, дама повеселела и оказалась первоклассной певицей. В первый же день, как мы сели обедать и лакей налил ей в бокал шампанского, — а эта яхта была прямо плавучей «Асторией», — она подмигивает мне и говорит:

— Не стоит нюнить, будем веселее! Дай бог вам скушать ту самую курицу, которая будет копошиться на вашей могиле.

На яхте было пианино, она села и начала играть, и пела лучше, чем в любом платном концерте, — она знала девять опер насквозь; лихая была барышня, самого высокого тона! Не из тех, о которых в великосветской хронике пишут: «и другие». Нет, о таких печатают в первой строке и самыми крупными буквами.

Старик тоже, к моему удивлению, поднял повешенный нос. Однажды угощает он меня сигарой и говорит веселым голосом из тучи сигарного дыма:

— Мистер О'Дэй, я почему-то думаю, что общество «Республика» не доставит мне многие хлопоты. Берегите чемодан, мистер О'Дэй, чтобы отдать его тем, кому он принадлежит, когда мы кончим приехать.

Приезжаем мы в Нью-Йорк. Я звоню по телефону к начальнику, чтобы он встретил нас в конторе директора. Берем кеб, едем. На коленях у меня саквояж. Входим. Я с радостью вижу, что начальник созвал тех же денежных тузов, что и прежде. Розовые лица, белые жилеты. Я кладу саквояж на стол и говорю:

— Вот деньги.

— А где же арестованный? — спрашивает начальник.

Я указываю на мистера Уорфилда, он выходит вперед и говорит:

— Разрешите сказать вам слово одно секретно.

Они уходят вместе с начальником в другую комнату и сидят там десять минут. Когда они выходят назад, начальник черен, как тонна угля.

— Был ли у этого господина этот чемодан, когда вы в первый раз увидели его? — спрашивает он у меня.

— Был, — отвечаю я.

Начальник берет чемодан и отдает его арестанту с поклоном и говорит директорам:

— Знает ли кто-нибудь из вас этого джентльмена?

Все сразу закачали своими розовыми головами:

— Нет, не знаем.

— Позвольте мне представить вам, — продолжает начальник, — сеньора Мирафлореса, президента республики Анчурия. Сеньор великодушно согласился простить нам эту вопиющую ошибку, если мы защитим его доброе имя от всяких могущих возникнуть нападков и сплетен. С его стороны это большое одолжение, так как он вполне может потребовать удовлетворения по законам международного права. Я думаю, мы можем с благодарностью обещать ему полную тайну.

Розовые закивали головами.

— О'Дэй, — говорит мне начальник. — Вы не пригодны для частного агентства. На войне, где похищение государственных лиц — самое первое дело, вы были бы незаменимым человеком. Зайдите в контору завтра в одиннадцать.

Я понял, что это значит.

— Стало быть, это обезьянский президент? — говорю я начальнику. — Почему же он не сказал мне этого?

— Так бы вы ему и поверили!

XVIII. Витаграфоскоп

Программа мюзик-холла по сути своей фрагментарна и раздроблена. Публика не ждет эффектной развязки. Каждый номер достаточно плох сам по себе. Никому нет дела до того, сколько романов было у комической певицы, если она выдерживает свет прожекторов и может вытянуть две-три высоких ноты. Публика и бровью не поведет, если ученых собак бросят в пруд, как только они проскочат через последний обруч. Зрителям все равно, расшибся или нет велосипедист-эксцентрик, когда выкатился головой вперед со сцены при оглушительном звоне разбитой (бутафорской) посуды. Также не считают они, что купленный билет дает им право знать, питает ли виртуозка на банджо какие-нибудь чувства к ирландцу-куплетисту.

Поэтому не будем поднимать занавес над живой картиной — соединившиеся любовники на фоне наказанного порока и для контраста — целующиеся комики, горничная и лакей, введенные как подачка церберам с пятидесятицентовых мест.

Наша программа заканчивается несколькими короткими номерами, а потом расходитесь по домам, спектакль окончен. Те, кто высидит до конца, найдут, если захотят, тоненькую нить, связывающую, хоть и очень непрочно, нашу повесть, понять которую может, пожалуй, один только Морж.

Выдержки из письма от первого вице-президента нью-йоркского страхового общества

«Республика» Франку Гудвину, в город Коралио, республика Анчурия.

«Глубокоуважаемый мистер Гудвин!

Мы получили ваше сообщение от фирмы Таулэнд и Фурше из Нового Орлеана, а также чек на 100 000 долларов, увезенных из нашей кассы покойным Дж. Черчиллом Уорфилдом, бывшим президентом нашего общества... Служащие и директора единогласно поручили мне выразить вам свое глубокое уважение и принести вам искреннюю благодарность за то, что вы так быстро возвратили нам все утраченные нами деньги, меньше чем через две недели после их исчезновения... Позвольте заверить вас, что все это дело не получит ни малейшей огласки... Искренно сожалеем о самоубийстве мистера Уорфилда, но... Приносим вам горячие поздравления по поводу вашего бракосочетания с мисс Уорфилд... Ее чарующая внешность, привлекательные манеры... благородная женственная душа... завидное положение в лучшем столичном обществе... Сердечно вам преданный

Люсайас И. Элгэйт,

первый вице-президент страхового общества
«Республика».

Витаграфоскоп (Кинематограф) Последняя колбаса

Место действия — мастерская художника. Художник, молодой человек приятной наружности, сидит в печальной позе среди разбросанных этюдов и эскизов, подпирая голову рукою. На сосновом ящике в центре мастерской стоит керосинка. Художник встает, затягивает туже кушак и зажигает керосинку. Потом подходит к жестяной коробке для хлеба, наполовину скрытой ширмами, достает оттуда колбасу, переворачивает коробку вверх дном, чтобы показать, что она пустая, и кладет колбасу на сковородку, а сковородку ставит на керосинку. Керосинка гаснет; ясно: в ней нет керосина. Художник в отчаянии. Он хватается за колбасу и, пылая внезапно нахлынувшим гневом, бешено швыряет ее в дверь. В эту самую минуту дверь открывается, и колбаса с силою бьет по носу входящего гостя. Видно, что он кричит и прыгает на месте, как будто танцует. Вошедший — краснощекий, бойкий остроглазый человек, вернее всего — ирландец. Вот он уже смеется; потом пинком ноги он сбрасывает на пол керосинку, художник тщетно старается пожать ему руку, гость со всего размаха ударяет его по спине, после этого делает знаки, по которым всякий мало-мальски смысленный зритель поймет, что он заработал огромные деньги, обменивая в Кордильерах у краснокожих индейцев ножи, топоры и бритвы на золотой песок. Он вытаскивает из кармана пачку денег величиной с изрядную ковригу хлеба и машет ею у себя над головой, в то же время делая жесты, как будто он пьет из стакана. Художник хватается за шляпу, и оба покидают мастерскую.

Письмена на песке

Место действия — пляж в Ницце. Женщина, красивая, еще молодая, прекрасно одетая, с приятной улыбкой, степенная, склонилась над водою и от нечего делать выводит концом шелкового зонтика какие-то буквы на прибрежном песке. В ее красивом лице что-то дерзкое; в ее ленивой позе вы чувствуете что-то хищное; вам кажется, что вот сейчас эта женщина прыгнет, или скользнет, или поползет, как пантера, которая по непонятной причине притаилась и замерла. Она лениво чертит по песку одно только слово: «Изабелла». В нескольких шагах от нее сидит мужчина. Вы видите, что, хотя они уже не связаны дружбой, они все еще неразлучные спутники. Лицо у него темное, бритое, почти непроницаемое, но не совсем. Разговор у них клеится вяло. Мужчина тоже чертит на песке концом своей трости. И

слово, которое он пишет, — «Анчурия». А потом он глядит туда, где Средиземное море сливается с небом, и в глазах у него смертная тоска.

Пустыня и ты

Место действия — окраина богатого имения, где-то в тропиках. Старый индеец — лицо точно из красного дерева — ухаживает за травкой, растущей на могиле у болота. Потом встает и уходит в рощу, где уже сгустились короткие сумерки. На опушке рощи стоят рослый, хорошо сложенный мужчина с добрым, очень почтительным видом и женщина, безмятежно спокойная, с ясным лицом. Когда старый индеец подходит к ним, мужчина дает ему деньги. Хранитель могилы с той наивной гордостью, которая в крови у индейцев, получает свой заработок и удаляется. Мужчина и женщина стоят у опушки, потом поворачиваются и уходят по темнеющей тропинке рядом, рядом, так близко друг к другу, потому что в конце концов разве есть во всем мире что-нибудь лучше, чем маленький круг на экране кино и в нем двое, идущие рядом?

Занавес

Примечания

Заглавие повести «Короли и капуста» восходит к четверостишию английского писателя Льюиса Кэрролла из его сказочно-юмористической книги «Алиса в Зазеркалье» (продолжение известной «Алисы в стране чудес»):

*Не повести ли, Морж сказал,
Нам речь о кораблях,
О сургуче и башимаках,
Капусте, королях?*

В введении «От переводчика» К. И. Чуковский поясняет шуточно-пародийный характер заглавия.

О. Генри написал свою повесть в 1904 г. на основе восьми опубликованных ранее рассказов об американцах в Центральной Америке: «Денежная лихорадка» (1901), «Rouge et Noir» (1901), «Лотос и бутылка» (1902), «Редкостный флаг» (1902), «Лотос и репейник» (1903), «Игра и граммофон» (1903), «Трилистник и пальма» (1903) и «Художники» (1903). Вводя эти рассказы в состав «Королей и капусты», автор как бы «аннулировал» их как самостоятельные произведения и более не перепечатывал.

В ходе работы над повестью место и роль этих рассказов были различными. Самый ранний из них «Денежная лихорадка» (не совпадающий с VII главой повести под тем же названием) дал книге ее общую сюжетную схему и материал для «Присказки плотника» и I, III, IV и XVII глав. Четыре рассказа: «Лотос и бутылка», «Игра и граммофон», «Трилистник и пальма» и «Художники» — вошли в книгу как готовые главы под тем же названием и лишь с незначительными переменами в тексте. «Лотос и репейник» дал основу для V, XII и XIII глав; «Редкостный флаг» — для VIII и IX; «Rouge et Noir» — для XV и XVI; три главы — «Денежная лихорадка», «Остатки кодекса чести» и «Витаграфоскоп» — были написаны специально для повести и завершили ее «монтаж».

Многократно возникающая в «Королях и капусте» тема лотоса и забвения тревог шуточно перелагает древнегреческое сказание о лотофагах («Одиссея», Песнь IX). У Гомера

Одиссей и его спутники попадают в страну мифических лотофагов; кто, поддавшись их уговорам, отведает «сладко-медвяного» лотоса, навсегда забывает о доме. Своих американцев, покинувших родину и ведущих бродяжье полудремотное существование в Анчурии, О. Генри иронически приравнивает к путешественникам в стране лотофагов.

Стихотворные строки, которые О. Генри цитирует в той же связи, — из поэмы английского поэта Альфреда Теннисона «Вкусившие лотос», где разрабатывается этот мотив «Одиссеи».

Четыре миллиона

Линии судьбы

Перевод Н. Дехтеревой

Мы с Тобином как-то надумали прокатиться на Кони-Айленд. Промеж нас завелось четыре доллара, ну а Тобину требовалось развлечься. Кэти Махорнер, его милая из Слайго,²¹ как сквозь землю провалилась с того самого дня три месяца тому назад, когда укатила в Америку с двумя сотнями долларов собственных сбережений и еще с сотней, вырученной за продажу наследственных владений Тобино — отличного домишки в Бок Шоннаух и поросенка. И после того письма, в котором она написала Тобину, что едет к нему, от Кэти Махорнер не было ни слуху ни духу. Тобин и объявления в газеты давал, да без толку, не сыскали девчонку.

Ну и вот мы, я да Тобин, двинули на Кони — может, подумали мы, горки, колесо да еще запах жареных зерен кукурузы малость встряхнут его. Но Тобин парень таковский, расшевелить его нелегко — тоска въелась в его шкуру крепко. Он заскрежетал зубами, как только услышал писк воздушных шариков. Картину в иллюзионе ругательски изругал. И хоть пропустить стаканчик он ни разу не отказался, только предложи, — на Панча и Джуди он и не взглянул. А когда пошли эти, что норовят заснять вашу физию на брошке или медальоне, он полез было съездить им как следует.

Ну, я, значит, отвожу его подальше, веду по дощатой дорожке туда, где аттракционы малость потише. Около палатки чуть побольше пятицентовика Тобин делает стойку, и глаза у него смотрят вроде бы почти по-человечески.

— Здесь, — говорит он, — здесь я буду развлекаться. Пусть гадалка-чародейка из страны Нила исследует мою ладонь, пусть скажет мне, сбудется ли то, чему должно сбыться.

Тобин — парень из тех, кто верит в приметы и неземные явления в земной жизни. Он был напичкан всякими предосудительными убеждениями и суевериями — принимал на веру и черных кошек, и счастливые числа, и газетные предсказания погоды.

Ну, входим мы в этот волшебный курятник — все там устроено как полагается, потаинственному — и красные занавески, и картинки, — руки, на которых линии пересекаются, словно рельсы на узловой станции. Вывеска над входом показывает, что здесь орудует мадам Зозо, египетская хиромантка. Внутри палатки сидела толстуха в красном джемпере, расшитом какими-то закорючками и зверюшками. Тобин выдает ей десять центов и сует свою руку, которая приходится прямой родней копыту ломовой коняги.

Чародейка берет руку Тобино и смотрит, в чем дело: подкова, что ли, отлетела или камень в стрелке завелся.

— Слушай, — говорит эта мадам Зозо, — твоя нога...

— Это не нога, — прерывает ее Тобин. — Может, она и не бог весть какой красы, но это

²¹ Графство на северо-востоке Ирландии.

не нога, это моя рука.

— Твоя нога, — продолжает мадам, — не всегда ступала по гладким дорожкам — так показывают линии судьбы на твоей ладони. И впереди тебя ждет еще много неудач. Холм Венеры — или это просто старая мозоль? — указывает, что твое сердце знало любовь. У тебя были большие неприятности из-за твоей милой.

— Это она намекает насчет Кэти Махорнер, — громко шепчет Тобин в мою сторону.

— Я вижу дальше, — говорит гадалка, — что у тебя много забот и неприятностей от той, которую ты не можешь забыть. Линии судьбы говорят, что в ее имени есть буква «К» и буква «М».

— Ого! — говорит мне Тобин. — Слышал?

— Берегись, — продолжает гадалка, — брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности. Тебя скоро ожидает путешествие по воде и финансовые потери. И еще вижу линию, которая сулит тебе удачу. В твою жизнь войдет один человек, он принесет тебе счастье. Ты узнаешь его по носу — у него нос крючком.

— А его имя на ладони не написано? — спрашивает Тобин. — Неплохо бы знать, как величать этого крючконосого, когда он явится выдавать мне мое счастье.

— Его имя, — говорит гадалка этак задумчиво, — не написано на линиях судьбы, но видно, что оно длинное и в нем есть буква «О». Все, больше сказать нечего. До свиданья. Не загораживайте вход.

— Ну и ну; — говорит Тобин, когда мы шагаем к причалу. — Просто чудеса, как она все это точно знает.

Когда мы протискивались к выходу, какой-то негритос задел Тобина по уху своей сигарой. Вышла неприятность. Тобин начал молотить парня по шее, женщины подняли визг, — ну, я не растерялся, успел оттащить своего дружка подальше, пока полиция не подоспела. Тобин всегда в препаршивом настроении, когда развлекается.

А когда уже обратно ехали, буфетчик на пароходике стал зазывать: «Кому услужить? Кто пива желает?» — и Тобин признался, что да, он желает — желает сдуть пену с кружки их поганого пойла. И полез в карман, но обнаружил, что в толкотне кто-то выгреб у него все оставшиеся монеты. Буфетчик, за недостатком вещественных доказательств, отцепился от Тобина, и мы остались ни с чем, — сидели и слушали, как итальяшки на палубе пиликают на скрипке. Получилось, что Тобин возвращался с Кони еще мрачнее, и горести засели в нем еще крепче, чем до прогулки.

На скамейке у поручней сидела молодая женщина, разодетая так, чтобы кататься в красных автомобилях. И волосы у нее были цвета необкуренной пенковой трубки. Тобин, когда проходил мимо, ненароком зацепил ее малость по ноге, а после выпивки он с дамами всегда вежливый. Он и решил этак с форсом снять шляпу, когда извинялся, да сбил ее с головы, и ветер унес ее за борт.

Тобин вернулся, опять сел на свое место, и я начал присматривать за ним — у парня что-то зачастили неприятности. Когда неудачи вот так наваливались на Тобина, без передышку, он был способен стукнуть первого попавшегося франта или взять на себя командование судном.

И вдруг Тобин хватает меня за руку, сам не свой.

— Слушай, Джон, — говорит он. — Ты знаешь, что мы с тобой делаем? Мы путешествуем по воде!

— Тихо, тихо, — говорю я ему. — Возьми себя в руки. Через десять минут причалим.

— Ты взгляни на ту дамочку, на блондинку, — говорит он. — На ту, что на скамейке, — видишь? А про негритоса ты забыл? А финансовые потери — монеты, которые у меня сперли, один доллар и шестьдесят пять центов? А?

Я подумал, что он просто-напросто подсчитывает свалившиеся на него беды — так иной раз делают, чтобы оправдать свое буйное поведение, и я попытался втолковать ему, что все это, мол, пустяки.

— Послушай, — говорит Тобин, — ты ж ни черта не смыслишь, что такое чудеса и пророчества, на которые способны избранные. Ну вспомни, что сегодня гадалка высмотрела у

меня на руке? Да она всю правду сказала, все получается по ее, прямо у нас на глазах. «Берегись, — сказала она, — брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности». Ты что, забыл про негритоса — хоть я, правда, тоже врезал ему как надо, — а можешь ты найти мне женщину поблондинистей, чем та, из-за которой моя шляпа свалилась в воду? И где один доллар и шестьдесят пять центов, которые были у меня в жилетном кармане, когда мы выбирались из тира?

Так, как Тобин мне все это выложил, вроде бы точь-в-точь сходилось с предсказаниями чародейки, хотя сдается мне, такие мелкие досадные случаи с кем хочешь могут приключиться на Кони, тут и предсказания не требуются.

Тобин встал, обошел всю палубу — идет и во всех пассажиров подряд так и впивается своими красными гляделками. Я спрашиваю, что все это значит. Никогда не знаешь, что у Тобина на уме, пока он не примется выкидывать свои штуки.

— Должен был бы сам смекнуть, — говорит он мне. — Я ищу свое счастье, которое обещали мне линии судьбы на моей ладони. Ищу типа с крючковатым носом, того, который вручит мне мою удачу. Без него нам крышка. Скажи, Джон, видел ты когда-нибудь такое сборище прямоносых горлодеров?

В половине десятого пароход причалил, мы высадились и потопали домой через Двадцать вторую улицу, минуя Бродвей, — Тобин ведь шел без шляпы.

На углу, видим, стоит под газовым фонарем какой-то тип, — стоит и пялит глаза на луну поверх надземки. Долговязый такой, одет прилично, в зубах сигара, и я вдруг вижу, нос у него от переносицы до кончика успеваешь два раза изогнуть, как змея. Тобин тоже это заметил и сразу задышал часто, словно лошадь, когда с нее седло снимают. Он двинул напрямик к этому типу, и я пошел вместе с ним.

— Добрый вечер вам, — говорит Тобин крючконосому.

Тот вынимает сигару изо рта и так же вежливо отвечает Тобину.

— Скажите-ка, как ваше имя? — продолжает Тобин. — Очень оно длинное или нет? Может, долг велит нам познакомиться с вами.

— Меня зовут, — отвечает тип вежливо, — Фриденхаусман. Максимус Г. Фриденхаусман.

— Длина подходящая, — говорит Тобин. — А как оно у вас пишется, есть в нем где-нибудь посерединке буква «О»?

— Нет, — отвечает ему тип.

— А все ж таки, нельзя ли его писать с буквой «О»? — опять спрашивает Тобин с тревогой в голосе.

— Если вам претит иноязычная орфография, — говорит носатый, — можете, пожалуй, вместо «а» сунуть «о» в третий слог моей фамилии.

— Тогда все в порядке, — говорит Тобин. — Перед вами Джон Мэлоун и Дэниел Тобин.

— Весьма польщен, — говорит долговязый и отвешивает поклон. — А теперь, поскольку я не в состоянии понять, с какой стати вы на углу улицы подняли вопрос об орфографии, не объясните ли мне, почему вы на свободе?

— По двум приметам, — это Тобин старается ему втолковать, — которые обе у вас имеются, вы, как напроорочила гадалка по подошве моей руки, должны выдать мне мое счастье и прикончить все те линии неприятностей, начиная с негра и блондинки, которая сидела на пароходу скрестив ноги, и потом еще финансовые потери — один доллар и шестьдесят пять центов. И пока все сошлось, точно по расписанию.

Долговязый перестал курить и глянул на меня.

— Можете вы внести какие-либо поправки к этому заявлению? — спрашивает он. — Или вы из тех же? Судя по вашему виду, я подумал, что вы при нем сторожем.

— Да нет, все так и есть, — говорю я. — Все дело в том, что как одна подкова схожа с другой, так вы точная копия того поставщика удачи, про которого моему другу нагадали по руке. Если же вы не тот, тогда, может, линии на руке у Дэнни как-нибудь нескладно пересеклись, не знаю.

— Значит, вас двое, — говорит крючконосый, поглядывая, нет ли поблизости полисмена. — Было очень-очень приятно с вами познакомиться. Всего хорошего.

И тут он опять сует сигару в рот и движется быстрым аллюром через улицу. Но мы с Тобином не отстаем, — Тобин жметя к нему с одного бока, а я — с другого.

— Как! — говорит долговязый, остановясь на противоположном тротуаре и сдвинув шляпу на затылок. — Вы идете за мной следом? Я же сказал вам, — говорит он очень громко, — я в восторге от знакомства с вами, но теперь не прочь распрощаться. Я спешу к себе домой.

— Спешите, — говорит Тобин, прижимаясь к его рукаву, — спешите к себе домой. А я сяду у вашего порога, подожду, пока вы утром выйдете из дому. Потому как от вас это зависит, вам полагается снять все проклятия — и негритоса, и блондинку, и финансовые потери — один доллар шестьдесят пять центов.

— Станный бред, — обращается ко мне крючконосый, как к более разумному психу. — Не отвести ли вам его куда полагается?

— Послушайте, — говорю я ему. — Дэниел Тобин в полном здравом рассудке. Может, малость растревожился — выпил-то он достаточно, чтоб растревожиться, но недостаточно, чтоб успокоиться. Но ничего худого он не делает, всего-навсего действует согласно своим суевериям и предсказаниям, про которые я вам сейчас разьясню.

И тут я излагаю ему факты насчет гадалки и что перст подозрения указывает на него, как на посланца судьбы, чтобы вручить Тобину удачу.

— Теперь понятно вам, — заключаю я, — какая моя доля во всей этой истории? Я друг моего друга Тобина, как я это разумею. Оно нетрудно быть другом счастливчика, оно выгодно. И другом бедняка быть нетрудно — вас тогда до небес превознесут, еще пропечатают портрет, как вы стоите подле его дома — одной рукой держите за руку сиротку, а в другой у вас совок с углем. Но многое приходится вытерпеть тому, кто дружит с круглым дураком. И вот это-то мне и досталось, — говорю я, — потому как, по моим понятиям, иной судьбы на ладошке не прочтешь, кроме той, какую отпечатала тебе рукоятка кирки. И хоть, может, нос у вас такой крючковатый, какого не сыщешь во всем Нью-Йорке, я что-то не думаю, чтоб всем гадалкам и предсказателям вместе удалось выдоить из вас хоть каплю удачи. Но линии на руке у Дэнни и вправду на вас указывают, и я буду помогать ему вытягивать из вас удачу, пока он не уверится, что ничего из вас не выжмешь.

Тут долговязый начал вдруг смеяться. Привалился к углу дома и знай хохочет. Потом хлопает нас по спине, меня и Тобина, и берет нас обоих под руки.

— Мой, мой промах, — говорит он. — Но смел ли я рассчитывать, что на меня вдруг свалится такое замечательное и чудесное? Я чуть не прозевал, чуть не дал маху. Вот тут рядом есть кафе, — говорит он, — уютно и как раз подходит для того, чтобы поразвлечься чудачествами. Пойдемте туда, разопьем по стаканчику, пока будем обсуждать отсутствие в наличии безусловного.

Так за разговорами он привел нас, меня и Тобина, в заднюю комнату салуна, заказал выпивку и выложил деньги на стол. Он смотрит на меня и на Тобина как на своих родных братьев и угощает нас сигарами.

— Надо вам сказать, — говорит этот посланец судьбы, — что моя профессия называется литературой. Я брожу по ночам, выслеживаю чудачества в людях и истину в небесах. Когда вы подошли ко мне, я наблюдал связь надземной дороги с главным ночным светилом. Быстрое передвижение надземки — это поэзия и искусство. А луна — скучное, безжизненное тело, крутится бессмысленно. Но это мое личное мнение, потому что в литературе все не так, все шиворот-навыворот. Я надеюсь написать книгу, в которой хочу раскрыть то странное, что я подметил в жизни.

— Вы вставите меня в книгу, — говорит Тобин с отвращением. — Вставьте вы меня в свою книгу?

— Нет, — говорит литературный тип, — обложка не выдержит. Пока еще нет, рано. Пока могу только сам насладиться, ибо еще не подоспело время отменить ограничения печати. Вы

будете выглядеть неправдоподобно, фантастично. Я один, наедине с самим собой, должен выпить эту чашу наслаждения. Спасибо вам, ребята, от души вам благодарен.

— От разговора вашего, — говорит Тобин, шумно дыша сквозь усы, и стучает кулаком по столу, — от разговора вашего, того и гляди, терпение мое лопнет. Мне была обещана удача через ваш крючковатый нос, но от него пользы, я вижу, как от козла молока. Вы с вашей трепотней о книгах словно ветер, который в щель дует. Я бы подумал, что ладонь моей руки наврала, если бы все остальное не вышло по гадалке — и негритос, и блондинка, и...

— Ну-ну — говорит этот крюконосый верзила. — Неужели физиогномика способна ввести вас в заблуждение? Мой нос сделает все, что только в его возможностях. Давайте еще раз наполним стаканы, чудачества хорошо держать во влажном состоянии, в сухой моральной атмосфере они могут подвергнуться порче.

На мой взгляд, тип этот поступает по-хорошему — за все платит и весело это делает, с охотой — ведь наши-то капиталы, мои и Тобина, улетучились по пророчеству. Но Тобин, разобиженный, пьет молчком, и глаза у него наливаются кровью.

Вскороги мы вышли, было уже одиннадцать часов, постояли малость на тротуаре. А потом крюконосый говорит, что ему пора домой. И приглашает меня и Тобина к себе. Через пару кварталов мы доходим до боковой улицы, на которой стоят кирпичные дома — у каждого высокое крыльцо и железная решетка. Долговязый подходит к одному такому дому, глядит на окна верхнего этажа, видит, что они темные.

— Вот мое скромное обиталище, — говорит он. — И по некоторым приметам я заключаю, что жена моя уже легла спать. Так что я осмелюсь оказать вам гостеприимство. Мне хочется, чтобы вы зашли вниз на кухню и немного подкрепились. Найдется и отличная холодная курица, и сыр, и пара бутылок пива. Я в долгу перед вами за доставленное удовольствие.

И аппетиты у нас с Тобином, и настроение подходили к такому плану, хотя для Дэнни это был удар: тяжело было ему думать, что несколько стаканов выпивки и холодный ужин означают удачу и счастье, обещанные ладонью его руки.

— Спускайтесь к черному ходу, — говорит крюконосый, — а я войду здесь и впущу вас. Я попрошу нашу новую прислугу сварить вам кофе — для девушки, которая всего три месяца как прибыла в Нью-Йорк, Кэти Махорнер отлично готовит кофе. Заходите, — говорит он, — я сейчас пришлю ее к вам.

Дары волхвов

Перевод Е. Калашиковой

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но, скорее, красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью «М-р Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать

долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократится ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой мебелированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «*M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос*». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие

вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учувший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердись, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам

неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увь! — чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого — Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, куда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

Космополит в кафе

Перевод Л. Каневского

К полуночи кафе было битком набито посетителями. По счастливой случайности мой маленький столик не привлекал внимания входивших, и два свободных стула с продажным гостеприимством протягивали свои руки-подлокотники навстречу вливавшемуся в кафе потоку, где могли найтись их будущие хозяева.

Но вот на один стул сел какой-то космополит, и я ужасно сему обрадовался, потому что

никогда не разделял теории о том, что со времен Адама на земле не было настоящего гражданина мира. Мы только слышим о них, видим иностранные наклейки на их чемоданах, но все равно они никакие не космополиты, а простые путешественники.

Прошу вас обратить внимание на обстановку — столики с мраморными крышками, ряд обтянутых кожей сидений вдоль стены, дамы в красивых полусветских туалетах, почти зримо ощущаемый хор изысканных фраз, о тонком вкусе, об экономике, о богатстве или искусстве, усердные, любящие щедрые чаевые гарсоны, удовлетворяющая любой вкус музыка из наскоков на сочинения различных музыкантов, разговоры, прерываемые смехом, и в придачу «вюрбургер» в высоком коническом стакане, который так и льнет к вашим губам, а выдержанное «черри» течет по наклону к похожему на клюв носу болтливого грабителя. Один скульптор из Мауч Чанка сказал мне, что это — типично парижская атмосфера.

Моего космополита звали Э. Рашмор Коглан, и о нем услышат уже со следующей недели на Кони-Айленде. Там он собирается открыть новый «аттракцион», который, как он пообещал мне, всем доставит развлечение, достойное короля. Теперь его разговор касался земных долгот и широт. Он воображал, что держит в руках весь этот громадный земной шар, и обращался с ним, можно сказать, весьма фамильярно, даже презрительно, хотя он был несколько не больше косточки, выуженной им из «черри Мараскина», или грейпфрута на табльдоте для пансионеров. Он без всякого уважения отзывался об экваторе, перелетал с одного континента на другой, зло высмеивал некоторые места и промокал океан своей салфеткой. Небрежно помахивая рукой, он рассказывал о каком-то базаре в Хайдарабаде.

Ах, как здорово! Вот вы вместе с ним скользите на лыжах в Лапландии. Вжик! Вот вы взмываете на высоких волнах с канаками в Килайкаики. Гопля! Вот он тащит вас за собой на дубовом шесте по болоту в Арканзасе, позволяет вам немного обсохнуть на солончаковой равнине своего ранчо в Айдахо и швыряет вас в изысканное общество венских эрцгерцогов.

Он расскажет вам о том, какой сильный насморк он подхватил на ветру холодного озера в Чикаго, и как его вылечила в Буэнос-Айресе старуха Эскамила горячей припаркой из водоросли чучула. Если захотите ему написать, то пишите на конверте такой адрес: «Э. Рашмор Коглану, эсквайру, Земля, Солнечная система, Вселенная», отправляйте смело его по почте и можете быть спокойным, — оно непременно дойдет до адресата.

Я был уверен, что, наконец, мне удалось найти настоящего космополита со времен Адама, и слушал его обнимающий весь мир спич, опасаясь услышать в нем банальную нотку человека, просто путешествующего по свету. Ничего подобного! Несгибаемую твердость его мнений не могло поколебать даже его желание чему-то польстить или потрафить — нет, он был абсолютно беспристрастным ко всем городам, странам и континентам, таким же беспристрастным, как ветер или земное тяготение.

И когда Э. Рашмор Коглан продолжал увлеченно болтать об этой маленькой планете, я с восхищением думал — о великом почти — космополите, который писал для всего мира и который посвятил себя Бомбею. В своей поэме он утверждает, что между городами на земле царят гордыня и соперничество и что «те люди, что вкусили в них молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья». И когда они «бродят по незнакомым улицам», то вспоминают свой родной город, «хранят ему верность, свою глупую любовь» и лишь «произнесенное его название становится для них еще одним долговым обязательством, присовокупляемым к другим». И восторг мой достиг предела, когда я заметил, что мистер Киплинг отдыхает. Вот передо мной человек, созданный не из праха, который не хвастает своим местом рождения или своей страной словно зашоренный, человек, которому если и придет охота похвастать, будет это делать в отношении всего земного шара, чтобы позлить марсиан или обитателей Луны.

Выражения такого рода вылетали изо рта Э. Рашмор Коглана и долетали до самого дальнего угла. Когда Коглан описывал мне топографию местности вдоль Великой Сибирской магистрали, оркестр заиграл попури. Завершающей частью был диксиленд «Южные штаты»; когда веселая, будоражащая мелодия разносилась по кафе, громкие аплодисменты почти всех сидевших за столами ее заглушали.

Стоит мимоходом заметить, что такие замечательные сцены можно наблюдать каждый вечер в многочисленных кафе Нью-Йорка. Тонны пива и других напитков выпивались под обсуждение теорий, могущих объяснить этот феномен. Некоторые высказали несколько преждевременную догадку, что южане, живущие в городе, спешат в кафе с наступлением вечера. Одобрение аплодисментами мятежной «южной атмосферы в этом северном городе» несколько озадачивает. Но в этом нет ничего таинственного. Война с Испанией, большие урожаи несколько лет подряд мяты и арбузов, несколько блестящих побед, одержанных в Новом Орлеане на скачках, роскошные банкеты, устраиваемые жителями Индианы и Канзаса, входящими в Общество друзей Северной Каролины, действительно превратили юг в помешательство на Манхэттене. Ваш маникюр подскажет ей, что ваш указательный палец на левой руке так напоминает ей одного джентльмена из Ричмонда, штат Виргиния.

Когда оркестр играл «Южные штаты», вдруг из ниоткуда выпрыгнул молодой черноволосый человек и с диким воплем племени мосби лихорадочно замахал своей мягкой шляпой с полями. Потом, продравшись сквозь пелену дыма, он плюхнулся на свободный стул за нашим столиком и достал пачку сигарет.

Вечер подходил к той стадии, когда сдержанность все заметнее тает. Один из нас заказал официанту три «вюрцбургера»; черноволосый выразил признательность за свою долю в заказе улыбкой и кивком головы. Я поспешил задать ему вопрос, так как очень хотел подтвердить правильность своей теории.

— Не скажете ли нам, откуда вы, — начал я.

Тяжелый кулак Э. Рашмор Коглана с грохотом опустился на стол, и я заткнулся.

— Прошу меня простить, — сказал он, — но я не люблю, когда задают подобные вопросы. Какая разница, откуда человек? Разве можно судить о человеке по адресу, написанному на конверте его письма? Я, например, видел кентуккцев, которые терпеть не могли виски, виргинцев, которые никогда не спускались с Покохонтас, индианцев, которые не написали ни одного романа, мексиканцев, которые не носили вельветовых штанов с зашитыми в их швах серебряными долларами, забавных англичан, скупердьяев янки, хладнокровных южан, узколобых западников и нью-йоркцев, которые куда-то очень спешили и не могли позволить себе простоять битый час на улице, чтобы понаблюдать, как однорукий клерк в бакалейной лавке раскладывает клюкву по бумажным пакетам. Пусть человек будет человеком, вот и все, и нечего ставить его в неловкое положение, приклеивать ему какой-то ярлык.

— Прошу меня простить, — сказал я, — но мое любопытство не столь уж пустое. Я знаю Юг, и когда джаз-банд наяривает «Южные штаты», я люблю наблюдать за тем, что происходит вокруг. У меня сложилось твердое впечатление, что если человек изо всех сил бьет в ладоши, приветствуя эту мелодию, и таким образом демонстрирует свою пристрастность, то он либо уроженец Сикокуса, штат Нью-Джерси, или района между Мюррей-хилл-Лайсиэм и Гарлем-ривер в этом городе. Я хотел только подтвердить правильность своего наблюдения, спросив этого джентльмена, когда вы перебили меня своей собственной теорией, гораздо, правда, более обширной, чем моя, должен это признать.

Теперь черноволосый говорил со мной, и мне стало ясно, что мысль его течет по весьма замысловатым извилинам.

— Мне хотелось бы быть барвинком, — с каким-то таинственным видом сказал он, — расти на вершине долины и распевать «ту-ралу-ра-лу...».

Это было весьма туманно, и я вновь обратился к Коглану.

— Я двенадцать раз объехал весь земной шар, — сказал он. — Я знаю одного эскимоса в Апернавиа, который посылает заказы на галстуки в Цинцинатти, я видел скотовода в Уругвае, который выиграл приз в соревновании по угадыванию еды, употребляемой греческим воином за завтраком. Я вношу плату за снимаемые мною комнаты, одну — в Каире, Египет, и другую в Йокогаме, плачу круглый год, а мои шлепанцы дожидаются меня в чайном домике в Шанхае, и мне нет необходимости объяснять в Рио-де-Жанейро или в Сиэтле, как для меня нужно готовить яйца. Наш такой маленький, такой старый мир. Для чего же хвастать

тем, что ты с Севера, или с Юга, из старого особняка в долине, или живешь на Эвклид-авеню, в Кливленде, или на пике горной гряды, или в графстве Фэкс, штат Виргиния, или в Хулигэн-флэтс, в общем, где угодно? Когда же наконец мы бросим эти глупости и не будем сходить с ума из-за какого-то скромного городка или десяти акров заболоченной местности только потому, что нам посчастливилось там родиться?

— Судя по всему, вы обычный космополит, — восхищенно произнес я, — но кажется, вы открыто осуждаете патриотизм.

— Реликвия каменного века, — беззлобно заявил Коглан. — Все мы братья, — китайцы, англичане, зулусы, патагонцы, те люди, которые живут в изгибе реки Кау. В один прекрасный день вся эта гордыня из-за своих городов, штатов, районов, секций или стран будет искоренена, и все мы станем гражданами мира, как это и должно быть.

— Но когда вы скитаетесь по чужим землям, — продолжал я гнуть свое, — не возвращаетесь ли вы в мыслях к какому-нибудь месту, такому дорогому и...

— Какое там место! — резко перебил меня Э. Р. Коглан. — Земная шаровидная планетарная масса, слегка сплюснутая на полюсах, известная под названием Земля, — вот мое пристанище. За границей я встречал много граждан этой страны, сильно привязанных к родным местам. Я слышал, как чикагцы, катаясь в гондоле по ночной Венеции, облитой лунным светом, хвастались своим дренажным каналом. Я видел одного южанина, который, когда его представляли английскому королю, не моргнув глазом сообщил ему такую ценную информацию — мол, его прабабушка по материнской линии являлась по браку родственницей Перкисам из Чарлстона. Я знал одного ньюйоркца, которого афганские бандиты захватили в плен и требовали за него выкуп. Его родственники собрали деньги, и он вернулся в Кабул с агентом. Не расскажете ли об Афганистане? — спросили его дома. — Не знаю, что и рассказывать... и, вместо того, что с ним произошло, он стал рассказывать о каком-то таксисте с Шестой авеню и Бродвея. Нет, такие идеи меня не интересуют. Я не привязан ни к чему, что меньше восьми тысяч миль в диаметре. Называйте меня просто Э. Рашмор Коглан, — гражданин земного шара.

Мой космополит церемонно попрощался со мной, так как ему показалось, что он увидел в этом галдеже через плотную завесу сигаретного дыма своего знакомого. Таким образом, я остался наедине с возможным барвинком, которого стаканчик «вюцбергера» лишил охоты распространяться дальше о своем стремлении уютно торчать на какой-то вершине в долине. Я сидел, размышляя о моем таком убедительном, ярком космополите, и честно удивлялся, как же его просмотрел какой-нибудь поэт.

Он был моим открытием, и я в него верил. Как это? «Те люди, которые вкусили в своих городах молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья». Нет, Э. Р. Коглан не таков. В его распоряжении — весь мир...

Вдруг мои размышления были прерваны каким-то грохотом и скандалом, возникшем в другом углу кафе. Через головы сидевших за столиками я видел, как Э. Рашмор Коглан затеял с незнакомцем ужасную драку. Они дрались, между столами, как титаны, а стаканы падали на пол и громко разбивались, они сшибали с ног мужчин, а те ловили слетавшие с голов шляпы; какая-то брюнетка дико визжала, блондинка стала напевать «Как все это соблазнительно».

Мой космополит отважно отстаивал свою гордыню и репутацию Земли. Официанты пошли знаменитым «клином» на дерущихся и стали их теснить, а те все еще отчаянно сопротивлялись.

Я подозвал Маккарти, одного из французских «гарсонов», и спросил его, какова причина возникшего конфликта.

— Человек с красным галстуком (это был мой космополит) сильно разозлился из-за того, что его собеседник дурно отозвался о бездельниках, шатающихся по тротуарам, и о плохом водоснабжении того города, в котором он родился.

— Не может быть, — удивился я. — Ведь он — завзятый космополит, гражданин мира. Он...

— Он родился в Маттавамкеги, штат Мэн, — продолжал Маккарти, — и не смог вынести оскорбительного для него отзыва о своем родном городе!

В антракте

Перевод Н. Дарузес

Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мэрфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов. Расцветали цветы, и процветали курортные агенты; воздух и судебные приговоры становились мягче; везде играли шарманки, фонтаны и картежники.

Окна пансиона миссис Мэрфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Мак-Каски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Мак-Каски. Мак-Каски явился в девять. На руке у него было пальто, в зубах трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинке невероятных размеров.

Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен: вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре в него полетели только слова.

Мистер Мак-Каски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его супруги.

— Слышала я тебя, — долетели до него суррогаты кухонной посуды. — Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами, а жене ты на шею наступишь и не почешешься, а я-то жду его не дождусь, все глаза проглядела, и ужин остыл, купила какой-никакой на последние деньги, ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлегера, а нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании.

— Женщина, — сказал мистер Мак-Каски, бросая пальто и шляпу на стул, — этот шум портит мне аппетит. Не относись презрительно к вежливости, этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешения пройти между ними. Будет тебе выставлять свое свиное рыло в окно, подавай на стол.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к печке. По некоторым признакам Мак-Каски сообразил, что добра ждать нечего. Когда углы ее губ опускались вниз наподобие барометра, это предвещало град — фаянсовый, эмалированный и чугунный.

— Ах, вот как, свиное рыло? — возразила миссис Мак-Каски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы.

Мак-Каски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Этим он и ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Мак-Каски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей, черной, не лишенной аромата жидкости; этим заканчивалось меню, а следовательно, и битва.

Но Мак-Каски был не какой-нибудь завсегдатай грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе. Это дело нехитрое. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мэрфи их не полагалось, но эквивалент был под руками. Он торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Мак-Каски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь с его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. Но громкий вопль внизу остановил ее и мистера Мак-Каски и заставил их заключить перемирие.

На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту разбиваемой вдребезги домашней утвари.

«Опять это Джон Мак-Каски со своей хозяйкой, — размышлял полисмен. — Пойти, что ли, разнять их. Нет, не пойду. Люди они семейные, развлечений у них мало. Да небось скоро и кончат. Не занимать же для этого тарелки у соседей».

И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг или безысходное горе.

— Кошка, должно, — сказал полисмен Клири и быстро зашагал прочь.

Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис Мэрфи, Майк, пропал неизвестно куда. Вслед за вестником выскочила сама миссис Мэрфи — двухсотфунтовая дама, в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате тридцати фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами? Майор Григ, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук

— Мальчик пропал? — воскликнул он. — Я обыщу весь город.

Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам. Но тут она сказала баритоном:

— Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того каменное сердце.

— Дай мне центов тридцать или, лучше, шестьдесят, милочка, — сказал майор. — Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай.

Старик Денни, жилец с четвертого этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал газету при свете уличного фонаря, перевернул страницу, дочитывая статью о забастовке плотников. Миссис Мэрфи вопила, обращаясь к луне:

— О-о, где мой Майк, ради Господа Бога, где мой сыночек?

— Когда вы его видели последний раз? — спросил старик Денни, косясь одним глазом на заметку о союзе строителей.

— Ох, — стонала миссис Мэрфи, — может, вчера, а может, четыре часа тому назад. Не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек Майк. Нынче утром играл на тротуаре, а может, это было в среду? Столько дела, где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскала, от чердака до погреба, нет как нет, пропал, да и только. О, ради Господа Бога...

Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо, говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди; они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное, сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение было бы здесь более уместно. И все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром того, у кого нет хороших, больших клешней.

Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые.

Майор Григ юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли.

— Налейте-ка мне стопку, — сказал он официанту. — Не видели вы такого кривоногого, чумазого дьяволенка лет шести, он где-то тут заблудился?

На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди.

— Подумать только об этом милом-милом крошке! — говорила мисс Пурди. — Он заблудился, один, без своей мамочки, может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней, ах, какой ужас!

— Да, не правда ли? — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. — Может, мне пойти поискать его?

— Это, конечно, ваш долг, — отвечала мисс Пурди. — Но боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный, вдруг с вами что-нибудь случится, тогда как же...

Старик Денни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам.

На втором этаже мистер и миссис Мак-Каски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Мак-Каски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз, заслезившийся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули головы в окно.

— Маленький Майк пропал, — сказала миссис Мак-Каски, понизив голос, — такой шалун, настоящий ангелочек!

— Мальчишка куда-то девался? — сказал Мак-Каски, высовываясь в окно. — Экое несчастье, прямо беда. Дети другое дело. Вот если б баба пропала, я бы слова не сказал, без них куда спокойней.

Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Мак-Каски схватила мужа за плечо.

— Джон, — сказала она сентиментально, — пропал сыночек миссис Мэрфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться! Шесть годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько же, кабы он родился шесть лет тому назад.

— Да ведь он не родился, — возразил мистер Мак-Каски, строго придерживаясь фактов.

— А если б родился, какое бы у нас было горе нынче вечером, ты подумай: наш маленький Филан неизвестно где, может, заблудился, может, украли.

— Глупости несешь, — ответил Мак-Каски. — Назвали бы его Пат, в честь моего старика в Кэнтриме.

— Врешь! — без гнева сказала миссис Мак-Каски. — Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые Мак-Каски. В честь него мы и назвали бы мальчика. — Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз, на толкотню и суматоху.

— Джон, — сказала миссис Мак-Каски нежно, — прости, я погорячилась.

— Да, — ответил муж, — пудинг был горячий, это верно, а репа еще горячее, а кофе так прямо кипятком. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя.

Миссис Мак-Каски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь.

— Ты послушай, как убивается бедная миссис Мэрфи, — сказала она. — Ведь это просто ужас, такому крошке заблудиться в таком большом городе. Если б это был наш маленький Филан, у меня бы сердце разорвалось.

Мистер Мак-Каски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи.

— Глупость, конечно, — сказал он грубовато, — но я бы и сам убивался, если б нашего... Пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю груб, неласков, Джуди. Ты уж не попомни зла.

Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу.

Долго они сидели так Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу разговором, слухами и неосновательными предположениями. Миссис Мэрфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая, рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибежали и убежали.

Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче.

— Что там такое, Джуди? — спросил мастер Мак-Каски.

— Это голос миссис Мэрфи, — сказала жена, прислушавшись. — Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате, он спал за свертком линолеума.

Мистер Мак-Каски расхохотался.

— Вот тебе твой Филан, — насмешливо воскликнул он. — Пат такой штуки ни за что не отколлот бы. Если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним, пускай назывался бы Филан да валялся бы под кроватью, как паршивый щенок.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к буфету — уголки рта у нее были опущены.

Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Мак-Каски, откуда громче прежнего

слышался грохот тарелок и кастрюль и звон швыряемой в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы.

— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул он. — Джон Мак-Каски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелей его фунтов на сорок. Дай бог ему удачи.

Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Денни сложил газету и скорей заковылял вверх по ступенькам крыльца — как раз вовремя, потому что миссис Мэрфи уже запирала двери на ночь.

На чердаке

Перевод В. Азова

Первым долгом миссис Паркер показала бы вам спальню-гостиную. Вы не осмелились бы при этом прервать описание всех преимуществ этой комнаты и добродетелей господина, занимавшего ее в течение восьми лет. Лишь потом вам удалось бы робко пролепетать, что вы не врач и не дантист. Миссис Паркер так встречала это признание, что после этого вы уже не могли относиться по-прежнему к вашим родителям, не озаботившимся обучить вас профессии, которая подошла бы к спальне-гостиной миссис Паркер.

Затем вы поднялись бы на лестницу и осмотрели бы комнату во втором этаже, выходящую во двор: стоила она восемь долларов. Вполне убедившись, благодаря бельэтажной манере миссис Паркер, что эта комната безусловно стоит тех двенадцати долларов, которые платил за нее мистер Тузенберри, пока он не уехал во Флориду заведовать апельсиновой плантацией своего брата около Пальм-Бич, где, между прочим, всегда проводит зиму миссис Мак-Интайр, занимающая две комнаты на улицу с отдельной ванной, — вполне приняв это во внимание, вы могли бы ухитриться кое-как пробормотать, что вам нужно что-нибудь еще подешевле.

Если бы вам удалось пережить презрительный взгляд миссис Паркер, вас повели бы осмотреть большую комнату мистера Скиддера в третьем этаже. Комната мистера Скиддера не стояла пустая; он целый день сидел в ней, курил папиросы и писал пьесы для театра. Тем не менее всех искателей приюта водили сюда, чтобы они могли полюбоваться на портьеры в этой комнате. После каждого такого посещения мистер Скиддер, от страха пред возможным выселением, оплачивал часть денег вперед.

А затем... ох, затем... Если вы все еще стояли, опираясь всей тяжестью на одну ногу и сжимая горячей рукою три влажных доллара, корезившиеся у вас в кармане брюк, и хриплым голосом заявляли о своей гнусной и преступной несостоятельности, — тогда вы навек лишались миссис Паркер как чичероне. Она громко вопила: «Клара!» — поворачивалась к вам спиной и шествовала вниз. Тогда Клара, темнокожая служанка, сопровождала вас наверх, на покрытый ковром, почти отвесный склон горы, служивший лестницей для четвертого этажа, и показывала вам комнату под крышей. Она занимала посреди горы пространство в восемь футов длиной на семь ширины. По обеим сторонам ее находились темные кладовые или чуланы.

Внутри стояли железная кровать, умывальник и стул. Буфетом служила полка. Четыре голых стены, казалось, давили на вас, точно доски гроба. Вы невольно хватались рукой за горло, судорожно ловили воздух, поднимали глаза вверх и начинали дышать свободнее: сквозь стекла небольшого люка вы могли видеть квадратик, вырезанный в голубой бесконечности.

— Два долла'а, сэ, — говорила Клара своим полупрезрительным голосом.

Однажды появилась в поисках комнаты мисс Лисон. С ней была пишущая машинка, предназначенная для того, чтобы ее таскала особа гораздо более крупных размеров. Мисс Лисон была крошечная, а глаза и волосы у нее продолжали расти после того, как она сама остановилась; они, казалось, все время упрекали ее: «Почему это, скажи на милость, ты от нас

отстала?»

Миссис Паркер показала ей двойную гостиную.

— Вот здесь, в стенном шкафу, можно держать скелет, или анестезирующие средства, или же хранить уголь...

— Но я не врач и не дантистка, — сказала мисс Лисон, и по ней пробежала дрожь.

Миссис Паркер кинула на нее недоверчивый, ледяной взгляд, полный сожаления и усмешки, который она приберегала для лиц, не принадлежащих к врачебной или зубоврачебной профессии, и провела посетительницу в комнату второго этажа, выходящую во двор.

— Восемь долларов? — сказала мисс Лисон. — Ну, я все-таки не так наивна, хотя и выгляжу девчонкой. Я своим трудом хлеб зарабатываю. Покажите мне что-нибудь этажом повыше, а ценой пониже.

Мистер Скиддер, услышав стук в дверь, подпрыгнул и рассыпал окурки по полу.

— Извините меня, — сказала миссис Паркер с дьявольской усмешкой при виде его бледности, — я не знала, что вы дома. Я привела сюда барышню, чтобы она могла взглянуть на ваши портьеры.

— Они прямо прелестны, — сказала мисс Лисон, улыбаясь настоящей ангельской улыбкой.

После ухода посетительниц мистер Скиддер деятельно занялся вычеркиванием роли высокой, черноволосой героини в своей последней, непринятой театром пьесе и заменой этой героини другой — маленькой, лукавой блондинкой с тяжелыми, яркими косами и задорным лицом.

«Анна Хэллод прямо-таки ухватится за эту роль», — сказал сам себе мистер Скиддер, упираясь ногами в портьеру и исчезая в облаке дыма.

Скоро раздавшийся как набат возглас: «Клара!» возвестил миру о состоянии капитала мисс Лисон. Темный дух завладел ею, повел ее по стеноподобной лестнице, впихнул ее в сводчатую темницу и пробормотал грозные каббалистические слова: «Два доллара».

— Я беру ее, — вздохнула мисс Лисон, опускаясь на скрипучую железную кровать.

Мисс Лисон каждый день уходила на работу. Вечером она приносила домой рукописи и переписывала их па машинке. Иногда по вечерам не бывало работы, и тогда она сидела на ступеньках высокого крылечка с другими жильцами.

Если судить по предварительному наброску, сделанному пред ее сотворением, мисс Лисон не была предназначена для жизни под крышей. Она отличалась веселым характером, и голова у нее была полна всяких трогательных причудливых фантазий. Как-то раз она разрешила мистеру Скиддеру прочесть ей три действия из его великой (неизданной) комедии.

Каждый раз, когда мисс Лисон была свободна и могла посидеть часика два на крыльце, среди жильцов мужского пола поднималось ликование. Зато мисс Лонгнекер, высокая блондинка, которая преподавала в школе и отвечала: «Скажите пожалуйста!» — на все, чтобы ей ни говорили, фыркала, сидя на верхней ступеньке. А мисс Дорн, которая каждое воскресенье ездила в Конэй-Айленд стрелять уток в тире, а в остальные дни служила приказчицей в магазине, фыркала, сидя на нижней ступеньке. Мисс Лисон же садилась на среднюю, и мужчины тотчас же собирались вокруг нее.

В особенности мистер Скиддер, который мысленно отвел ей заглавную роль в действительной, весьма романтической (невысказанной) драме из частной жизни. И в особенности мистер Хувер, сорока пяти лет, толстый, краснощекий и глупый. И в особенности совсем юный мистер Ивенс, начинавший раздирающе кашлять, в надежде, что она будет просить его, чтобы он бросил курить. Мужчины единогласно объявили, что она «самая веселая и занятая из всех», но фыркание на верхней и нижней ступеньках неумолимо продолжалось.

Я прошу приостановить действие драмы, пока хор, приблизившись к рампе, оплакивает тучность мистера Хувера. Настройте свирель на грустный лад, который говорил бы о трагедии ожирения, о проклятии полноты, о бедствии, называемом тучностью. Будь Фальстаф не так толст, он, быть может, изливал бы целые тонны романтизма там, где Ромео пробавлялся

жалкими унциями, хотя у него можно было пересчитать все ребра. Влюбленный может вздохнуть, но задыхаться ему не полагается. Толстяк — достояние Момуса. Напрасно бьется горячее сердце над талией в пятьдесят два дюйма. Назад, Хувер! Хувер сорока пяти лет, краснощекий и глупый, имеет шансы покорить самое Елену Прекрасную, но Хувер сорока пяти лет, краснощекий, глупый и толстый, — человек пропащий. Нет, Хувер, тебе не на что надеяться.

Как-то раз в летний вечер, когда жильцы миссис Паркер беседовали таким образом на крыльце, мисс Лисон взглянула на небо и воскликнула своим обычным радостным голосом:

— Смотрите! А вот и «Билли Джексон»! Я его отсюда вижу.

Все начали глядеть вверх, кто на небо, кто на окна небоскребов, кто — отыскивая аэроплан, управляемый упомянутым Вильямом Джексонном.

— Это вон та звездочка, — объяснила мисс Лисон, указывая на нее крошечным пальчиком. — Не та большая, мерцающая, а другая, рядом, которая горит ровным голубым светом. Я вижу ее каждый вечер из моего люка. Я прозвала ее «Билли Джексон».

— Скажите пожалуйста! — воскликнула мисс Лонгнекер. — Я не знала, что вы занимаетесь астрономией, мисс Лисон.

— О да, — ответил маленький звездочет. — Я не хуже любого астронома знаю, какие рукава будут носить будущей осенью на Марсе.

— Скажите пожалуйста! — объявила мисс Лонгнекер. — Звезда, о которой вы говорите, — гамма в созвездии Кассиопея. Это звезда почти второй величины; параллакс ее...

— О! — сказал совсем юный мистер Ивенс. — По-моему, «Билли Джексон» звучит гораздо лучше.

— По-моему тоже, — сказал мистер Хувер, тяжело дыша и как бы кидая вызов мисс Лонгнекер.

— Интересно, падающая ли это звезда или нет и куда она попадет, когда упадет? — заметила мисс Дорн. — А я в воскресенье попала в девять уток и в одного кролика из десяти в тире на Конэй.

— Отсюда «Билли» не так красив, — сказала мисс Лисон. — Вы бы посмотрели на него из моей комнатки. Ведь, вы знаете, можно видеть звезды даже днем, если глядеть из глубокого колодца. А ночью моя комнатка совсем напоминает шахту в угольных коях, и от этого Билли кажется большой бриллиантовой булавкой, которой ночь зашлифовывает свое кимоно.

Вскоре после того настало время, когда мисс Лисон уже больше не приносила домой для переписки внушительных кип бумаг. И по утрам она уходила не на службу, а бродила из конторы в контору, и сердце у нее понемногу падало; оно таяло, точно лед, когда отказы, передаваемые дерзкими мальчишками-рассыльными, словно поливали ее холодной водой. И так продолжалось неизменно.

Настал вечер, когда она устало поднялась по лестнице миссис Паркер; в этот час она обычно возвращалась из ресторана. Но на этот раз она не обедала.

Когда она вошла в переднюю, мистер Хувер встретил ее и ухватился за этот случай. Он просил ее выйти за него замуж, но тучность его при этом нависла над ней, точно лавина. Она сделала шаг в сторону и удержалась за перила лестницы. Он схватил ее за руку, но она замахнулась ею и слабо ударила его по лицу. Ступенька за ступенькой поднималась она, хватаясь за перила. Она прошла мимо двери мистера Скиддера в тот момент, когда он красными чернилами писал ремарку о том, что Мериль Делорм (мисс Лисон), героиня его отвергнутой комедии, должна «протанцевать по всей сцене, от левой стороны до места, где стоит граф». Наконец она взобралась на вершину покрытой коврами горы и открыла дверь комнаты под крышей. У нее не хватило сил зажечь лампу и раздеться. Она упала на железную кровать, и хрупкое тельце ее почти не придавило изношенных пружин. И тут, лежа в этой темной, как шахта, комнате, она медленно подняла отяжелевшие веки и улыбнулась.

Ибо ей светил сквозь люк «Билли Джексон», безмятежный, яркий и верный ей. Окружающий ее мир куда-то исчез. Она утопала в какой-то мрачной пропасти, но у нее остался этот бледно светившийся, маленький квадратик, служивший рамкой для звезды, которую она

в минуту каприза окрестила, — и так неверно. Да, мисс Лонгнекер, без сомнения, права: это гамма из созвездия Кассиопея, а вовсе не «Билли Джексон». И все же она не могла согласиться с тем, что это гамма.

Лежа на спине, она два раза пыталась поднять руку. В третий раз ей удалось поднести к губам два исхудалых пальца и послать воздушный поцелуй «Билли Джексону» из глубины черной пропасти. Затем ее рука безжизненно упала обратно.

— Прощай, «Билли», — еле слышно проговорила она. — Ты отстоишь от меня на миллионы миль, и ты даже не мерцаешь мне. Но ты оставался там, где я могла тебя видеть, почти все время, когда вокруг меня не было ничего, кроме тьмы, не правда ли? Миллионы миль... Прощай, «Билли Джексон».

Утром Клара, темнокожая служанка, нашла дверь запертой; ее взломали. Укус, жженные перья и хлопанье по ладоням не произвели никакого действия, и кто-то побежал вызвать по телефону карету «скорой помощи».

Вскоре она со звоном подкатила к крыльцу, и толковый молодой врач в белом полотняном халате, находчивый, энергичный, уверенный в себе, с гладко выбритым лицом, носившим полудобродушное, полумрачное выражение, вбежал по лестнице.

— Вызов «скорой помощи» в номер 49, — коротко сказал он. — С кем несчастье?

— Ах да, доктор, — фыркнула миссис Паркер, точно самое большое несчастье состояло в том, что несчастье произошло у нее в доме. — Не могу себе представить, что это такое с ней. Как мы ни старались, нам не удалось привести ее в себя. Это молодая барышня, мисс Эльзи... да, мисс Эльзи Лисон. Еще ни разу в моем доме...

— В какой комнате? — ужасным, непривычным для миссис Паркер голосом крикнул доктор.

— Комната под крышей... Она...

Очевидно, врачу «скорой помощи» было хорошо известно, где находятся подобные комнаты. Он летел по лестнице через четыре ступеньки. Миссис Паркер последовала за ним медленным шагом, как того требовало ее достоинство.

На первой площадке она встретила с ним. Он возвращался, неся на руках «астронома». Тут он остановился и дал волю своему острому, как скальпель, языку. Миссис Паркер начала постепенно съеживаться, как платье из твердой материи, соскользнувшее с гвоздика. Так она и осталась на всю жизнь съежившаяся и душой и телом. Иногда любопытные жильцы спрашивали, что ей сказал доктор.

— Не будем об этом говорить, — отвечала она. — Если мне простится то, что я все это выслушала, я буду удовлетворена.

Врач со своей ношей прошел сквозь свору любопытных, собирающихся на месте несчастья, как собаки вокруг затравленного зверя; но даже они, смутившись, отступили на тротуар, ибо у него было лицо человека, держащего в объятиях труп любимого существа.

Они заметили, что он не положил безжизненное тело, которое он нес, на койку, приготовленную внутри кареты, а только оказал кучеру:

— Валяйте, как черт, Вильсон.

Вот и все. Ну, какой же это рассказ? В газетах, вышедших на следующий день, я нашел несколько строк в отделе происшествий, и последние слова, быть может, помогут вам (как они помогли мне) связать все факты вместе.

В газете говорилось о том, что в больницу Бельвию была принята молодая девушка, проживающая в доме номер 49 по Восточной улице и страдавшая от общего истощения, вследствие недостатка питания. Заметка кончалась словами:

«Доктор Вильям Джексон, подавший больной первую помощь, утверждает, что она поправится».

Из любви к искусству

Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая китайская стена.

Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.

Дилия Кэрузер жила на Юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки «на Север» с целью «завершения музыкального образования». Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли... Впрочем, об этом мы и поведем рассказ.

Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и Улонге.²²

Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбили друг друга — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Мистер и миссис Лэрреби сняли квартиру и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепьянной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат: продай имение твое и раздай нищим... а еще лучше — отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством.

Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье — на мыс Горн и выйти через Лабрадор!

Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.

Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда... но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест

²² Улонг — сорт китайского чая.

в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.

Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки; обмен честлюбивыми мечтами — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и — да простят мне непритязательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.

Однако дни шли, и высоко поднятое знамя Искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.

День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.

— Джо, дорогой мой, я получила урок! — торжествующе объявила она. — И, знаешь, такие милые люди! Генерал... генерал А. Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!

Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.

— Тебе легко говорить, Дили, — возразил Джо, вооружась столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я — беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой.

Дилия подошла и повисла у него на шее.

— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним... а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры. И думать не смей бросать мистера Маэстри.

— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. — Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.

— Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке, — сообщил Джо. — А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.

— Непременно купят, — нежно проворковала Дилия. — А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.

Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями.

Искусство — требовательная возлюбленная. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера.

В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости,

торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.

— Клементина удручает меня порой, — сказала она чуть-чуть устало. — Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одинокий, вдовец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые? — спрашивает он всегда. — Идут на лад?»

Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии.

Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один — четыре самые что ни на есть настоящие банкноты — и положил их рядом с заработком своей жены.

— Продад акварель с обелиском одному субъекту из Пеории, — преподнес он ошеломляющее известие.

— Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия. — Не может быть, чтобы из Пеории!

— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину — маслом: вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, неотделимы от Искусства.

— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.

— И филе-миньон с шампиньонами, — добавил Джо. — А ты не знаешь, где вилка для маслин?

В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому, толстый слой масляной краски.

А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.

— Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену.

Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело.

— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски, — сказала она. — Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по-валлийски!

Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни... ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уже не так больно.

— А что это у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.

— Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия. — Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.

— Продад ли я этюд! Спроси об этом нашего друга из Пеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В

котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?

— Часов в пять, должно быть, — жалобно сказала Дилия. — Утюг... то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он...

— Поди-ка сюда, Дили, — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.

— Чем это ты занималась последние две недели? — спросил он.

Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормотала что-то насчет генерала Пинкни... потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.

— Я не могла найти уроков, — призналась Дилия. — И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердись, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеории.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.

— Ну, это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста... нет, поцелуй меня сначала... скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?

— Я и не догадывался... до последней минуты, — сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.

— Так, значит, ты не...

— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой генерал Пинкни, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.

Оба рассмеялись, и Джо начал:

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы...

Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.

— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь...

Дебют Мэгги

Перевод Н. Дехтеревой

Каждый субботний вечер клуб «Трилистник» устраивал танцы в зале спортивного общества «Равные шансы», помещавшегося в Ист-Сайде. Чтобы получить право посещать эти танцы, вам полагалось или состоять членом общества «Равные шансы», или же работать на картонажной фабрике Райнгольда — последнее, разумеется, при условии, что, танцуя вальс, вы не путали, где у вас правая нога и где левая. Впрочем, любой член «Трилистника» пользовался разовой привилегией явиться в сопровождении постороннего — партнера или партнерши. Но в подавляющем большинстве случаев каждый из «трилистников» приводил с картонажной фабрики ту, к которой испытывал особое расположение. Мало кто из чужих мог похвастаться, что он регулярно разминает ноги на субботних встречах «Трилистника».

У Мэгги Тул были тусклые глаза, крупный рот и экстракослапый стиль в тустепе, и потому на танцы она ходила вместе с Анной Мак-Карги и ее «парнем». Анна и Мэгги работали на фабрике бок о бок и были закадычными подругами, поэтому Анна заставляла Джимми Бернса каждую субботу заходить с ней на дом к Мэгги, чтобы та тоже могла побывать с ними на танцах.

Спортивное общество «Равные шансы» оправдывало свое наименование. Его гимнастический зал на Орчард-стрит был оборудован всевозможными снарядами,

способствующими развитию мускулатуры. Члены общества, характер которых сложился при таких обстоятельствах, были склонны к бодрым физическим соревнованиям с полицией и с различными спортивными и неспортивными соперничающими организациями. Субботний бал, прерывающий эти серьезные занятия, одновременно оказывал облагораживающее влияние и служил надежной ширмой. Ибо время от времени проползал слушок, и если вы принадлежали к числу избранных, вы на цыпочках поднимались по неосвещенной лестнице черного хода и могли присутствовать при самой безукоризненной встрече борцов полусреднего веса, какая когда-либо происходила за канатами арены.

По субботам картонажная фабрика Райнгольда заканчивала работу в три часа. В один из таких дней Анна и Мэгги вместе возвращались домой. У дверей дома, где жила Мэгги, Анна сказала, как всегда:

— Ровно к семи будь готова, Мэгги, мы с Джимми зайдем за тобой.

Но что это? Вместо того чтобы, как обычно, услышать от неудачливой подруги униженные изъявления благодарности, Анна увидела высоко вздернутую голову, горделивые ямочки в уголках широкого рта и подобие блеска в тусклых карих глазах.

— Спасибо, Анна, — сказала Мэгги, — но сегодня вам с Джимми незачем беспокоиться. За мной пойдет один знакомый.

Милостивая Анна кинулась к подруге, принялась тормошить, упрекать и умолять ее. Мэгги Тул подцепила парня! Славная, преданная, неприметная дурнушка Мэгги — добрая товарка, но такая непривлекательная в качестве партнерши в танцах или на залитой луной скамейке в маленьком парке! Как это так? Когда это случилось? Кто он?

— Сегодня вечером увидишь, — сказала Мэгги, зардевшись от вина из первых гроздей, собранных в винограднике Купидона. — Шикарный что надо. На два дюйма выше Джимми, и модный дальше некуда. Я познакомлю вас с ним, как только войдем в зал.

Анна и Джимми в тот вечер прибыли одними из первых. Анна не отрывала жадных глаз от входа в зал, чтобы поскорее увидеть, что уловила Мэгги в свои сети.

В половине девятого мисс Тул вступила в зал в сопровождении своего кавалера. Ее торжествующий взгляд мгновенно обнаружил подругу под крылышком верного Джимми.

— Ого! Вот это да! — воскликнула Анна. — Вот это называется оторвала! Шикарный, а? Вот это я понимаю! Ничего себе! Ты только взгляни, Джимми!

— Давай, давай, не стесняйся, — проговорил Джимми голосом с наждачным оттенком. — Иди, лови его, коли так нравится. Придет новый тип, фасонит и уже «ах, ах!». Можешь не обращать на меня внимания. Небось не все до одной на него клонут. Подумаешь!

— А, заткнись, Джимми! Ты же понимаешь, о чем я говорю. Я рада за Мэгги. Ведь это у нее первый в жизни парень. Вот они идут сюда!

Мэгги двигалась через зал, словно кокетливая яхта, конвоируемая величественным крейсером. В самом деле, ее кавалер заслуживал панегирика верной Анны. На два дюйма выше среднего атлета из «Равных шансов»; темные вьющиеся волосы; глаза и зубы сверкают при каждой то и дело мелькающей улыбке. Молодые люди из клуба «Трилистник» ценили в мужчине не столько внешнюю привлекательность и изысканные манеры, сколько отвагу, успешность в решении конфликтов «вручную» и умение уклоняться от постоянно угрожавшей им «казенной квартиры». Член этого общества, желающий привязать к своей победной колеснице деву с картонажной фабрики, не унижался до того, чтобы стараться выиграть сражение методами Красавца Бруммея.²³

Подобные приемы в военных действиях почитались недостойными. Железные бицепсы, еле стягиваемый пуговицами пиджак на широкой груди, в глазах выражение полной убежденности в том, что представитель мужской половины рода человеческого есть вершина мироздания, — таково было узаконенное оружие и снаряжение рыцарей из «Трилистника».

²³ Щеголь, денди — от имени знаменитого законодателя мод Джорджа Бруммея (1778–1840), англичанина, друга Георга IV.

Даже ноги, выгнутые дугой, не только не смущали их обладателей, но как бы входили в арсенал дополнительным оружием, напоминающим то, которым пользуется Купидон. И потому атлеты-ветераны клуба поглядывали на изящные позы и поклоны случайного посетителя, выставив подбородки под новым углом.

— Мой друг, мистер Терри О'Салливен, — так представляла его Мэгги. Она обвела его вокруг всего зала, знакомя с каждым «трилистником» по мере их появления. Она стала почти хорошенькой, в глазах ее появился тот особый блеск, какой бывает у всякой девушки, заполучившей своего первого поклонника, или у котенка, поймавшего свою первую мышь.

— Ну, наконец-то Мэгги нашла себе парня, — все как одна высказались девушки с картонажной фабрики.

— Мэгги Тул приманила шаркуна, — в такой форме спортсмены общества «Равные шансы» выразили свое равнодушное презрение.

Обычно на этих еженедельных танцульках Мэгги весь вечер согревала спиной кусок стены. Если иной раз кто-нибудь из чувства самопожертвования и приглашал ее на танец, она испытывала и выражала вслух столько благодарности, что в значительной степени умаляла и обесценивала его удовольствие. Она даже привыкла замечать, как Анна толкает Джимми локтем, подавая ему знак, что он должен выполнить свою повинность — пригласить ее подругу и дать ей возможность на протяжении нескольких минут наступать ему на ноги.

Но в этот вечер тыква превратилась в карету с шестеркой коней. Терри О'Салливен стал победителем принцем, и Мэгги Тул распустила крылышки для своего первого полета бабочки. И хотя в наших метафорах волшебные сказки несколько перепутались с энтомологией, они не убавляют ни единой капли амброзии с увенчанного розами первого чудесного бала Мэгги.

Девушки осаждали Мэгги, прося познакомиться с «ее парнем». Молодые люди из «Трилистника», после двух лет слепоты, вдруг прозрели и заметили, что мисс Тул не лишена обаяния. Они пружинили бицепсы и приглашали ее танцевать.

Так Мэгги взяла реванш за прежнее. А что до Терри О'Салливена, то его успех на вечере был выше всякой меры. Он встряхивал кудрями, дарил улыбки и с легкостью проделывал все те семь телодвижений, на которые вы ежедневно тратите десять минут у себя в комнате перед открытым окном для приобретения гибкости и изящества. Он танцевал, как фавн. Он создавал вокруг себя атмосферу любезности и тонкого обращения: слова свободно слетали с его языка и... и он два раза подряд протанцевал вальс с той картонажной девушкой, которую привел Демпси Донован.

Демпси был главарем общества. Он носил фрак и мог дважды подтянуться на перекладине, держась одной рукой. Он был одним из подручных «Большого Майка» О'Салливена, и тревоги его не тревожили: ни один фараон не осмелился бы арестовать его. Если Демпси случалось пробить голову уличному торговцу или всадить пулю в коленную чашку члена Клуба любителей природы и литературы имени Хайнрика Б. Суини, кто-нибудь из полицейского участка заходил к нему мимоходом и говорил:

— Загляни к нам как-нибудь, Демпси, когда найдешь время. Капитан хочет перекинуться с тобой парой слов.

Но обычно оказывалось, что там собрались какие-то джентльмены с широкими золотыми цепочками для часов на животе и с черными сигарами. Кто-нибудь рассказывал забавный анекдот, и после этого Демпси возвращался к себе и полчаса работал с шестифунтовыми гантелями. Поэтому прогулку по канату, натянутому через Ниагару, можно считать безопасным балетным номером по сравнению с тем, чтобы дважды провальсировать с девушкой Демпси Донована. В десять часов у входа в зал показалась веселая круглая физиономия «Большого Майка» О'Салливена и в течение пяти минут озаряла улыбкой бальный зал. «Большой Майк» всегда заглядывал на пять минут на эти субботние танцульки, улыбался девушкам и раздавал настоящие перфекто²⁴ молодым людям, к большому

²⁴ Сорт дорогих сигар.

удовольствию последних.

Демпси Донован мгновенно оказался с ним рядом и что-то быстро проговорил. «Большой Майк» внимательно оглядел танцующих, улыбнулся, покачал головой и отбыл.

Музыка смолкла. Танцоры расселись на стульях вдоль стен. Терри О'Салливен, отвесив артистический поклон, вернул хорошенькую девушку в голубом ее обычному партнеру и направился на поиски Мэгги. Посреди зала Демпси Донован преградил ему путь.

Некий тонкий инстинкт, унаследованный нами, вероятно, от времен Древнего Рима, заставил почти всех присутствующих обернуться и взглянуть на них — у всех возникло ощущение, что это встреча двух гладиаторов на арене. Двое или трое из «Равных шансов» с бицепсами, плотно заполняющими рукава пиджака, подошли ближе.

— Минутку, мистер О'Салливен, — проговорил Демпси. — Надеюсь, вам у нас понравилось. Где, вы сказали, вы живете?

Оба гладиатора были один другому под стать. Демпси, возможно, не мешало бы сбросить фунтов десять веса. О'Салливен отличался некоторой несдержанностью движений. У Демпси был ледяной взгляд, властная линия рта, несокрушимые челюсти, цвет лица юной красотки и хладнокровие чемпиона. Гость более пылко выражал свое презрение и меньше сдерживал язвительную насмешку. Они были врагами согласно закону, написанному уже в ту пору, когда еще не остыли камни. Оба были слишком великолепны, слишком мощны, слишком несравненны, чтобы делить главенство. Лишь один из них мог выжить.

— Я живу на Гранд-стрит, — сказал О'Салливен вызывающим тоном. — И застать меня дома нетрудно. А вот где вы живете?

Демпси как будто не слышал вопроса.

— Так вы говорите, вас зовут О'Салливен, — продолжал он. — А вот «Большой Майк» сказал, что никогда вас прежде не видел.

— Он много чего не видел, — ответил фаворит бального зала.

— Вообще-то говоря, — продолжал Демпси любезным, но несколько хриплым голосом, — в нашем районе все О'Саллиvenes друг друга знают. Вы пришли с одной из наших дам, членом нашего клуба, и нам бы хотелось быть в курсе дела. Если у вас имеется фамильное древо, дайте нам возможность познакомиться с какими-нибудь выросшими на нем историческими отростками. Или вы предпочитаете, чтобы мы это древо вырвали из вас с корнем?

— А не лучше ли вам не совать нос, куда не следует? — предложил О'Салливен невозмутимо.

Глаза Демпси оживились. Он поднял указательный палец, и на лице у него появилось такое выражение, будто его осенила блестящая мысль.

— Понял, — проговорил он сердечным тоном. — Понял. Произошло небольшое недоразумение. Вы не О'Салливен. Вы цепкохвостая обезьяна. Прошу прощения, что не узнал вас сразу.

Глаза О'Салливена сверкнули. Он сделал быстрое движение, но Энди Гоуген был начеку и успел схватить его за руку.

Демпси кивнул Энди и Уильяму Мак-Мохэну, секретарю клуба, и быстро зашагал к двери в конце зала. Еще двое спортсменов из общества «Равные шансы» мгновенно присоединились к небольшой группе. Терри О'Салливен был теперь в руках Совета клуба и Общественных судей. Они поговорили с ним мягко и кратко и вывели его из зала через заднюю дверь.

Этот маневр со стороны членов общества нуждается в некотором пояснении. За просторным танцевальным залом находилась комната поменьше, также арендуемая клубом. В этом помещении все персональные конфликты, возникающие на балах, разрешались один на один с помощью оружия, дарованного человеку самой природой, и под наблюдением Совета общества. Ни одна представительница прекрасного пола не могла бы сказать, что когда-либо своими глазами видела рукопашную схватку во время бала «трилистников». Мужские представители клуба не допускали этого.

Так легко и гладко прошли предварительные переговоры, что многие в зале и не заметили, как прервался бальный триумф О'Салливена. Среди таких была Мэгги. Она ходила и искала своего провожатого.

— Проснись! — сказала ей Роза Кассиди. — Ты что, не знаешь? Демпси Донован схлестнулся с твоим красавчиком, и они все провальсировали на бойню. Скажи, Мэгги, как тебе нравится моя новая прическа?

Мэгги прижала руку к груди своей маркизетовой блузки.

— Он пошел драться с Демпси! — еле выговорила она. — Надо их остановить! Демпси Донован не может с ним драться. Да ведь... да ведь он его убьет!

— А-а, что тебе за дело? — сказала Роза. — Они на каждой танцульке дерутся, не знаешь, что ли?

Но Мэгги уже бежала, с трудом пробираясь в лабиринте танцующих. Она стремглав ворвалась через дверь в конце зала в темный коридор и налегла крепким плечом на дверь комнаты, служившей ареной поединков. Дверь поддалась, и в одно мгновение Мэгги увидела все — Совет клуба с часами в руках, Демпси Донована без пиджака, с воинственной грацией современного боксера, приплясывающего почти перед носом противника, и Терри О'Салливена, который стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью в темных глазах. Мэгги, не сбавляя скорости, бросилась вперед с громким криком — она как раз успела схватить О'Салливена за руку, повиснуть на ней и вырвать из нее длинный блестящий стилет, который он выхватил из-за пазухи.

Нож со звоном упал на пол. Холодная сталь в помещении клуба «Равные шансы»! Такого еще ни разу не случалось. С минуту все стояли, застыв на месте. Потом Энди Гоуген с любопытством взглянул на стилет и двинул его носком ботинка — словно археолог, столкнувшийся с древним, еще неведомым ему оружием.

И тогда О'Салливен прошипел сквозь зубы что-то невразумительное. Демпси и члены Совета обменялись взглядами. Затем Демпси взглянул на О'Салливена без гнева, как смотрят на приبلудную собаку, и кивком головы указал ему на дверь.

— С черного хода, Джузеппе, — сказал он отрывисто. — Кто-нибудь швырнет тебе вслед твою шляпу.

Мэгги подошла к Демпси Доновану. На щеках ее горели алые пятна и по ним медленно текли слезы. Но она мужественно взглянула ему в лицо,

— Я знала это, Демпси, — сказала она, и глаза ее потускнели даже в потоках слез. — Я знала, что он итальяшка. Его зовут Тони Спинелли. Я прибежала сюда, когда мне сказали, что у вас драка. Такие, как он, всегда носят ножи. Но ты не понимаешь, Демпси: у меня еще никогда не было парня и мне так надоело каждую субботу таскаться вместе с Анной и Джимми, и я уговорила с этим Спинелли, чтобы он назвался О'Салливином, и сама привела его сюда. Его ведь к нам не пустили бы, если бы знали, кто он такой. Мне придется выйти из клуба, я понимаю.

Демпси повернулся к Энди Гоуэну.

— Выбрось эту пилу для сыра в окно, — проговорил он. — И скажи там в зале, что мистера О'Салливена вызвали по телефону в Тэмени-холл.²⁵

Потом он снова повернулся к Мэгги.

— Послушай, Мэг, — сказал он, — я провожу тебя домой. И как насчет следующей субботы? Хочешь пойти со мной на танцы, если я найду за тобой?

Поразительно, с какой быстротой карие глаза Мэгги из тусклых становились блестящими.

— С тобой, Демпси? — сказала она, запинаясь. — Ты еще спроси — хочет ли утка плавать?

²⁵ Тэмени-хол — штаб демократической партии в Нью-Йорке.

Прожигатель жизни

Перевод Л. Каневского

Мне хотелось узнать пару-тройку вещей. Не люблю тайн. Посему я начал расследование.

Две недели ушло у меня на исследование того, что женщины носят в своих небольших плоских чемоданчиках. Потом меня занимало, почему матрац состоит из двух частей. Вначале мое такое серьезное расследование столкнулось с подозрением, потому что оно казалось всем головоломкой. В конце концов мне стало ясно, что такая двойная конструкция преследовала цель облегчить труд женщины, которая стелет постель. Я имел достаточно глупости, чтобы продолжать, и спрашивал у всех, почему в таком случае они не делаются с двумя одинаковыми частями, но все от меня испуганно сторонились.

Третьей вещью, которую я жаждал получить из фонтана знаний, было стремление непременно стать просвещенным по поводу такого человека, которого мы называем *Прожигателем жизни*. Мои представления о таком типе были крайне расплывчатыми, чего никак нельзя было допустить. Мы всегда должны иметь конкретное представление о чем бы то ни было, даже если речь идет о воображаемой идее, иначе всего этого не понять. Теперь у меня есть воображаемый портрет Джона Доу, такой четкий и ясный, словно он гравирован на стальном листе. У него близорукие голубые глаза, он носит коричневую жилетку и блестящий черный сюртук из саржи. Он всегда стоит на солнцепеке и непременно что-то жует, его карманный нож полураскрыт, и он постоянно трогает его лезвие большим пальцем. Ну а что касается *Человека наверху*, то если его найдут, то можете мне поверить — это будет крупный, бледный мужчина с голубыми прожилками на запястьях под белыми манжетами, он будет чистить свои ботинки на улице, куда долетают звуки игры в шары, и в его облике будет что-то изумрудное.

Но воображение мое, когда нужно было описать портрет *Прожигателя жизни*, оказалось чрезвычайно скудным. Я представил себе, что у него презрительный смешок (как улыбка Чеширского кота) и пристегнутые манжеты, и это все.

После этого я спросил об этом одного газетчика, репортера.

— Ну, — начал он свое объяснение, — *Прожигатель жизни* — это нечто среднее между бездельником и завсегдатаем клуба. Это, правда, не совсем точно, но он похож на того, кого приглашает на приемы миссис Фиш и кто следит за частными боксерскими поединками. Он, конечно, не принадлежит к клубу «Лотос» или Ассоциации Джерри Мак-Джорджана, учеников сталелитейщиков, выпускающих оцинкованную сталь, и любителей похлебки из моллюсков. Не знаю, право, как поточнее вам его описать. Вы увидите его повсюду, там, где что-то происходит. Да, я думаю, — это настоящий тип. Модно одевается по вечерам; знает каждого полицейского или официанта в городе по имени. Нет, он никогда не путешествует с крашенными перекисью водорода блондинками. Он всегда либо один, либо в компании с настоящим человеком.

На этом репортер оставил меня, и я стал сам углубляться в тему. К этому времени все три тысячи сто двадцать шесть электрических лампочек зажглись в Риальто. Мимо шли люди, но они меня не интересовали. Куртизанки жгли меня своими глазами, но ожогов на мне не оставалось. Мимо шли любители поесть, пешеходы, продавщицы, доверенные лица, попрошайки, актеры, дорожные работники, миллионеры, иностранцы — все они скользили, подпрыгивали, крались, шли вразвалочку, — но я их не замечал. Я их всех знал, я читал в их сердцах, они уже мне отслужили. Мне нужен был теперь *Прожигатель жизни*. Он был настоящим типом, и отказаться от него было бы ошибкой, даже типографской! — так что нет! Будем продолжать.

Ну, что же, если продолжать, то с отступления нравственного порядка. В самый раз понаблюдать за семьей, читающей воскресную газету. Ненужные страницы уже отброшены. Папа с важным видом пристально разглядывает фотографию молодой девушки, которая

занимается физическими упражнениями перед распахнутым настежь окном, она совершает опасные наклоны, но будет, будет! Мама старается найти недостающие буквы в слове — Н-ю Йо-к. Старшие девочки жадно изучают финансовые сообщения, так как какой-то молодой человек сказал, что в прошлое воскресенье он совершил умопомрачительную биржевую аферу. Вилли, восемнадцатилетний сынок, который посещает Нью-Йоркскую публичную школу, погружен в еженедельно появляющуюся статью о том, что можно сделать со старой рубашкой, так как надеется получить приз в соревновании по шитью в день их выпуска.

Бабушка уже два часа штудирует юмористическое приложение. А маленькая Тотти, совсем еще младенец, ловко ползает по страницам, где указаны сделки с недвижимостью.

Такая картина весьма приятна, и она призывает меня скостить несколько строк в рассказе. Иначе пришлось бы говорить о горячительных напитках.

Я пошел в кафе и, пока мне смешивали мою выпивку, спросил у человека, хватающего еще теплый мой стакан после того, как я его выпиваю и ставлю на стойку, что он понимает под термином, эпитетом, описанием или характеристикой того, что называется *Прожигатель жизни* ?

— Ну, — осторожно начал он, — это такой парень, который любит принимать участие в ночных тусовках, понимаете, это — увлекательный спорт, и тут не до тормозов — вот что это значит, как я думаю.

Я поблагодарил его и пошел прочь.

На тротуаре девушка из Армии Спасения побренчала своей коробкой для сбора подаяний возле моего кармана.

— Не могли бы вы мне сказать, — обратился я к ней, — приходилось ли вам когда-нибудь встречать такого человека, которого обычно называют *Прожигателем жизни* , во время своих ежедневных прогулок?

— Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду, — ответила она с милой улыбкой. — Мы их постоянно видим в одних и тех же местах по ночам. Они — пособники дьявола, и если бы солдаты любой армии хранили бы такую же верность присяге, как они ему, то их командиры были бы этим весьма довольны. Мы общаемся с ними, пытаемся выжать несколько пенни из этих исчадий во имя служения Господу.

Она снова забренчала железной коробкой, и я бросил в щель дайм.

Перед сияющим огнями отелем я увидел своего приятеля, литературного критика, который вылезал из экипажа. Казалось, он никуда не спешил, и я обратился к нему с тем же вопросом. Он мне искренне ответил, на что я и рассчитывал.

— Здесь, в Нью-Йорке, существует такой тип — *Прожигатель жизни* , — сказал он. — Этот термин мне хорошо знаком, но, по-моему, еще никто прежде не просил меня описать такого человека. Я сказал бы, недолго думая, что это такой человек, который безнадежно болен весьма распространенной у нас в Нью-Йорке болезнью — желанием все видеть и все знать. Он строго соблюдает все условности в одежде и в манерах, а в искусстве совать свой нос туда, куда его не просят, он может любому дать сто очков вперед: любопытной кошке, циветте или галке. Это человек, прогнавший всю богему из винных погребков на крышу сада и с Хестер-стрит в Гарлем, таким образом в городе не осталось ни одного места, где они режут спагетти ножом. Все это сделал ваш *Прожигатель жизни* . Он всегда идет по следу чего-то нового. Он — воплощение любопытства, неблагоразумия, вездесущности. Для него были изобретены двухколесные экипажи, сигары с золотым ободком, а также музыка за обедом. Таких, как он, немного, и, хотя их — меньшинство, они все же заметны.

Я очень рад, что вы затронули эту тему, я чувствовал то влияние, которое оказывает эта ночная болезнь на наш город, но я никогда прежде этого не анализировал. Теперь я осознаю, что вашего *Прожигателя жизни* нужно было квалифицировать давным-давно. За ним всегда увязываются агенты по продаже вина и модели, рекламирующие одежду, а оркестр исполняет для него «Давайте отправимся все выше и выше!», а не Генделя. Он совершает свои обходы каждый вечер, а мы с вами его не замечаем, как слона в зоопарке. Когда грабят сигаретный киоск, он лишь с чувством собственного достоинства подмигивает полицейскому офицеру и

спокойно уходит, свободный от всяких подозрений, а мы с вами роемся в записных книжках, ищем имена президентов или звезд, чтобы их сержант записал как тех, кто за нас поручится.

Мой друг, литературный критик, немного помолчал, чтобы скопить энергии для нового приступа красноречия. Я тут же воспользовался моментом.

— Вы верно его квалифицировали, — радостно воскликнул я. — Вы удачно нарисовали его портрет в галерее городских типов. Но мне нужно с таким встретиться лицом к лицу. Я должен изучить Прожигателя жизни, основываясь на сведениях из первых рук. Где я могу найти его? Как я его узнаю?

Но критик, видимо, меня не слышал, так как продолжал. А извозчик терпеливо ждал, когда он заплатит за проезд.

— Это — сублимация бесцеремонного вмешательства в разговор, это — экстракт резиновой липучки высшей пробы это — сконцентрированный, очищенный, непреодолимый, неизбежный дух Любопытства и Пытливой любознательности. Он дышит новой сенсацией. А когда его опыт истощается, принимается за исследование новых областей с такой неутомимостью, что...

— Простите меня, — перебил я его, — не могли бы вы представить мне такого типа? Это совершенно нечто новое для меня. Мне нужно его изучить. И я обыщу весь город, пока не найду его. Вероятно, его обиталище где-то здесь, на Бродвее.

— Я собираюсь здесь пообедать, — сказал мой друг. — Пойдемте со мной, и если там окажется *Прожигатель жизни*, я незаметно укажу вам его. Я знаю там почти всех завсегдаев.

— Я тоже еще не обедал, но вы, надеюсь меня простите. Я с вами не пойду. Не хочу зря терять времени. Ибо я намерен сегодня же вечером найти *Прожигателя жизни*, даже если бы мне для этого пришлось прочесать весь Нью-Йорк от Бэттери до Кони-Айленда.

Я зашагал прочь от отеля по Бродвею. Мое расследование, связанное с этим типом, придавало вкус жизни, и я с особым удовольствием втягивал в ноздри воздух. Мне было так радостно находиться в этом громадном городе, таком сложном, таком различном. Не торопясь, с несколько напыщенным видом, я шел вперед, и сердце мое сильно колотилось в груди от сознания, что я — гражданин «великого Готхэма», как в шутку называют все Нью-Йорк, что я разделяю вместе с ним его великолепие, все его удовольствия, его славу и престиж.

Я решил перейти через улицу. Вдруг я услышал жужжание, словно летала пчела, потом я совершил долгую приятную прогулку на автомобиле. Когда я открыл глаза, то, вспомнив запах бензина, громко произнес:

— Разве все еще не кончилось?

Больничная нянечка положила свою удивительно мягкую руку мне на горячий лоб. Пришел моложавый доктор, он, широко улыбнувшись, передал мне утреннюю газету.

— Хотите узнать, что случилось? — весело спросил он.

И я прочитал статью. После заголовка шли строчки, в которых рассказывалось о том, что приключилось со мной после того момента, когда я накануне вечером услышал пчелиное жужжание.

А статейка заканчивалась такими строками: «В больнице Бельвю утверждают, что полученные пациентом повреждения не очень серьезные. На вид этот человек — типичный *Прожигатель жизни*».

Фараон и хорал

Перевод А. Горлина

Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сопи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на

носу.

Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы «Под открытым небом», чтобы постояльцы ее приготовились.

Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заерзал на своей скамейке.

Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательств Борея и фараонов — для Сопи это был поистине предел желаний.

Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило.

Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени, — не защитили его от холода: он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что Остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Сопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена.

Решив, таким образом, отбыть на зимний сезон на Остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегла через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя неплатежеспособным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело.

Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма.

Сопи верил в себя — от нижней пуговицы жилета и выше. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в День Благодарения²⁶ дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопи, и к ней бутылка шабли. Затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище.

Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же

²⁶ День Благодарения (последний четверг ноября) — американский праздник, введенный ранними колонистами Новой Англии в ознаменование первого урожая, собранного в Новом Свете.

приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив, таким образом, утку от уготованной ей печальной судьбы.

Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на Остров не будет усеян розами. Что делать! Надо придумать другой способ проникнуть в рай.

На углу Шестой авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил бульжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ, впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам.

— Кто это сделал? — живо осведомился полисмен.

— А вы не думаете, что тут замешан я? — спросил Сопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу.

Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартила человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше... Вторая неудача.

На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы — жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и проглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Сопи, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего.

— Ну а теперь, — сказал Сопи, — живее! Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь: не заставляйте джентльмена ждать.

— Обойдешься без фараонов! — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. — Эй, Кон, подсоби!

Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров — далеким миражем. Полисмен, стоявший за два дома, у аптеки, засмеялся и пошел дальше.

Пять кварталов миновал Сопи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытаться счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы, а в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен.

Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на уютном острове будет ему обеспечена.

Сопи поправил галстук — подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крикнул, улыбнулся, откашлялся, словом — нагло пустил в ход все классические приемы уличного пристава. Уголкем глаза Сопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал:

— Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся?

Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.

— С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пивком угостишь? Я бы и раньше

с тобой заговорила, да фараон подсматривает.

Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, Сопи был осужден наслаждаться свободой.

На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился наутек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку «хулиганства в публичном месте».

Во всю мочь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся — всяческими способами возмущал спокойствие.

Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему:

— Это йельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.

Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на Острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок: ветер пронизывал его насквозь.

В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним.

— Это мой зонтик, — сказал он строго.

— Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорбление. — Почему же вы не позовете полисмена? Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона! Вот он стоит на углу.

Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.

— Разумеется, — сказал человек с сигарой, — конечно... вы... словом, бывают такие ошибки... я... если это ваш зонтик... надеюсь, вы извините меня... я захватил его сегодня утром в ресторане... если вы признали его за свой... что же... я надеюсь, вы...

— Конечно, это мой зонтик, — сердито сказал Сопи.

Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном мантио: нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай.

Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого Папу Римского.

Наконец Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке.

Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки.

Взошла луна, безмятежная, светлая; экипажей и прохожих было немного; под карнизами сонно чирикали воробьи — можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы,

друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички.

Под влиянием музыки, лившейся из старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь.

И сердце его забилося в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он...

Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.

— Ничего, — ответил Сопи.

— Тогда пойдем, — сказал полисмен.

— На Остров, три месяца, — постановил на следующее утро судья.

Гармония в природе

Перевод Н. Дехтеревой

На днях я побывал на выставке и увидел там картину, проданную за пять тысяч долларов. У Крафта, ее создателя — юнца, прибывшего с Запада — было одно любимое кушанье и одна излюбленная теория. Его хлебом насущным была несокрушимая вера в Безупречную Гармонию в Природе. Свои теоретические рассуждения он строил вокруг рубленой солонины с яйцом-пашот. У картины имелась предыстория — вернувшись домой, я вытряхнул ее из своей авторучки. Только подумать, что Крафт...

Но не это начало рассказа.

Три года тому назад Крафт, Бил Джадкинс (поэт) и я питались у Сайфера на Восьмой авеню. Вернее сказать, нас там питали. Когда в наших карманах заводились деньги, Сайфер, как он сам выражался, «вынимал» их оттуда. Никакого официального кредита ресторан Сайфера нам не предоставлял. Мы приходили, заказывали еду, съедали ее. Потом или платили за нее, или не платили. Нас не отпугивала воркотня Сайфера и его свирепые брови. Где-то в глубинах его хмурой души он был либо принцем, либо глупцом, либо художником. Он сидел за изъеденным червоточиной столом, заваленным кипами официантских чеков такой давности, что, я уверен, в самом низу лежал чек за устрицы, съеденные и оплаченные самим Гендриком Гудзоном.²⁷

У Сайфера была особая, роднившая его с Наполеоном III и пучеглазым окунем способность заволакивать свои глаза пеленой, отчего окна его души делались непроницаемы. Однажды, когда мы уходили из ресторана, заплатив за еду лишь явно неубедительными извинениями, я обернулся и увидел, что Сайфер, глядя нам вслед затаенными пленкой глазами, трясется от беззвучного смеха. Время от времени мы платили ему что-нибудь в счет долга.

Но самым примечательным в ресторане Сайфера была Милли. Милли работала официанткой. Она служила великолепным подтверждением теории Крафта относительно

²⁷ Гендрик Гудзон — английский мореплаватель, открывший в начале XVII в. названную его именем реку, в устье которой был позже основан Нью-Йорк.

Гармонии в Природе. Милли в значительной степени была создана для ресторанного обслуживания, как Минерва для развития искусства потасовок, а Венера — для науки серьезного флирта. Отлитая из бронзы и водруженная на пьедестал, Милли стояла бы в ряду самых благородных из всех своих героических сестер, и имя ей было бы Богиня, Насыщающая Мир. Она была неотделима от ресторана Сайфера. Едва войдя, вы уже знали, что сейчас увидите ее колоссальную фигуру, маячащую в сизой туче прогорклого чада, точно так, как с уверенностью ожидаете, что сквозь плывущие над Гудзоном туманы появятся Палисады.²⁸

Здесь, в облаках пара от вареных овощей, аромата бесчисленных порций «ветчины с...», среди грохота посуды, звона ножей и вилок, возгласов «спешный заказ!», криков проголодавшихся и жуткого шума насыщающихся, в ореоле жужжащих крылатых созданий, завещанных нам фараонами, Милли величественно расчищала себе путь, как огромный лайнер, рассекающий волны среди пирог с вопящими дикарями.

Наша Богиня Чревоугодия была таких мощных форм, что взирая на них можно было только с благоговейным трепетом. Рукава ее блузки были всегда засучены выше локтя. Она могла бы всех нас троих мушкетеров сгрести в охапку и выбросить в окно. Милли была моложе нас, но в ней было столько от праматери нашей Евы и столько простодушия, что с самого начала она обращалась с нами по-матерински. Снедь из ресторанного меню она выкладывала нам на тарелки с царственным безразличием в отношении ее цены и количества, словно высыпала ее из неисчерпаемого рога изобилия. Голос ее звучал как большой серебряный колокол. Широкая, белозубая улыбка редко сходила с ее лица. Она была как золотистый солнечный восход на горных вершинах. Глядя на нее, я всякий раз вспоминал Йосемитскую долину.²⁹

И при этом я как-то не мог представить ее себе вне ресторана Сайфера. Природа определила ей место, и именно здесь Милли пустила корни и дала пышный рост. Казалось, она была вполне довольна своим положением и, принимая по субботам свои жалкие несколько долларов, вспыхивала от удовольствия, как ребенок, получивший неожиданный подарок.

Крафт первым выразил вслух те опасения, которые, вероятно, давно уже зрели в каждом из нас. Вопрос был, разумеется, поднят случайно, что-то в связи с проблемами искусства, которые мы усердно обсуждали. Кто-то из нас сопоставил гармонию, существующую между симфонией Гайдна и фисташковым мороженым, с тонким соответствием между Милли и рестораном Сайфера.

— Над Милли висит роковая опасность, — заметил Крафт. — И если это случится, она будет потеряна и для Сайфера и для нас.

— Неужели растолстеет? — спросил Джадкинс со страхом.

— Начнет посещать вечернюю школу, станет образованной? — предположил я с тревогой.

— Дело вот в чем, — заговорил Крафт, при каждом слове тыча выпрямленным пальцем в лужицу от пролитого на столе кофе. — У каждого свое. У Цезаря — Брут, у хлопка — коробочный червь, у хористки — банкир из Питтсбурга, у прорастающего корня — ядовитый плющ, у героя — медаль Карнеги,³⁰ у искусства — Морган,³¹ у розы...

— Ну, не тяни, — прервал я его, уже серьезно обеспокоенный. — Не думаешь ли ты, что Милли начнет носить корсет?

— В один прекрасный день, — произнес Крафт с мрачной торжественностью, — к

²⁸ Отвесные скалы на западном берегу Гудзона.

²⁹ Живописная горная долина с водопадами, национальный парк в Калифорнии.

³⁰ Медаль за героический поступок, учрежденная миллионером-филантропом Карнеги.

³¹ Морган, Джон Пирпонт (1837–1913) — потомственный миллионер, коллекционировал картины.

Сайферу явится заказать тарелку бобов лесопромышленник-миллионер из Висконсина, и он женится на Милли.

— Никогда! — в ужасе воскликнули мы с Джадкинсом.

— Да-да, лесопромышленник, — повторил Крафт хрипло.

— Лесопромышленник-миллионер! — вздохнул я с отчаянием.

— Из Висконсина! — со стоном выдохнул из себя Джадкинс.

Мы все сошлись на том, что нашей Милли действительно может угрожать такая ужасная судьба. Это было более чем вероятно. Милли, обширная, как необозримая девственная сосновая роща, была создана, чтобы привлечь внимание лесопромышленника. Мы очень хорошо знали, что такое Барсук,³² когда ему улыбнется фортуна. Сразу же направляется в Нью-Йорк и выкладывает свои богатства к ногам девицы, подавшей ему в закусочной тарелку бобов. Мы уже заранее видели броский газетный заголовок — он сам собой напрашивался журналисту воскресной газетки:

ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ ПРОМЫШЛЕННИК ПОКОРЕН ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ОФИЦИАНТКОЙ

Некоторое время нас не покидало ощущение, что мы вот-вот потеряем нашу Милли.

Вдохновляла нас только любовь к Безупречной Гармонии в Природе. Мы не могли отдать Милли лесопромышленнику, вдвойне ненавистному из-за его богатства и места рождения. Нас передергивало при мысли, что Милли с укрощенным голосом и уже не засученными рукавами сидит в мраморном вигваме и наливает чай этому убийце деревьев. Нет, ни за что! Милли неотделима от ресторана Сайфера, от чада жареного бекона, аромата капусты, величественного вагнеровского хора небьющихся фаянсовых кружек и гремящих судков.

Наши страхи оказались пророческими, ибо в тот же вечер дикие леса обрушили на нас predetermined судьбой похитителя Милли — расплата за приверженность к гармонии и порядку! Но повинным в этом бедствии оказался не Висконсин, а Клондайк

Мы сидели и ужинали тушеным мясом и сушеными яблоками, когда он ввалился в дверь, словно только что правил собачьей упряжкой, и расположился за нашим столом. С общительностью и громогласностью старателя он стал терзать наши уши, требуя товарищеского союза людей, затерянных в дикой глуши закусочной.

Мы приняли его как оно подобало и через три минуты были только что не готовы отдать жизнь друг за друга.

Грубый, неотесанный бородач с обветренной кожей, только что с парома на Северной реке. Мне чудилось, что на плечах его еще серебрится снежная пыль Чилкута.³³

А потом он усыпал стол золотыми самородками, чучелами куропаток, бусами и тюленьими шкурами — все, как полагается только что вернувшемуся с Аляски, и принялся болтать о своих богатствах.

— В банке на счету у меня уже два миллиона, — подвел он итог. — Да на моих приисках в день до тысячи набирается. А сейчас я хочу тушеного мяса и консервированных персиков. Я не сходил с поезда с тех пор, как отъехал от Сиэтла, я изголодался. То, что негритосы скармливают вам в пульмановских вагонах, в счет не идет. Джентльмены, заказывайте, чего пожелаете.

И тут выплыла Милли с тысячью тарелок на вытянутой обнаженной руке — большая, бело-розовая, внушающая трепет, как горы Святого Илии.³⁴

³² Прозвище жителей штата Висконсин.

³³ Горный перевал в Скалистых горах на Аляске.

³⁴ Горная цепь на западе Аляски.

И улыбка на ее лице была как светлый день, зарождающийся в горном ущелье. Этот, с Клондайка, отшвырнул свои самородки, шкуры и чучела, как хлам, — челюсть у него отвисла, и он уставился на Милли. Вы словно уже видели бриллиантовые диадемы на ее волосах и шелковые, с ручной вышивкой парижские платья, которые он подумывал закупить для нее.

Коробочный червь добрался до хлопка, ядовитый плющ уже выпустил свои усики, чтобы зацепиться за молодой росток, лесопромышленник, грубо загримированный под золотоискателя с Аляски, готовился похитить нашу Милли и нарушить Гармонию Природы.

Крафт первым открыл военные действия. Он вскочил и смачно хлопнул по спине пришельца с Клондайка.

— Сперва пойдем выпьем! — заорал он. — Промочим горло, а еда уж потом.

Джадкинс подхватил миллионера под руку с одной стороны, я — с другой. Развязно, шумно, с бесшабашной веселостью мы вытащили его из ресторана, предварительно набив ему карманы его бальзамированными пичугами и несъедобными золотыми орешками, и потащили в кафе.

Он было заартачился, но вполне добродушно.

— Эх, как раз такая девушка, какая мне требуется, товар по моим деньгам, — заявил он. — Она может есть из моего котелка до конца своей жизни. Ей-богу, сроду не видывал такой первосортной девушки. Пойду вернусь, скажу, чтоб выходила за меня замуж. Небось живо забудет про свой ресторан, когда посмотрит на кучу золотого песка, какую я насбирал.

— Теперь надо еще виски и молока, — настаивал Крафт, улыбаясь сатанинской улыбкой. — Я-то полагал, вы, ребята с Севера, покрепче.

Крафт истратил все свои микроскопические финансовые резервы у стойки и кидал на меня и Джадкинса такие умоляющие взгляды, что мы опустошили наши карманы до последнего цента, продолжая угощать гостя.

Когда мы, наконец, расстреляли все наши патроны, а этот, с Клондайка, все еще сохранял некоторую трезвость и начал опять лопотать что-то о Милли, Крафт шепнул ему на ухо вежливое, но колкое оскорбление насчет жмотов с капиталами, и тогда наш золотоискатель принялся швырять пригоршнями серебро и бумажки, требуя все имеющиеся в наличии и запечатанные в бутылках жидкости, чтобы залить ими обвинение.

Дело было завершено. Мы прогнали врага с поля боя его же оружием. А потом отвезли в маленькую отдаленную гостиницу и уложили в постель вместе с его самородками и шкурами тюленьих детенышей.

— Теперь ему ни за что не разыскать ресторан Сайфера, — сказал Крафт. — Он сделает предложение первому белому фартучку, который увидит завтра утром в молочной закускойной. И Милли — я имею в виду Гармонию Природы — спасена!

И мы втроем вернулись к Сайферу и, так как в ресторане клиентов было мало, взялись за руки и проплясали вокруг Милли танец диких индейцев.

Все это, повторяю, произошло три года тому назад. И приблизительно в то же время на всех нас свалилась удача и позволила нам перейти на более дорогую и менее здоровую пищу, чем у Сайфера. Наши пути разошлись. Крафта я больше ни разу не встречал, с Джадкинсом виделся редко.

Но, как я уже сказал, я увидел на выставке картину, проданную за пять тысяч долларов. Картина называлась «Боадицея»,³⁵ и фигура королевы, казалось, занимала собой и все полотно, и пространство вокруг. Но среди тех, кто стоял перед картиной и восхищался ею, я, вероятно, был единственный, кто хотел бы, чтобы Боадицея вышла из рамы и принесла мне рубленую солонину с яйцом-пашот.

Я торопился встретиться с Крафтом. Его сатанинские глаза остались прежними, волосы взлохматились еще больше, но костюм на нем был от портного.

³⁵ Боадицея — королева Британии I в. н. э..

— Не знал, — сказал я ему.

— На эти деньги мы купили домик в Бронксе, — сказал он. — В любой вечер, в семь часов — ждем.

— Значит, — сказал я, — когда ты вел нас против лесопромышленника — того, с Клондайка, — это было не только ради сохранения Безупречной Гармонии в Природе?

— Пожалуй, не только ради этого, — ответил Крафт, ухмыляясь.

Воспоминания желтого пса

Перевод под ред. В. Азова

Думаю, что вы, люди, не очень-то удивитесь, прочтя литературное упражнение животного. Мистер Киплинг и немало еще других писателей доказали — и не без материальной выгоды для себя, — что животные умеют изъясняться на недурном английском языке; в нынешнее время ни один иллюстрированный журнал не обходится без звериного рассказа, если не считать старинных ежемесячников, которые все еще угощают читателей изображениями Брайана и ужасами катастрофы на горе Пело.

Но не ищите в моем повествовании тех высокопарных фраз, которыми обмениваются в книгах джунглей Нума — лев, Шита — пантера и Хиста — змея. У Желтого Пса, прошедшего большую часть своей жизни в дешевой нью-йоркской квартире, где он спал в углу на старой сатиновой нижней юбке (на той, которую его хозяйка облила портвейном во время банкета в клубе), нельзя ожидать особых фокусов по части слога.

Родился я желтым щенком: время и место рождения, а также и родословная и вес — неизвестны. Первое, что я помню, это старуху, которая стояла на углу Бродвея и Двадцать третьей; она держала корзинку, в которой я лежал, и пыталась продать меня толстой даме. Старая ведьма расхваливала меня на все лады и выдавала меня за чистокровного померанско-гамблтонского красного ирландского кохинхинского фокстерьера. Толстая дама начала охотиться у себя в ридикюле за пятеркой; наконец, нашла ее в куче образчиков бумазеи и фланелета и расплатилась. С того момента я стал любимой собачкой — маминим собственным дусиком-песиком. Скажите, любезный читатель, случилось ли когда-нибудь с вами, чтобы толстая двухсотфунтовая особа, пахнущая сыром и под'Эспанем, брала вас на руки и водила бы носом по вашей шерсти, приговаривая все время:

— Ути, мой холосенький дусик-пупсик-мусик-кисик-мисик.

Из чистокровного желтого щенка я, выросши, превратился в безымянного желтого пса, похожего на помесь ангорского кота с целым ящиком лимонов. Но моя хозяйка не огорчалась. Она твердо верила, что два первобытных щенка, которых Ной загнал себе в ковчег, являлись лишь боковой ветвью моих предков. Потребовалось вмешательство двух полицейских, чтобы не допустить ее на выставку в Мэдисон-сквер-гарден, куда она хотела записать меня на приз для сибирских лаек.

Я вам сейчас расскажу про эту самую квартиру. Дом был обыкновенным нью-йоркским домом, выложенным мрамором у входа и булыжником повыше первого этажа. Чтобы добраться до нашей квартиры, нужно было подн... нет, не подняться — вскарабкаться на три лестницы. Моя хозяйка наняла ее без мебели и обставила ее как полагается, старинным, тысяча девятьсот третьего года, мягким гарнитуром, олеографией с изображением гейш, заседающих в гарлемской чайной, каучуковым деревом в кадке и мужем.

Клянусь созвездием Пса! Вот жалкое было двуногое! Это был маленький человечек с песочно-желтыми волосами и ушами, сильно смахивавшими на мои. Он был заклеван, как будто все клювы всех туканов, фламинго и пеликанов всего мира щипали его. Он всегда вытирал посуду и выслушивал рассказы моей хозяйки про дешевое и рваное белье, которое развешивала на веревке дама со второго этажа, у которой было, однако, беличье манто. И, кроме того, она заставляла выводить меня на веревочке, пока она готовила ужин.

Если бы мужчины знали, как проводят время женщины, когда они одни, они ни за что бы не женились. Романы Лауры Лин Джибби, щелканье орехов, натирание мускулов шеи миндальным кремом, — причем посуда остается немойтой, — получасовая беседа с поставщиком льда, перечитывание связки старых писем, закуска из парочки пикулей и двух бутылок мальца-экстракта, просиживание в течение часа у дырочки, выцарапанной в матовом стекле окна, чтобы посмотреть, что делается в квартире напротив, — пожалуй, вот и все их занятия. За двадцать минут до его прихода со службы они начинают прибираться, поправлять прическу, чтобы не торчала фальшивая подкладка, и вытаскивают ворох шитья — чтобы разыграть десятиминутную комедию.

Собачью я вел жизнь в этой квартире. Большею частью я лежал в моем углу и смотрел, как толстая женщина убивает время. Иногда я спал и видел первоклассные сны о том, как я на дворе гоняюсь за кошками, а те прячутся в подвалы, или ворчу на старых дам с черными митенками, — одним словом, выполняю истинное назначение собаки. Тогда она набрасывалась на меня со всякими сопливыми телячьими нежностями и целовала меня в нос, — но что мне было делать? Ведь собака не может жевать гвоздику, чтобы от нее разило, по крайней мере, за милую?

Я начал жалеть ее мужа (прособачьте всех моих кошек, если вру). Мы были так похожи друг на друга, что это начали замечать люди на улице; и потому мы бросили ходить по тем местам, где разъезжает Морган в своем кебе, и предпочитали взбираться на кучи прошлогоднего снега на улицах, где живет бедный люд.

Как-то раз вечером, во время одной из наших прогулок, когда я старался изобразить из себя премированного сенбернара, а старик притворялся, что у него нет особого желания задушить первого шарманщика, которого он поймает за исполнением мендельсоновского «Свадебного марша», я взглянул на него вверх и по-своему сказал ему:

— Ну, чего это ты такой кислый, рак ты вареный? Ведь она тебя не целует. Тебе не приходится сидеть у нее на коленях и выслушивать разговор, по сравнению с которым опереточное либретто покажется равным по мудрости афоризмам Эпиктета. Ты должен радоваться, что ты не собака. Бодришься и забудь тоску.

Матримониальное недоразумение посмотрело на меня вниз с почти собачьим выражением лица.

— Что, собачка? — говорит он. — Хорошая собачка. Ты так смотришь, точно говоришь. В чем дело, песик? В кошках? Кошки, я говорю.

Но, конечно, он понять меня не мог. Людям ведь не дано разговаривать, как это делают животные. Единственная область, где возможно общение между собакой и человеком, — это беллетристика.

В квартире напротив жила дама, у которой был черно-пегий терьер. Каждый вечер ее муж выводил его на цепочке, но он возвращался домой всегда веселый и неизменно что-то насвистывал. Однажды мы с черно-пегим обнюхали друг друга на лестнице, и я попытался добиться у него разъяснения.

— Слушай-ка, Попрыгун, — говорю я ему, — ты знаешь, что ни один настоящий мужчина не любит разыгрывать на людях роль собачьей няньки. Я еще ни одного не встречал, который, будучи прикреплен к собачке, не выражал бы всем своим видом желания проглотить всякого, кто на него смотрит. Но твой хозяин возвращается каждый раз веселеньким, точно фокусник-любитель, которому удался фокус с яйцом. Откуда это у него берется? Не уверяй меня, что ему нравится.

— У него-то? — говорит черно-пегий. — Он употребляет лучшее средство, указанное самой природой. Насвистывается! Вначале, когда мы выходили, он конфузился и робел. Но после того, как мы обойдем восемь баров, ему уже все равно, что у него на удочке болтается, — собака или морская кошка. У меня эти вращающиеся двери баров отхватили уже дюйма два от кончика хвоста, когда я пробовал проскользнуть через них.

Указание, полученное мною от этого терьера, заставило меня призадуматься.

Однажды вечером, часов около шести, хозяйка велела ему приготовиться, чтобы вывести

Дусика для принятия обычной порции озона. Да, я до сих пор это скрывал, но вот как она меня прозвала! А черно-пегого звали Тютюлькой. Я считаю, что все-таки обогнал его на несколько зайцев. Но все же величать пса Дусиком ничуть не лучше, чем привязать ему пустую банку к хвосту.

На тихой улице, в укромном месте, перед входом в заманчивый, приличного вида бар, я стал натягивать лесу, на которой болтался мой гувернер. Я ринулся очертя голову к дверям, царапал их и визжал не хуже собаки в отделе происшествий, когда она старается дать понять семье маленькой Алисы, что девочка увязла на топком месте, собирая цветы у ручья.

— Лопни мои глаза! — сказал, широко улыбаясь, муж. — Лопни мои глаза, если этот шафрановый потомок бутылки с лимонадом не приглашает меня войти и выпить стаканчик. Пойдите, да с каких это пор я не подходил вообще к стойке? Я, пожалуй...

Тут уж я понял, что он от меня не уйдет. Он сел за стол и начал пить горячее шотландское виски. Целый час кемпбелли³⁶ так и шли у него друг за дружкой. Я сидел рядом и вызывал лакея, стуча хвостом об пол и поглощая дорогую закуску, с которой отнюдь не могли сравниться яства мамы, покупаемые в гастрономической лавке минут за восемь до прихода папы со службы.

Когда все шотландские продукты, кроме ржаного хлеба, были уничтожены, муж отвязал меня от ножки стола и повел меня к выходу, дергая за сворку, как рыбак, поймавший на удочку лосося. На улице он снял с меня ошейник и выбросил его вон.

— Бедная собачка, — говорит он, — хорошая собачка. Не будет она больше тебя целовать. А то чистый срам! Собачка, милая, беги, попади под трамвай и будь счастлива.

Но я отказался его покинуть. Я начал прыгать и резвиться вокруг него, счастливый и довольный, как щенок на коврик у камина.

— Эх ты, старый, блохастый охотник за воробьями, — сказал я ему, — только ты и умеешь, что выть на луну, да гоняться за зайцами, да яйца воровать, — а не видишь, что я вовсе не хочу уходить от тебя. Разве ты не понимаешь, что мы оба с тобой — заблудившиеся в лесу щенята, а хозяйка — жестокая мачеха, которая хочет нас извести: тебя — вытиранием посуды, а меня — мазью от блох и розовым бантом на хвосте. Почему бы нам не бросить все и не стать навсегда товарищами?

Вы, может быть, будете утверждать, что он не понял. Не стану спорить. Но горячее шотландское виски ему точно жару поддало, и он остановился на минуту в размышлении.

— Собачка, — наконец сказал он, — мы больше дюжины жизней на земле не проживем, и мало кто из нас достигает трехсотлетнего возраста. Назови меня чертом, если я когда-нибудь вернусь в этот ад; а ты будешь сукиным сыном, если нос туда покажешь. Держу пари на шестьдесят против одного, что Запад выиграет сегодня у Востока на корпус взрослой таксы.

Сворки не было, но я, несмотря на это, добрался, весело прыгая, до паромы на Двадцать третьей улице вместе с моим хозяином. И кошки, встречавшиеся нам по дороге, имели полное основание радоваться, что унаследовали от своих первобытных предков острые когти.

Когда мы переехали на пароме на другую сторону, мой хозяин сказал какому-то незнакомцу, который стоял тут же, на вокзале, и ел булку с изюмом:

— Мы с собачкой думаем махнуть в Скалистые горы.

Но больше всего я обрадовался, когда мой гувернер, дернув меня за уши так больно, что я завыл, объявил мне:

— Эх ты, обезьяноголовая, крысохвостая, желтошерстая дворняга, знаешь ли ты, как я отныне буду тебя звать?

Я вспомнил «Дусика» и жалобно завизжал.

— Барбосом буду тебя звать, — сказал мой хозяин; и я пожалел, что у меня не пять хвостов и я не могу достаточно намахаться, чтобы достойно отметить это нововведение.

³⁶ Шотландский гимн: «Вот идут Кемпбелли».

Приворотное зелье Айки Шонштейна

Перевод Н. Дехтеревой

Аптекарский магазин «Синий свет» находится в деловой части города — между Бауэри-стрит и Первой авеню, — там, где расстояние между ними наикратчайшее. «Синий свет» полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень, духи и мороженое с содовой. Если вы спросите там болеутоляющее, вам не подсунут конфетку.

«Синий свет» презирает современное, сберегающее усилия искусство фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и парегорик. По сей день пилюли тут изготавливают собственноручно за высокой рецептурной конторкой на специально служащей для того кафельной дощечке — дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальцев, обсыпают жженой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают взапуски и становятся кандидатами на таблетки от кашля и смягчительные сиропы, поджидающие их в «Синем свете».

Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж оно повелось на Ист-Сайде, где сердце фармацевтики еще не стало *glace*.³⁷

Там аптекарь, как оно и следует быть, — советчик, исповедник и помощник, умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. Оттого-то повисший крючком и оседланный очками нос и тощая, согбенная под бременем познаний фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях «Синего света» и ученые назидания ночного фармацевта высоко ценились.

Айки проживал и завтракал у миссис Ридл, в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь, ее звали Роза. Скажем без обиняков — вы ведь, конечно, и сами догадались, — Айки боготворил Розу. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не покидал их; она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медициной — во всей фармакопее не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок — застенчивость и нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность.

Стоя за конторкой, он являл собою существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки это был тщедушный, нескладный, подслеповатый, проклинаемый шоферами ротозей — в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущем *socotrine aloes* {*Слабительное из столетника (лат.)*.} и *valerianate ammoniae*. {*Валериана на нашатырном спирте (лат.)*.}

Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна (вполне, вполне уместный каламбур!) был Чанк Мак-Гоуэн.

Мистер Мак-Гоуэн также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Розой. Но если Айки стоял у задней черты, то Мак-Гоуэн ловил их прямо с ракетки! Вместе с тем Мак-Гоуэн был и другом и клиентом Айки и частенько, после приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит, заглядывал в «Синий свет», чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез.

Как-то раз к вечеру Мак-Гоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку — ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень — и уселся на табурет.

— Айки, — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок *gum bensoin*, {*Бензойная смола, росный ладан*.} — раскрой-ка

³⁷ Замороженным, ледышкой (фр.).

уши пошире. Выдай мне зелье такое, какое мне требуется.

Айки внимательно оглядел внешность мистера Мак-Гоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил.

— Снимай пиджак, — приказал он. — Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра. Сколько раз говорил я тебе — итальяшки до тебя доберутся.

Мак-Гоуэн усмехнулся:

— Да нет, не они. Не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил — верно, это под пиджаком, возле ребер. Слушай, Айки, мы — я и Розы — решили нынче ночью удрать и пожениться.

Указательным пальцем левой руки Айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал. А на лице мистера Мак-Гоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности.

— То есть, понятно, если она в последнюю минуту не передумает, — продолжал он. — Мы вот уже две недели утаптываем дорожку, чтобы дать деру. Сегодня она тебе скажет «согласна», а к вечеру стоп — нет, говорит, не выйдет. Теперь вот как будто вконец порешили на сегодняшнюю ночь. Розы уже два дня держится, вроде бы не отступает. Но, понимаешь ли, до того срока, на какой мы уговорились, еще целых пять часов — боюсь, в последний момент, когда уже все будет на мази, она опять даст отбой.

— Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство, — напомнил Айки.

На лице мистера Мак-Гоуэна отразились смущение и тревога — отнюдь не обычное для него состояние. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью надел его себе на палец.

— Понимаешь, я и за миллион не соглашусь, чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт, — сказал он. — В Гарлеме у меня уже снята квартирка — хризантемы на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. И я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в девять тридцать. Ну, просто нельзя, чтоб все это сорвалось. Если Розы снова не пойдет на попятную...

Мистер Мак-Гоуэн умолк, весь во власти сомнений.

— Я пока еще не усматриваю связи, — сказал Айки отрывисто. — О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня?

— Старик Ридл меня не жалует, то есть ни вот столько, — продолжал озабоченный претендент на руку Розы, желая высказать свои соображения до конца. — Уже целую неделю он не выпускает Розы со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю двадцать долларов в неделю, Розы никогда не раскается, что сбежала с Чанком Мак-Гоуэном.

— Извини, Чанк, — сказал Айки, — мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту, за ним должны скоро зайти.

— Слушай, — вдруг вскинул на него глаза Мак-Гоуэн, — слушай, Айки, нет ли какого-нибудь такого зелья — ну, понимаешь, каких-нибудь там порошков, чтоб, если дать их девушке, она полюбила тебя крепче, а?

Верхняя губа Айки презрительно и высокомерно искривилась: он понял. Но прежде, чем он успел ответить, Мак-Гоуэн продолжал:

— Тим Лейси рассказывал, что как-то раздобыл у одной старухи гадалки такой вот порошок, развел в содовой и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером, все остальные уже и в счет не шли. Двух недель не прошло, как они окрутились.

Сила и простота — таков был Чанк Мак-Гоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи.

— Я подумал вот что, — продолжал Чанк с надеждой в голосе, — будь у меня такой порошок, я б подсыпал его Розы сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет, не станет, как

всегда, отнекиваться. Я, само собой, не считаю, что ее надо силком, на поводу тянуть, но женщинам оно как-то сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот так самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит.

— На когда назначен этот дурацкий побег? — спросил Айки.

— На девять часов, — ответил мистер Мак-Гоуэн. — Ужин в семь. В восемь Роза прикинется, что голова разболелась, пойдет спать. А в девять старик Парвенцано пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала. Попроюсь к окну Розы, помогу ей спуститься по пожарной лестнице. Затягли все так рано из-за священника, он потребовал. Да все проще простого, только бы Розы не отступила, когда придет момент. Ну как насчет порошков, можешь ты мне это устроить, Айки?

Айки Шонштейн медленно потер себе нос.

— Слушай, Чанк, — сказал он. — Относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобное лекарство. И я сделаю это для тебя — ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Роза.

Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок две таблетки морфия, каждая в четверть грана. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик Мак-Гоуэну, дав при этом указания, что порошок желательно принять растворенным в жидкости. И получил за то изъявления сердечной благодарности от Локинвара³⁸ с городских задворок.

Коварство Айки станет очевидным по мере изложения дальнейшего хода событий. Он послал гонца за мистером Ридлом и раскрыл ему планы Мак-Гоуэна относительно похищения Розы. Мистер Ридл отличался крепким сложением, цветом лица сродни кирпичному и решительностью в поступках.

— Весьма обязан, — сказал он отрывисто. — Нахальный лоботряс! Моя комната как раз над комнатой Розы. После ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выедет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи.

Розы в объятиях Морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупрежден и вооружен. Айки полагал, что соперник близок к полному поражению.

Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало.

В восемь часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. Но кто как не сам Чанк Мак-Гоуэн выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватается Айки за руку — да-да, Чанк Мак-Гоуэн собственной персоной. И физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом.

— Вышло, — проговорил он, и в голосе его отразился Элизиум. — Розы на лестницу вылезла точно, секунда в секунду. В девять тридцать с хвостиком мы уже были у почтенного духовника — все как договаривались. Она уже в нашей квартирке — сегодня, когда варила яйца к завтраку, была в голубом кимоно. Бог ты мой, до чего же я рад, ей-богу! Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь, отобедаем вместе. Я получил работу тут неподалеку, у моста. Туда я сейчас и двигаю.

— А... а порошок? — спросил Айки, заикаясь.

— То зелье, которое ты мне выдал? — Улыбка Чанка стала еще шире. — Оно вот как все обернулось. За ужином у Ридлов поглядел я на Розы и сказал про себя: «Чанк, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Розы, — действуй честно, без всяких фокусов». Твой пакетик так и остался у меня в кармане. Но тут глянул я на кое-кого другого — на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Улучил минутку, да и высыпал

³⁸ Локинвар — герой баллады из поэмы Вальтера Скотта «Мармион», умчавший свою возлюбленную на коне в день ее венчания с соперником.

порошок в кофе старика Ридла — понятно?

Золото и любовь

Перевод Н. Дарузес

Старик Энтони Рокволл, удалившийся от дел фабрикант и владелец патента на мыло «Эврика», выглянул из окна библиотеки в своем особняке на Пятой авеню и ухмыльнулся. Его сосед справа, аристократ и клубмен Дж. ван Шуйлайт Саффолк-Джонс, садился в ожидавшую его машину, презрительно воротя нос от мыльного палаццо, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского Возрождения.

— Ведь просто старое чучело банкрот, а сколько спеси! — заметил бывший мыльный король. — Берег бы лучше свое здоровье, замороженный Нессельроде, таких теперь только в оперетке увидишь. Вот на будущее лето размалую весь фасад красными, белыми и синими полосами — погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос.

И тут Энтони Рокволл, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и заорал «Майк!» тем самым голосом, от которого когда-то чуть не лопалось небо над канзасскими прериями.

— Скажите моему сыну, чтоб он зашел ко мне перед уходом из дому, — приказал он явившемуся на зов слуге.

Когда молодой Рокволл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном и румянном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане.

— Ричард, почему ты платишь за мыло, которым моешься? — спросил Энтони Рокволл.

Ричард, всего полгода назад вернувшийся домой из колледжа, слегка удивился. Он еще не вполне постиг своего папашу, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, словно девица на своем первом балу.

— Кажется, шесть долларов за дюжину, папа.

— А за костюм?

— Обыкновенно долларов шестьдесят.

— Ты джентльмен, — решительно изрек Энтони. — Мне говорили, будто бы молодые аристократы швыряют по двадцать четыре доллара за мыло и больше чем по сотне за костюм. У тебя денег не меньше, чем у любого из них, а ты все-таки держишься того, что умеренно и скромно. Сам я моюсь старой «Эврикой» — не только по привычке, но и потому, что это мыло лучше других. Если ты платишь больше десяти центов за кусок мыла, то лишнее с тебя берут за плохие духи и обертку. А пятьдесят центов вполне прилично для молодого человека твоих лет, твоего положения и состояния. Повторяю, ты — джентльмен. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Это раньше так было. А теперь с деньгами оно получается куда легче и быстрее. Деньги тебя сделали джентльменом. Да я и сам почти джентльмен, ей-богу! Я ничем не хуже моих соседей — так же вежлив, приятен и любезен, как эти два спесивых голландца справа и слева, которые не могут спать по ночам из-за того, что я купил участок между ними.

— Есть вещи, которых не купишь за деньги, — мрачно заметил молодой Рокволл.

— Нет, ты этого не говори, — возразил обиженный Энтони. — Я всегда стою за деньги. Я прочел всю энциклопедию насквозь: все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги; так на той неделе придется, должно быть, взяться за дополнительные тома. Я за деньги против всего прочего. Ну, скажи мне, чего нельзя купить за деньги?

— Прежде всего они не могут ввести вас в высший свет, — ответил уязвленный Ричард.

— Ого! Неужто не могут? — прогремел защитник корня зла. — Ты лучше скажи, где был бы весь твой высший свет, если бы у первого из Асторов не хватило денег на проезд в третьем классе?

Ричард вздохнул.

— Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти. Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уже две недели, как я это замечаю. Ну, выкладывай начистоту. Я в двадцать четыре часа могу реализовать одиннадцать миллионов наличными, не считая недвижимости. Если у тебя печень не в порядке, так «Бродяга» стоит под парами у пристани и в два дня доставит тебя на Багамские острова.

— Почти угадали, папа. Это очень близко к истине.

— Ага, так как же ее зовут? — проникательно заметил Энтони.

Ричард начал прохаживаться взад и вперед по библиотеке. Неотесанный старик отец проявил достаточно внимания и сочувствия, чтобы вызвать доверие сына.

— Почему ты не делаешь предложения? — спросил старик Энтони. — Она будет рада-радехонька. У тебя и деньги, и красивая наружность, ты славный малый. Руки у тебя чистые, они не запачканы мылом «Эврика». Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит.

— Все случая не было, — вздохнул Ричард.

— Устрой так, чтоб был, — сказал Энтони. — Ступай с ней на прогулку в парк или повези на пикник, а не то проводи ее домой из церкви. Случай! Тьфу!

— Вы не знаете, что такое свет, папа. Она из тех, которые вертят колесо светской мельницы. Каждый час, каждая минута ее времени распределены на много дней вперед. Я не могу жить без этой девушки, папа: без нее этот город ничем не лучше гнилого болота. А написать ей я не могу — просто не в состоянии.

— Ну, вот еще! — сказал старик. — Неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени?

— Я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут. Сейчас она гостит в Ларчмонте у своей тетки. Туда я поехать не могу. Но мне разрешено встретить ее завтра вечером на Центральном вокзале, к поезду восемь тридцать. Мы проедем галопом по Бродвею до театра Уоллока, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно. А какая возможность объясниться в театре или после спектакля? Никакой! Нет, папа, это не так просто, ваши деньги тут не помогут. Ни одной минуты времени нельзя купить за наличные; если б было можно, богачи жили бы дольше других. Нет у меня надежды поговорить с мисс Лэнтри до ее отъезда.

— Ладно, Ричард, мой мальчик, — весело отвечал Энтони. — Ступай теперь в свой клуб. Я очень рад, что это у тебя не печень. Не забывай только время от времени воскурять фимиам на алтаре великого бога Маммоны. Ты говоришь, деньги не могут купить времени? Ну, разумеется, нельзя заказать, чтобы вечность завернули тебе в бумажку и доставили на дом за такую-то цену, но я сам видел, какие мозоли на пятках натер себе старик Хронос, гуляя по золотым приискам.

В этот вечер к братцу Энтони, читавшему вечернюю газету, зашла тетя Эллен, кроткая, сентиментальная, старенькая, словно пришибленная богатством, и, вздыхая, завела речь о страданиях влюбленных.

— Все это я от него уже слышал, — зевая, ответил братец Энтони. — Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Тогда он начал отрицать пользу денег. Говорит, будто бы деньги ему не помогут. Будто бы светский этикет не спихнуть с места даже целой упряжке миллионеров.

— Ах, Энтони, — вздохнула тетя Эллен. — Напрасно ты придаешь такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь всесильна. Если б он только объяснился раньше! Она бы не смогла отказать нашему Ричарду. А теперь, боюсь, уже поздно. У него не будет случая поговорить с ней. Все твое золото не может дать счастья нашему мальчику.

На следующий вечер ровно в восемь часов тетя Эллен достала старинное золотое кольцо из футляра, побитого молью, и вручила его племяннику.

— Надень его сегодня, Ричард, — попросила она. — Твоя мать подарила мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви. Она велела передать его тебе, когда ты найдешь свою суженую.

Молодой Рокволл принял кольцо с благоговением и попробовал надеть его на мизинец. Оно дошло до второго сустава и застряло там. Ричард снял его и засунул в жилетный карман, по свойственной мужчинам привычке. А потом вызвал по телефону кеб.

В восемь часов тридцать две минуты он выловил мисс Лэнтри из говорливой толпы на вокзале.

— Нам нельзя задерживать маму и остальных, — сказала она.

— К театру Уоллока, как можно скорей! — честно передал кебмену Ричард.

С Сорок второй улицы они влетели на Бродвей и помчались по звездному пути, ведущему от мягких лугов Запада к скалистым утесам Востока.

Не доезжая Тридцать четвертой улицы, Ричард быстро поднял окошечко и приказал кебмену остановиться.

— Я уронил кольцо, — сказал он в извинение. — Оно принадлежало моей матери, и мне было бы жаль его потерять. Я не задержу вас, — я видел, куда оно упало.

Не прошло и минуты, как он вернулся с кольцом.

Но за эту минуту перед самым кебом остановился поперек дороги вагон трамвая. Кебмен хотел объехать его слева, но тяжелый почтовый фургон загородил ему путь. Он попробовал свернуть вправо, но ему пришлось попятиться назад от подводы с мебелью, которой тут было вовсе не место. Он хотел было повернуть назад — и только выругался, выпустив из рук вожжи. Со всех сторон его окружала невообразимая путаница экипажей и лошадей.

Создалась одна из тех уличных пробок, которые иногда совершенно неожиданно останавливают все движение в этом огромном городе.

— Почему вы не двигаетесь с места? — сердито спросила мисс Лэнтри. — Мы опоздаем.

Ричард встал в кебе и оглянулся по сторонам. Застывший поток фургонов, подвод, кебов, автобусов и трамваев заполнял обширное пространство в том месте, где Бродвей перекрещивается с Шестой авеню и Тридцать четвертой улицей, заполнял так тесно, как девушка с талией в двадцать шесть дюймов заполняет двадцатидвухдюймовый пояс. И по всем этим улицам к месту их пересечения с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путаницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэттена будто застопорилось вокруг их экипажа. Ни один из нью-йоркских старожилов, стоявших в тысячной толпе на тротуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров.

— Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется. И виноват я. Если бы я не выронил кольца...

— Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лэнтри. — Теперь уже ничего не поделаешь, так что мне все равно. Да и вообще театр — это, по-моему, такая скука.

В одиннадцать часов вечера кто-то легонько постучался в дверь Энтони Рокволла.

— Войдите! — крикнул Энтони: он читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат.

Это была тетя Эллен, похожая на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле.

— Они обручились, Энтони, — кротко сказала тетя. — Она дала слово нашему Ричарду. По дороге в театр они попали в уличную пробку и целых два часа не могли двинуться с места.

И знаешь ли, братец Энтони, никогда больше не хвастайся силой твоих денег. Маленькая эмблема истинной любви, колечко, знаменующее собой бесконечную и бескорыстную преданность, помогло нашему Ричарду завоевать свое счастье. Он уронил кольцо на улице и вышел из кеба, чтобы поднять его. Но не успели они тронуться дальше, как создалась пробка. И вот, пока кеб стоял, Ричард объяснился в любви и добился ее согласия. Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью, Энтони.

— Ну ладно, — ответил старик. — Я очень рад, что наш мальчик добился своего. Говорил же я ему, что никаких денег не пожалею на это дело, если...

— Но чем же тут могли помочь твои деньги, братец Энтони?

— Сестра, — сказал Энтони Рокволл. — У меня пират попал черт знает в какую переделку. Корабль у него только что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Дай ты мне ради бога дочитать главу.

На этом рассказ должен бы кончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же как стремится к нему читатель. Но нам надо еще спуститься на дно колодца за истиной.

На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчатом галстуке, назвавшийся Келли, явился на дом к Энтони Рокволлу и был немедленно допущен в библиотеку.

— Ну что же, — сказал Энтони, доставая чековую книжку, — неплохо сварили мыло. Посмотрим, — вам было выдано пять тысяч?

— Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немножко превысить смету. Фургоны и кебы я нанимал по пяти долларов; подводы и двуконные упряжки запрашивали по десяти. Шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом и все двадцать. Всего дороже обошлись полицейские — двоим я заплатил по пол-сотне, а прочим по двадцать и по двадцать пять. А ведь здорово получилось, мистер Рокволл? Я очень рад, что Уильям А. Брэди не видел этой небольшой массовой сценки на колесах; я ему зла не желаю, а беднягу, верно, хватил бы удар от зависти. И ведь без единой репетиции! Ребята были на месте секунда в секунду. И целых два часа южнее памятника Грили даже пальца негде было просунуть.

— Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек — Ваша тысяча да те триста, что вы потратили из своих. Вы ведь не презираете денег, Келли?

— Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто выдумал бедность.

Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его.

— Вы не заметили там где-нибудь в толпе этакого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? — спросил он.

— Что-то не видал, — ответил озадаченный Келли. — Если он был такой, как вы говорите, так, верно, полиция забрала его еще до меня.

— Я так и думал, что этого озорника на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!

Весна порционно

Перевод Н. Дехтеревой

Был месяц март.

Никогда-никогда, если вздумаете писать рассказ, не начинайте его таким образом. Худшего начала не придумаешь. Плоско, сухо, ни на йоту воображения. Ровным счетом ничего. Но в данном случае оно допустимо. Ибо следующий абзац, которым, собственно, и надлежало бы предварить повествование, настолько экстравагантен и нелеп, что его нельзя так вот сразу бросить в лицо читателю.

Сара плакала над преискурантом ресторана.

Вы только представьте себе — юная жительница Нью-Йорка проливает слезы над ресторанным меню!

В объяснение такой сцены вы располагаете возможностью строить любые догадки: омаров уже нет, кончились; она дала зарок весь пост не есть мороженого; заказала сырой лук; или же только что вернулась с утренника в театре Хэкетта. А затем, поскольку все эти версии не соответствуют истине, разрешите мне продолжить рассказ.

Джентльмен, заявивший, что земной шар — устрица, которую он вскроет

мечом,³⁹ пользуется большей славой, чем того заслуживает. Вскрыть устрицу мечом не такая уж хитрость. А приходилось ли вам видеть, чтобы кто-нибудь пытался вскрыть это сухопутное двусторчатое с помощью пирующей машинки? Хватило бы у вас терпения ждать, пока их таким способом вскроют дюжину?

Действуя этим неудобным орудием, Саре кое-как удавалось приоткрывать тугие створки неподатливой устрицы, чтобы добраться до ее холодного, вязкого содержимого. Стенографию Сара знала не лучше тех, кто изучал эту науку на Коммерческих курсах и только что выпущен упомянутым учебным заведением в широкий мир. И потому, не обладая этим умением, она не могла войти в яркое созвездие талантов в высокой учрежденческой сфере. Ей оставалось взять свободную профессию машинистки-одиночки и рыскать в поисках случайной работы по переписке.

Самым блестящим, самым великим ее триумфом оказался устный контракт с Шуленбергом, владельцем ресторана «Домашний стол». Ресторан находился бок о бок со старым неоштукатуренным кирпичным домом, где Сара снимала отгороженный конец коридора, именуемый «комнатой на одного». Как-то раз после трапезы за табльдотом у Шуленберга (сорок центов за обед из пяти блюд) Сара унесла с собой меню. Оно было написано совершенно неразборчивым почерком — то ли по-немецки, то ли по-английски, и строчки располагались так, что, если не проявить должного внимания, вы рисковали начать обед с зубочистки и рисового пудинга, а закончить его супом и названием дня недели.

На следующий день Сара показала Шуленбергу аккуратный листок, на котором было безупречно отпечатано меню, где яства соблазнительно выстроились под надлежащими заголовками, начиная от *hors d'oeuvre* {Закуски (фр.).} и до «за сохранность пальто и зонтов ресторан не отвечает».

Шуленберг был приобщен к цивилизации в мгновение ока. Прежде чем Сара покинула ресторан, его владелец с полной готовностью заключил с ней соглашение. Она обязывалась поставлять отпечатанные на машинке меню для двадцати одного столика — к обеду каждый день новые, для первого и второго завтрака — всякий раз, как блюда менялись или же листки утрачивали свою первоначальную свежесть.

Шуленберг, со своей стороны, должен был посылать ей с официантом — по возможности любезным — еду трижды *per diem* {В день (лат.).} и заранее вручать ей карандашный черновик того, что судьба припасла клиентам Шуленберга назавтра.

Обе стороны оказались полностью удовлетворены соглашением. Посетители ресторана «Домашний стол» знали теперь названия подаваемых блюд, если даже порой становились в тупик, пытаясь разобраться в их субстанции. А Сара в течение всей холодной, унылой зимы была обеспечена питанием, что для нее было самое главное.

Однажды календарь солгал, он заявил, что наступила весна. Но весна наступает тогда, когда она действительно наступает. А в переулках еще лежали смерзшиеся и сверкающие, как алмаз, январские снега. Шарманки продолжали наигрывать «Веселое летнее времечко» с декабрьским пылом и экспрессией. Многие предусмотрительные люди получили месячную рассрочку на покупку пасхальных обновок. В доходных домах отключили отопление. А когда все это происходит, каждому ясно, что город еще в цепких когтях зимы.

Как-то под вечер Сара сидела дрожа в своей элегантной «комнате на одного» («паровое отопление; безупречная чистота; все удобства; убедитесь лично»). У Сары не было никакой работы, кроме шуленберговских меню. Она сидела в своей скрипучей плетеной качалке и глядела в окно. Календарь на стене кричал ей не переставая: «Сара, пришла весна! Говорю тебе: уже весна, весна! Ты только взгляни на меня, на мои милые, весенние числа! Между прочим, ты и сама очень мила, и в тебе тоже есть что-то весеннее. Что же ты глядишь в окно так печально?»

³⁹ «Пусть устрицей мне будет этот мир.

Его мечом я вскрою!»

(Слова Пистоля, персонажа из «Виндзорских насмешниц» Шекспира. Перевод С. Маршака и М. Морозова.)

Окно выходило во двор, и прямо перед ним высилась глухая кирпичная стена картонажной фабрики. Но для Сары стена была прозрачна, как хрусталь, и сквозь него она видела деревенский проулок, заросший травкой, затененный вишневыми деревьями и вязами, обсаженный кустами малины и китайской розы.

Подлинные вестники Весны трудно уловимы глазом или ухом. Для одних это расцветший крокус, или усыпанное желтыми цветочками деревце кизила, этого лесного красавца, или же первые ноты певчей птицы. А другим требуется такой грубый намек, как прощание с устрицами и гречневой кашей, чтобы их тусклые души осознали приближение Леди в Зеленом Наряде. Но до истинного избранника, детища матери-природы, ее нежные послания доходят мгновенно, заверяя его, что он не станет ее пасынком, если только сам того не пожелает.

Прошлым летом Сара жила в деревне и полюбила фермера.

(Запомните: будете писать рассказ, никогда не тяните его вот так вспять. Это гасит интерес читателя. Рассказ должен двигаться вперед, вперед!)

Сара пробыла на ферме «Солнечный ручей» две недели. И за это время полюбила Уолтера, сына старого фермера Франклина. В фермеров влюблялись, женили их на себе и отпускали обратно на родные пастбища и за более краткий срок. Но юный Уолтер Франклин был земледельцем современного образца. У него был телефон в коровнике, и он мог с точностью определить, как повлияет урожай пшеницы в Канаде в будущем году на картофель, посаженный неведомо когда.

В этом тенистом, заросшем малиной проулке Уолтер ухаживал за ней и покорила ее сердце. И они сели рядышком, вместе сплели венок из одуванчиков и увенчали им голову Сары.

Уолтер безмерно восхищался эффектным сочетанием желтых цветов с ее темными косами. Она так и вернулась на ферму в этом золотом венце, вертя в руках свою соломенную шляпу.

Они уговорились пожениться весной — в самом начале весны, уточнил Уолтер. И Сара вернулась в город выбивать дробь на своей машинке.

Стук в дверь развеял видения того счастливого дня. Официант принес испещренный угловатыми знаками Шуленберга черновой карандашный набросок завтрашнего меню.

Сара села за машинку и вставила в валик чистый листок. Она работала проворно. Обычно за полтора часа все листки до одного бывали готовы.

Сегодня изменений в преискуранте оказалось больше обычного. Супы легче; свинина из холодных мясных блюд изъята, фигурирует лишь среди жарких (с гарниром из русской репы). Весь список яств был овеян свежим весенним дыханием. Барашек, только что резвившийся на зазеленевших холмах, подвергся эксперименту под соусом из молодой зелени, как бы послужившим памятником его резвым прыжкам. Пение устрицы если и не вовсе умолкло, звучало *diminuendo con amore*. {*Нежно затихая (ит.)*.} Сковорода, уже ненужная, удалилась на покой, уступив место рашперу. Список паштетов удлинился; сдобные пудинги исчезли; сосиски в своих тестяных одеяльцах и гречневая каша замирали в приятной летаргии. А среди сладких блюд сироп из кленового сахара был, можно сказать, обречен.

Пальцы Сары плясали, как мошкара над летним ручьем. Она отстукивала строку за строкой, зорко следя, чтобы каждое слово получало место, соответствующее его длине и содержанию.

Как раз перед десертом шел список овощных блюд. Морковь, зеленый горошек, гренки со спаржей, извечные помидоры, кукуруза, бобы, капуста и...

Сара плакала над преискурантом ресторана. Слезы, скопившиеся в глубинах отчаяния, наполнили ей сердце и устремились к глазам. Голова ее опустилась на машинку, и каретка задрезжала сухим аккомпанементом к ее влажным рыданиям.

Дело в том, что вот уже две недели, как от Уолтера не было писем, а в меню после капусты упоминались одуванчики — одуванчики с каким-то там соком... Одуванчики с их золотыми цветами, которыми Уолтер короновал свою королеву сердца и невесту, —

одуванчики, вестники весны и горестный венец ее горестей — напоминание о счастливейших днях!

Не думаю, сударыня, что вы бы улыбались, если бы вас подвергли такому испытанию — если бы те чайные розы, которые ваш Перси преподнес вам в тот вечер, когда вы подарили ему свое сердце, полили бы французским соусом и поставили перед вами за табльдотом у Шуленберга. Если бы Джульетта увидела, что знакам ее любви нанесено подобное оскорбление, она бы еще раньше обратилась к доброму аптекарю за травами, дарующими вечный покой.

Но какая она кудесница, эта Весна! Ей нужно было послать весть о себе в огромный, холодный, одетый в камень и металл город, и она сумела найти посланца — маленького, скромного обитателя полей в простеньком зеленом плаще. Да, он истинный слуга судьбы, этот одуванчик! В пору своего цветения помогает влюбленным, вплетаясь в венок для девы с каштановыми волосами; юный и упругий, еще не расцветший, попадает на кухню и таким образом вручает адресату послание от своей всемогущей госпожи.

Понемногу Сара справилась со слезами: надо было печатать меню. Все еще озаренная слабым золотистым блеском одуванчиковой мечты, она рассеянно нажимала на клавиши, а мысли ее и чувства продолжали бродить в зеленом проулке близ фермы «Солнечный ручей». Но вскоре она поспешила вернуться к каменным колодцам Манхэттена, и машинка начала тарыхтеть и подпрыгивать, как грузовик штрейкбрехера.

В шесть часов официант принес ей обед и унес отпечатанные меню. За обедом Сара со вздохом отставила в сторону салат из одуванчиков. Как яркие цветы превратились в недостойную снедь, в унылую, темноватую массу, так завяли и погибли мечты Сары. Допустим, что любовь, как сказал Шекспир, питается сама собой. Но Сара не могла принудить себя съесть одуванчики, украсившие, как драгоценности, ее первый праздник истинной сердечной любви.

В половине восьмого пара в соседней комнате затеяла ссору. Жилец в комнате этажом выше пытался извлечь ля из своей флейты. Газ в рожке еще поубавился. Во дворе стали разгружать один за другим три угольных фургона — единственная звуковая симфония, которой может позавидовать граммофон. Кошки на заборе медленно отступили к Мукдену.⁴⁰

Все это служило Саре сигналом, что пора приняться за чтение. Она взяла «Монастырь и очаг»⁴¹ — книгу, побившую в этом месяце рекорд по отсутствию спроса, — поставила ноги на сундучок и пустилась в странствие вместе с Жераром.

У входной двери раздался звонок. Хозяйка пошла открывать. Сара оставила Жерара и Дени загнанными медведем на дерево и прислушалась. Да-да, вы сделали бы то же самое. И она услышала громкий голос внизу лестницы. Сара вскочила, книга упала на пол — первый раунд Жерара с медведем явно закончился в пользу последнего.

Вы угадали. Она успела добежать до площадки как раз в ту минуту, когда молодой фермер, вихрем взлетев по ступеням, сжал и убрал ее в житницу всю без остатка, не потеряв ни единого драгоценного колоска.

— Почему ты не писал, ну почему? — воскликнула Сара.

— Нью-Йорк — городок довольно вместительный, — ответил Уолтер Франклин. — Я приехал неделю тому назад, пошел по твоему старому адресу. Сказали, что ты выехала в прошлый четверг. Ну, думаю, хорошо еще, что хоть не в пятницу — не сулит неудачи. Но все же целую неделю за тобой охотился, и полицию пришлось брать в подмогу.

— Но я же тебе все написала! — сказала Сара с горячностью.

— Да, но письма-то я не успел получить.

— Как же ты все-таки меня разыскал?

⁴⁰ При Мукдене происходили военные действия во время русско-японской войны 1904–1905 гг.

⁴¹ «Монастырь и очаг» — исторический роман английского писателя Чарльза Рида (1814–1884).

Уолтер улыбнулся весенней улыбкой.

— Зашел сегодня поесть тут рядом, в ресторан «Домашний стол», — сказал он. — Пусть думают, что хотят, но в это время года мне еда не еда без свежей зелени. Я проглядел их меню, так славно отпечатанное на машинке, поискал чего-нибудь подходящего. Когда я увидел то, что напечатано после «Капуста красная», я опрокинул стул и стал во все горло звать хозяина. Он сказал мне, где ты живешь.

— Да, помню, — проговорила Сара с радостным вздохом. — За капустой шли одуванчики, одуванчики с лимонным соком.

— Это кривое заглавное «М» у твоей машинки я где хочешь узнаю, — сказал Уолтер.

— Но в слове «одуванчики» нет заглавного «М»! — воскликнула Сара недоумевающе.

Молодой человек извлек из кармана листок и указал на одну из напечатанных на нем строчек.

Сара сразу же узнала тот первый экземпляр меню, который печатала днем. В правом верхнем углу его заметно было слабое расплывшееся пятнышко от оброненной слезы. Но на том месте, где следовало бы прочесть название блюда из полевого цветка, неотступное воспоминание о золотистом венке заставило ее пальцы отстукать странные буквы.

Между «Капустой красной» и «Зеленым фаршированным перцем» стояло:

МИЛЫЙ УОЛТЕР С ЛИМОННЫМ СОКОМ.

Зеленая дверь

Перевод Н. Дехтеревой

Вообразите, что после обеда вы шагаете по Бродвею и на протяжении десяти минут, потребных на то, чтобы выкурить сигару, обдумываете выбор между забавной трагедией или чем-нибудь серьезным в жанре водевиля. И вдруг вашего плеча касается чья-то рука. Вы оборачиваетесь, и перед вами дивные глаза обворожительной красавицы в бриллиантах и русских соболях. Она поспешно сует вам в руку невероятно горячую булочку с маслом и, сверкнув парой крохотных ножниц, в один миг отхватывает ими верхнюю пуговицу на вашем пальто. Затем многозначительно произносит одно лишь слово: «параллелограмм!» — и, боязливо оглядываясь, скрывается в переулке.

Вот все это и есть настоящее приключение. Вы бы на это откликнулись? Вы — нет. Вы бы залились краской смущения, конфузливо уронили булочку и зашагали бы дальше, неуверенно шаря рукой по тому месту на пальто, откуда только что исчезла пуговица. Именно так вы и поступили бы, если только не принадлежите к тем немногим счастливым, в которых еще не умерла живая жажда приключений.

Истинные искатели приключений всегда были наперечет. Те, которых увековечило печатное слово, были большей частью лишь трезвые, деловые люди, действовавшие новоизобретенными методами. Они стремились к тому, что им требовалось: золотое руно, чаша святого Грааля, любовь дамы сердца, сокровища, корона или слава. Подлинный искатель приключений с готовностью идет навстречу неведомой судьбе, не задаваясь никакой целью, без малейшего расчета. Отличным примером может послужить Блудный сын — когда он повернул обратно к дому.

Псевдоискатели приключений — хотя личности яркие, отважные, — крестоносцы, венценосцы, меченосцы и прочие — водились во множестве, обогащая историю, литературу и издателей исторических романов. Но каждый из них ждал награды: получить приз, забить гол, посрамить соперника, победить в состязании, создать себе имя, свести с кем-либо счеты, нажать состояние. Так что их нельзя отнести к категории истинных искателей приключений.

В нашем большом городе духи-близнецы — Романтика и Приключение — всегда наготове, всегда в поисках своих достойных почитателей. Когда мы бредем по улице, они тайком поглядывают на нас, заманивают, прикрываясь десятками различных масок Неведомо

почему, мы вдруг вскидываем глаза и видим в чужом окне лицо, явно принадлежащее к нашей портретной галерее самых близких людей. В тихой, сонной улочке из-за наглухо закрытых ставен пустого дома мы ясно слышим отчаянный крик боли и страха. Кебмен, вместо того чтобы подвести вас к привычному подъезду, останавливает свой экипаж перед незнакомой вам дверью, и она приветливо открывается, как бы приглашая вас войти. Из высокого решетчатого окна Случая к вашим ногам падает исписанный листок. В спешащей уличной толпе мы обмениваемся взглядами мгновенно вспыхнувшей ненависти, симпатии или страха с совершенно чужими нам людьми. Внезапный ливень — и, быть может, ваш зонт укроет дочь Полной Луны и кухню Звездной Системы. На каждом углу падают оброненные платки, манят пальцы, умоляют глаза, и вот уже в руки вам суют отрывочные, непонятные, таинственные, восхитительные и опасные нити, которые тянут вас к приключению. Но мало кто из нас захочет удержать их, пойти туда, куда они поведут. Наша спина, вечно подпираемая железным каркасом условностей, давно заостенела. Мы проходим мимо. И когда-нибудь на склоне нашей унылой, однообразной жизни мы подумаем о том, что Романтика в ней особой яркостью не отличалась — одна-две женитьбы, атласная розетка, запрятанная на дно ящика, да извечная непримиримая вражда с радиатором парового отопления.

Рудольф Штейнер был истинным искателем приключений. Редкий вечер не выходил он из своей «комнаты на одного» в поисках неожиданного, необычного. Ему всегда казалось, что самое интересное, что только дает жизнь, поджидает его, быть может, за ближайшим углом. Порой желание испытать судьбу заводило его на странные тропы. Дважды он провел ночь в полицейском участке. Вновь и вновь становился жертвой плутов, облежавших его карманы. За лестное дамское внимание ему пришлось расплатиться и кошельком и часами. Но с неослабевающим пылом поднимал он каждую перчатку, брошенную ему на веселой арене Приключения.

Однажды вечером Рудольф прогуливался в старой центральной части города. По тротуару текли людские потоки — одни спешили к домашнему очагу, другие — беспокойный народ! — покинули его ради сомнительного уюта тысячесвечного табльдота.

Молодой и приятной внешности искатель приключений был в ясном расположении духа, но преисполнен ожидания. Днем он служил продавцом в магазине роялей. Галстук он не закреплял булавкой, а пропускал его концы сквозь кольцо с топазом. И однажды он написал издателю некоего журнала, что из всех прочтенных им книг самое сильное влияние на его жизнь оказал роман «Испытания любви Джуни», сочинение мисс Либби.⁴²

Громкое лязганье зубов в стеклянном ящике, выставленном на тротуаре, заставило было его (не без внутреннего трепета) обратить внимание на ресторан, перед которым упомянутый ящик был выставлен, но в следующую минуту он обнаружил над соседней дверью электрические буквы вывески дантиста. Стоя подле двери, ведущей к дантисту, огромного роста негр в фантастическом наряде — красный, расшитый галунами фрак, желтые брюки и военное кепи — осторожно вручал какие-то листки тем из прохожих, кто соглашался их принять.

Этот вид зубоврачебной рекламы был для Рудольфа знакомым зрелищем. Обычно он проходил мимо, игнорируя визитные карточки дантистов. Но в этот раз африканец так проворно сунул ему в руки листок, что Рудольф не выбросил его и даже улыбнулся тому, как ловко это было сделано.

Пройдя несколько шагов, Рудольф равнодушно глянул на листок. Удивленный, он перевернул его и потом снова рассмотрел, уже с интересом. Одна сторона листка была чистая, на другой чернилами было написано: «Зеленая дверь». И тут Рудольф увидел, что шагавший впереди прохожий выбросил на ходу листок, также врученный ему негром. Рудольф поднял листок, посмотрел: фамилия и адрес дантиста с обычным перечнем — «протезы», «мосты»,

⁴² Либби Лора Джин (1862–1924) — американская писательница, автор популярных в свое время сентиментальных романов.

«коронки» и красноречивые посулы «безболезненного удаления».

Адепт Великого Духа Приключений и продавец роялей остановился на углу и задумался. Затем перешел на противоположную сторону улицы, отшагал квартал в обратном направлении, вернулся на прежнюю сторону и слился с толпой, движущейся туда, где сияла электрическая вывеска дантиста. Проходя вторично мимо негра и делая вид, что не замечает его, Рудольф небрежно принял листок, снова предложенный ему. Шагов через десять он осмотрел новый листок. Тем же самым почерком, что и на первом, на нем было выведено: «Зеленая дверь». Поблизости на тротуаре валялись три подобных же листка, брошенных шагавшими впереди или позади Рудольфа — все листки упали чистой стороной вверх. Он поднял их и осмотрел. На всех он прочел соблазнительные приглашения зубокабинета.

Быстрому, резвому Духу Приключений редко приходилось манить Рудольфа Штейнера, своего верного почитателя, дважды, — но на этот раз призыв был повторен, и рыцарь поднял перчатку.

Рудольф опять повернул назад, медленно прошел мимо стеклянного ящика с лязгающими зубами и негра-гиганта. Но листка он не получил. Несмотря на нелепый, пестрый наряд, негр держался с достоинством, присущим его сородичам, вежливо предлагая карточки одним, других оставляя в покое. Время от времени он выкрикивал что-то громкое и невразумительное, сходное с возгласами трамвайных кондукторов, объявляющих остановки, или с оперным пением. Но он не только оставил Рудольфа без внимания — молодому человеку даже показалось, что широкое, лоснящееся лицо африканца выражало холодное, почти уничтожающее презрение.

Взгляд негра словно ужалил Рудольфа. Его сочли недостойным! Что бы ни означали таинственные слова на листке, чернокожий дважды избрал его среди толпы. А теперь, казалось, осудил как слишком ничтожного умом и духом, чтобы его можно было привлечь загадкой. Встав в стороне от толпы, молодой человек быстрым взглядом окинул здание, в котором, как он решил, скрывалась разгадка тайны. Дом поднимался на высоту пяти этажей. Его полуподвальный этаж занимал небольшой ресторан.

На первом этаже, где все было на запоре, по-видимому, продавались шляпки или меха. На втором, судя по мигающим электрическим буквам, расположился дантист. На следующем этаже царил вавилонское многоязычие вывесок: гадалки, портнихи, музыканты и врачи. Еще выше задернутые занавески на окнах и белевшие на подоконниках молочные бутылки заверяли, что здесь область домашних очагов.

Завершив обзор, Рудольф взлетел по крутым каменным ступеням, ведущим в дом. Быстро поднявшись по крытым ковром лестницам до третьего этажа, он остановился. Здесь площадка еле освещалась двумя бледными газовыми рожками. Один мерцал где-то далеко в коридоре направо; другой, поближе, — налево. Рудольф глянул влево и в слабом свете рожка увидел зеленую дверь. Мгновение он колебался. Но тут же вспомнил оскорбительную насмешку на лице африканского жонглера карточками и, не раздумывая более, шагнул прямо к зеленой двери и постучал.

Секунды, подобные тем, что последовали за его стуком, соразмерны быстрому дыханию истинного приключения. Только подумать, что может ожидать его по ту сторону! Игроки за карточным столом; хитрые пройдохи, с тонким расчетом раскладывающие приманки в свои западни; красавица, превыше всего ценящая отвагу и решившая покориться только смельчаку. Опасность, смерть, любовь, разочарование, насмешки — все может быть ответом на этот безрассудный стук.

Изнутри послышался слабый шорох, и дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девушка, еще не достигшая и двадцати лет, — она была бледна, еле держалась на ногах. И вдруг выпустила дверную ручку, покачнувшись, попыталась найти опору, шаря рукой в воздухе, — Рудольф успел подхватить ее и уложил на кушетку с полинялой обивкой, стоявшую у стены. Дверь он закрыл и при еле мерцающем свете газового рожка быстро оглядел комнату. Чисто, опрятно, но все говорило о самой крайней нужде.

Девушка лежала неподвижно, очевидно, в обмороке. Рудольф озабоченно оглядел комнату в поисках бочки, на которой он мог бы... нет-нет, не то, это если кто утонет... Он принялся обмахивать девушку своей шляпой. Это дало желанный эффект — он задел ее по носу полями своего котелка, и она открыла глаза. И тут наш молодой человек увидел, что ее лицо, несомненно, и есть недостающий портрет из его сердечной галереи самых близких. Честные серые глаза, задорный, вздернутый носик, каштановые волосы, вьющиеся, как усики душистого горошка, — все это было правильным заключительным аккордом и венцом всех его удивительных приключений. Но какое же это было худое и бледное личико!

Она взглянула на него спокойно, потом улыбнулась.

— У меня был обморок, да? — проговорила она слабым голосом. — Хоть с кем могло случиться, будь он на моем месте. Попробуйте не есть три дня, сами убедитесь.

— Himmel! *{О небо! (нем.)}* — воскликнул Рудольф, вскакивая с места. — Ждите меня, я вернусь мигом!

Он бросился к двери и вниз по лестнице. Через двадцать минут он уже снова стоял у зеленой двери, стуча в нее ногой: в руках у него была охапка снеди из бакалейной лавки и ресторана. Все это он выложил на стол — хлеб, масло, холодное вареное мясо, пирожные, паштет, маслины, устрицы, жареного цыпленка, одну бутылку с молоком и одну с чаем, горячим, как огонь.

— Смешно, нелепо устраивать голодовки, — заговорил Рудольф громко, с нарочитой строгостью. — Раз и навсегда прекратите такого рода пари. Ужин готов.

Он помог ей сесть за стол и спросил:

— Чашка для чая имеется?

— На полке у окна.

Когда Рудольф вернулся с чашкой, девушка, блестя глазами, уже принялась за крупную маслину, которую успела извлечь из пакета, с безошибочным женским инстинктом угадав его содержимое.

Рудольф, смеясь, отобрал маслину и налил полную чашку молока.

— Сперва выпейте это, — распорядился он, — потом чай и крылышко цыпленка. Маслину получите завтра, если будете умницей. А теперь, если разрешите быть вашим гостем, приступим к ужину.

Он пододвинул к столу второй стул. От чая глаза у девушки оживились, лицо чуть порозовело. Она ела с изысканной жадностью, как изголодавшийся дикий зверек. Присутствие в комнате постороннего молодого человека и предложенную им помощь она, казалось, рассматривала как нечто само собой разумеющееся. Не потому, что мало придавала значения условностям, а потому, что естественное, заложенное в человеке природой чувство голода дало ей право на время забыть об искусственном и условном. Однако постепенно, по мере того как восстанавливались ее силы и самочувствие, с ними вместе вернулись и все привычные маленькие условности.

Она рассказала ему свою нехитрую историю — одну из тысячи таких, над которыми ежедневно зевает город, — историю продавщицы в магазине. Жалкая оплата, еще урезаемая «штрафами», которые повышают доходы хозяина; болезнь, зря потерянное время. А потом потеря места, потеря надежд и — и в зеленую дверь стучит искатель приключений.

Но в ушах Рудольфа этот рассказ прозвучал как «Илиада» — или как кульминационная сцена в романе «Испытания любви Джуни».

— Боже мой, только подумать, что вам пришлось пережить! — воскликнул он.

— Да, просто ужас, — сказала девушка с величайшей серьезностью.

— И у вас здесь нет ни родственников, ни друзей?

— Ни души.

— У меня тоже, — проговорил Рудольф, помолчав.

— Я очень этому рада, — ответила девушка без запинки. И молодому человеку почему-то было очень приятно услышать, что ее радует его одинокое существование.

Вдруг как-то сразу веки у нее стали слипаться, и она глубоко вздохнула.

— Ужасно хочется спать... Мне так хорошо...

Рудольф встал, взял шляпу.

— В таком случае пожелаю вам спокойной ночи. Крепкий длительный сон именно то, что вам нужно.

Он протянул руку, девушка приняла ее и сказала «спокойной ночи». Но в глазах у нее был такой красноречивый, такой откровенный, такой вызывающий вопрос, что Рудольф ответил на него словами:

— Да, конечно, завтра я зайду проверить, как у вас дела. Вам от меня так легко не отделаться.

Только когда он уже стоял у порога, она спросила, как он попал к ней, словно по сравнению с самим фактом его появления это обстоятельство было столь маловажно!

— Почему вы постучали ко мне?

Он взглянул на нее, вспомнил листки, которые раздавал негр, и сердце у него сжалось от ревности и боли. Что, если бы они попали в другие руки — в руки таких же искателей приключений, как он сам? Рудольф мгновенно решил, что она никогда не должна узнать правду. Он никогда не скажет, что ему известна та странная мера, на которую ее толкнула безвыходность положения.

— Один из наших настройщиков живет в этом доме, — сказал он. — Я ошибся дверью.

Последнее, что видел Рудольф перед тем, как за ним закрылась зеленая дверь, была улыбка девушки.

На лестничной площадке он с любопытством огляделся. Потом прошелся во всю длину коридора сперва в один его конец, потом в другой. Затем поднялся выше, продолжая проверять ошеломляющее открытие: все двери в доме были выкрашены в зеленый цвет.

Все еще недоумевая, он спустился вниз, вышел на улицу. Африканец в фантастическом наряде стоял на прежнем месте. Рудольф протянул ему оба свои листка.

— Объясните, почему вы дали мне эти листки и что они значат? — спросил он.

Широкая, добродушная улыбка на лице негра послужила отличной рекламой его работодателю.

— Вон там, — проговорил он, указывая вдоль улицы. — Только к первому акту вы уже опоздали!

Проследовав взглядом туда, куда указывал негр, Рудольф увидел ослепительные электрические буквы над театральным подъездом, возвещавшие название новой постановки: «ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ»

— Я слышал, босс, пьеса первый сорт, — сказал негр. — Их агент дал мне доллар, сказал, чтоб я раздал немного их бумажек, вместе с докторскими. Могу я предложить вам и докторскую карточку, сэр?

На углу квартала, где он жил, Рудольф зашел выпить кружку пива и взять сигару. Закурив, он вышел на улицу, застегнул пальто на все пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и заявил решительно, обращаясь к ближайшему уличному фонарю:

— Все равно, я верю, что сам перст Судьбы указал мне дорогу к той, кто мне нужен.

И этот вывод, учитывая вышеописанные обстоятельства, безусловно, позволяет причислить Рудольфа Штейнера к истинным последователям Романтики и Приключения.

С высоты козел

Перевод Н. Дехтеревой

У кебмена свой особый взгляд на вещи, и, возможно, более цельный и вместе с тем односторонний, нежели у кого-либо, избравшего иную профессию. Покачиваясь на высоком сиденье, он взирает на ближних своих как на некие кочующие частицы, не имеющие ни малейшего значения, пока их не охватит стремление к миграции. Он — возница, а вы —

транспортируемый товар. Президент вы или бродяга — кебмену безразлично, вы для него всего лишь седок. Он вас забирает, щелкает хлыстом, вытрясает из вас душу и высаживает вас на месте назначения.

Если в момент оплаты вы обнаружите знакомство с узаконенной таксой, вы узнаете, что такое презрение; если же выяснится, что ваш бумажник забыт дома, вам станет очевидна скудость воображения Данте.

Не следует отвергать теорию, утверждающую, что ограниченная целенаправленность кебмена и его суженная точка зрения на жизнь есть результат конструкции самого экипажа. Подобно Юпитеру, кебмен возвышается над вами, безраздельно занимая свое высокое место, и держит вашу судьбу меж двух неустойчивых кожаных ремней. А вы — беспомощный, нелепый узник, болтая головой, словно китайский болванчик, — вы, перед кем на твердой земле пресмыкаются лакеи, — вы должны, как мышь в мышеловке, пищать в узкую щель вашего странствующего саркофага, чтобы ваши робкие пожелания были услышаны.

При этом вы даже не седок в экипаже, вы его содержимое. Вы груз корабельного трюма, и «херувим, на небесах сидящий»,⁴³ отлично знает, где именно идут ко дну корабли.

Как-то вечером из большого кирпичного жилого дома — всего через дом от «Семейного кафе» Мак-Гэри — доносились звуки шумного веселья. Они исходили, по-видимому, из квартиры семейства Уолш. Весь тротуар был забит пестрой толпой любопытных соседей, время от времени теснившихся, чтобы дать проход посланцу из кафе Мак-Гэри, несущему всевозможные предметы, предназначенные для пиршества и увеселений. Зеваки на тротуаре были заняты пересудами и обменом мнений, из которых нетрудно было понять основную тему: Нора Уолш справляет свадьбу.

В положенное время на тротуар высыпали и гости. Неприглашенные столпились вокруг них, проникли в их гущу, и ночной воздух наполнился веселыми возгласами, поздравлениями, смехом и тем трудноописуемым шумом, который явился, не без помощи Мак-Гэри, результатом возлияний в честь Гименя.

У обочины тротуара стоял кеб Джерри О'Донована. «Ночной ястреб» — вот какое прозвище получил этот возница. Но из всех кебов, чьи дверцы когда-либо захлопывались за пеной кружев и ноябрьскими фиалками, он был самый чистенький и блестящий. А конь? Нимало не преувеличивая, могу сказать, что он был набит овсом до такой степени, что даже одна из тех престарелых леди, которые оставляют дома посуду невымытой и бегут требовать, чтобы арестовали ломового извозчика, улыбнулась бы — да-да, улыбнулась бы, увидев лошадь Джерри О'Донована.

В этой не стоящей на месте, громкозвучной, вибрирующей толпе мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей и ветров; его нос морковкой, пострадавший от столкновений с игривыми, полными сил отпрысками миллионеров и с несговорчивыми седоками; его зеленое с медными пуговицами одеяние, так восхищавшее население кварталов, окружавших кафе Мак-Гэри. Было очевидно, что Джерри взял на себя функции своего экипажа и «нагрузился» сам. Эту метафору можно развернуть далее и уподобить его особому виду перевозочного средства типа цистерны, если принять показания юного свидетеля, утверждавшего, что «Джерри налился до краев».

Откуда-то из толпы подле дома или из тонкого ручейка прохожих отделилась молодая женщина, быстрым, легким шагом направилась к экипажу и остановилась возле него. Профессиональный ястребиный глаз Джерри уловил это движение. Он ринулся к своему кебу, на пути сбив с ног трех или четырех зевак, и сам... нет, он успел ухватиться за водопроводный кран и удержался на ногах. Подобно моряку, который во время шквала карабкается по вантам, Джерри взобрался на свое законное место. И едва он оказался там, как флюиды из кафе Мак-Гэри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань-мачте своего сухопутного судна,

⁴³ Строка из стихотворения «Бедный Джек» английского поэта Чарльза Дибдина (1745–1814), известного своими морскими песнями.

он был там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолаз на небоскребе.

— Входите, леди, — проговорил Джерри, берясь за вожжи.

Молодая женщина вошла в кеб. С шумом захлопнулись дверцы, в воздухе щелкнул хлыст Джерри, толпа возле дома растаяла, и щегольской экипаж помчался по улице.

Когда бодрый потребитель овса несколько сбавил первоначальную прыть, Джерри приоткрыл створку на верху кеба и, стараясь быть любезным, спросил через узкую щель голосом, напоминающим треснувший мегафон:

— И куда же мы теперь двинем?

— Куда угодно, — ответили ему приятным и довольным тоном.

«Катается, значит, просто для удовольствия», — подумал Джерри. И затем предложил как нечто само собой разумеющееся:

— Прокатимся по парку, леди. И прохладно будет, и по-благородному.

— Пожалуйста, как угодно, — приветливо согласилась пассажирка.

Кеб двинулся в направлении к Пятой авеню и быстро помчался по этой превосходной улице. Джерри покачивался и подпрыгивал на своем сиденье. Притихшие было мощные флюиды Мак-Гэри ожили и посылали новые пары в голову возницы. Он запел старинную песню деревни Киллиснук, размахивая хлыстом, как дирижерской палочкой.

Пассажирка в кебе сидела на подушках выпрямившись, глядя то налево, то направо, разглядывая дома и огни города. Даже в полутемном кебе глаза ее сияли, как звезды в сумерках.

Когда они подъезжали к Пятьдесят девятой улице, голова Джерри болталась и вожжи в его руках ослабли. Но лошадка по собственному почину завернула в ворота парка и начала свой всегдашний ночной маршрут. Пассажирка блаженно откинулась на спинку сиденья и глубоко вдохнула чистые, здоровые запахи травы, листьев и цветущих деревьев. А мудрое животное в оглоблях, зная свое дело, держалось правой стороны и бежало той рысцой, которая полагается при оплате «по часам».

Привычка взяла свое и успешно одолела все растущее отупение Джерри. Он приоткрыл верхний люк своего раскачиваемого бурей судна и задал вопрос, стереотипный для кебменов, захавших в парк:

— Как насчет «Казино», леди, не желаете там остановиться? Подкрепиться, музыку послушать и прочее. Все туда заглядывают.

— Я думаю, это было бы очень приятно, — последовал ответ.

Они подкатили к «Казино», и кеб, дав сильный крен, остановился. Дверцы распахнулись. Пассажирка вышла и мгновенно оказалась в плену восхитительной музыки и целого моря огней и красок. Кто-то сунул ей в руку квадратный кусочек картона, на котором стояло число «34». Она оглянулась, увидела, что ее кеб отъехал от подъезда шагов на тридцать и уже занимает место среди множества других карет, кебов и автомобилей. Затем кто-то, у кого, казалось, самым приметным в костюме была манишка, изящно попятился перед ней, приглашая войти. В следующую минуту она уже сидела за столиком возле перил, над которыми склонились ветви жасмина.

Почувствовав молчаливое приглашение заказать что-нибудь, она проверила в тощем кошельке наличие мелких монет, и они дали ей право на кружку пива. Она сидела, вбирая в себя жизнь в новом ее цвете и форме, — жизнь в сказочном дворце среди заколдованного леса.

За пятьюдесятью столиками сидели принцы и королевы в невиданных шелках и драгоценностях. Время от времени кто-нибудь кидал любопытный взгляд на пассажирку Джерри. Они видели простенькую фигурку в розовом платье из шелка, облагороженного наименованием «фуляр», и простенькое личико, выражавшее такую жизнерадостность, что королевам становилось завидно.

Уже дважды длинные стрелки часов совершили свой круг. Королевские особы покинули троны *al fresco*, {Под открытым небом (исп.).} и великолепные колесницы унесли их под шум моторов или стук копыт. Музыка скрылась в деревянные футляры или кожаные и фланелевые чехлы. Официанты снимали скатерти со столиков рядом с тем, за которым сидела, теперь уже

почти в одиночестве, простенькая фигурка, и выразительно на нее поглядывали.

Пассажирка Джерри встала и протянула одному из них свой кусочек картона.

— Что-нибудь полагается по этому билету?

Официант объяснил, что это номер ее кеба и что она должна вручить его человеку у подъезда. Человек у подъезда выкрикнул номер. У «Казино» теперь дожидалось всего три экипажа. Один из возниц слез с козел и выволок Джерри, уснувшего в своем кебе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и кеб тут же помчался в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь.

Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Он остановил коня, приоткрыл люк и, как свинцовый лот, кинул вниз свой хриплый голос:

— Сперва я хочу получить мои четыре доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?

— Четыре доллара? — мягко рассмеялась пассажирка. — Бог ты мой, конечно нет. У меня всего несколько центов и две-три десятицентовых монетки.

Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт приглушил, но не заглушил голос, изрыгающий страшные проклятия: задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший возчик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчался туда галопом.

Он остановился у подъезда с зелеными фонарями. Рванув дверцу кеба, он тяжело спрыгнул с козел.

— Вылезайте, — сказал он грубо.

Пассажирка вышла — на ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в «Казино». Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кебмен встречались не впервые.

— Сержант, — начал было Джерри своим обычным тоном жалобщика — хриплым, оскорбленным и грозным. — Сержант, вот у меня пассажирка, так она...

Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями Мак-Гэри, начинал рассеиваться.

— Да, пассажирка, сержант, — продолжал он, ухмыляясь, — которую желаю вам представить. Это моя жена, женился на ней нынче вечером — гуляли у ее отца, старика Уолша. Уж так гуляли, только держись, право слово. Ну, поздоровайся с сержантом, Нора, и поехали домой.

Прежде чем снова сесть в кеб, Нора испустила глубокий вздох.

— Я так чудесно провела время, Джерри, — сказала она.

Неоконченный рассказ

Перевод под ред. М. Лорие

Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то,

что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придаться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен.

Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади,⁴⁴ но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и непохоже было, чтобы нас выдали им на поруки.

Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые...

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь Бог... то есть, виноват, ваше преподобие, Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит, в главной книге Первичной Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо, вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорилась пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блестели. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной получки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезают из вишневых косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не устаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были, собственно говоря, предназначены на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их

⁴⁴ Одежда протестантских священников.

сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удастся проковырять, так что условимся называть его стойким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете силою в четверть свечи мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Дэлси. На комодке помещались ее сокровища: фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюде и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Китченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует — ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю и две воскресных газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и...

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписанных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: у Свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и великодушные кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это — определенный тип: хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от

обеда) были ей очень к лицу.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — «мот». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов... постойте, постойте... нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там...

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она. — Фамилия Уиггинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусилла нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Китченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.

Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и проплакала десять минут. Генерал Китченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Китченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил Свинку. Да, на этот вечер.

Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В девять часов Дэлси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Китченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси нагрубила генералу Китченеру, это не предвещало ничего хорошего. А потом она

сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Китченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.

Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Китченеру случится отвернуться: и тогда...

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертие, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

Калиф, Купидон и часы

Перевод З. Львовского

Принц Михаил, курфюрст Валлелунский, сидел на своей любимой скамье в парке. Острый холодок сентябрьского вечера, точно редкостное подкрепляющее вино, заставлял кровь сильнее обращаться в его жилах. Большинство скамеек в парке было не занято, потому что парковые аборигены, с их стоячей кровью, боялись осенней сырости и предпочитали проводить холодные ночи под каким-нибудь кровом. Луна только что поднялась над крышами домов, которые окаймляли всю восточную часть парка. Дети играли, прыгали и смеялись вокруг весело журчащего фонтана. В наиболее затененных местах фавны энергично ухаживали за дриадами и почти не обращали никакого внимания на любопытные взгляды смертных. Где-то на боковой улице визжала и стонала шарманка. Вокруг парка шумели и гремели трамваи, а огромные автобусы рычали, словно львы или тигры, и требовали, чтобы все и вся расступалось на их пути. А высоко над деревьями сиял большой круглый циферблат изнутри освещенных часов на башне старинного общественного строения.

Сапоги принца Михаила были растерзаны так, что самый ловкий и искусный башмачник ровно ничего не мог бы сделать с ними. Старьевщик отклонил бы всякие переговоры касательно его костюма. Двухнедельное жниво на его лице было серое, коричневое, красное и зеленовато-желтое: во всяком случае, хористки музыкальной комедии могли бы заимствовать из его бороды всевозможные цветовые оттенки для своих нарядов. Не было еще такого богача на свете, который из прихоти разрешил бы себе носить такую потрепанную шляпу, как принц Михаил.

Принц Михаил сидел на своей любимой скамье в парке и улыбался. Ему было очень забавно думать и сознавать, что он достаточно богат для того, чтобы купить любой из этих огромных, вплотную примыкающих друг к другу многооконных домов, которые возвышались против него. Стоило ему только захотеть! Стоило ему только взять малую часть своих несметных богатств, и он мог бы с любым Крезом Мангаттанским помериться во всем том, что касается золота, экипажей, драгоценностей, произведений искусства, недвижимого имущества, земель и так далее.

Если бы он захотел, то мог бы сидеть за одним столом с величайшими господами и правителями мира сего. Весь правящий мир, все представители искусства, все те, кто может подражать, льстить и преклоняться, были в его власти. Внимание красивейших, уважение выдающихся, признание мудрейших, доверие, лесть, почет, все радости жизни, слава — все это было в его распоряжении. Стоило только принцу Михаилу, курфюрсту Валлелунскому,

нагнуться, и он мог собрать весь мед из лучших сотов мира. Но ему всего более нравилось сидеть так, в лохмотьях и отрепьях, на скамье парка. Ибо он вкусил уже от плодов древа жизни, и во рту у него остался такой горький привкус, что он предпочел раз навсегда уйти из Рая и поискать развлечения и отдохновения в чем-нибудь поближе к крепкому и мерно бьющемуся сердцу Мира.

Эти мысли лениво проносились в его мозгу в то время, как он мягко улыбался в свою многоцветную бороду. Устраиваясь здесь по своему вкусу и желанию, одеваясь, как самый нищий из бродяг, он очень любил изучать человеческий род. В альтруизме он всегда находил гораздо больше прелести и радости, чем то могли ему дать все его общественное положение и условная, мишурная власть. Наибольшая радость, наивысшее удовлетворение его заключались в том, чтобы облегчать личное горе, оказывать милость тем достойным людям, которые действительно нуждались в ней, и ослеплять несчастных совершенно неожиданными, необыкновенными дарами, раздаваемыми с чисто царской роскошью, но в то же время весьма мудро и осторожно.

Вдруг взоры принца Михаила остановились на светящихся башенных часах, и его улыбка, все еще сохраняя все следы альтруизма, слегка окрасилась презрением. Принц всегда мыслил глубоко и возвышенно, и он неизменно покачивал головой при виде того, как весь Мир постыдно покоряется деспотической власти Времени. Зрелище людей, в страхе и трепете мчащихся во все стороны, всегда навевало на него грусть.

Через некоторое время в парк вошел какой-то молодой человек во фраке и уселся на третьей от принца Михаила скамье. В продолжение доброго получаса он нервно и торопливо курил папиросы, а затем начал пристально следить за циферблатом светящихся часов поверх деревьев. Его волнение слишком бросалось в глаза, и принц с печалью в душе отметил про себя, что возбужденное состояние молодого человека находится в некоторой зависимости от медленно подвигающихся стрелок башенных часов.

Тогда его высочество встал и направился к скамье незнакомца.

— Покорно прошу прощения в том, что я обращаюсь к вам, — величаво начал он, — но я заметил, что вы находитесь в состоянии большого сердечного волнения. Если вам угодно будет простить меня, что я вмешиваюсь в чужие дела, то я смогу прибавить, что я — принц Михаил, престолонаследник курфюршества Валлелунского. Как вы сами можете судить по моей внешности, я явился сюда инкогнито. В этом заключается моя фантазия: оказывать помощь тем людям, которых нахожу достойными моего внимания. Весьма возможно, что печаль, которая сейчас снедает вас, уступит нашим соединенным усилиям и стараниям.

Молодой человек с просветленным лицом взглянул на принца. Но, несмотря на просветленное лицо, перпендикулярная линия волнения, залегшая между его бровями, нисколько не смягчилась. Он рассмеялся, но и тогда линия не исчезла. Но тем не менее он очень охотно принял это временное развлечение.

— Я очень рад видеть вас, принц, — сказал он весьма приветливо. — Несомненно, что вы здесь инкогнито, это сразу бросается в глаза. Очень и очень благодарен вам за желание оказать мне помощь, но, признаться, не знаю и не представляю себе, каким образом вы можете помочь мне. Видите ли, это такое интимное, личное дело, что... Но все же я от души благодарю вас.

Принц Михаил сел рядом с молодым человеком. Случалось так, что его отталкивали, но никогда не делали этого слишком обидно: изысканные манеры и полная достоинства речь принца не разрешали этого.

— Часы всегда были и останутся тяжелыми оковами на ногах человечества, — сказал принц. — Я обратил внимание на то, как пристально вы следили только что за часами. Но разве же вам не известно, что у часов — лицо тирана и что числа их фальшивы, как числа и номера в любой лотерее? Умоляю вас: сбросьте с себя унижительные часовые оковы и прекратите это наглое издевательство и вмешательство в ваши личные дела этой бездушной медной штуки со стальным сердцем.

— О, я не всегда даю часам властвовать надо мной, — ответил юноша.

— Человеческую натуру я знаю так же хорошо, как природу деревьев и травы, — с тем же величавым достоинством продолжал принц. — Я большой философ, великий знаток искусства, и деньги даны мне для того, чтобы я достойно использовал все их возможности. Разрешите уверить вас, что мало имеется на свете таких горестей и осложнений, которых я не мог бы разрешить или же облегчить. Я изучил ваше лицо и увидел, что оно столь же честно и благородно, как и печально. Вот почему я убедительно прошу вас принять мой совет или же помощь. О, не отрицайте, в вашем лице мелькнуло выражение сомнения в моей мощи только потому, что на мне такой наряд. Пусть вас это несколько не смущает.

Молодой человек снова взглянул на часы и нахмурился. А затем его напряженный взор перебежал с блестящего горолога и впился в четырехэтажный, красный кирпичный дом, стоявший в ряду строений против того места, где он сидел. На землю упали уже густые сумерки, и сквозь них во многих домах слабо светились огни.

— Без десяти минут девять! — воскликнул молодой человек с нетерпеливым жестом отчаяния.

Он повернулся спиной к дому и сделал два-три поспешных шага в противоположном направлении.

— Остановитесь, — приказал ему принц Михаил, и в голосе его зазвучала такая сила, что юноша мигом остановился и издал какой-то горький смешок.

— Я подожду здесь еще десять минут, а затем уйду, — пробормотал он и прибавил громко, обращаясь к принцу: — Я вполне, милый друг мой, согласен с вами, что надо проклясть все часы на свете, содрать их и швырнуть в женщин.

— Присядьте, — спокойно предложил ему принц. — Ваше дополнение я никоим образом не могу принять. Женщины по самой природе своей — враги часов, а вследствие этого, друзья всех тех людей, которые желают освободиться от ненавистной власти чудовищ, измеряющих наши прихоти и ограничивающих наши радости. Если я настолько внушаю вам доверие, то покорнейше прошу вас изложить мне историю вашей тревоги.

Молодой человек тяжело опустился на скамью и почти беспечно рассмеялся.

— Ваше королевское высочество, — начал он с насмешливой почтительностью. — Изволите ли вы видеть тот дом, с тремя освещенными окнами в верхнем этаже? Так вот, ровно в шесть часов вечера, сегодня, я стоял в этом доме под руку с одной молодой леди, которую... ну, с которой я помолвлен. Дорогой мой принц, я должен признаться, что поступил по отношению к ней нехорошо, неблагородно, возмутительно. Я сделал то, чего никоим образом не должен был делать, и она узнала про это. Конечно, я всячески добивался того, чтобы получить ее прощение... Ведь вы сами, принц, прекрасно знаете, как мы всегда добиваемся того, чтобы женщины простили нас. Но она вот что сказала мне: «Я должна подумать обо всем этом. Так, сразу, я не могу дать вам определенного ответа, но несомненно одно: либо я совершенно забуду про случившееся, либо я никогда больше не увижу вашего лица. На полурешение я ни за что не соглашусь. В половине девятого, ровно в половине девятого вечера следите за средним окном в верхнем этаже. Если я решу простить вас, то вывешу за окно белый шелковый шарф. По этому знаку вы поймете, что все идет по-прежнему и что вы снова можете прийти ко мне. Если же шарфа за окном не будет, то это будет значить, что все между нами кончено, и навсегда».

— Вот почему, — с большой горечью закончил молодой человек свой рассказ, — я с таким волнением слежу за этими часами. Уже прошло целых двадцать три минуты с тех пор, как должен был показаться шарф, а его до сих пор нет. Так можно ли, милый, обдерганный, оборванный и небритый принц мой, удивляться тому, что я так взволнован?

— Разрешите мне в таком случае повторить вам, что женщины по природе своей враги часов, — своим спокойным, прекрасно модулирующим голосом произнес принц Михаил. — Часы — исчадие дьявола, а женщины — благословение Божье. Несмотря на то что срок прошел, сигнал может еще появиться.

— О, клянусь вашим высочеством, что этого не будет! — воскликнул молодой человек. — Вы говорите это только потому, что совершенно не знаете Мэриан, что вполне

естественно. Она на редкость пунктуальный человек, который всегда точен до минуты.

Он добавил:

— Эта ее особенность вначале и привлекла меня к ней. Теперь все для меня кончено. И я понял это еще в восемь часов тридцать одну минуту. Мне остается одно: сегодня, в одиннадцать часов сорок пять минут вечера я уеду с Джеком Милберном на Запад. Ничего другого я не придумаю. Попытаюсь устроиться на ранчо Джека, а если ничего из этого не выйдет, то я двину в Клондайк, где виски заставят меня позабыть обо всем на свете. Спокойной ночи, принц мой...

Принц Михаил улыбнулся своей загадочной, очаровательной и сочувствующей улыбкой и схватил юношу за рукав. Его блестящие глаза затянулись мечтательной, прозрачной пеленой.

— Подождите, — торжественно произнес он, — подождите, пока пробьют часы. Я обладаю большой властью, неограниченным могуществом и прекрасно изучил человеческую душу, но неизменно пугаюсь, когда бьют часы. Оставайтесь подле меня до этой минуты. Говорю вам: эта женщина будет ваша. Вам ручается в этом наследный принц Валлелуны. В день вашей свадьбы вы получите от меня сто тысяч долларов и дворец на Гудзоне. Но я ставлю вам одно обязательное условие: в этом дворце не должно быть часов, ибо они измеряют наши прихоти и ограничивают наши радости. Вы принимаете это условие?

— Ну, конечно, принимаю, — весело отозвался молодой человек. — Да и вообще я нахожу, что это — беспокойная и никому не нужная штука. Вечно тикают, вечно бьют, и из-за них тебя вечно упрекают в том, что ты опоздал к обеду.

Он снова взглянул на башенные часы. Стрелки показывали без трех минут девять.

— А знаете что, — сказал принц Михаил, — я хотел бы немного поспать. У меня сегодня выдался чрезвычайно утомительный день. Я адски устал.

Он вытянулся на скамье с видом человека, привыкшего к такого рода отдыху.

— В любой вечер, если только погода не помешает, вы можете найти меня в этом парке, — сонно произнес он. — Придите ко мне в тот день, когда должна будет состояться ваша свадьба, и я немедленно выдам вам чек на обещанную сумму.

— Премного благодарен вам, ваше высочество, — серьезно промолвил юноша. — Это будет исполнено, и не потому, что я так нуждаюсь в дворце на Гудзоне. Нет, мне просто приятно принять из ваших рук такой прекрасный подарок.

Принц Михаил тяжело задремал, Его помятая шляпа скатилась со скамьи на песок. Молодой человек поднял ее, прикрыл лицо принца и поправил одну из его ног, которая приняла удивительно забавное положение.

— Несчастный человек, — пробормотал он и приподнял полы свесившегося пиджака будущего владельца Валлелуны.

Резко и четко часы пробили девять. Молодой человек опять вздохнул, повернул свое лицо для того, чтобы бросить последний взгляд на дом, где были сосредоточены и похоронены все его надежды, и — вдруг произнес вслух какие-то глупые и вместе восторженные слова.

В среднем окне верхнего этажа, в глубоких сумерках, внезапно расцвела, зыбкая, белоснежная, качающаяся, чудесная, божественная эмблема прощения и близкого блаженства.

Вскоре после того мимо прошел кругленький, толстенький, торопливый гражданин, не имевший ни малейшего представления о всех замечательных возможностях, которые таятся в шелковых шарфах, развевающихся иногда за границами полутемного парка.

— Не будете ли вы любезны сказать мне, который час, сэр? — спросил молодой человек.

И маленький, кругленький, толстенький гражданин немедленно вытащил часы из кармашка и ответил:

— Двадцать девять с половиной минут девятого, сэр.

С этими словами он чисто механически и по привычке глянул на башенные часы и продолжал:

— Клянусь всеми святыми, что эти часы спешат ровно на полчаса. Впервые за последние десять лет я наблюдаю такой случай. Мои часы никогда не разнятся...

Но оказалось, что словоохотливый гражданин разговаривал сам с собой или же обращался к пустоте. Он повернулся и увидел, что какая-то темная тень сломя голову неслась по направлению дома с тремя освещенными окнами в верхнем этаже.

На следующее утро двое полицейских вошли в парк, с тем, чтобы совершить свой обычный обход. Парк был совершенно пуст. В нем не было никого, за исключением одного жалкого человека, который спал, вытянувшись на скамье.

Полицейские остановились и воззрились на спящего.

— А, да ведь это Майк, — сказал один из них. — Он проводит здесь все ночи. Вот уже двадцать лет, как он обитает здесь. Мне только кажется, что он недолго еще протянет.

Другой полисмен подошел ближе, заинтересованный чем-то скомканным и торчавшим в сжатой руке бродяги.

— Вот так так, — заметил он. — Он выудил где-то пятьдесят долларов. Интересно знать, каким образом он раздобыл их.

И тогда послышались три резких удара.

— Рэп. Рэп. Рэп.

Это дубинка действительности три раза стукнула об изношенные подошвы принца Михаила, наследника курфюрста Валлелунского.

Орден золотого колечка

Перевод В. Азова

Автобус «Обозрение Нью-Йорка» готовился тронуться. Вежливый кондуктор рассадил веселых обозревателей на верхушке. Тротуар был запружен зеваками, собравшимися посмотреть на зевак. Так подтвердился еще раз закон природы, гласящий, что всякая тварь на сей земле является добычей другой твари.

Человек с рупором высоко вознес свое орудие пытки. Машина огромного автобуса забилась и запыхтела, как сердце у заядлого кофепийцы. Обозреватели на верхушке нервно ухватились за поручни. Старая дама из Вальпарейзо, Индиана, закричала, что она хочет на сушу. Но прежде чем колеса начнут вращаться, выслушайте краткое предисловие, которое укажет вам кое-что интересное в турне, предпринятом для обозрения жизни.

Быстро и сочувственно узнает белый человек белого человека в африканских джунглях; внезапно и крепко рождается духовная связь между матерью и дитятей; без колебаний сносятся хозяин и собака через неширокий пролив, отделяющий животное от человека; неизмеримо быстро проносятся краткие вести между влюбленными. Но все эти примеры покажутся вам примерами медленного и слепого обмена симпатиями и мыслями в сравнении с примером, являемым автобусом «Обозрение Нью-Йорка». Вы узнаете (если вы до сих пор не знали), что два человеческих существа только тогда поистине быстро и глубоко запечатлеваются в сердце и душе друг друга, когда они сидят друг против дружки.

Зазвенел гонг, автобус величественно тронулся с места, и образовательное путешествие на сухопутном корабле «Глазей на столицу мира» началось.

На заднем, самом высоком месте сидели Джеймс Виллиамс из Кloverделя, в Миссури, и со вчерашнего дня миссис Джеймс Виллиамс — новобрачная.

Наберите, друг наборщик, черненьким это последнее слово — слово из слов в откровении жизни и любви. Запах цветов, взятка пчелы, первый плеск вешних вод, увертюра жаворонка, шоколадка на самой верхушке пирога творения — вот что такое новобрачная. Священна жена, почтенна мать, соблазнительна дачная девица, но новобрачная — чек на государственный банк среди свадебных подарков, которые боги посылают человеку, берущему себе в супруги смертную.

Автобус поднимался по Бродвею. На мостике этого крейсера стоял капитан и в рупор провозглашал пассажирам дива дивные большого города. С открытыми ртами, развесив уши,

внимали они описанию чудес, развертывавшихся перед их глазами. Смущенные, возбужденные осуществлением мечты, взлелеянной ими в провинции, они пробовали отвечать глазами на антифоны рупора. В величественном стрельчатом соборе они видели особняк Вандербильта, в переполненном, как улей, массиве Центрального вокзала они с удивлением видели скромную хижину Расса Сейджа,⁴⁵ в горах строительного мусора, навороченных по пути прокладки канализации, они видели холмы Гудзона.

Но я попрошу вас обратить внимание на миссис Джеймс Виллиамс — вчера еще она была Хетти Чалмерс, красоткой Кеверделя. Светло-голубой — цвет новобрачной; она имеет на него право. И этот цвет почтила своим выбором миссис Виллиамс. Бутоны розы охотно уступил ее щечкам от своего свежего розового, а что касается фиалок... ее глаза хороши и так, как они есть... не извольте беспокоиться, фиалка. Бесплезная полоска белой кисеи — или белого шифона, или, может быть, это был тюль — была завязана у нее под подбородком, прикидываясь, будто она удерживает на месте ее шляпу. Но вы знаете так же хорошо, как и я, что это делали шпильки, а не она.

И на лице миссис Джеймс Виллиамс была собрана маленькая хрестоматия из лучших в мире мыслей в трех томах. Том I содержал в себе мысль, что Джеймс Виллиамс — прекрасный человек. Том II заключал в себе этюд о мире, доказывающий, что мир — прелестное местечко. Том III заключал в себе убеждение, что, восседая на самом высоком месте в автобусе «Обзорение Нью-Йорка», они ехали с головокружительной и побивающей все рекорды быстротой.

Джеймсу Виллиамсу, как вы, наверное, догадались, было около двадцати четырех. Он был хорошо сложен, энергичен, силен, добродушен, в приподнятом настроении. Он совершал свое свадебное путешествие.

Дорогая фея, будь любезна, аннулируй все эти ордера и на богатство, и на автомобили в сорок лошадиных сил, и на славу, и на новые волосы на лысой голове, и на пост председателя спортивного клуба. Вместо всего этого поверни чуточку назад колесо времени и дай нам кусочек... ну, самую чуточку... нашей свадебной поездки. Ну, хоть часок, милая фея, чтобы мы могли вспомнить, как выглядели трава, и тополя, и этот бант у нее под подбородком, — даже если не эти ленты в действительности держали ее шляпу, а шпильки. Не можешь, феечка? Ну, что же делать. Тогда поспешим с автомобилем в сорок лошадиных сил и с акциями Стандарт-Ойля.

Как раз против миссис Виллиамс сидела девушка в широкой коричневой жакетке и соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Только во сне и у модисток, увы, розы и виноград произрастают на одном и том же стебле. Эта девушка смотрела большими голубыми глазами, такими доверчивыми, когда рупор провозглашал свою сентенцию, будто мы все должны чрезвычайно интересоваться миллионерами. В перерывах между громами объяснителя она укрывалась под защиту философии Эпиктета — в форме пепсиновой жевательной мастики.

Направо от девушки сидел молодой человек лет двадцати четырех. Он был хорошо сложен, энергичен и добродушен, но если его приметы подходят как будто бы к приметам Джеймса Виллиамса, то заметьте, что в нем-то не было решительно ничего провинциального. Этот человек принадлежал людным улицам и острым углам. Он пристально смотрел кругом, словно он завидовал, что те, на которых он смотрел вниз со своей насести, попирают ногами привычный ему асфальт.

Пока человек с рупором описывает чудеса какого-то знаменитого отеля, позвольте мне шепнуть вам одно словечко: держитесь крепче. Ибо сейчас произойдут такие дела... Но великий город равнодушно сомкнется над нами.

Девушка в коричневом жакете повернулась, чтобы посмотреть на пассажиров, сидевших

⁴⁵ Вандербильт, Рассел Сейдж — американские миллионеры, чьи особняки расположены на Пятой авеню в Нью-Йорке.

за ее спиной, на последнем и самом высоком месте. Других пассажиров она уже рассмотрела, а место позади нее было еще для нее запретной комнатой в замке Синей Бороды.

Ее глаза встретились с глазами миссис Джеймс Виллиамс. Часы не успели два раза сделать тик-так, как они обменялись уже своим жизненным опытом, своими биографиями, надеждами и фантазиями. И все это, имейте в виду, одними глазами и скорее, чем двое мужчин могли бы решить, что им сделать — вытащить ножи или попросить: «Позвольте прикурить».

Новобрачная наклонилась вперед. Она и девушка быстро заговорили. Их языки двигались быстро, как у змей — каковому сравнению продолжения не будет. Две улыбки и несколько жарких кивков завершили конференцию.

Но вот на широком безлюдном проспекте человек в темном костюме остановился на пути автобуса и поднял руку. С тротуара другой человек побежал на соединение с ним.

Девушка в плодородной шляпе быстро схватила своего спутника за руку и что-то прошептала ему на ухо. Молодой человек проявил чудеса ловкости. Низко наклонившись, он соскользнул с крыши автобуса, повис на мгновение в воздухе, держась одной рукой за край его крыши, и исчез. Несколько пассажиров заметили его проделку, посмотрели на него с удивлением, но воздержались от комментариев. Кто его знает, как тут принято слезать с автобусов в этом ошеломляющем городе! Беглец увернулся от наехавшего на него кеба и уплыл, как зеленый листочек на речке, между фурой для перевозки мебели и фургоном цветочного магазина.

Девушка в коричневом жакете еще раз обернулась и посмотрела в глаза миссис Виллиамс. Потом она отвернулась и сидела смирно. Автобус остановился, ибо под пиджаком одетого в гражданское платье человека сверкнула бляха.

— Какая вас муха укусила? — спросил человек с рупором, изменив своему высокопарному описательному стилю и переходя на простой английский язык.

— Подержите-ка его на якоре минутку, — приказал полисмен. — У вас тут на борту один человечек, которого мы ищем, громила из Филадельфии — «Розовый» Мак-Гайр. Вот он сидит на заднем сиденье. Посмотри-ка сбоку, Донован.

Донован подошел к заднему колесу и посмотрел вверх на Джеймса Виллиамса.

— Ну, слезай, милейший, — сказал он добродушно. — Мы тебя сцапали. Назад, назад, братец, в каталажку. Недурная, однако, идея, спрятаться на верхушке автобуса! Надо будет иметь это в виду.

Через рупор дошел совет кондуктора:

— Вы бы лучше слезли, сэр, и объяснились. Нам ведь надо продолжать турне.

Джеймс Виллиамс был человек хладнокровный. С подобающей медленностью он пробил себе дорогу через толщу пассажиров к лесенке.

Его жена последовала за ним, но сначала она повернула голову и увидела, что сбежавший молодой человек выскользнул из-за фуры для перевозки мебели и прилип к дереву на краю маленького садика, шагах в пятидесяти от автобуса.

Спустившись на землю, Джеймс Виллиамс с улыбкой посмотрел на своих обвинителей. Он думал, как будут хохотать его друзья в Кloverделе, когда он расскажет им, как его чуть было не приняли за взломщика в Нью-Йорке. Автобус дождался. Уж это ли не интересное зрелище?

— Я Джеймс Виллиамс, из Кloverделя, в Миссури, — сказал он мягко, чтоб не очень уж огорчить полицейских. — У меня есть при себе письма, которые вам докажут...

— Вы пойдете с нами, — заявил человек в гражданском платье. — Приметы «Розового» Мак-Гайра сидят на вас, как фланелевая фуфайка, выстиранная в горячей воде. Один из детективов увидел вас на верхушке автобуса в Центральном парке и телефонировал по линии, чтобы снять вас. Вы объясните в участке.

Жена Джеймса Виллиамса — новобрачная — посмотрела ему в лицо со странным мягким блеском в глазах и с покрывшимися краской щеками, — посмотрела ему в глаза и сказала:

— Иди с ними без скандала, «Розовый». Может быть, тебе удастся там выгородить себя.

И, когда «Глазей на столицу мира» двинулся вперед, она обернулась и послала воздушный поцелуй — его жена послала воздушный поцелуй! — кому-то там на верхушке автобуса.

— Ваша девушка дала вам хороший совет, Мак-Гайр, — сказал Донован. — Ну, пошли!

Но тут безумие снизошло на Джеймса Виллиамса и охватило его. Он быстрым движением сдвинул шляпу на затылок

— Моя жена, по-видимому, думает, что я взломщик, — сказал он. — Я никогда не слышал раньше, что она сумасшедшая. Стало быть, сумасшедший я. А если я сумасшедший, мне ничего не будет, если я вас, двух дураков, убью в безумии моем.

И он так упорно и так храбро сопротивлялся аресту, что пришлось вызвать свистками фараонов, а потом и резервы, чтобы разогнать тысячную толпу совершенно очарованных этим зрелищем зрителей.

В участке сержант спросил, как его фамилия.

— Мак-Дудль «Розовый», по прозвищу «Розовый Зверюга», — ответил Джеймс Виллиамс. — Кажется, так, не помню точно. Но это факт, что я громила. Не забудьте. И вы можете прибавить, что понадобилось пять фараонов, чтобы взять «Розового». Я очень хотел бы, чтобы вы не забыли отметить это в протоколе.

Через час прибыла миссис Джеймс Виллиамс с дядей Томасом с Медисон-авеню, во внушающем уважение автомобиле и с доказательствами полнейшей невинности героя — совсем как в третьем акте драмы, написанной для рекламы автомобильной марки.

После того как полиция сделала Джеймсу Виллиамсу строгий выговор за имитацию подлинного громилы и отпустила его со всеми извинениями, на которые способна полиция, миссис Виллиамс сама арестовала его и утащила в уголок в парке.

Джеймс Виллиамс смотрел на нее одним глазом. Он всегда утверждал впоследствии, что Донован подбил ему другой, воспользовавшись тем, что кто-то схватил и держал его правую руку.

— Если ты можешь объяснить, — сказал он довольно сухо, — почему ты...

— Милый, — прервала его жена, — послушай. Это был для тебя только час мучения и испытаний. Я сделала это для нее — я говорю о девушке, которая заговорила со мной в автобусе... Я была так счастлива, Джим, так счастлива с тобой, что я не в состоянии была отказать в счастье другой. Джим, они только сегодня повенчались — те двое. И я хотела дать ему возможность бежать. Пока они боролись с тобой, я видела, как он выскользнул из-за дерева, за которым спрятался, и скрылся в саду. Это все. Милый, я не могла не сделать этого.

Таким образом, одна сестра ордена золотого колечка узнала другую, озаренную волшебным светом, который вспыхивает только однажды и ненадолго для каждой из них. Рис, которым обсыпают новобрачных, и шелковые банты невесты говорят о свадьбе мужчине. Но новобрачная познает новобрачную с одного беглого взгляда. И между ними, быстро пробегает волна симпатии, и они сообщаются между собой на языке, неведомом ни мужчинам, ни вдовам.

Роман биржевого маклера

Перевод под ред. М. Лорие

Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Макссуэла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Макссуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм.

Молодая стенографистка служила у Макссуэла уже год. В ее красоте не было решительно

ничего от стенографии. Она презрела пышность прически «помпадур». Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящно и скромно облежавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания.

Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максуэла — достаточно близко, чтобы он мог ее заметить.

Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер — машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.

— Да. Ну? В чем дело? — резко спросил Максуэл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно.

— Ничего, — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.

— Мистер Питчер, — сказала она доверенному клерку, — мистер Максуэл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?

— Говорил, — ответил Питчер, — он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас десять сорок пять, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась.

— Тогда я буду работать, как всегда, — сказала молодая женщина, — пока кто-нибудь не заменит меня.

И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место.

Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о «полном часе славной жизни». У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках.

А сегодня у Гарви Максуэла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер — кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления.

На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина.

Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки «под котик» и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающееся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.

— Из стенографического бюро, насчет места, — сказал Питчер.

Максуэл сделал полуоборот; руки его были полны бумаг и телеграфной ленты.

— Какого места? — спросил он нахмурившись.

— Места стенографистки, — сказал Питчер. — Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку.

— Вы сходите с ума, Питчер, — сказал Максуэл. — Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро,

Питчер, чтобы больше не присылали, и никого больше ко мне не водите.

Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что «старик» с каждым днем делается рассеянное и забывчивее.

Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Макссуэла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Макссуэла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и мощная машина; слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, вкладные и ссуды — это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы.

Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье.

Максуэл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм; за правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха-весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла.

И через окно в комнату забрел, может быть по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее.

Этот аромат принес ее и поставил перед ним — видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съезжился в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в двадцати шагах.

— Клянусь честью, я это сделаю, — сказал маклер вполголоса. — Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал.

Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет «донести», пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу.

Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Макссуэл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо.

— Мисс Лесли, — начал он торопливо, — у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста, — эти негодяи вышибают последний дух из «Тихоокеанских».

— Что вы говорите! — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Вы меня не поняли? — досадливо спросил Макссуэл. — Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать и вот улучил минутку, когда там, в конторе, маленькая передышка. Ну вот, меня опять зовут к телефону... Скажите, чтобы подождали, Питчер... Так как же, мисс Лесли?

Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею.

— Я поняла, — сказала она мягко. — Это биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в Маленькой церкви за углом.⁴⁶

Через двадцать лет

⁴⁶ Маленькая церковь за углом — церковь Преображения близ Пятой авеню в деловой части Нью-Йорка.

Перевод Н. Дехтеревой

По улице с внушительным видом двигался постовой полисмен. Внушительность была привычной, не ради зрителей, которые попадались редко. Не было еще и десяти часов вечера, но в резких порывах сырого ветра уже чувствовался дождь, и улицы почти опустели.

Проверяя на ходу двери, ловким и замысловатым движением помахивая дубинкой и время от времени бросая зоркие взгляды во все концы своих мирных владений, полисмен, рослый, крепкого сложения, с чуть развалистой походкой, являл собой прекрасный образец блюстителя общественного спокойствия. Жители его участка ложились спать рано. Лишь кое-где еще мелькали огни — в табачном магазине или в ночном баре. Но большинство зданий были заняты под конторы, а те уже давно закрылись.

Не дойдя до половины одного из кварталов, полисмен вдруг замедлил шаги. В темноте, возле входа в магазин скобяных изделий, стоял человек с незажженной сигарой во рту. Как только полисмен направился к нему, незнакомец быстро заговорил.

— Все в порядке, сержант, — сказал он успокаивающим тоном. — Поджидаю приятеля, только и всего. Насчет этой встречи у нас с ним было условлено двадцать лет тому назад. Вам это кажется несколько странным, не так ли? Ну что ж, если хотите, могу разъяснить, чтобы окончательно вас успокоить. На том самом месте, где теперь этот магазин, стоял раньше ресторан «Большого Джо Брэди».

— Пять лет тому назад, — сказал полисмен, — тот дом снесли.

Человек чиркнул спичкой и зажег сигару. Пламя спички осветило бледное лицо с квадратной челюстью, острым взглядом и маленьким белым шрамом возле правой брови. В кашне сверкнула булавка с крупным бриллиантом.

— Сегодня, — продолжал незнакомец, — ровно двадцать лет с того дня, как я ужинал у «Большого Брэди» с Джимом Уэлсом, лучшим моим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Мы оба росли с ним здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось восемнадцать, а Джиму двадцать лет. Наутро я отправлялся на Запад, искать счастья. Джимми вытащить из Нью-Йорка было делом безнадежным — он считал, что это единственное стоящее место на всем земном шаре. Ну, в тот вечер мы и договорились встретиться ровно через двадцать лет — день в день, час в час — как бы ни сложилась наша жизнь и как бы далеко ни забросила нас судьба. Мы полагали, что за столько лет положение наше определится и мы успеем выковать свое счастье.

— Это все очень интересно, — заговорил полисмен, — хотя, на мой взгляд, промежуток между встречами несколько великоват. И что ж, вы так ничего и не слышали о вашем приятеле с тех пор, как расстались?

— Нет, первое время мы переписывались. Но спустя год или два потеряли друг друга из виду. Запад, знаете ли, пространство не очень маленькое, а я двигался по нему довольно проворно. Но я знаю наверняка: Джимми, если только он жив, придет к условленному месту. На всем свете нет товарища вернее и надежнее. Он не забудет. Я отмахал не одну тысячу миль, чтобы попасть сюда вовремя, и дело стоит того, если только и Джим сдержит слово.

Он вынул великолепные часы — их крышка была усыпана мелкими бриллиантами.

— Без трех минут десять, — заметил он. — Было ровно десять, когда мы расстались тогда у дверей ресторана.

— Дела на Западе, полагаю, шли не плохо? — осведомился полисмен.

— О, еще бы! Буду рад, если Джиму повезло хотя бы вполовину так, как мне. Он был немного рохля, хоть и отличный малый. Мне пришлось немало поизворачиваться, чтобы постоять за себя. А в Нью-Йорке человек сидит, как чурбан. Только Запад умеет обтесывать людей.

Полисмен повертел дубинкой и сделал шаг вперед.

— Мне пора идти. Надеюсь, ваш друг придет вовремя. Вы ведь не требуете от него уж очень большой точности?

— Ну, конечно. Я подожду его еще, по крайней мере, с полчаса. Если только он жив, к этому времени он уж непременно должен прийти. Всего лучшего, сержант.

— Спокойной ночи, сэр. — Полисмен возобновил свой обход, продолжая по дороге проверять двери.

Стал накрапывать мелкий холодный дождь, и редкие порывы перешли в непрерывный пронзительный ветер. Немногочисленные пешеходы молча, с мрачным видом, торопливо шагали по улице, подняв воротники и засунув руки в карманы. А человек, приехавший за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал.

Прошло еще минут двадцать, и вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым до ушей, торопливо пересекла улицу и направилась прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин.

— Это ты, Боб? — спросил подошедший неуверенно.

— А это ты, Джимми Уэлс? — быстро откликнулся тот.

— Ах, бог ты мой! — воскликнул высокий человек, хватая в свои руки обе руки человека с сигарой. — Ну, ясно как день, это Боб. Я не сомневался, что найду тебя здесь, если только ты еще существуешь на свете. Ну, ну! Двадцать лет — время немалое. Видишь, Боб, наш ресторан уже снесли. А жаль, мы бы с тобой поужинали в нем, как тогда. Ну, рассказывай, дружище, как жилось тебе на Западе?

— Здорово. Получил от него все, чего добивался. А ты сильно переменялся, Джим. Мне помнилось, ты был дюйма на два, на три ниже.

— Да, я еще подросток немного после того, как мне исполнилось двадцать.

— А как твои дела, Джимми?

— Сносно. Служу в одном из городских учреждений. Ну, Боб, пойдем. Я знаю один уголок, мы там с тобой вдоволь наговоримся, вспомним старые времена.

Они пошли, взявшись под руку. Приехавший с Запада с эгоизмом человека, избалованного успехом, принялся рассказывать историю своей карьеры. Другой, почти с головой уйдя в воротник, с интересом слушал.

На углу квартала сиял огнями аптекарский магазин. Подойдя к свету, оба спутника одновременно обернулись и глянули друг другу в лицо.

Человек с Запада вдруг остановился и высвободил руку.

— Вы не Джим Уэлс, — сказал он отрывисто. — Двадцать лет — долгий срок, но не настолько уж долгий, чтобы у человека римский нос превратился в кнопку.

— За такой срок иногда и порядочный человек может стать мошенником, — ответил высокий. — Вот что, «Шелковый» Боб, уже десять минут как вы находитесь под арестом. В Чикаго так и предполагали, что вы не преминете заглянуть в наши края, и телеграфировали, что не прочь бы побеседовать с вами. Вы будете вести себя спокойно? Ну, очень благоразумно с вашей стороны. А теперь, прежде чем сдать вас в полицию, я еще должен выполнить поручение. Вот вам записка. Можете прочесть ее здесь, у окна. Это от постового полисмена Уэлса.

Человек с Запада развернул поданный ему клочок бумаги. Рука его, твердая вначале, слегка дрожала, когда он дочитал записку. Она была коротенькая:

«Боб! Я пришел вовремя к назначенному месту. Когда ты зажег спичку, я узнал лицо человека, которого ищет Чикаго. Я как-то не мог сделать этого сам и поручил арестовать тебя нашему агенту в штатском.

Джимми».

Мишурный блеск

Перевод М. Урнова

Мистер Тауэрс Чендлер гладил у себя в комнатухе свой выходной костюм. Один уют грелся на газовой плитке, а другим он энергично водил взад и вперед, добываясь желаемой складки, которой предстояло вскоре протянуться безупречно прямой линией от его лакированных ботинок до края жилета с низким вырезом. Вот и все о туалете нашего героя, что можно довести до всеобщего сведения. Об остальном пусть догадываются те, кого благородная нищета толкает на жалкие уловки. Мы снова увидим мистера Чендлера, когда он будет спускаться по лестнице дешевых меблированных комнат; безупречно одетый, самоуверенный, элегантный, по внешности — типичный нью-йоркский клубмен, прожигатель жизни, отправляющийся с несколько скучающим видом в погоню за вечерними удовольствиями.

Чендлер получал восемнадцать долларов в неделю. Он служил в конторе у одного архитектора. Ему было двадцать два года. Он считал архитектуру настоящим искусством и был искренне убежден, — хотя не рискнул бы заявить об этом в Нью-Йорке, — что небоскреб «Уют» по своим архитектурным формам уступает Миланскому собору.

Каждую неделю Чендлер откладывал из своей полочки один доллар. В конце каждой десятой недели на добытый таким способом сверхкапитал он покупал в лавочке скарёдного Папаши Времени один-единственный вечер, который мог провести как джентльмен. Украсив себя регалиями миллионеров и президентов, он отправлялся в ту часть города, что ярче всего сверкает огнями реклам и витрин, и обедал со вкусом и шиком. Имея в кармане десять долларов, можно в течение нескольких часов мастерски разыгрывать богатого бездельника. Этой суммы хватает на хорошую еду, бутылку вина с приличной этикеткой, соответствующие чаевые; сигару, извозчика и обычные и т. п.

Этот один усладительный вечер, выкроенный из семидесяти нудных вечеров, был для него источником периодически возрождающегося блаженства. У девушки первый выезд в свет бывает только раз в жизни; и когда волосы ее поседеют, он по-прежнему будет всплывать в ее памяти как нечто радостное и неповторимое. Чендлер же каждые десять недель испытывал удовольствие столь же острое и сильное, как в первый раз. Сидеть под пальмами в кругу бонвиванов, внимать звукам невидимого оркестра, смотреть на завсегдатаев этого рая и чувствовать на себе их взгляды — что в сравнении с этим первый вальс и газовое платье юной дебютантки?

Чендлер шел по Бродвею, как полноправный участник его передвижной выставки вечерних нарядов. В этот вечер он был не только зрителем, но и экспонатом. Последующие шестьдесят девять дней он будет ходить в плохоньком костюме и питаться за сомнительными табльдотами, у стойки случайного бара, бутербродами и пивом у себя в комнатухе. Но это его не смущало, ибо он был подлинным сыном великого города мишурного блеска, и один вечер, освещенный огнями Бродвея, возмещал ему множество вечеров, проведенных во мраке.

Он все шел и шел, и вот уже сороковые улицы начали пересекать сверкающий огнями путь наслаждений; было еще рано, а когда человек приобщается к избранному обществу всего раз в семьдесят дней, ему хочется продлить это удовольствие. Взгляды — сияющие, угрюмые, любопытные, восхищенные, вызывающие, манящие — были обращены на него, ибо его наряд и вид выдавали в нем поклонника часа веселья и удовольствий.

На одном углу он остановился, подумывая о том, не пора ли ему повернуть обратно и направиться в роскошный модный ресторан, где он обычно обедал в дни своего расточительства. Как раз в эту минуту какая-то девушка, стремительно огибая угол, поскользнулась на обледеневшем бугорке и шлепнулась на тротуар.

Чендлер помог ей подняться с отменной и безотлагательной вежливостью. Прихрамывая, девушка отошла к стене, прислонилась к ней и застенчиво поблагодарила его.

— Кажется, я растянула ногу, — сказала она. — Я почувствовала, как она подвернулась.

— Очень больно? — спросил Чендлер.

— Только когда наступаю. Думаю, что через несколько минут я уже буду в состоянии двигаться.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — предложил молодой человек — Хотите, я приведу кеб или...

— Благодарю вас, — негромко, но с чувством сказала девушка. — Право, не стоит беспокоиться. Как это меня угораздило? И каблуки у меня самые банальные. Их винить не приходится.

Чендлер посмотрел на девушку и убедился, что его интерес к ней быстро возрастает. Она была хорошенькая и изящная, глядела весело и приветливо. На ней было простенькое черное платье, похожее на те, в какие одевают продавщиц. Из-под дешевой соломенной шляпки, единственным украшением которой была бархатная лента с бантом, выбивались колечки блестящих темно-каштановых волос. С нее можно было писать портрет хорошей, полной собственного достоинства трудящейся девушки.

Вдруг молодого архитектора осенило. Он пригласит эту девушку пообедать с ним. Вот чего не доставало его роскошным, но одиноким пиршествам. Краткий час его изысканных наслаждений был бы приятнее вдвойне, если бы он мог провести его в женском обществе. Он не сомневался, что перед ним вполне порядочная девушка, — ее речь и манеры подтверждали это. И, несмотря на ее простенький наряд, он почувствовал, что ему будет приятно сидеть с ней за столом.

Эти мысли быстро пронеслись в его голове, и он решился. Разумеется, он нарушал правила приличия, но девушки, живущие на собственный заработок, нередко в таких делах пренебрегают формальностями. Как правило, они отлично разбираются в мужчинах и скорее будут полагаться на свое личное суждение, чем соблюдать никчемные условности. Если его десять долларов истратить с толком, они вдвоем смогут отлично пообедать. Можно себе представить, каким ярким событием явится этот обед в бесцветной жизни девушки; а от ее искреннего восхищения его триумф и удовольствие станут еще сладостней.

— По-моему, — сказал он серьезно, — вашей ноге требуется более длительный отдых, чем вы полагаете. И я хочу подсказать вам, как можно помочь ей и вместе с тем сделать мне одолжение. Когда вы появились из-за угла, я как раз собирался пообедать в печальном одиночестве. Пойдемте со мной, посидим в уютной обстановке, пообедаем, поболтаем, а за это время боль в ноге утихнет, и вы, я уверен, легко дойдете до дому.

Девушка бросила быстрый взгляд на открытое и приятное лицо Чендлера. В глазах у нее сверкнул огонек, затем она мило улыбнулась.

— Но мы не знакомы... а так ведь, кажется, не полагается, — в нерешительности проговорила она.

— В этом нет ничего плохого, — сказал он простодушно. — Я сам вам представлюсь... разрешите... Мистер Тауэрс Чендлер. После обеда, который я постараюсь сделать для вас как можно приятнее, я распрошаюсь с вами или провожу вас до вашего дома, — как вам будет угодно.

— Да, но в таком платье и в этой шляпке! — проговорила девушка, взглянув на безупречный костюм Чендлера.

— Это не важно, — радостно сказал Чендлер. — Право, вы более очаровательны в вашем наряде, чем любая из дам, которые там будут в самых изысканных вечерних туалетах.

— Нога еще побаливает, — призналась девушка, сделав неуверенный шаг. — По-видимому, мне придется принять ваше приглашение. Вы можете называть меня... мисс Мэриан.

— Идемте же, мисс Мэриан, — весело, но с изысканной вежливостью сказал молодой архитектор. — Вам не придется идти далеко. Тут поблизости есть вполне приличный ресторан. Обопритесь на мою руку... вот так... и пошли не торопясь. Скучно обедать одному. Я даже немножко рад, что вы поскользнулись.

Когда их усадили за хорошо сервированный столик и услужливый официант склонился к ним в вопросительной позе, Чендлер почувствовал блаженное состояние, какое испытывал всякий раз во время своих вылазок в светскую жизнь.

Ресторан этот был не так роскошен, как тот, дальше по Бродвею, который он облюбовал

себе, но мало в чем уступал ему. За столиками сидели состоятельного вида посетители, оркестр играл хорошо и не мешал приятной беседе, а кухня и обслуживание были вне всякой критики. Его спутница, несмотря на простенькое платье и дешевую шляпку, держалась с достоинством, что придавало особую прелесть природной красоте ее лица и фигуры. И по ее очаровательному личику видно было, что она смотрит на Чендлера, который был оживлен, но сдержан, смотрит в его веселые и честные синие глаза почти с восхищением.

И вот тут в Тауэrsa Чендлера вселилось безумие Манхэттена, бешенство суеты и тщеславия, бацилла хвастовства, чума дешевенького позерства. Он — на Бродвее, всюду блеск и шик, и зрителей полным-полно. Он почувствовал себя на сцене и решил в комедии-однодневке сыграть роль богатого светского повесы и гурмана. Его костюм соответствовал роли, и никакие ангелы-хранители не могли помешать ему исполнить ее.

И он пошел врать мисс Мэриан о клубах и банкетах, гольфе и верховой езде, псарнях и котильонах и поездках за границу и даже намекнул на яхту, которая стоит будто бы у него в Ларчмонте. Заметив, что его болтовня производит на девушку впечатление, он поддал жару, наплел ей что-то о миллионах и упомянул запросто несколько фамилий, которые обыватель произносит с почтительным вздохом. Этот час принадлежал ему, и он выжимал из него все, что, по его мнению, было самым лучшим. И все же раз или два сквозь туман самомнения, заставший ему глаза, перед ним засияло чистое золото ее сердца.

— Образ жизни, о котором вы говорите, — сказала она, — кажется мне таким пустым и бесцельным. Неужели в целом свете вы не можете найти для себя работы, которая заинтересовала бы вас?

— Работа?! — воскликнул он. — Дорогая моя мисс Мэриан! Попробуйте представить себе, что вам каждый день надо переодеваться к обеду, делать в день по десяти визитов, а на каждом углу полицейские только и ждут, чтобы прыгнуть к вам в машину и потащить вас в участок, если вы чуточку превысите скорость ослиного шага! Мы, бездельники, и есть самые работающие люди на земле.

Обед был окончен, официант щедро вознагражден, они вышли из ресторана и дошли до того угла, где состоялось их знакомство. Мисс Мэриан шла теперь совсем хорошо, только самую малость прихрамывая.

— Благодарю вас за приятно проведенный вечер, — искренне проговорила она. — Ну, мне надо бежать домой. Обед мне очень понравился, мистер Чендлер.

Сердечно улыбаясь, он пожал ей руку и сказал что-то насчет своего клуба и партии в бридж. С минуту он смотрел, как она быстро шла в восточном направлении, затем кликнул кеб и не спеша покотил домой.

У себя, в сырой комнатухе, он сложил свой выходной костюм, предоставив ему отлеживаться шестьдесят девять дней. Потом сел и задумался.

— Вот это девушка! — проговорил он вслух. — А что она порядочная, головой ручаюсь, хоть ей и приходится работать из-за куска хлеба. Как знать, не нагороди я всей этой идиотской чепухи, а скажи ей правду, мы могли бы... А, черт бы все побрал! Костюм обязывал.

Так рассуждал дикарь наших дней, рожденный и воспитанный в вигвамах племени манхэттенцев.

Расставшись со своим кавалером, девушка быстро пошла прямо на восток и, пройдя два квартала, поравнялась с красивым большим особняком, выходящим на авеню, которая является главной магистралью Маммоны и вспомогательного отряда богов. Она поспешно вошла в дом и поднялась в комнату, где красивая молодая девушка в изящном домашнем платье беспокойно смотрела в окно.

— Ах ты, сорвиголова! — воскликнула она, увидев младшую сестру. — Когда ты перестанешь пугать нас своими выходками? Вот уже два часа, как ты убежала в этих лохмотьях и в шляпке Мари. Мама страшно встревожена. Она послала Луи искать тебя на машине по всему городу. Скверная ты, глупая девчонка!

Она нажала кнопку, и в ту же минуту вошла горничная.

— Мари, скажите маме, что мисс Мэриан вернулась.

— Не ворчи, сестричка. Я бегала к мадам Тео, надо было сказать, чтобы она вместо розовой прошивки поставила лиловую. А это платье и шляпка Мари очень мнегодились. Все меня принимали за продавщицу из магазина.

— Обед уже кончился, милая, ты опоздала.

— Я знаю. Понимаешь, я поскользнулась на тротуаре и подвернула ногу. Нельзя было ступить на нее. Больно было ужасно, я доковыляла до какого-то ресторана и сидела там, пока мне не стало лучше. Потому я и задержалась.

Девушки, сидели у окна и смотрели на яркие фонари и поток мелькающих экипажей. Младшая сестра прикорнула возле старшей, положив голову ей на колени.

— Когда-нибудь мы выйдем замуж, — мечтательно проговорила она, — и ты выйдешь и я. Денег у нас так много, что нам не позволят обмануть ожидания публики. Хочешь, сестрица, я скажу тебе, какого человека я могла бы полюбить?

— Ну, говори, болтушка, — улыбнулась старшая сестра.

— Я хочу, чтобы у моего любимого были ласковые синие глаза, чтобы он честно и почтительно относился к бедным девушкам, чтобы он был красив и добр и не превращал любовь в забаву. Но я смогу полюбить его, только если у него будет ясное стремление, цель в жизни, полезная работа. Пусть он будет самым последним бедняком, я не посмотрю на это, я все сделаю, чтобы помочь ему добиться своего. Но, сестрица, милая, нас окружают люди праздные, бездельники, вся жизнь которых проходит между гостиной и клубом, — а такого человека я не смогу полюбить, даже если у него синие глаза и он почтительно относится к бедным девушкам, с которыми знакомится на улице.

Курьер

Перевод Л. Каневского

Был не сезон, да и время такое, когда в парке обычно не бывает много народа, и, скорее всего, девушка, сидевшая на одной из скамеек у дорожки, повиновалась внезапному желанию присесть, чтобы отдохнуть и насладиться запахом наступающей весны. Она сидела в задумчивости, не шевелясь, словно замерла. Печаль на ее лице, вероятно, появилась совсем недавно, ибо она еще не успела испортить прекрасных юных очертаний ее щечек, расслабить пока еще твердый изгиб ее свежих губ.

По дорожке, где она сидела, энергично шагал какой-то высокий молодой человек. За ним тащился мальчик с чемоданом в руках. Когда он увидел молодую леди, его бледное лицо густо покраснело, а потом вернуло себе прежний цвет. Он подходил все ближе, не отрывая взгляда от ее лица, и надежда его смешивалась с тревогой. Он прошел мимо всего в нескольких ярдах от нее, но она ничем не показала, что с ним знакома или ей известно о его существовании.

Пройдя еще ярдов пятьдесят, он вдруг остановился и сел на край скамьи. Мальчишка, бросив на землю чемодан, уставился на него удивленными проницательными глазами.

Молодой человек вытащил из кармана носовой платок, вытер пот со лба. У него в руках был красивый платок, у него был красивый лоб, да и вообще он был человеком пригожим, любо-дорого посмотреть. Он сказал мальчику:

— Сейчас передашь кое-что от меня вон той девушке на скамейке. Скажешь ей, что я иду на железнодорожный вокзал, чтобы выехать в Сан-Франциско, там я присоединюсь к экспедиции, которая отправляется на Аляску охотиться на американских лосей. Еще скажи ей, что, так как она запретила мне говорить с ней и писать ей, я прибегаю к этому последнему способу воззвать к ее совести, к чувству справедливости, ради того, что было между нами. Передай ей, что отказываться от человека, осуждать того, кто отнюдь не заслужил подобного обращения, не указывая на побудившие ее к этому причины, не давая ему возможности вместе с ней выяснить, — противоречит самой ее природе, а она-то мне хорошо известна. Скажи ей, что я в определенной мере на самом деле не подчинился ее распоряжениям, надеясь на ее

снисходительность, на ее желание установить справедливость. Ну, ступай и выложи ей все, что я тебе сказал.

Молодой человек вложил в ладошку мальчика монету в полдоллара. Тот посмотрел на него, его хитрые глазки вспыхнули на замызганном умном лице, и он, сорвавшись с места, быстро побежал к скамейке.

Он подходил к молодой леди, явно испытывая какие-то сомнения, но совершенно не был смущен. Он дотронулся до полей своей старой велосипедной шапочки из шотландки, съехавшей ему на затылок.

Девушка холодно посмотрела на него, — без всякого предубеждения, но и без особого расположения.

— Леди, — сказал он, — тот парень на другой скамье послал меня к вам с приветом и с песнью. Если вы не знаете этого парня и он таким образом пытается к вам приставать, то через три минуты я приведу сюда копа. Если же вы его знаете и он ничего непристойного не замышляет, то я передаю вам от него пучок теплого весеннего аромата.

Молодая леди проявила к гонцу слабый интерес.

— С приветом и песнью! — сказала она нарочито сладким голосом, который придавал ее словам мелодическую, почти неощутимую иронию. — Что-то новенькое из репертуара трубадуров, как мне кажется. Я в самом деле когда-то знала того джентльмена, который послал тебя ко мне, и думаю, что нет никакой необходимости вызывать полицию. Если ты действительно намерен передать мне стихотворный привет и станцевать вдобавок, то прошу тебя, начинай, только потише! Еще слишком рано для водевиля на открытом воздухе, и мы с тобой можем привлечь к себе внимание прохожих.

— Да что вы, — сказал мальчик, содрогнувшись всем своим маленьким телом. — Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду, леди. Все это так, для образа. Он просил меня передать вам, что отложные воротнички и манжеты уложены вон в тот чемодан, и он собирается слинять в Сан-Франциско. После этого он намерен пострелять зимних юнко на Клондайке. Он сказал, что вы приказали ему больше не слать вам его розовых записочек и не слоняться у входа в парк, и он надеется, что вы проявите мудрость и передумаете. Он сказал, что вы его списали, так и не дав ему никакой возможности опровергнуть принятое вами решение. Он говорит, что вы дали ему пинка, но он так и не знает почему.

Пробудившийся в молодой леди интерес к словам мальчика не угасал. Может, он поддерживался либо оригинальностью, либо отвагой охотника на зимних юнко и его ловким обходом ее категорических приказов, для чего он отказался от обычных способов связи. Она уставилась на статую, с безутешным видом стоявшую в этом заброшенном неухоженном парке, и заговорила, словно через громкоговоритель:

— Передайте этому джентльмену, что я не собираюсь вновь и вновь рассказывать ему о моих идеалах. Он отлично знает, каковы они были, и они таковыми неизменно остаются. В том, что касается нынешнего случая, то важнейшее значение имеют верность и истина. Скажи ему, что я хорошо изучила собственное сердце, лучше никто не сумеет, и теперь знаю как его слабости, так и его нужды. Вот почему я отказываюсь внимать его мольбам, какими бы они ни были. Я ведь осуждаю его не на основании сплетен или весьма сомнительных доказательств, — поэтому я и не выдвигаю никакого обвинения. Но если ему угодно настаивать и слышать то, что он уже не раз прежде слышал, то пусть послушает от тебя еще раз.

Скажи ему, что я вошла в тот вечер в консерваторию с черного хода и там в цветнике срезала розу для матери. Скажи ему, что я видела его с мисс Эшбертон под розовым олеандровым кустом. Такая прекрасная картина! Их позы и положение были слишком красноречивыми и очевидными и не требовали никаких догадок. Я покинула консерваторию, бросив там розу и оставив за спиной свой идеал. А теперь можешь передать стихотворный привет своему импресарио и, если охота, поплясать перед ним.

— Что-то не пойму одного слова, леди. Поло... положение, не растолкуете ли мне, что это означает?

— Соприкосновение или, если тебе угодно, близость — это нахождение кого-то от кого-то слишком близко, чтоб сохранить позицию идеала.

Гравий заскрипел под быстрыми ногами мальчишки. Теперь он стоял возле другой скамьи. Взгляд мужчины жадно устремился к нему. А в глазах мальчишки загорелся огонек усердия из-за его новой роли — роли переводчика.

— Леди сказала, что, может, есть девушки, которые принимают всерьез мужчину, который рассказывает им истории о привидениях, чтобы оправдать себя, но она из тех, кто не желает выслушивать все это «мыло». Она говорит, что застала вас на месте преступления, когда вы собирали цветочки с цветастого ситцевого женского платья, и когда она вошла, чтобы срезать для себя несколько цветков, вы уже в довершение всего зажимали девушку. Она говорит, что со стороны это смотрелось здорово, честь честью, но от этой картины ее стошнило. Она говорит, что вам лучше заняться своими делами и поспешить на поезд.

Молодой человек присвистнул, а глаза его вспыхнули, в голове пронеслась какая-то мысль. Из внутреннего кармана сюртука он вытащил пачку писем. Выбрав из них одно, он передал его мальчику, сопровождая свой жест еще одной полудолларовой монетой, извлеченной из своего жилета.

— Передай-ка вот это письмишко молодой леди, — сказал он, — пусть прочтает. Скажи ей, что я хотел бы ей объяснить сложившуюся ситуацию. Скажи ей, что если бы она свое представление об идеале одобрила бы определенным доверием, то можно было бы избежать многих сердечных мук. Передай ей, что верность, которую она так высоко ценит, осталась непоколебимой. Скажи ей, что я жду ответа.

Гонец вновь стоял перед леди.

— Парень говорит, что вы напрасно вешаете на него собак, он этого не заслужил, что он совсем не никчемный мужик, и если вы прочтаете вот это письмо, то поймете, что он парень что надо!

С весьма сомневающимся видом молодая леди развернула письмо и стала читать:

«Дорогой доктор Арнольд, я хочу поблагодарить вас за вашу добрую и очень своевременную помощь, которую вы оказали моей дочери в пятницу вечером, когда у нее произошел острый приступ ее старой болезни сердца в консерватории, на приеме у миссис Уолдрон. Если бы вы не оказались рядом с ней и не подхватили ее на руки, то мы бы ее наверняка потеряли. Буду очень рада, если вы посетите нас и возьмете на себя ее лечение.

С благодарностью

Роберт Эшбертон».

Молодая леди, свернув письмо, вернула его мальчику.

— Но парень ждет ответа, — сказал гонец. — Ну, что передать?

Ее ясные, повлажневшие глаза вспыхнули, и она, улыбнувшись, сказала:

— Передай этому парню, что девушка на другой скамейке хочет с ним поговорить...

Меблированная комната

Перевод М. Лорие

Беспокойны, непоседливы, преходящи, как само время, люди, населяющие краснокирпичные кварталы нижнего Вест-Сайда. Они бездомны, но у них сотни домов. Они перепархивают из одной меблированной комнаты в другую, не заживаясь нигде, не привязываясь ни к одному из своих убежищ, непостоянные в мыслях и чувствах. Они поют «Родина, милая родина» в ритме рэгтайма, своих ларов и пенатов они носят с собой в шляпных картонках, их лоза обвивается вокруг соломенной шляпки; смоковницей им служит фикус.

Дома этого района, перевидавшие тысячи постояльцев, могли бы, вероятно, рассказать

тысячи историй, по большей части скучных, конечно; но было бы странно, если бы после всех этих бродячих жильцов в домах не осталось ни одного привидения.

Однажды вечером, когда уже стемнело, среди этих красных домов-развалин блуждал какой-то молодой человек и звонил у каждой двери. У двенадцатой двери он поставил свой тощий чемоданчик на ступеньку и вытер пыль со лба и шляпы. Звонок прозвучал еле слышно, где-то далеко, в недрах дома.

В дверях этого двенадцатого по счету дома появилась хозяйка, похожая на противного жирного червя, который уже выгрыз всю сердцевину ореха и теперь заманивает в пустую скорлупу съедобных постояльцев.

Он спросил, есть ли свободные комнаты.

— Войдите, — сказала хозяйка. Голос шел у нее из горла, словно подбитого мехом. — Есть комната на третьем этаже, окнами во двор, уже неделю стоит пустая. Хотите посмотреть?

Молодой человек стал подниматься следом за ней по лестнице. Тусклый свет из какого-то невидимого источника скрадывал тени в коридорах. Хозяйка и гость бесшумно шли по устилавшему лестницу ковру, такому древнему, что от него отсекся бы даже станок, на котором его ткали. Он теперь принадлежал, скорее, к растительному царству; выродился в этом затхлом, лишенном солнца воздухе в буйный лишайник или пышный мох, который пучками прирос к ступенькам и прилипал к подошвам, как органическое вещество. На каждом повороте лестницы в стене была пустая ниша. Здесь, возможно, стояли когда-то цветы. Если так, цветы, должно быть, погибли в этом нечистом, зловонном воздухе. Возможно также, что когда-нибудь в этих нишах помешались статуи святых, но легко было представить себе, что черти с чертенятами, выбрав ночь потемнее, выволокли их оттуда и ввергли в нечестивую глубь какой-нибудь мебелированной преисподней.

— Вот комната, — раздалось из мехового горла хозяйки. — Хорошая комната. Она редко пустует. Прошное лето у меня в ней жили прекрасные постояльцы — никаких неприятностей, и платили вперед, точно в срок. Кран в конце коридора. Три месяца ее снимали Спраулз и Муни. Актеры, играли скетчи. Мисс Брэтта Спраулз, может, слышали... Нет, нет, она только выступала под этой фамилией, брачное свидетельство висело вон там, над комодом, в рамке. Газ вот тут, стенные шкафы, как видите, есть. Такая комната кому не понравится. Она никогда не пустует подолгу.

— И часто актеры снимают у вас комнаты? — спросил молодой человек.

— Всяко бывает. Многие из моих постояльцев работают в театре. Да, сэр, в этом районе много театров. Актеры, они, знаете, нигде подолгу не живут. Бывает, что и у меня поселятся, всяко бывает.

Он сказал, что комната ему подходит и что он устал и никуда сегодня не пойдет. Он отдал деньги вперед за неделю. Комната прибрана, сказала хозяйка, даже вода и полотенце приготовлены. Когда она собралась уходить, он в тысячный раз задал вопрос, который вертелся у него на языке:

— Вы не помните среди ваших жильцов молодую девушку — мисс Вешнер, мисс Элоизу Вешнер? Скорее всего, она поет на сцене. Красивая девушка, среднего роста, стройная, волосы рыжевато-золотистые и на левом виске темная родинка.

— Нет, такой фамилии не помню. Эти актеры меняют имена так же часто, как комнаты. Нынче они здесь, завтра уехали, всяко бывает. Нет, такой что-то не припомню.

Нет. Вечное нет. Пять месяцев беспрестанных поисков, и все напрасно. Сколько времени потрачено, днем — на расспрашивание антрепренеров, агентов, театральных школ и эстрадных хоров; по вечерам — в театрах, от самых серьезных до мюзик-холлов такого низкого пошиба, что он боялся найти там то, на что больше всего надеялся. Он любил ее сильнее всех и давно искал ее. Он был уверен, что после ее исчезновения из дому этот большой, опоясанный водою город прячет ее где-то, но город — как необъятное пространство зыбучего песка, те песчинки, что вчера еще были на виду, завтра затянет илом и тиной.

Меблированная комната встретила своего нового постояльца слабой вспышкой притворного гостеприимства, лихорадочным, вымученным, безучастным приветствием,

похожим на лживую улыбку продажной красоты. Отраженный свет сомнительного комфорта исходил от ветхой мебели, от оборванной парчовой обивки дивана и двух стульев, от узкого дешевого зеркала в простенке между окнами, от золоченых рам на стенах и никелированной кровати в углу.

Новый жилец неподвижно сидел на стуле, а комната, путаясь в наречиях, словно она была одним из этажей Вавилонской башни, пыталась поведать ему о своих разношерстных обитателях.

Пестрый коврик, словно ярко расцветенный прямоугольный тропический островок, окружало бурное море истоптанных циновок. На оклеенных серыми обоями стенах висели картины, которые по пятам преследуют всех бездомных, — «Любовь гугенота», «Первая ссора», «Свадебный завтрак», «Психея у фонтана». Целомудренно-строгая линия каминной доски стыдливо пряталась за наглой драпировкой, лихо натянутой наискось, как шарф у балерины в танце амазонок. На камине скопились жалкие обломки крушения, оставленные робинзонами в этой комнате, когда парус удачи унес их в новый порт, — грошковые вазочки, портреты актрис, пузырек от лекарства, разрозненная колода карт.

Один за другим, как знаки шифрованного письма, становились понятными еле заметные следы, оставленные постояльцами меблированной комнаты. Вытертый кусок ковра перед комодом рассказал, что среди них были красивые женщины. Крошечные отпечатки пальцев на обоях говорили о маленьких пленниках, пытавшихся найти дорогу к солнцу и воздуху. Неправильной формы пятно на стене, окруженное лучами, словно тень взорвавшейся бомбы, отмечало место, где разлетелся вдребезги полный стакан или бутылка. На зеркале кто-то криво нацарапал алмазом имя «Мари». Казалось, жильцы один за другим приходили в ярость, — может быть, выведенные из себя вопиющим равнодушием комнаты, — и срывали на ней свою злость. Мебель была изрезанная, обшарпанная; диван с торчащими пружинами казался отвратительным чудовищем, застывшим в уродливой предсмертной судороге. Во время каких-то серьезных беспорядков от каминной доски откололся большой кусок мрамора. Каждая половица бормотала и скрипела по-своему, словно жалуясь на личное, ей одной известное горе. Не верилось, что все эти увечья были умышленно нанесены комнате людьми, которые хотя бы временно называли ее своей, а впрочем, возможно, что ярость их распалил обманутый, подавленный, но еще не умерший инстинкт родного угла, мстительное озлобление против вероломных домашних богов. Самую убогую хижину, если только она наша, мы будем держать в чистоте, украшать и беречь.

Молодой человек, сидевший на стуле, дал этим мыслям прошагать на бесшумных подошвах по его сознанию, в то время как в комнату незаметно стекались меблированные звуки и запахи. Из одной комнаты донесся негромкий, прерывистый смех; из других — монолог разъяренной мегеры, стук игральных костей, колыбельная песня, приглушенный плач, над головой упоенно заливалось банджо. Где-то хлопали двери; то и дело громыхали мимо поезда надземки; во дворе на заборе жалобно мяукала кошка. И он вдыхал дыхание дома — скорее, даже не запах, а промозглый вкус — холодные влажные испарения, словно из погребя, смешанные с зловонием линолеума и трухлявого, гниющего дерева.

И вдруг, пока он сидел все так же неподвижно, комнату наполнил сильный, сладкий запах резеды. Он вошел, словно принесенный порывом ветра, такой уверенный, проникновенный и яркий, что почти казался живым. И молодой человек крикнул: «Что, милая?» — словно его позвали, вскочил со стула и огляделся. Густой запах льнул к нему, обволакивал его. Он протянул руки, чтобы схватить его, все его чувства мгновенно смешались и спутались. Как может запах так настойчиво звать человека? Нет, это, конечно, был звук. Но тогда, значит, звук дотронулся до него, погладил по руке?

— Она была здесь! — крикнул он и заметался по комнате, надеясь вырвать у нее признание, так как был убежден, что узнает каждую мелочь, которая принадлежала ей или которой она касалась. Этот всепроникающий запах резеды, аромат, который она любила, ее аромат, откуда он?

Комната была прибрана не очень тщательно. На смятой салфетке комода валялось

несколько шпилек — этих молчаливых, безличных спутников всякой женщины: женского рода, неопределенного вида, неизвестно какого времени. Их он не стал разглядывать, понимая, что от них ничего не добиться. Роясь в ящиках комода, он нашел маленький разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу. От платка нагло и назойливо пахло гелиотропом; он швырнул его на пол. В другом ящике ему попалось несколько пуговиц, театральная программа, ломбардная квитанция, две конфеты, сонник. В последнем ящике он увидел черный шелковый бант и на минуту затаил дыхание. Но черный шелковый бант — тоже сдержанное, безличное украшение любой женщины и ничего не может рассказать.

И тут он, как ищейка, пошел по следу: оглядывал стены, становился на четвереньки, чтобы ощупать углы бугристой циновки, обшарил столы и камин, портьеры и занавески и пьяный шкафчик в углу, в поисках видимого знака, еще не веря, что она здесь, рядом, вокруг, в нем, над ним, льнет к нему, ластится, так мучительно взывает к его сознанию, что даже его чувства восприняли этот зов. Раз он опять ответил вслух: «Да, милая!» — и обернулся, но его широко раскрытые глаза увидели пустоту, потому что он не мог еще различить в запахе резеды очертаний, и красок, и любви, и протянутых рук. О боже! Откуда этот запах, и давно ли у запахов есть голос? И он продолжал искать.

Он копался в углах и щелях и находил пробки и папиросы. Их он пренебрежительно отшвыривал. Но под циновкой ему попался окурочек сигары, и он, выругавшись злобно и грубо, раздавил его каблуком. Он просеял всю комнату как сквозь сито. Он прочел печальные и позорные строки о многих бродячих жильцах, но не нашел ни следа той, которую искал, которая, может быть, жила здесь, чей дух, казалось, витал в этой комнате.

Тогда он вспомнил о хозяйке.

Из населенной призраками комнаты он сбежал по лестнице вниз к двери, из-под которой виднелась полоска света. Хозяйка вышла на его стук.

Он, насколько мог, подавил свое возбуждение.

— Скажите мне, пожалуйста, — умолял он ее, — кто жил в моей комнате до меня?

— Хорошо, сэр. Могу рассказать еще раз. Спраулз и Муни, как я вам и говорила. Мисс Брэгга Спраулз, это по сцене, а на самом деле миссис Муни. У меня живут только порядочные люди, это всем известно. Брачное свидетельство висело в рамке, на гвозде, над...

— А что за женщина была эта мисс Спраулз, какая она была с виду?

— Да как вам сказать, сэр, брюнетка, маленького роста, полная, лицо веселое. Они съехали в прошлый вторник.

— А до них?

— А до них был одинокий джентльмен, работал по извозной части. Уехал и задолжал мне за неделю. До него была миссис Краудер с двумя детьми, жила четыре месяца, еще до них был старый мистер Дойл, за того платили сыновья. Он занимал комнату шесть месяцев. Вот вам целый год, сэр, а раньше я и не припомню.

Он поблагодарил ее и поплелся назад в свою комнату. Комната умерла. Того, что вдохнуло в нее жизнь, больше не было. Аромат резеды исчез. Как прежде, пахло погребом и отсыревшей мебелью.

Взлет надежды отнял у него последние силы. Он сидел, тупо уставившись на желтый, шипящий газовый рожок. Потом подошел к кровати и стал раздирать простыни на полосы. Перочинным ножом он крепко законопатил ими дверь и окна. Когда все было готово, он потушил свет, открыл газ и благодарно растянулся на постели.

В этот вечер была очередь миссис Мак-Куль идти за пивом. Она и сходила за ним и теперь сидела с миссис Пурди в одном из тех подземелий, где собираются квартирные хозяйки и где червь если и умирает, то редко.⁴⁷

— Сдала я сегодня мою комнату на третьем этаже, ту, что окнами во двор, — сказала миссис Пурди поверх целой шапки пены. — Снял какой-то молодой человек. Он уже два часа

⁴⁷ Намек на евангельское: «Где червь их не умирает и огонь не погасает», то есть в аду, в «геенне огненной».

как лег спать.

— Да что вы, миссис Пурди, неужто сдали? — сказала миссис Мак-Куль, сопя от восхищения. — Прямо чудо, как вы умеете сдавать такие комнаты. И как же вы, сказали ему или нет? — закончила она хриплым, таинственным шепотом.

— Меблированные комнаты, — сказала миссис Пурди на самых своих меховых нотах, — для того и существуют, чтобы их сдавать. Я ему ничего не сказала, миссис Мак-Куль.

— И правильно сделали, миссис Пурди: чем же нам и жить, как не сдачей комнат. Вы, прямо скажу, деловая женщина. Ведь есть которые нипочем не снимут комнату, скажи им только, что в ней человек покончил с собой, да еще на кровати.

— Ваша правда, жить всем нужно, — заметила миссис Пурди.

— Нужно, миссис Пурди, ох как нужно! Сегодня как раз неделя, что я вам помогала обмывать покойницу. А хорошенькая была какая, и чего ей понадобилось травить себя газом, — личико такое милое у нее было, миссис Пурди.

— Пожалуй, что и хорошенькая, — сказала миссис Пурди, соглашаясь, но не без критики, — только вот родинка эта на левом виске ее портила. Наливайте себе еще, миссис Мак-Куль.

Недолгий триумф Тильди

Перевод под ред. М. Лорие

Если Вы не знаете «Закусочной и семейного ресторана» Богля, вы много потеряли. Потому что если вы — один из тех счастливых, которым по карману дорогие обеды, вам должно быть интересно узнать, как уничтожает съестные припасы другая половина человечества. Если же вы принадлежите к той половине, для которой счет, поданный лакеем, — событие, вы должны узнать Богля, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам причитается (по крайней мере, по количеству).

Ресторан Богля расположен на проспекте Средней буржуазии — на бульваре Брауна-Джонса-Робинсона — на Восьмой авеню. В зале два ряда столиков, по шести в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами. Из перечницы вы можете вытрясти облачко чего-то меланхоличного и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплется ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус, изготавливаемый «по рецепту одного индийского раджи».

За кассой сидит Богль, холодный, суровый, медлительный, грозный, и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он дает вам сдачу, накальвает ваш счет, отрывисто, как жаба, бросает вам замечание насчет погоды. Но мой вам совет — ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств. Ведь вы — не знакомый Богля; вы случайный, кормящийся у него посетитель; вы можете больше не встретиться с ним до того дня, когда труба Гавриила призовет вас на последний обед. Поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите, хоть к черту. Такова теория Богля.

Посетителей Богля обслуживали две официантки и Голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица позубоскалить. Ее фамилия? Фамилии у Богля считались такой же излишней роскошью, как полоскательницы для рук

Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно: Тильди, Тильди. Тильди была маленькая, толстенькая, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем угодить, чтобы всем угодить. Перечитайте последнюю фразу раза три, и вы увидите, что в ней есть смысл.

Голос был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был

непросвещенный Голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками.

Вы позволите мне еще раз повторить, что Эйлин была красива? Если бы она надела двухсотдолларовое платье, и прошла бы в нем на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы ее, вы сами поторопились бы сказать это.

Клиенты Богля были ее рабами. Она умела обслуживать сразу шесть столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина — а женщины заглядывали к Бogleю редко — старался произвести на нее впечатление.

Эйлин умела перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая ее улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие яства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежащем положении. Все эти пиршества, флирт и блеск остроумия превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье.

Если даже случайные посетители бывали очарованы восхитительной Эйлин, то что же делалось с завсегдатаями Богля? Они обожали ее. Они соперничали между собою. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере, два раза в неделю кто-нибудь водил ее в театр или на танцы. Один толстый джентльмен, которого они с Тильди прозвали между собой «Боровом», подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку «Нахал» и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-возчик получит подряд на Девятой улице. А тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом и говорил, что он биржевой маклер, пригласил ее на «Парсифаля».

— Я не знаю, где это «Парсифаль» и сколько туда езды, — заметила Эйлин, рассказывая об этом Тильди, — но я не сделаю ни стежка на моем дорожном костюме до тех пор, пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Права я или нет?

А Тильди...

В пропитанном парами, болтовней и запахом капусты заведении Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди, с ее носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснушчатым лицом, никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал ее глазами, когда она бегала по ресторану, — разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо. Никто не заигрывал с нею, не вызывал ее на веселый турнир остроумия. Никто не подтрунивал над ней по утрам, как над Эйлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастливцу, что она, видно, поздненько пришла вчера домой, что так медленно подает сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал ее на таинственный, далекий «Парсифаль».

Тильди была хорошей работницей, и мужчины терпели ее. Те, что сидели за ее столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а затем уже другим, медовым голосом заговаривали с красавицей Эйлин. Они ерзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы красота ее превратила их яичницу с ветчиной в амброзию.

И Тильди довольствовалась своей ролью серенькой труженицы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонение и комплименты. Нос пуговкой питал верноподданнические чувства к короткому греческому носику. Она была другом Эйлин, и она радовалась, видя, как Эйлин властвует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога и лимонных пирожных. Но глубоко под веснушчатой кожей и соломенными волосами у самых некрасивых из нас таится мечта о принце или принцессе, которые придут только для нас одних.

Однажды утром Эйлин пришла на работу с подбитым глазом, и Тильди излила на нее потоки сочувствия, способные вылечить даже трахому.

— Нахал какой-то, — объяснила Эйлин. — Вчера вечером, когда я возвращалась домой. Пристал ко мне на Двадцать третьей. Лезет, да и только. Ну, я его отшила, и он отстал. Но

оказалось, что он все время шел за мной. На Восемнадцатой он опять начал приставать. Я как размахнулась да как ахну его по щеке! Тут он мне этот фонарь и наставил. Правда, Тиль, у меня ужасный вид? Мне так неприятно, что мистер Никольсон увидит, когда придет в десять часов пить чай с гренками.

Тильди слушала, и сердце у нее замирало от восторга. Ни один мужчина никогда не пытался приставать к ней. Она была в безопасности на улице в любой час дня и ночи. Какое это, должно быть, блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фонарь под глазом!

Среди посетителей Богля был молодой человек по имени Сидерс, работавший в прачечной. Мистер Сидерс был худ и белобрыс, и казалось, что его только что подсушили и накрахмалили. Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин; поэтому он обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал себя на молчание и вареную рыбу.

Однажды, когда мистер Сидерс пришел обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только два-три посетителя. Покончив с вареной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал ее, вышел на улицу, показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов.

Несколько секунд Тильди стояла окаменев. Потом до сознания ее дошло, что Эйлин грозит ей пальцем и говорит:

— Ай да Тиль, ай да хитрюга! На что это похоже! Этак ты отобьешь у меня всех моих поклонников. Придется мне следить за тобой, моя милая.

И еще одна мысль забрезжила в сознании Тильди. В мгновение ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь Цирцеей, целью для стрел Купидона, сабинянкой, которая должна остерегаться, когда римляне пируют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными. Этот стремительный, опаленный любовью Сидерс, казалось, совершил над ней то чудо, которое совершается в прачечной за особую плату. Сняв грубую дерюгу ее непривлекательности, он в один миг выстирал ее, просушил, накрахмалил, выгладил и вернул ей в виде тончайшего батиста — облачения, достойного самой Венеры.

Веснушки Тильди потонули в огне румянца. Цирцея и Психея вместе выглянули из ее загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах.

Тильди была не в силах хранить эту восхитительную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно остановилась возле конторки Богля. Глаза ее сияли; она очень старалась, чтобы в словах ее не прозвучала гордость и похвальба.

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня, — сказала она. — Он обхватил меня за талию и поцеловал.

— Вот как, — сказал Бogle, приподняв забрало своей деловитости. — С будущей недели будете получать на доллар больше.

Во время обеда Тильди, подавая знакомым посетителям, Объявляла каждому из них со скромностью человека, достоинства которого не нуждаются в преувеличении:

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал.

Обедающие принимали эту новость по-разному — одни выражали недоверие; другие поздравляли ее; третьи забросали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эйлин. И сердце Тильди ширилось от счастья — наконец-то на краю однообразной серой равнины, по которой она так долго блуждала, показались башни романтики.

Два дня мистер Сидерс не появлялся. За это время Тильди прочно укрепились на позиции интересной женщины. Она накупила лент, сделала себе такую же прическу, как у Эйлин, и затянула талию на два дюйма туже. Ей становилось и страшно и сладко от мысли, что мистер Сидерс может ворваться в ресторан и застрелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно, а эти страстные влюбленные всегда бешено ревнивы. Даже в Эйлин не стреляли из пистолета. И Тильди решила, что лучше ему не стрелять; она ведь всегда была верным другом

Эйлин и не хотела затмить ее славу.

На третий день в четыре часа мистер Сидерс пришел. За столиками не было ни души. В глубине ресторана Тильди накладывала в баночки горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидерс подошел к девушкам.

Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, и она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красный бант; на шее — эмблема Венеры с Восьмой авеню — ожерелье из голубых бус с символическим серебряным сердечком.

Мистер Сидерс был красен и смущен. Он опустил одну руку в карман брюк, а другую — в свежий пирог с тыквой.

— Мисс Тильди, — сказал он, — я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать, я тогда здорово выпил, а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мисс Тильди, что вы примете мое извинение и поверите, что я не сделал бы этого, если бы понимал, что делаю, и не был бы пьян.

Выразив столь деликатно свое раскаяние, мистер Сидерс дал задний ход и вышел из ресторана, чувствуя, что вина его заглажена.

Но за спасительной ширмой Тильди упала головой на стол, среди кусочков масла и кофейных чашек, и плакала навзрыд — плакала и возвращалась на однообразную серую равнину, по которой блуждают такие, как она, — с носом-пуговкой и волосами цвета соломы. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидерса она глубоко презирала; она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашел дорогу в заколдованное царство сна и привел в движение уснувшие часы и заставил суетиться сонных пажей. Но поцелуй был пьяный и неумышленный; сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу; ей суждено навеки остаться спящей красавицей.

Однако не все было потеряно. Рука Эйлин обняла ее, и красная рука Тильди шарил по столу среди объедков, пока не почувствовала теплого пожатия друга.

— Не огорчайся, Тиль, — сказала Эйлин, не вполне понявшая, в чем дело. — Не стоит того этот Сидерс. Не джентльмен, а белобрысая защипка для белья, вот он что такое. Будь он джентльменом, разве он стал бы просить извинения?

Примечания

В первом издании сборника было краткое предисловие О. Генри: «Не так давно один выдумщик заявил, что в Нью-Йорке имеется не более четырехсот человек, достойных внимания. Но отыскался другой человек — он занимается переписью населения в Нью-Йорке, — и его более мудрый подсчет помог нам найти название для этого сборника: «Четыре миллиона».

Четыреста человек, против исключительного внимания к которым протестует О. Генри, — это нью-йоркские миллионеры; американская пресса в 1900-х годах так и именовала их: «Четыреста».

Линии судьбы (Tobin's Palm), 1903. На русском языке под названием «Ладонь Тобиана» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Дары волхвов (The Gift of the Magi), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы Пг.—М., 1923. Название рассказа связано с евангельским сказанием о дарах, принесенных волхвами новорожденному младенцу — Христу.

Космополит в кафе (A Cosmopolite in a Cafe), 1905. На русском языке публикуется впервые.

В антракте (Between Rounds), 1905. На русском языке под названием «Между кругами» в книге: О. Генри. Шуми-городок над подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

На чердаке (A Skylight Room), 1905. На русском языке под названием «Комната с фонарем» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.—М., 1924, пер. З. Львовского.

Из любви к искусству (A Service of Love), 1905. На русском языке под названием «Если любишь» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.—М., 1924, пер. З. Львовского.

Дебют Мэгги (The Coming-Out of Maggie), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Прожигатель жизни (Man About Town), 1905. На русском языке публикуется впервые.

Фараон и хорал (The Cop and the Anthem), 1904. На русском языке под названием «Полицейский и антифон» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Гармония в природе (An Adjustment of Nature), 1905. На русском языке под названием «Приспособляемость природы» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.—Л., 1924, пер. В. Александрова.

Воспоминания желтого пса (Memoirs of a Yellow Dog), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Приворотное зелье Айки Шонштейна (The Love-Philtre of Ikey Schoenstein), 1904. На русском языке под названием «Любовный напиток Айки Шонштейна» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Золото и любовь (Mammon and the Archer), 1905. На русском языке под названием «Амур и Маммона» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Весна порционно (Springtime a la Carte), 1905. На русском языке под названием «Одуванчики» в книге: О. Генри. Рассказы. П.—М., 1923, пер. Л. Гаусман. С этим рассказом связана одна из многочисленных литературных легенд об О. Генри. Ирвин Кобб, американский писатель, вспоминает, как, сидя однажды с О. Генри в нью-йоркском кафе, спросил у него, где он находит свои сюжеты. «Да всюду, — ответил О. Генри, — желаете, вот вам сюжет». И, взяв в руки меню, импровизируя, он рассказал Коббу будущую «Весну порционно».

Зеленая дверь (The Green Door), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

С высоты козел (From the Cabby's Seat), 1904. На русском языке под названием «С точки зрения козел» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Неоконченный рассказ (An Unfinished Story), 1905. На русском языке под названием «Рождественский рассказ» в книге: О. Генри. Марионетки. Л., (1924), пер. Э. Бродерсон. Дэлси из этого рассказа О. Генри — известнейшая из его нью-йоркских продавщиц. Она — действующее лицо в советском фильме о жизни и творчестве О. Генри «Великий утешитель».

Калиф, купидон и часы (The Caliph, Cupid and the Clock), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.—М., 1925, пер. З. Львовского.

Орден золотого колечка (Sisters of the Golden Circle), 1905. На русском языке под названием «Сестры золотого круга» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. О. Поддячей.

Роман биржевого маклера (The Romance of a Busy Broker), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Через двадцать лет (After Twenty Years), 1904. На русском языке под названием «Спустя двадцать лет» в журнале «Огонек». 1924, № 27, пер. З. Львовского.

Мишурный блеск (Lost on Dress Parade), 1905. На русском языке под названием «Жертва тщеславия» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. С. Маршака.

Курьер (By Courier), 1906. На русском языке публикуется впервые.

Меблированная комната (The Furnished Room), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.—М., 1923, пер. Л. Гаусман. Один из немногих безысходно-сумрачных рассказов О. Генри.

Недолгий триумф Тильди (The Brief Debut of Tildy), 1904. На русском языке под названием «Улыбка счастья» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.—М., 1924,

пер. под ред. В. Азова.

Горящий светильник

Горящий светильник

Перевод И. Гуровой

Конечно, у этой проблемы есть две стороны. Рассмотрим вторую. Нередко приходится слышать о «продавщицах». Но их не существует. Есть девушки, которые работают в магазинах. Это их профессия. Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека? Будем справедливы. Ведь мы не именуем «невестами» всех девушек, живущих на Пятой авеню.

Лу и Нэнси были подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы, потому что родители не могли их прокормить. Нэнси было девятнадцать лет, Лу — двадцать. Это были хорошенькие трудолюбивые девушки из провинции, не мечтавшие о сценической карьере.

Ангел-хранитель привел их в дешевый и приличный пансион. Обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. Они остались подругами. Разрешите теперь, по прошествии шести месяцев, познакомить вас: Назойливый Читатель — мои добрые друзья мисс Нэнси и мисс Лу. Раскланиваясь, обратите внимание — только незаметно, — как они одеты. Но только незаметно! Они так же не любят, чтобы на них глазели, как дама в ложе на скачках.

Лу работает сдельно гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо сидит на ней, перо на шляпе на четыре дюйма длиннее, чем следует, но ее горностаевая муфта и горжетка стоят двадцать пять долларов, а к концу сезона собратья этих горностаев будут красоваться в витринах, снабженные ярлыками «7 долларов 98 центов». У нее розовые щеки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью.

Нэнси вы назовете продавщицей — по привычке. Такого типа не существует. Но поскольку пресыщенное поколение повсюду ищет тип, ее можно назвать «типичной продавщицей». У нее высокая прическа «помпадур» и корректнейшая английская блузка. Юбка ее безупречного покроя, хотя и из дешевой материи. Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Ее лицо, ее глаза, о безжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы: безмолвное, презрительное негодование попранной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, и те из нас, кто доживет, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор. Это выражение должно было бы смутить и уничтожить мужчину, однако он чаще ухмыляется и преподносит букет... за которым тянется веревочка.

А теперь приподнимите шляпу и уходите, получив на прощание веселое «до скорого!» от Лу и насмешливую, нежную улыбку от Нэнси, улыбку, которую вам почему-то не удастся поймать, и она, как белая ночная бабочка, трепеща, поднимается над крышами домов к звездам.

На углу улицы девушки ждали Дэна. Дэн был верный поклонник Лу. Преданный? Он был бы при ней и тогда, когда Мэри пришлось бы разыскивать свою овечку⁴⁸ при помощи наемных сыщиков.

— Тебе не холодно, Нэнси? — заметила Лу. — Ну и дура ты! Торчишь в этой лавчонке за восемь долларов в неделю! На прошлой неделе я заработала восемнадцать пятьдесят. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком, зато плата хорошая.

⁴⁸ Намек на детские английские стихи про Мэри и ее верную овечку.

Никто из наших гладильщиц меньше десяти долларов не получает. И эта работа ничем не унижительнее твоей.

— Ну и бери ее себе, — сказала Нэнси, вздернув нос, — а мне хватит моих восьми долларов и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности! У нас в отделе перчаток одна вышла за литейщика или как там его, — кузнеца, из Питтсбурга. Он миллионер! И я могу подцепить не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну а в прачечной какие у девушки возможности?

— Там я познакомилась с Дэнном! — победоносно заявила Лу. — Он зашел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я гладила на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Меджинниз заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки — такие белые и круглые. У меня были закатаны рукава. В прачечные заходят очень приличные люди. Их сразу видно: они белье приносят в чемоданчике и в дверях не болтаются.

— Как ты можешь носить такую блузку, Лу? — спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно-насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги. — Ну и вкус же у тебя!

— А что? — вознегодовала Лу. — За эту блузку я шестнадцать долларов заплатила, а стоит она двадцать пять. Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке! Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие?

— Это серое безобразие, — холодно сказала Нэнси, — точная копия того безобразия, которое носит миссис ван Олстин Фишер. Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине счет был двенадцать тысяч долларов. Свое платье я сшила сама. Оно обошлось мне в полтора доллара. За пять шагов ты их не различишь.

— Ладно уж! — добродушно сказала Лу. — Если хочешь голодать и важничать — дело твое. А мне годится и моя работа, только бы платили хорошо; зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману.

Тут появился Дэн, монтер (с заработком тридцать долларов в неделю), серьезный юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на Лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха.

— Мой друг мистер Оуэнс, — представила Лу. — А это мисс Дэнфорс, познакомьтесь.

— Очень рад, мисс Дэнфорс, — сказал Дэн, протягивая руку. — Лу много говорила о вас.

— Благодарю, — сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев. — Она упоминала о вас... изредка.

Лу хихикнула.

— Это рукопожатие ты подцепила у миссис ван Олстин Фишер? — спросила она.

— Тем более можешь быть уверена, что ему стоит научиться, — сказала Нэнси.

— А мне оно ни к чему. Очень уж томно. Придумано, чтобы щеголять бриллиантовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую.

— Сначала научись, — благоразумно заметила Нэнси, — тогда и кольца скорее появятся.

— Ну, чтобы покончить с этим спором, — вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь, — позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть, отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные брильянты, раз уж настоящие камешки не про нас.

Верный рыцарь занял свое место у края тротуара, рядом шла Лу в пышном павлиньем наряде, а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробышек, но с манерами подлинной миссис ван Олстин Фишер, — так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений.

Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным заведением. Но для Нэнси ее магазин был самой настоящей школой. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее ни платил

— вы или другие.

Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань — то, что ей больше всего нравилось в каждой.

У одной она копировала жест, у другой — красноречивое движение бровей, у третьей — походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к «низшим». А у своей излюбленной модели, миссис ван Олстин Фишер, она заимствовала нечто поистине замечательное — негромкий нежный голос, чистый, как серебро, музыкальный, как пение дрозда. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности и хороших манер неизбежно должно было оказать на нее и более глубокое влияние. Говорят, что хорошие привычки лучше хороших принципов. Возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Родительские поучения могут и не спасти от гибели вашу пуританскую совесть; но если вы выпрямитесь на стуле, не касаясь спинки, и сорок раз повторите слова «призмы, пилигримы», сатана отойдет от вас. И когда Нэнси прибегала к ван-олстинфишеровской интонации, ее охватывал гордый трепет *noblesse oblige*. {*Положение обязывает (фр.).*}

В этой универсальной школе были и другие источники познания. Когда вам доведется увидеть, что несколько продавщиц собрались в тесный кружок и позвякивают дутыми браслетами в такт словно бы легкомысленной болтовне, не думайте, что они обсуждают челку модницы Этель. Может быть, этому сборищу не хватает спокойного достоинства мужского законодательного собрания, но по значению своему оно не уступает первому совещанию Евы и ее старшей дочери о том, как поставить Адама на место. Это — Женская Конференция Взаимопомощи и Обмена Стратегическими Теориями Нападения на и Защиты от Мира, Который есть Сцена, и от Зрителя-Мужчины, упорно Бросающего Букеты на Таковую. Женщина — самое беспомощное из земных созданий, грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без ее крыльев, полная сладости, как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору — среди нас могут оказаться ужаленные. На этом военном совете обмениваются оружием и делятся опытом, накопленным в жизненных стычках.

— А я ему говорю: «Нахал! — говорит Сэди. — Да как вы смеее говорить мне такие вещи? За кого вы меня принимаете?» А он мне отвечает...

Головы — черные, каштановые, рыжие, белокурые и золотистые — сближаются. Сообщается ответ, и совместно решается, как в дальнейшем парировать подобный выпад на дуэли с общим врагом — мужчиной.

Так Нэнси училась искусству защиты, а для женщины успешная защита означает победу.

Учебная программа универсального магазина весьма обширна. И, пожалуй, ни один колледж не подготовил бы Нэнси так хорошо для осуществления ее заветного желания — выиграть в брачной лотерее.

Ее прилавок был расположен очень удачно. Рядом находился музыкальный отдел, и она познакомилась с произведениями крупнейших композиторов, по крайней мере, настолько, насколько это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценительницу в том неведомом «высшем свете», куда она робко надеялась проникнуть. Она впитывала возвышающую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий, которые для женщины почти заменяют культуру.

Честолюбивые стремления Нэнси недолго оставались тайной для ее подруг. «Смотри, вон твой миллионер, Нэнси!» — раздавалось кругом, когда к ее прилавку приближался покупатель подходящей внешности. Постепенно у мужчин, слонявшихся без дела по магазину, пока их дамы занимались покупками, вошло в привычку останавливаться у прилавка с носовыми платками и не спеша перебирать батистовые квадратики. Их привлекали поддельный светский тон Нэнси и ее неподдельная изящная красота. Желающих полюбезничать с ней было много. Некоторые из них, возможно, были миллионерами, остальные прилагали все усилия, чтобы сойти за таковых. Нэнси научилась их различать.

Сбоку от ее прилавка было окно; за ним были видны ряды машин, ожидавших внизу покупателей. И Нэнси узнала, что автомобили, как и их владельцы, имеют свое лицо.

Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом царя Кофетуа, купил четыре дюжины носовых платков. Когда он ушел, одна из продавщиц спросила:

— В чем дело, Нэн? Почему ты его спровадила? По-моему, товар что надо.

— Он-то? — сказала Нэнси с самой холодной, самой любезной, самой безразличной улыбкой из арсенала миссис ван Олстин Фишер. — Не для меня. Я видела, как он подъехал. Машина в двенадцать лошадиных сил и шофер — ирландец. А ты заметила, какие платки он купил — шелковые! И у него кольцо с печаткой. Нет, мне подделок не надо.

У двух самых «утонченных» дам магазина — заведующей отделом и кассирши — были «шикарные» кавалеры, которые иногда приглашали их в ресторан. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. «Шикарных» кавалеров было двое: один был лыс (его волосы развеял вихрь удовольствий — это нам достоверно известно), другой — молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал свою значительность и пресыщенность жизнью, — во-первых, он клялся, что вино никуда не годится, а во-вторых, носил бриллиантовые запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был равнодушен к продавщицам, а в этой безыскусственная простота ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий день он явился в магазин и по всем правилам сделал ей предложение руки и сердца над коробкой платочков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказала. В течение всей их беседы каштановая прическа «помпадур» по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования.

— Идиотка! Это же миллионер — племянник самого ван Скиттлза. И ведь он говорил всерьез. Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!

— Ты думаешь? — сказала Нэнси. — Ах, значит, надо было согласиться? Прежде всего, он не такой уж миллионер. Семья дает ему всего двадцать тысяч в год на расходы, лысый вчера над этим смеялся.

Каштановая прическа придвинулась и прищурила глаза.

— Что ты воображаешь? — спросила она хриплым голосом (от волнения она забыла сунуть в рот жевательную резинку). — Тебе что, мало? Может, ты в мормоны хочешь, чтобы повенчаться зараз с Рокфеллером, Гладстоном Дауи, королем испанским и прочей компанией? Тебе двадцати тысяч в год мало?

Нэнси слегка покраснела под упорным взглядом глупых черных глаз.

— Тут дело не только в деньгах, Кэрри, — объяснила она. — Его приятель вчера поймал его на вранье. Что-то о девушке, с которой он будто бы не ходил в театр. А я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится — вот и все. Меня дешево не купишь. Это правда — я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто гроыхающая копилка.

— Тебе место в психометрической больнице, — сказал каштановый «помпадур», отворачиваясь.

И Нэнси продолжала питать такие возвышенные идеи, чтобы не сказать — идеалы, на свои восемь долларов в неделю. Она шла по следу великой неведомой «добычи», поддерживая свои силы черствым хлебом и все туже затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная боевая улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом; часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливаясь, но каждый раз какой-то глубокий безошибочный инстинкт — охотницы или, может быть, женщины — удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу.

А Лу процветала все в той же прачечной. Из своих восемнадцати долларов пятидесяти центов в неделю она платила шесть долларов за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с Нэнси у нее было мало возможностей улучшить свой вкус и манеры. Весь день она гладила в душевной прачечной, гладила и мечтала о том, как приятно проведет

вечер. Под ее утыгом перебивало много дорогих пышных платьев, и, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику.

Когда она кончала работу, на улице уже дожидался Дэн, ее верная тень при любом освещении.

Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал ее — ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих.

Лу была по-прежнему верна своей подруге. По нерушиму правилу Нэнси сопровождала их, куда бы они ни отправлялись, и Дэн весело и безропотно нес добавочные расходы. Этому трио искателей развлечений Лу, так сказать, придавала яркость, Нэнси — тон, а Дэн — вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстуке, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове, можно было положиться. Он принадлежал к тем хорошим людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых часто вспоминаешь, когда их нет.

Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус. Но она была молода, а молодость жадна и за неимением лучшего заменяет качество количеством.

— Дэн все настаивает, чтобы мы поженились, — однажды призналась Лу. — А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу свои деньги, как хочу. А он ни за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей лавчонке? Ни поесть, ни одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы сбавила форсу, зато у нас можно заработать.

— Тут дело не в форсе, Лу, — сказала Нэнси. — Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми, — хоть я их только обслуживаю, — и можешь быть уверена, что я ничего не пропускаю.

— Изловила своего миллионщика? — насмешливо фыркнула Лу.

— Пока еще нет, — ответила Нэнси. — Выбираю.

— Боже ты мой, выбирает! Смотри, Нэн, не упusti, если подвернется хоть один даже с неполным миллионом. Да ты шутишь — миллионеры и не думают о работницах вроде нас с тобой.

— Тем хуже для них, — сказала Нэнси рассудительно, — кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами.

— Если какой-нибудь со мной заговорит, — хохотала Лу, — я просто в обморок хлопнусь!

— Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто?

Лу оглядела простенький оливково-серый жакет подруги.

— По-моему, нет — разве что рядом с твоей линялой тряпкой.

— Этот жакет, — удовлетворенно сказала Нэнси, — точно того же покроя, как у миссис ван Олстин Фишер. Материал обошелся мне в три девяносто восемь — долларов на сто дешевле, чем ей.

— Не знаю, — легкомысленно рассмеялась Лу, — клюнет ли миллионер на такую приманку. Чего доброго, я раньше тебя изловлю золотую рыбку.

Поистине, только философ мог бы решить, кто из подруг был прав. Лу, лишенная той гордости и щепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утыгом в шумной и душной прачечной. Заработка хватало ей с избытком, пышность ее туалетов все возрастала, и Лу уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой неэлегантный костюм Дэна — Дэна стойкого, постоянного, неизменного.

А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка, весь этот мир изысканного вкуса создан для женщины, это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее — жизнь, то пусть она живет в нем. И она не предает, как Исав, права, данные ей рождением.⁴⁹

Похлебка же ее нередко скудна.

Такова была Нэнси. Ей легко дышалось в атмосфере магазина, и она со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевые платья. Женщину она уже узнала и теперь изучала свою дичь — мужчину, его обычаи и достоинства. Настанет день, когда она подстрелит желанную добычу: самую большую, самую лучшую — обещала она себе.

Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел.⁵⁰

Но — может быть, бессознательно — она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед ее внутренним взором и вместо него возникали слова: «искренность», «честь», а иногда и просто «доброта». Прибегнем к сравнению. Бывает, что охотник за лосем в дремучем лесу вдруг выйдет на цветущую поляну, где ручей журчит о покое и отдыхе. В такие минуты сам Нимрод опускает копье.⁵¹

Иногда Нэнси думала — так ли уж нужен каракуль сердцам, которые он покрывает?

Как-то в четверг вечером Нэнси вышла из магазина и, перейдя Шестую авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию.

Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения, лицо его было хмуро.

— Я зашел спросить, не слышали ли они чего-нибудь о ней, — сказал он.

— О ком? — спросила Нэнси. — Разве Лу не здесь?

— Я думал, вы знаете, — сказал Дэн. — С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу.

— И никто ее с тех пор не видел? — спросила Нэнси.

Дэн жестко посмотрел на нее. Его рот был угрюмо сжат, а серые глаза холодны, как сталь.

— В прачечной говорят, — неприязненно сказал он, — что ее видели вчера — в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми вы с Лу вечно забивали себе голову.

В первый раз в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна.

— Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн.

— Я не это имел в виду, — сказал Дэн, смягчаясь. Он порылся в жилетном кармане.

— У меня билеты на сегодня, — начал он со стоической веселостью, — и если вы...

Нэнси умела ценить мужество.

— Я пойду с вами, Дэн, — сказала она.

Прошло три месяца, прежде чем Нэнси снова встретилась с Лу.

Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее окликнули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу.

⁴⁹ Исав, по библейской легенде, продал свое право первородства младшему брату за миску чечевичной похлебки.

⁵⁰ В евангельской притче рассказано о мудрых девах, которые держали свои светильники зажженными в ожидании небесного жениха.

⁵¹ Нимрод, — в библейской легенде — искусный охотник.

После первых поцелуев они чуть отпрянули назад, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу, а на кончиках их языков дрожали тысячи вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Лу снизошло богатство, воплощенное в шедеврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях.

— Ах ты, дуручка! — с шумной нежностью вскричала Лу. — Все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замухрышка. А как твоя знаменитая добыча? Еще не изловила?

И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней, на щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали радостные признания.

— Да, я все еще в магазине, — сказала Нэнси, — до будущей недели. И я поймала — лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна — за Дэна! Он теперь мой, Дэн! Что ты, Лу? Лу!..

Из-за угла сквера показался один из тех молодых подтянутых блюстителей порядка нового набора, которые делают полицию более сносной — по крайней мере, на вид. Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах, с бриллиантовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить. Но, будучи гибсоновским⁵² фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не заметил. У него хватило ума понять, что полиция здесь бессильна помочь, даже если он будет стучать по решетке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.

Шехерезада с Мэдисон-сквера

Перевод Т. Озерской

Филлипс подал вечернюю почту Карлсону Чалмерсу в его квартире близ Мэдисон-сквера. Помимо обычной корреспонденции в ней оказалось два конверта с одинаковым иностранным штемпелем.

В один из конвертов была вложена женская фотография, в другой — бесконечно длинное письмо, над которым Чалмерс довольно долго просидел в задумчивости. Письмо было написано женщиной и содержало в себе много сладких, но ядовитых колючек, нацеленных на особу, изображенную на фотографии, отчего она показалась Чалмерсу вымазанной медом и вываленной в перьях.

Чалмерс разорвал письмо на тысячу мельчайших клочков и принялся терзать свой дорогой ковер, расхаживая по нему взад и вперед. Так ведет себя обитатель джунглей — зверь, попав в клетку, и так ведет себя обитатель клетки — человек, заблудившись в джунглях сомнений.

Мало-помалу душевное смятение улеглось. Ковер не был ковром-самолетом. Он мог покрывать пространство в несколько квадратных футов, и только; помочь своему хозяину покрыть три тысячи миль было не в его возможностях.

Появился Филлипс. Входить не входило в его привычки: он появлялся — неукоснительно, как хорошо вышколенный джинн.

— Вы обедаете дома, сэр, или будут другие распоряжения? — спросил он.

— Дома и ровно через полчаса, — отвечал Чалмерс и с тоской прислушался к завыванию эоловой арфы января над опустевшими улицами.

— Обождите, — приказал он начавшему исчезать джинну. — Возвращаясь домой, я видел в конце сквера много людей, стоявших гуськом. А один человек что-то им всем говорил,

⁵² Гибсон Чарлз Дана (1867–1945) — художник-иллюстратор, идеализированно изображавший молодых американок и американцев.

взобравшись на какое-то возвышение. Что делают там эти люди и почему они стоят гуськом?

— Это бездомные, сэр, — отвечал Филлипс. — А человек, который стоит на ящике, старается устроить их на ночлег. Прохожие останавливаются послушать его и дают ему денег. Тогда он отбирает несколько человек и посылает их на эти деньги в ночлежку. Поэтому они и стали в очередь, чтобы в порядке очередности получить ночлег.

— Когда будете подавать обед, приведите одного из этих людей сюда, — распорядился Чалмерс. — Он пообедает со мной.

— Кото... которого же?.. — начал было Филлипс, впервые за всю свою долголетнюю службу позволив себе запинку в речи.

— Любого, по вашему усмотрению, — сказал Чалмерс. — Проследите только, чтобы он был по возможности трезв, и некоторая доля внешней опрятности тоже не будет поставлена ему в вину. Ступайте.

Играть роль калифа было совсем не в характере Карлсона Чалмерса. Но в этот вечер он почувствовал ненадежность старых, испытанных средств борьбы с меланхолией. В этот вечер, чтобы поднять настроение, ему требовалось что-нибудь из ряда вон выходящее, что-нибудь острое и экзотическое.

Через полчаса джинн Филлипс выполнил все, что было поручено ему Аладдином. Официанты из ресторана внизу проворно доставили наверх изысканный обед. Стол, накрытый на две персоны, весело сверкал, отражая пламя свечей под розовыми абажурами.

И вот уже Филлипс торжественно, словно возвещая о прибытии кардинала или о захваченном на месте преступления взломщике, возник на пороге и пропустил вперед еще дрожавшего от холода посетителя, изъятого из содружества сирых, жаждущих ночлега.

Людей такого сорта принято называть обломками кораблекрушения. Однако в этом случае напрашивалось сравнение другого порядка: гость казался жертвой грандиозного пожара, но что-то еще тлело на этом пепелище и грозило воспламениться. Руки и лицо гостя были свежeweмыты — обряд, совершенный по настоянию Филлипса, как дань грубо попраным условностям. Гость стоял, освещенный пламенем свечей, и казался единственным изъяном в безукоризненной мебелировке покоев. Землисто-бледное лицо его до самых глаз заросло щетиной цвета шерсти породистого ирландского сеттера. Гребень Филлипса был посрамлен в единоборстве с тускло-коричневой шевелюрой, плотно свалывшейся и воспринявшей контуры круглосуточно покрывавшей ее шляпы. В глазах гостя горел вызов, порожденный хитростью и отчаянием, — так загнанная в угол дворняжка взирает на своих мучителей. Потрепанный пиджак его был застегнут по самый ворот, и оттуда, как бы во искупление всех погрешностей костюма, выглядывал край воротничка рубашки. Когда Чалмерс поднялся из-за обеденного стола навстречу гостю, тот, против ожидания, не проявил особого замешательства.

— Я буду вам весьма признателен, — сказал хозяин, — если вы не откажетесь отобедать со мной.

— Моя фамилия Пальмер, — резко и вызывающе заявил гость с большой дороги. — Говорю это на тот случай, если вы, как и я, любите знать, с кем обедаете.

— А моя — Чалмерс, и я только что хотел представиться вам, — поспешил исправить свою оплошность хозяин. — Прошу вас занять место за столом.

Мистер Пальмер, странным образом напоминавший побитую бурей пальму, слегка согнул колени, позволяя Филлипсу пододвинуть под него стул. Всем своим видом он показывал, что ему не впервой садиться за стол, за которым прислуживает дворецкий. Филлипс подал анчоусы и маслины.

— Неплохо, — буркнул мистер Пальмер. — Обед, надо полагать, будет из нескольких блюд? Ну что ж, любезный правитель Багдада, я готов быть вашей Шехерезадой от закуски до зубочистки. Вы первый калиф с настоящим восточным размахом, встреченный мной после постигшего меня краха. Мне повезло! Я ведь был сорок третьим в очереди. Только кончил подсчитывать, как появился ваш почтенный эмиссар и попросил меня пожаловать на пир. А у меня было не больше шансов получить сегодня ночлег, чем стать завтра премьер-министром.

Так как же вы предпочитаете познакомиться с печальной повестью моей жизни, мистер аль-Рашид, по одной главе с каждой сменой блюд или все жизнеописание залпом за кофе и сигарами?

— У вас, по-видимому, уже имеется некоторый опыт по этой части? — с улыбкой спросил Чалмерс.

— Нет, клянусь бородой пророка! — отвечал гость. — Нью-Йорк кишит прижимистыми Гарун аль-Рашидами, как Багдад блохами. Меня раз двадцать заставляли рассказывать мою историю под дулом филантропии. Покажите мне хоть одного человека в Нью-Йорке, который дал бы вам что-нибудь даром! Любопытство и благотворительность идут у нас рука об руку. Многие готовы авансировать вас десятью центами и китайским рагу, а некоторые калифы доводят свои благодеяния даже до добротного филе, но ни те ни другие не дадут вам ни охнуть, ни вздохнуть, пока не выжмут из вас всю вашу биографию, со всеми сносками, примечаниями и неопубликованными вариантами. О, я-то знаю, как нужно себя вести в нашем благословенном Багдаде-над-Подземкой, когда ты видишь, что к тебе приближается жратва. Я в этих случаях три раза бухаюсь лбом об асфальт тротуара и мысленно сочиняю очередную небылицу в оплату за ужин. Я объявляю себя потомком покойного Томми Тэккера, который вынужден был упражнять свои голосовые связки ради хлеба насущного.

— Но я не прошу вас занимать меня баснями, — сказал Чалмерс. — Признаюсь вам откровенно, что мне просто неожиданно взбрело в голову пригласить какого-нибудь незнакомца отобедать со мной. Поверьте, я не собираюсь докучать вам расспросами.

— А, бросьте! — воскликнул гость, с аппетитом принимаясь за суп. — Я ровным счетом ничего не имею против. Стоит мне завидеть приближающегося калифа, и я мгновенно превращаюсь в заправский восточный альманах в красной обложке, уже разрезанный для удобства чтения. Правду сказать, у нашей ночлежной братии выработалась даже своя такса на этот случай. Ведь кто-нибудь непременно остановится и пожелает узнать, что послужило причиной нашего падения. За сэндвич и кружку пива я обычно сообщаю, что виной всему была выпивка. За кусок солонины с капустой и чашку кофе я преподношу историю из популярной серии «Жестокосердый домовладелец, или Шесть месяцев на больничной койке и потеря работы». За бифштекс из вырезки и двадцать пять центов на ночлежку выдается полноценная уолл-стритовская трагедия внезапного банкротства и постепенного падения на дно. Но с благотворительностью такого размаха, как у вас, я сталкиваюсь впервые. У меня не заготовлено никаких вариантов на этот случай. Поэтому я готов предложить вам, мистер Чалмерс, подлинную историю моей жизни, если вы согласны ее выслушать. Поверить в нее вам будет, пожалуй, труднее, чем в любую небылицу.

Часом позже, когда Филлипс убрал со стола и подал кофе и сигары, гость из далекой Аравии с довольным видом откинулся на спинку стула.

— Слыхали вы когда-нибудь о Шеррарде Пальмере? — загадочно улыбаясь, спросил он.

— Это имя мне как будто знакомо, — сказал Чалмерс, — Мне кажется, оно принадлежит художнику, пользовавшемуся довольно большой известностью несколько лет назад.

— Пять лет назад, — уточнил гость. — После чего я пошел ко дну, как кусок свинца. Я — Шеррард Пальмер! Последний написанный мною портрет я продал за две тысячи долларов. А затем — всё, ни одна живая душа не соглашалась мне больше позировать, даже если я предлагал отдать портрет даром.

— Что же произошло? — не удержался от вопроса Чалмерс.

— Произошла странная вещь, — угрюмо отвечал Пальмер. — Сам до сих пор как следует не пойму. Сначала я как сыр в масле катался. Двери фешенебельных гостиных были открыты для меня настезь, и заказы сыпались со всех сторон. Газеты называли меня модным художником. А потом начались какие-то странности. Стоило мне написать портрет, и все, кто бы его ни увидел, принимались как-то загадочно перешептываться и переглядываться.

Довольно скоро я понял, что за этим крылось. В моих портретах каким-то образом выявлялись скрытые черты характера изображенного на нем лица. Сам не знаю, как это у меня получалось, ведь я писал то, что видел. Знаю только, что это меня сгубило. Кое-кто из моих

заказчиков пришел в бешенство и отказался взять портрет. Я написал портрет одной дамы — очень красивой, блистающей в свете. Когда портрет был закончен, муж этой дамы долго смотрел на него с каким-то странным выражением лица, а через неделю возбудил дело о разводе.

Помню еще случай с одним банкиром, который мне позировал. Когда я выставил его портрет у себя в студии, кто-то из знакомых этого банкира пришел поглядеть на него. «Боже милостивый! — воскликнул этот знакомый. — Неужто у него в самом деле такое выражение лица?» Я заверил его, что все находят в этом портрете очень большое сходство с оригиналом. «Я как-то никогда не замечал такого выражения в его глазах, — сказал он. — Пожалуй, я заеду в банк и сниму со счета свои деньги». И он отправился в банк, но его денег там уже не оказалось, как, впрочем и самого банкира.

Прошло не так уж много времени, и я очутился на мели. Люди не хотели, чтобы портреты разоблачали изменные стороны их души. Они могли улыбаться и придавать своему лицу лживое выражение, но портреты этого делать не умели. Я перестал получать заказы, и мне пришлось бросить свою профессию. Некоторое время я пробовал работать художником в газете, потом литографом, но и там моя деятельность кончилась так же плачевно. Когда я перерисовывал чью-нибудь фотографию, в моем рисунке выявлялись те черты характера, которых не было видно на фотографии, но которые, как я понимаю, были присущи оригиналу. Заказчики, особенно женщины, поднимали вой, и я не мог долго удержаться ни на одной работе. Тогда в поисках утешения я начал преклонять свою усталую голову на грудь старушки выпивки, после чего довольно скоро очутился в очереди на ночлежку и научился творить устные легенды для подателей милостыни на базарах нищеты. Не утомил ли я тебя своей правдивой повестью, о калиф? Я могу, если угодно, переключиться на уолл-стритовскую трагедию, но там требуется пустить слезу, а я боюсь, что после такого обеда мне не удастся выдавить из глаз ни капли соленой влаги.

— О нет, нет! — взволнованно сказал Чалмерс. — Ваш рассказ очень заинтересовал меня. Все ли ваши портреты выявляли какое-нибудь отталкивающее свойство или были среди них и такие, которые выдерживали испытание, налагаемое вашей необычайной кистью?

— Были ли такие? Да, — сказал мистер Пальмер, — были, преимущественно портреты детей, но довольно много было и женских и немало мужских. Не все люди плохи, знаете ли. А хороший человек хорош и на портрете. Как я уже сказал, объяснить это я не берусь, просто рассказываю все как есть.

На письменном столе Чалмерса лежала фотография, которая прибыла к нему в тот день из чужих стран. Не прошло и десяти минут, как он уже усадил мистера Пальмера за работу: сделать с этой фотографии набросок пастелью. Через час художник поднялся со стула и устало потянулся.

— Готово, — сказал он, зевая. — Извините, что я так долго копался. Эта работа как-то увлекла меня. Ну и устал же я, черт побери! Прошлой ночью так и не попал в ночлежку. Ну, а теперь, о Повелитель Правоверных, мне, как я полагаю, пора и откланяться!

Чалмерс проводил гостя до двери и сунул несколько бумажек ему в руку.

— Что ж, я это приму, — сказал мистер Пальмер. — Без этого картина падения была бы неполной. Благодарю. И спасибо за превосходный обед. Сегодня я буду спать без задних ног, и мне приснится Багдад. Лишь бы наутро все это и вправду не оказалось сном. Прощайте, о калиф из калифов!

И снова Чалмерс принялся беспокойно мерить шагами свой ковер. Но при этом он старался, насколько позволяли размеры комнаты, держаться подальше от письменного стола, на котором лежал пастельный набросок. Раз-другой он сделал попытку приблизиться к столу, но у него не хватало духу. Он видел краем глаза что-то серовато-коричневое и золотистое, но страх воздвиг между ним и наброском стену, разрушить которую у него не было сил. Он опустил на стул и постарался взять себя в руки. Потом вскочил и позвонил Филлипу.

— Где-то в этом доме живет молодой художник, — сказал он. — Некто мистер Рейнеман. Может быть, вам известно, какую он занимает квартиру?

— На самом верху, окнами на улицу, сэр, — ответил Филлипс.

— Ступайте к нему и спросите его, не будет ли он так добр спуститься ко мне на несколько минут.

Рейнеман пришел без промедления. Чалмерс представился.

— Мистер Рейнеман, — сказал он. — Вон там, на столе, лежит небольшой пастельный набросок. Вы очень меня обяжете, если выскажете о нем свое суждение — как о его живописных достоинствах, так и по поводу изображенного на нем лица.

Молодой художник подошел к столу и взял набросок. Чалмерс отвернулся и оперся о спинку кресла.

— Ну, а само лицо?.. Что вы скажете о нем... о той...

— Как произведение искусства это выше всяких похвал, — сказал художник. — Это работа мастера — рисунок красив, правдив, смел. Я даже несколько озадачен: за последние годы мне не доводилось видеть ни одного пастельного портрета, который мог бы стать вровень с этим.

— Ну а само лицо?.. Что вы скажете о нем... о той, с кого это писалось?

— Лицо? — повторил художник. — По-моему, это лицо ангела Господня. Могу ли я узнать, кто...

— Моя жена! — воскликнул Чалмерс. Он бросился к изумленному художнику, схватил его за руку и хлопнул по плечу. — Она сейчас путешествует по Европе. Возьмите этот набросок, приятель, и напишите с него лучший из всех портретов, какие вы когда-либо писали, а я уж постараюсь, чтобы вы не остались внакладе.

Из омара

Перевод Э. Бродерсон

Боб Баббит зарекся пить. На языке богемы это говорится так: «Он перешел на воду». Причина, по которой Боб внезапно стал враждебно относиться к «демоническому зелью» (так трезвенники называют виски), может представить интерес как для сторонников трезвости, так и для содержателей питейных заведений.

Для человека всегда есть надежда на исправление, если он в трезвом виде не хочет допустить или сознаться, что он когда-нибудь был пьян. Но если человек говорит, выражаясь прилично, «я вчера вечером здорово нализался», то остается только влить ему отрезвляющего лекарства в кофе и помолиться за его грешную душу.

Однажды вечером, идя домой, Баббит по дороге завернул в свой любимый бар на Бродвее. Там он всегда встречал двух или трех служащих городской конторы, с которыми он был знаком. Он пил с ними и болтал, а затем спешил домой, правда, иногда немного поздно, но всегда в отличном настроении. В этот вечер, войдя в бар, он услышал, как кто-то сказал: «Баббит вчера вечером был пьян как стелька!..»

Баббит подошел к стойке буфета и увидел в зеркале, что у него страшно бледное лицо. Первый раз он взглянул правде в глаза. Другие не замечали этого, а он сам об этом не думал. Он был пьяницей, но до настоящего времени он этого не знал. То, что он всегда считал приятным возбуждением, было на самом деле мерзким опьянением. Его воображаемое остроумие было только пьяной болтовней, его веселое настроение — пьяными выходками. Нет, он никогда больше не будет пить, никогда!

— стакан содовой, — сказал он буфетчику.

Небольшое молчание наступило в группе его старых товарищей, которые ожидали, что он присоединится к ним.

— Что, зарекся, Боб? — с холодной вежливостью спросил один из них.

— Да, — сказал Баббит.

Один из компании снова принялся за прерванный рассказ, буфетчик без своей привычной улыбки дал сдачу, и Баббит вышел.

Баббит был женат... но это связано с очень интересной историей. Я вам сейчас ее расскажу.

Началась она в Селливанском округе, где берут начало так много рек и так много неприятностей. Стоял июль месяц. Джесси проводила лето в горах, и Боб, который только что кончил университет, увидел ее однажды на прогулке. А в сентябре они уже повенчались. Вам, конечно, этот роман может показаться в виде облатки — один глоток воды, и он проглочен.

Но это не совсем так. Это не все! Тут были еще июльские дни!

Пусть восклицательный знак вам все объяснит. Если вы интересуетесь подробностями, можете прочесть «Ромео и Джульетту».

Но я должен прибавить одно. Оба они сходили с ума по поэме «Рубайят» персидского поэта Омара. Они знали наизусть каждую строчку — не подряд, но выдергивая то из одной, то из другой строфы.

В Селливанском округе много скал и деревьев, и Джесси обыкновенно сидела на скале, а Боб стоял за ней и, обняв ее, прижимался лицом к ее щеке. В такой позе они все время декламировали любимые стихи. Только в этих стихах они видели весь смысл и всю поэзию жизни. Они, конечно, понимали, что Вино, о котором в них говорилось, было только образным выражением, и что под ним подразумевалось, вероятно, какое-нибудь божество, может быть, Любовь или Жизнь. Но в то время ни один из них еще не испробовал вина в прямом смысле.

Итак, они поженились и приехали в Нью-Йорк. Боб предъявил куда следует свой университетский диплом и получил место в конторе адвоката — наполнять чернильницы за пятнадцать долларов в неделю. К концу второго года он зарабатывал уже пятьдесят долларов и вкусил впервые прелесть вина.

Они занимали две меблированные комнаты и кухню. Джесси привыкла к спокойной жизни провинциального города, и жизнь богемы показалась ей очень забавной. Она развесила на стенах своей комнаты сети для рыб, купила нелепого фасона буфет и научилась играть на негритянской гитаре — банджо. Два или три раза в неделю они обедали во французских или итальянских кабачках в облаках дыма, слушали хвастливые рассказы и любовались длинными волосами художников. Джесси научилась пить перед обедом коктейль, для того чтобы быть в веселом настроении. После обеда она выкуривала папиросу. Однажды, в веселом настроении, она попробовала сказать в обществе «тра-ля-ля!» — но дальше второго слога не пошла.

Во время обедов в кабачках они познакомились с несколькими молодыми парочками и подружились с ними. В их буфете всегда был запас пунша, виски и ликера. Однажды они пригласили своих новых друзей к обеду и весело провели время далеко за полночь. Их веселье кончилось тем, что в нижней квартире под ними упал кусок штукатурки, и Боб должен был за это заплатить четыре с половиной доллара. Этим они начали свою новую жизнь и весело шагнули в область богемы. Последняя, как известно, не имеет границ и не признает никакого правительства.

И вскоре у Боба завелось много друзей, и он ежедневно после службы проводил с ними около часа, прежде чем отправляться домой. Выпивка всегда поднимала его настроение, и он приходил домой веселый, как мальчишка. Джесси его встречала в дверях, и они обыкновенно вместо приветствия исполняли какую-то дикую пляску. Однажды, когда заплетавшиеся ноги Боба зацепились за скамеечку и он растянулся во всю длину на полу, Джесси начала так громко и долго хохотать, что ему пришлось закидать ее подушками, чтобы заставить замолчать. Так неблагоприятно протекала их жизнь, вплоть до того дня, когда Боб Баббит впервые уяснил себе свою слабость к вину.

Когда Боб в тот достопамятный вечер вернулся домой, он нашел Джесси в переднике за приготовлением обеда. Обыкновенно, когда Боб возвращался из своего бара навеселе, он шумно здоровался с женой.

Его приход возвещался визгами, песнями, громкими поцелуями. Услышав его шаги на лестнице, старая дева, жившая рядом в комнате, обыкновенно затыкала уши ватой. Вначале супругу Боба коробила грубость таких встреч, но по мере того, как Джесси постепенно поддавала под влияние богемы, она начала смотреть на них как на единственно возможное

проявление настоящей любви.

Боб молча вошел, улыбнулся, поцеловал ее нежно, но бесшумно, взял газету и уселся читать. В соседней комнате старая дева, вся в страхе, держала наготове свои комочки ваты.

Джесси, занятая приготовлением обеда, выронила нож и подбежала к мужу с испуганными глазами.

— В чем дело, Боб, ты болен?

— Нисколько, дорогая.

— Что же с тобой в таком случае?

— Ничего.

Дорогие читатели! Если женщина спрашивает вас относительно перемены в вашем настроении, то вы не отвечайте ей никогда таким образом. Скажите ей, что вы в припадке гнева убили вашу тещу и что раскаяние гнетет вас; скажите ей, что вы потеряли на бирже все состояние, что вас одолели кредиторы или мозоли; скажите ей все что угодно, только не произносите слова «ничего», если вам хоть немного дорого семейное счастье.

Джесси молча стала накрывать на стол. Она бросала подозрительные взгляды на Боба. Никогда до настоящего времени не проявлял он себя таким образом.

Когда обед был подан, она поставила бутылку пунша и стаканы. Боб отказался пить.

— Сказать тебе правду, Джесси, я бросил пить. Налей себе, если хочешь, пунша, а я выпью только содовой!

— Ты бросил пить? — спросила она, глядя на него в упор и не улыбаясь. — Почему?

— Мне это вредно! — сказал Боб. — Разве ты не одобряешь мое решение?

Джесси слегка подняла брови и одно плечо.

— Вполне, — сказала она с деланной улыбкой. — По совести говоря, я никому не могла бы посоветовать пить, курить или свистать в воскресенье.

Обед закончился почти при полном молчании. Боб старался поддерживать разговор, но ему не хватало тем для разговора. Он чувствовал себя подавленным...

Иногда украдкой он бросал взгляд на бутылку, но каждый раз в его ушах звучали слышанные им слова товарища в баре, и он старался противиться соблазну.

Джесси глубоко ощущала перемену. Казалось, что внезапно пропала вся сущность их жизни. Ложное веселье, неестественное возбуждение, в котором они жили, рассеялось в один миг. Она украдкой бросала любопытные взгляды на удрученного Боба. Тот сидел с виноватым видом.

По окончании обеда Джесси убрала со стола. С безразличным видом она снова поставила на стол бутылку пунша, стаканы и чашу с кусками льда.

— Могу я спросить, — сказала она холодным тоном, — касается ли и меня твое внезапное обращение на путь истины? Если нет, то я себе приготовлю пунш. Не знаю почему, но меня сегодня что-то знобит!

— О, Джесси! — добродушно сказал Боб. — Не будь ко мне слишком строга. Выпей сама, если тебе хочется. Для тебя нет опасности, что ты выпьешь лишнее. Я же последнее время не знал меры, а потому решил бросить. Выпей стаканчик, а затем достань банджо и сыграй новый танец.

— Я слышала, — сказала Джесси, — что пить в одиночку очень вредная привычка. Кроме того, я не чувствую себя сегодня в настроении играть. Если мы собираемся переделывать нашу жизнь, то мы должны бросить и дурную привычку играть на банджо.

Она взяла книгу и уселась в плетеную качалку по другую сторону стола. С полчаса никто из них не проронил ни слова.

А затем Боб отложил газету и встал с странным отсутствующим выражением в глазах. Он подошел к ее стулу сзади и, протянув руки через ее плечо, взял ее руки и приложил лицо к ее щеке.

В тот же миг перед глазами Джесси исчезли стены меблированной комнаты, и она увидела перед собою селливанские горы и ручьи. Боб почувствовал, как дрогнули ее руки, когда он начал декламировать стихи из Омара:

*Приди! мы наполним заздравные чаши,
В весеннее пламя мы ввергнем печаль,
Забудем страданья, сомнения наши,
Умчимся мечтами в волшебную даль!*

А затем он подошел к столу и налил себе стакан.

Но в это мгновенье горный ветерок каким-то чудом проник в комнату и сдул весь туман богемы.

Джесси вскочила и швырнула бутылку и стаканы, и они с треском полетели на пол. Другую руку она обвила вокруг шеи Боба и крепко прижалась к нему.

— О нет, Бобби, не эти строки из Омара нужно было тебе прочесть. Я не всегда была такой дурачкой, как теперь, не правда ли? Скажи мне другой стих, дорогой, тот, где говорится, что «мы заново жизнь, как чертог, перестроим»! Скажи мне его.

— Да, я его помню, — сказал Боб. — Он начинается так:

*Когда мы любовь хорошенько усвоим
И жизни глубокую правду поймем,
Мы заново жизнь, как чертог, перестроим,*

— Дай, я закончу, — сказала Джесси:

А прежнюю всю в черепки разобьем!

— Она уже разбита в черепки, — сказал Боб, раздавливая битое стекло.

В нижнем этаже хозяйка мебелированных комнат, миссис Пикенс, уловила своим чутким ухом звон битого стекла. Она стала жадно прислушиваться.

— Опять этот необузданный мистер Баббит вернулся домой под мухой, — сказала она. — А у него такая милая, маленькая женушка! Как мне ее жаль!

Маятник

Перевод М. Лорие

— Восемьдесят первая улица... Кому выходить? — прокричал пастух в синем мундире.

Стадо баранов-обывателей выбралось из вагона, другое стадо взобралось на его место. Динг-динг! Телячьи вагоны Манхэттенской надземной дороги с грохотом двинулись дальше, а Джон Перкинс спустился по лестнице на улицу вместе со всем выпущенным на волю стадом.

Джон медленно шел к своей квартире. Медленно, потому что в лексиконе его повседневной жизни не было слов «а вдруг?». Никакие сюрпризы не ожидают человека, который два года как женат и живет в дешевой квартире. По дороге Джон Перкинс с мрачным, унылым цинизмом рисовал себе неизбежный конец скучного дня.

Кэти встретит его у дверей поцелует, пахнущим козьим кремом и тянучками. Он снимет пальто, сядет на жесткую, как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным линотипом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный сапожным лаком, от которого (гарантия!) кожа не трескается и не портится, пареный ремень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепили этикетку:

«Химически чистое». После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука. В половине восьмого они расстелят на диване и креслах газеты, чтобы достойно встретить куски штукатурки, которые посыплются с потолка, когда толстяк из квартиры над ними начнет заниматься гимнастикой. Ровно в восемь Хайки и Муни — мюзик-холлная парочка (без ангажемента) в квартире напротив — поддадутся нежному влиянию *Delirium Tremens* {Белая горячка (лат.).} и начнут опрокидывать стулья, в уверенности, что антрепренер Гаммерштейн гонится за ними с контрактом на пятьсот долларов в неделю. Потом жилец из дома по ту сторону двора-колодца усядется у окна со своей флейтой; газ начнет весело утекать в неизвестном направлении; кухонный лифт сойдет с рельсов; швейцар еще раз оттеснит за реку Ялу⁵³ пятерых детей миссис Зеновицкой; дама в бледно-зеленых туфлях спустится вниз в сопровождении шотландского терьера и укрепит над своим звонком и почтовым ящиком карточку с фамилией, которую она носит по четвергам, — и вечерний порядок доходного дома Фрогмора вступит в свои права.

Джон Перкинс знал, что все будет именно так. И еще он знал, что в четверть девятого он соберется с духом и потянется за шляпой, а жена его произнесет раздраженным тоном следующие слова:

— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать?

— Думаю заглянуть к Мак-Клоски, — ответит он, — сыграть партию-другую с приятелями.

За последнее время это вошло у него в привычку. В десять или в одиннадцать он возвращался домой. Иногда Кэти уже спала, иногда поджидала его, готовая растопить в тигеле своего гнева еще немного позолоты со стальных цепей брака. За эти дела Купидону придется ответить, когда он предстанет перед Страшным судом со своими жертвами из доходного дома Фрогмора.

В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины. Кэти не встретила его в прихожей своим сердечным аптечным поцелуем. В квартире царил зловещий беспорядок. Вещи Кэти были раскиданы повсюду. Туфли валялись посреди комнаты, щипцы для завивки, банты, халат, коробка с пудрой были брошены как попало на комод и на стульях. Это было совсем не свойственно Кэти. У Джона упало сердце, когда он увидел гребенку с кудрявым облачком ее каштановых волос в зубьях. Кэти, очевидно, спешила и страшно волновалась, — обычно она старательно прятала эти волосы в голубую вазочку на камине, чтобы когда-нибудь создать из них мечту каждой женщины — накладку.

На видном месте, привязанная веревочкой к газовому рожку, висела сложенная бумажка. Джон схватил ее. Это была записка от Кэти:

«Дорогой Джон, только что получила телеграмму, что мама очень больна. Еду поездом четыре тридцать. Мой брат Сэм встретит меня на станции. В леднике есть холодная баранина. Надеюсь, что это у нее не ангина. Заплати молочнику 50 центов. Прошлой весной у нее тоже был тяжелый приступ. Не забудь написать в Газовую компанию про счетчик, твои хорошие носки в верхнем ящике. Завтра напишу. Тороплюсь.

Кэти».

За два года супружеской жизни они еще не провели врозь ни одной ночи. Джон с озадаченным видом перечитал записку. Неизменный порядок его жизни был нарушен, и это ошеломило его.

На спинке стула висел, наводя грусть своей пустотой и бесформенностью, красный с черными крапинками фартук, который Кэти всегда надевала, когда подавала обед. Ее

⁵³ На реке Ялу происходили бои во время русско-японской войны.

будничные платья были разбросаны впопыхах где попало. Бумажный пакетик с ее любимыми тянучками лежал еще не развязанный. Газета валялась на полу, зияя четырехугольным отверстием в том месте, где из нее вырезали расписание поездов. Все в комнате говорило об утрате, о том, что жизнь и душа отлетели от нее. Джон Перкинс стоял среди мертвых развалин, и странное, тоскливое чувство наполняло его сердце.

Он начал, как умел, наводить порядок в квартире. Когда он дотронулся до платьев Кэти, его охватил страх. Он никогда не задумывался о том, чем была бы его жизнь без Кэти. Она так растворилась в его существовании, что стала как воздух, которым он дышал, — необходимой, но почти незаметной. Теперь она внезапно ушла, скрылась, исчезла, будто ее никогда и не было. Конечно, это только на несколько дней, самое большее на неделю или две, но ему уже казалось, что сама смерть протянула перст к его прочному и спокойному убежищу.

Джон достал из ледника холодную баранину, сварил кофе и в одиночестве уселся за еду, лицом к лицу с наглым свидетельством о химической чистоте клубничного желе. В сияющем ореоле, среди утраченных благ, предстали перед ним призраки тушеного мяса и салата с сапожным лаком. Его очаг разрушен. Заболевшая теща повергла в прах его ларов и пенатов. Пообедав в одиночестве, Джон сел у окна.

Курить ему не хотелось. За окном шумел город, звал его включиться в хоровод бездумного веселья. Ночь принадлежала ему. Он может уйти, ни у кого не спрашиваясь, и окунуться в море удовольствий, как любой свободный, веселый холостяк. Он может кутить хоть до зари, и гневная Кэти не будет поджидать его с чашей, содержащей осадок его радости. Он может, если захочет, играть на бильярде у Мак-Клоски со своими шумными приятелями, пока Аврора не затмит своим светом электрические лампы. Цепи Гименея, которые всегда сдерживали его, даже если доходный дом Фрогмора становился ему неважно, теперь ослабли, — Кэти уехала.

Джон Перкинс не привык анализировать свои чувства. Но, сидя в покинутой Кэти гостиной (десять на двенадцать футов), он безошибочно угадал, почему ему так нехорошо. Он понял, что Кэти необходима для его счастья. Его чувство к ней, убаюканное монотонным бытом, разом пробудилось от сознания, что ее нет. Разве не внушают нам беспрестанно при помощи поговорок, проповедей и басен, что мы только тогда начинаем ценить песню, когда упорхнет сладкоголосая птичка, или ту же мысль в других, не менее цветистых и правильных формулировках?

«Ну и дубина же я, — размышлял Джон Перкинс. — Как я обращаюсь с Кэти? Каждый вечер играю на бильярде и выпиваю с друзьями, вместо того чтобы посидеть с ней дома. Бедная девочка всегда одна, без всяких развлечений, а я так себя веду! Джон Перкинс, ты последний негодяй. Но я постараюсь загладить свою вину. Я буду водить мою девочку в театр, развлекать ее. И немедленно покончу с Мак-Клоски и всей этой шайкой».

А за окном город шумел, звал Джона Перкинса присоединиться к пляшущим в свите Момуса. А у Мак-Клоски приятели лениво катали шары, практикуясь перед вечерней схваткой. Но ни венки и хороводы, ни стук кия не действовали на покаянную душу осиротевшего Перкинса. У него отняли его собственность, которой он не дорожил, которую даже скорее презирал, и теперь ему недоставало ее. Охваченный раскаянием, Перкинс мог бы проследить свою родословную до некоего человека по имени Адам, которого херувимы вышибли из фруктового сада.

Справа от Джона Перкинса стоял стул. На спинке его висела голубая блузка Кэти. Она еще сохраняла подобие ее очертаний. На рукавах были тонкие, характерные морщинки — след движения ее рук, трудившихся для его удобства и удовольствия. Слабый, но настойчивый аромат колокольчиков исходил от нее. Джон взял ее за рукава и долго и серьезно смотрел на неотзывчивый маркетизет. Кэти не была неотзывчивой. Слезы — да, слезы — выступили на глазах у Джона Перкинса. Когда она вернется, все пойдет иначе. Он вознаградит ее за свое невнимание. Зачем жить, когда ее нет?

Дверь отворилась. Кэти вошла в комнату с маленьким саквояжем в руке. Джон бессмысленно уставился на нее.

— Фу, как я рада, что вернулась, — сказала Кэти. — Мама, оказывается, не так уж больна. Сэм был на станции и сказал, что приступ был легкий и все прошло вскоре после того, как они послали телеграмму. Я и вернулась со следующим поездом. До смерти хочется кофе.

Никто не слышал скрипа и скрежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома Фрогмора повернул обратно на прежний ход. Починили пружину, наладили передачу — лента двинулась, и колеса снова завертелись по-старому.

Джон Перкинс посмотрел на часы. Было четверть девятого. Он взял шляпу и пошел к двери.

— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать? — спросила Кэти раздраженным тоном.

— Думаю заглянуть к Мак-Клоски, — ответил Джон, — сыграть партию-другую с приятелями.

Во имя традиции

Перевод В. Жак

Есть в году один день, который принадлежит нам. День, когда все мы, американцы, не выросшие на улице, возвращаемся в свой отчий дом, лакомимся содовым печеньем и дивимся тому, что старый колодец гораздо ближе к крыльцу, чем нам казалось. Да будет благословен этот день! Нас оповещает о нем президент Рузвельт.⁵⁴

Что-то говорится в эти дни о пуританах, только никто уже не может вспомнить, кто они были. Во всяком случае, мы бы, конечно, намяли им бока, если б они снова попробовали высадиться здесь. Плимут Рокс?⁵⁵

Вот это уже более знакомо. Многим из нас пришлось перейти на курятину, с тех пор как индейками занялся могущественный Трест. Не иначе, кто-то в Вашингтоне заранее сообщает им о дне праздника.

Великий город, расположенный на восток от поросших клюквой болот, возвел День Благодарения в национальную традицию. Последний четверг ноября — это единственный день в году, когда он признает существование остальной Америки, с которой его соединяют паромы. Это единственный чисто американский день. Да, единственный чисто американский праздник.

А теперь приступим к рассказу, из которого будет видно, что и у нас, по эту сторону океана, существуют традиции, складывающиеся гораздо быстрее, чем в Англии, благодаря нашему упорству и предприимчивости.

Стаффи Пит уселся на третьей скамейке направо, если войти в Юнион-сквер с восточной стороны, у дорожки напротив фонтана. Вот уже девять лет, как в День Благодарения он приходил сюда ровно в час дня и садился на эту скамейку, и всегда после этого с ним происходило нечто — нечто в духе Диккенса, от чего жилет его высоко вздымался у него над сердцем, да и не только над сердцем.

Но в этот год появление Стаффи Пита на обычном месте объяснялось скорее привычкой, чем чувством голода, приступы которого, по мнению филантропов, мучают бедняков именно такими длительными интервалами.

Пит, безусловно, не был голоден. Он пришел с такого пиршества, что едва мог дышать и двигаться. Глаза его, напоминавшие две ягоды бесцветного крыжовника, казались воткнутыми во вздутую, лоснящуюся маску. Дыханье с присвистом вырывалось из его груди, сенаторские складки жира на шее портили строгую линию поднятого воротника. Пуговицы, неделю тому

⁵⁴ Теодор Рузвельт — президент США с 1901 по 1909 г.

⁵⁵ Плимутские скалы, место высадки первых переселенцев из Англии в 1620 г.

назад пришитые к его одежде сострадательными пальчиками солдат Армии Спасения, отскакивали, как зерна жареной кукурузы, и падали на землю у его ног. Он был в лохмотьях, рубашка его была разорвана на груди, и все же ноябрьский ветер с колючим снегом нес ему только желанную прохладу. Стаффи Пит был перегружен калориями — следствие экстраплотного обеда, начатого с устриц, законченного сливовым пудингом и включавшего, как показалось Стаффи, все существующее на свете количество индеек, печеной картошки, салата из цыплят, слоеных пирогов и мороженого.

И вот он сидел, отупевший от еды, и смотрел на мир с презрением, свойственным только что пообедавшему человеку.

Обед этот выпал на его долю случайно: Стаффи проходил мимо кирпичного особняка на Вашингтон-сквере в начале Пятой авеню, в котором жили две знатные старые леди, питавшие глубокое уважение к традициям. Они полностью игнорировали существование Нью-Йорка и считали, что День Благодарения объявляется только для их квартала. Среди почитаемых ими традиций была и такая — ровно в полдень в День Благодарения они высылали слугу к черному ходу с приказанием позвать первого голодного путника и накормить его на славу. Вот так и случилось, что, когда Стаффи Пит, направляясь в Юнион-сквер, проходил мимо, дозорные старых леди схватили его и с честью выполнили обычай замка.

После того как Стаффи десять минут смотрел прямо перед собой, он почувствовал желание несколько расширить свой кругозор. Медленно и с усилием он повернул голову налево. И вдруг глаза его полезли на лоб от ужаса, дыхание приостановилось, а грубо обутые ступни коротких ног нервно заерзали по гравии.

Пересекая Четвертую авеню и направляясь прямо к скамейке, на которой сидел Стаффи, шел Старый Джентльмен.

Ежегодно в течение девяти лет в День Благодарения Старый Джентльмен приходил сюда и находил Стаффи Пита на этой скамейке. Старый Джентльмен пытался превратить это в традицию. Каждый раз, найдя здесь Стаффи, он вел его в ресторан и угощал сытным обедом. В Англии такого рода вещи происходят сами собой, но Америка — молодая страна, и девять лет — не такой уж маленький срок. Старый Джентльмен был убежденным патриотом и смотрел на себя как на пионера американских традиций. Чтобы на вас обратили внимание, надо долгое время делать одно и то же, никогда не сдаваясь, с регулярностью, скажем, еженедельного сбора десятицентовых взносов в промышленном страховании или ежедневного подметания улиц.

Прямой и величественный, Старый Джентльмен приближался к фундаменту создаваемой им Традиции. Правда, ежегодное кормление Стаффи Пита не имело общенационального значения, как, например, Великая Хартия или джем к завтраку в Англии. Но это уже был шаг вперед. В этом чувствовалось даже что-то феодальное. Во всяком случае, это доказывало, что и в Нью... гм... в Америке могли создаваться традиции.

Старый Джентльмен был высок и худ, и ему было шестьдесят лет. Одет он был во все черное и носил старомодные очки, которые не держатся на носу. Волосы его по сравнению с прошлым годом еще больше поседел, и казалось, что он еще тяжелее опирается на свою толстую сучковатую трость с изогнутой ручкой.

Завидя своего благодетеля, Стаффи начал дрожать и скулить, как ожиревшая болонка при приближении уличного пса. Он бы с радостью спасся бегством, но даже сам Сантос-Дюмон⁵⁶ не сумел бы поднять его со скамейки.

Мирмидоны двух старых леди добросовестно сделали свое дело.

— С добрым утром, — сказал Старый Джентльмен. — Я рад видеть, что превратности минувшего года пощадили вас и что вы по-прежнему бродите в полном здравии по прекрасному белому свету. За это одно да будет благословен объявленный нам День Благодарения! Если вы теперь пойдете со мной, любезнейший, то я накормлю вас таким

⁵⁶ Сантос-Дюмон — бразильский аэронавт (1873–1932).

обедом, который приведет ваше физическое состояние в полное соответствие с состоянием вашего духа.

Все девять лет Старый Джентльмен произносил в этот торжественный день одну и ту же фразу. Сами эти слова превратились уже в традицию, почти как текст Декларации независимости. Раньше они всегда звучали дивной музыкой в ушах Стаффи Пита. Но сейчас взгляд его, обращенный на Старого Джентльмена, был полон муки. Мелкий снег едва не вскипал, падая на его разгоряченный лоб. А Старый Джентльмен поеживался от холода и поворачивался спиной к ветру.

Стаффи всегда удивляло, почему его благодетель произносил свою речь грустным голосом. Он не знал, что в эту минуту Старый Джентльмен особенно жалел, что у него нет сына — сына, который бы приходил сюда после его смерти, гордый и сильный, и говорил бы какому-нибудь последующему Стаффи: «В память моего отца...» Вот тогда это была бы настоящая традиция!

Но у Старого Джентльмена не было родственников. Он снимал комнаты в семейном пансионе, в ветхом каменном особняке на одной из тихих улочек к востоку от Парка. Зимой он выращивал фуксии в теплице размером с дорожный сундук. Весной он участвовал в пасхальном шествии. Летом он жил на ферме в горах Нью-Джерси и, сидя в плетеном кресле, мечтал о бабочке *ornithoptera amphriscus*, которую он надеялся когда-нибудь найти. Осенью он угощал обедом Стаффи. Таковы были дела и обязанности Старого Джентльмена.

Полминуты Стаффи Пит смотрел на него, беспомощный, размякший от жалости к самому себе. Глаза Старого Джентльмена горели радостью жертвования.

С каждым годом лицо его становилось все морщинистей, но его черный галстук был завязан таким же элегантным бантом, белье его было так же безукоризненно чисто и кончики седых усов так же изящно подвиты. Стаффи издал звук, похожий на бульканье гороховой похлебки в кастрюле. Этот звук, всегда предшествовавший словам, Старый Джентльмен слышал уже в девятый раз и был вправе принять его за обычную для Стаффи формулу согласия:

«Благодарю, сэр. Я пойду с вами. Очень вам признателен. Я очень голоден, сэр».

Прострация, вызванная переполнением желудка, не помешала Стаффи осознать, что он является участником создания традиции. В День Благодарения его аппетит не принадлежал ему; по священному праву обычая, если не по официальному своду законов, он принадлежал доброму Старому Джентльмену, который первым сделал на него заявку. Америка, конечно, свободная страна, но для того, чтобы традиция могла утвердиться, должен же кто-то стать повторяющейся цифрой в периодической дроби. Не все герои — герои из стали и золота. Есть и такие, которые размахивают оружием из олова и плохо посеребренного железа.

Старый Джентльмен повел своего ежегодного протеже в ресторан, к югу от Парка, к столику, за которым всегда происходило пиршество. Их уже знали там.

— Вот идет этот старикашка со своим бродягой, которого он каждый День Благодарения кормит обедом, — сказал один из официантов.

Старый Джентльмен уселся у стола, с сияющим лицом поглядывая на краеугольный камень будущей древней традиции. Официанты устали от праздничной еды — и Стаффи с глубоким вздохом, который был принят за выражение голода, поднял нож и вилку и ринулся в бой, чтобы стяжать себе бессмертные лавры.

Ни один герой еще не пробивался с таким мужеством сквозь вражеские ряды. Суп, индейка, отбивные, овощи, пироги исчезали, едва их успевали подавать. Когда Стаффи, сытый по горло, вошел в ресторан, запах пищи едва не заставил его обратиться в позорное бегство. Но, как истинный рыцарь, он поборол свою слабость. Он видел выражение лучезарного счастья на лице Старого Джентльмена — счастья более полного, чем давали ему даже фуксии и *ornithoptera amphriscus*, — и он не мог огорчить его.

Через час, когда Стаффи откинулся на спинку стула, битва была выиграна.

— Благодарю вас, сэр, — просвистел он, как дырявая паровая труба, — благодарю за славное угощение.

Потом, с остекленевшим взглядом, он тяжело поднялся на ноги и направился в сторону кухни. Официант крутнул его, как волчок, и подтолкнул к выходной двери. Старый Джентльмен аккуратно отсчитал один доллар и тридцать центов серебром за съеденный Стаффи обед и оставил пятнадцать центов на чай официанту.

Они расстались, как обычно, у дверей. Старый Джентльмен повернул на юг, а Стаффи на север.

Дойдя до первого перекрестка, Стаффи остановился, постоял с минуту, потом стал как-то странно топорщить свои лохмотья, как сова топорщит перья, и упал на тротуар, словно пораженная солнечным ударом лошадь.

Когда приехала скорая помощь, молодой врач и шофер тихонько выругались, с трудом поднимая грузное тело Стаффи. Запаха виски не чувствовалось, оснований отправлять его в полицейский участок не было, и поэтому Стаффи со своими двумя обедами поехал в больницу. Там его положили на койку, и начали искать у него какую-нибудь редкую болезнь, которую на нем можно было бы попробовать лечить с помощью хирургического ножа.

А час спустя другая карета скорой помощи доставила в ту же больницу Старого Джентльмена. Его тоже положили на койку, но заговорили всего лишь об аппендиците, так как внешность его внушала надежду на получение соответствующего гонорара.

Но вскоре один из молодых врачей, встретив одну из молодых сестер, глазки которой ему очень нравились, остановился поболтать с нею о поступивших больных.

— Кто бы мог подумать, — сказал он, — что у этого симпатичного старого джентльмена острое истощение от голода. Это, по-видимому, потомок какого-нибудь старинного, гордого рода. Он признался мне, что уже три дня не имел ни крошки во рту.

Рыцарь удачи

Перевод Е. Коротковой

Гастингс Бошан Морли не спеша шел через Юнион-сквер, с жалостью поглядывая на сотни людей, развалившихся на скамейках. Ну и сборище, подумал он; небритые физиономии мужчин выражают звериную тупость; женщины неловко ерзают, не зная, куда девать ноги, болтающиеся на четыре дюйма выше гравия дорожки.

Был бы я мистер Карнеги или мистер Рокфеллер, думал он, я бы сунул во внутренний карман несколько миллионов, созвал всех управляющих парками и велел во всех парках мира поставить такие скамейки, чтобы женщины, сидя на них, доставали до земли ногами. А уж потом, если будет охота, я бы укомплектовал библиотеки для городов, которые согласны за них уплатить, или понастроил для сумасшедших профессоров санатории и назвал их колледжами.

Вот уже сколько лет общества защиты женских прав домогаются для своих подопечных равенства с мужчинами. А чего добились? Того, что, сидя на скамейке, женщины вынуждены судорожно сдвигать лодыжки и скрести высокими каблучками воздух на почтительном расстоянии от земли. Начинать надо с самого основания, милые дамы. Ощутите сперва под ногами твердую почву, а уж потом тянитесь к высотам эмансипации.

Гастингс Бошан Морли одевался изящно и обдуманно. К этому толкал его инстинкт — результат рождения и воспитания. Душа людская скрыта от нас, нам не дано проникнуть взглядом за крахмальную манишку, потому мы ограничимся тем, что послушаем разговоры нашего героя и последуем за его передвижениями.

В карманах у Морли не было ни цента, но он с улыбкой жалости взирал на сотни чумазных горемык, в чьих карманах было не более и будет не более, к тому времени, когда первые солнечные лучи окрасят в желтый цвет высокое строение к западу от сквера, похожее на нож для разрезывания бумаги. Он, Морли, к тому времени не будет нуждаться в деньгах. Закат не раз застигал его с пустыми карманами, рассвет — только с набитыми.

Первым делом он отнес в дом одного священника на Мэдисон-авеню фальшивое

рекомендательное письмо, якобы врученное благочестивому подателю неким пастором из Индианы. Сие послание, приправленное увлекательным рассказом о денежном переводе, не доставленном в срок, помогло ему разжиться пятью долларами.

Морли ушел с этой добычей, но в двадцати шагах от двери его ждала засада — бледнолицый жирный мужчина грозно воздел над ним красный кулак и громовым голосом потребовал возврата старого долга.

— А, Бергман, вы ли это, старина? — сладкозвучно пропел Морли. — Я как раз нес вам деньги. Только сегодня утром получил от тетки перевод. Они там адрес перепутали, вот в чем была загвоздка. Свернемте-ка за угол, с меня кое-что причитается. Повезло, что встретил вас. Теперь не надо к вам идти.

Четыре рюмки возвратили Бергману душевное равновесие. Когда Морли бывал при деньгах, он держался с таким апломбом, что даже банк Ротшильда не решился бы взыскать с него взятую до востребования ссуду. Пребывая без гроша, он блефовал на полтона ниже, но лишь немногие разбираются в полутонах.

— Приходите ко мне сафтра с эти деньги, мистер Морли, — сказал Бергман. — Эсфините, что я так на вас напаль. Но я не видеть вас уже три месяц. Прозит!

Когда Морли удалился, кривая улыбка блуждала на его бледном, чисто выбритом лице. Его насмешил доверчивый, падкий на выпивку немец. Двадцать девятой улицы впредь надо будет избегать. Он и не знал, что Бергман ходит иногда этой дорогой.

Пройдя два квартала к северу, Морли остановился у дверей особняка с тщательно занавешенными окнами и постучал особым манером. Дверь приоткрылась ровно настолько, насколько позволила шестидюймовая цепочка, и в просвете возникла надменная черная физиономия африканца стража. Морли впустили.

В густом дыму комнаты на третьем этаже он минут десять проторчал над вращающимся крутом рулетки. Потом неверными шагами сошел вниз и был выброшен на улицу надменным стражем. Сорок центов серебром, все, что осталось от пятидолларового капитала, бренчали в его кармане. На углу он в нерешительности замедлил шаги.

В ярко освещенных окнах расположенной через дорогу аптеки ослепительно сверкали никелем и хрусталем сатуратор и стаканы. К этому учреждению направлялся пятилетний малец, выступая так важно, что не оставалось сомнений: ему поручена ответственная миссия, быть может, знаменующая вступление в пору зрелости. Он что-то сжимал в кулачке, крепко, всем напоказ, гордо, демонстративно.

Морли остановил его с обворожительной улыбкой и ласково заговорил.

— Куда? — переспросил малыш. — Я в аптеку иду, за лекавством. Мне мама доллав на микстуву дала.

— Ах, вот оно что! — воскликнул Морли. — Мы уже такие взрослые мужчины, что мама дает нам поручения. Провожу-ка я тебя, пожалуй, человек, а то как бы ты не угодил под автомобиль. По дороге купим шоколадку. Или мы предпочитаем лимонные леденцы?

Морли ввел ребенка за руку в аптеку. Взяв рецепт, в который были завернуты деньги, он вручил его аптекарю.

На его лице играла хищная, отеческая, тонкая и мудрая улыбка.

— Aqua riga, {*Чистая вода (лат.)*.} одна пинта, — сказал он. — Хлористый натрий, {*Поваренная соль*.} десять гран. Изготовить раствор. И не пытайтесь меня облапошить, потому что мне известно, сколько галлонов H₂O содержится в Кротонском резервуаре, а второй ингредиент я неизменно употребляю с картофелем.

— Пятнадцать центов, — сказал аптекарь, выполнив заказ подмигнув. — Вижу, вы разбираетесь в фармацевтике. Вообще-то мы берем за это доллар.

— С дураков, — усмехнулся Морли.

Заботливо сунув малышу в объятия обернутую бумагой бутылку, Морли довел его до перекрестка. Восемьдесят пять центов, сэкономленные благодаря познаниям в химии, он опустил в собственный карман.

— Не забывай об автомобилях, сынок, — бодро посоветовал он своей юной жертве.

Внезапно два трамвая устремились с двух сторон на малыша. Морли ринулся им наперерез, схватил за шиворот несовершеннолетнего посланца и оттащил в безопасное место. Лишь на углу своего квартала дитя было отпущено восвояси, обманутое, счастливое и липкое от дешевого дрянного леденца, купленного во фруктовом ларьке у итальянца.

А Морли зашел в ресторан и заказал филе и пинту недорогого шато брейе. Он хохотал беззвучно, но от всей души, и официант позволил себе высказать предположение, что посетитель получил приятное известие.

— Да вовсе нет, — ответил Морли, редко вступавший в разговоры. — Приятное известие тут ни при чем. Можете вы мне назвать три категории людей, которых проще всего одурачить во всяческих сделках?

— А как же, — сказал официант, разглядывая изысканно повязанный галстук Морли и прикидывая в уме, какие он сулит чаевые. — В августе месяце это оптовые закупщики одежды из южных штатов, потом молодожены со Статен-Айленда, потом...

— Чуть, — фыркнул Морли. — Мужчины, женщины и дети — вот правильный ответ. Мир... или, скажем, Нью-Йорк в пределах той черты, куда заплывают летом купальщики с лонг-айлендских пляжей, кишит простаками. Две лишних минуты на рашпере, Франсуа, превратили бы этот кусок в блюдо, достойное джентльмена.

— Если вы считаете, что мясо недодержано, — сказал официант, — я могу...

Морли остановил его жестом... чуть страдальческим жестом.

— Сойдет и так, — сказал он великодушно. — А теперь зеленый шартрез, холодный и *demi-tasse*. {Чашечку кофе (фр.).}

Потом Морли степенно вышел из ресторана и остановился на углу, где перекрещивались две торговые артерии города. С сиротливым десятицентовиком в кармане он, стоя на краю тротуара, обозревал уверенным, скептическим и веселым взглядом катившие мимо потоки людей. В эти воды ему предстояло забросить невод и выудить рыбку для обеспечения своих насущных запросов и нужд. Почтенный Исаак Уолтон⁵⁷ и вполтину не был так уверен в себе и так сведущ в тайнах наживкологии.

Веселая компания — две женщины, двое мужчин — налетела на него с восторженными воплями. Они спешат на вечеринку — куда он исчез? — две недели ни слуху ни духу — какая счастливая встреча! Они окружили его, закружили — пойдём с нами и никаких — и так далее и тому подобное.

Одна из дам, с чьей шляпки склонялось к плечу пышное белое перо, тронула Морли за рукав, метнула на спутников победный взгляд «смотрите, мол, как он послушен мне» и добавила к просьбам друзей свое августейшее повеление.

— Не берусь описать вам, — патетически произнес Морли, — как печально мне отказываться от такого удовольствия. Но я жду моего друга Карузера из нью-йоркского яхт-клуба, он должен заехать за мной сюда в восемь на автомобиле.

Белое перо взметнулось; четверка, суелливая, как мошकारа под фонарем, устремилась навстречу забавам.

Поигрывая десятицентовиком в кармане, Морли весело смеялся про себя.

— Фасад, — бормотал он в упоении, — фасад важнее всего. Фасад — козырь в любой игре. Чего им только не подсунешь — мужчинам, женщинам и детям — фальшивки, пузырьки с соленой водой, чего им только не подсунешь, прикрывшись солидным фасадом!

Старик в мешковатом костюме, с внушительным зонтом и неухоженной бородой, выпрыгнул из пучины трамваев и кебов на тротуар рядом с Морли.

— Прошу прощения за беспокойство, приятель, — сказал он. — Вам случайно не попадался тут такой Соломон Смозерс? Он приходится мне сыном, и я приехал из Элленвилла его навестить. Сдохнуть мне, коли я помню, куда задевал адрес.

— Нет, я его не знаю, сэр, — сказал Морли, опуская веки и пряча радостный блеск

⁵⁷ Уолтон Исаак (1593–1683) — английский писатель, автор книги «Искусный рыболов».

глаз. — Советую вам обратиться в полицию.

— В полицию! — возмутился старик. — Ничего я такого не сделал, чтобы таскаться по полициям. Я приехал в гости к Солу, вот и все. Он живет в пятиэтажном доме, так он написал мне. Ежели вы кого-нибудь знаете, кого так зовут, и можете...

— Я ведь сказал уже, что не знаю, — холодно отрезал Морли. — Ни с какими Смизерсами я не знаком и советую вам...

— Не Смизерс, а Смозерс, — с надеждой поправил приезжий. — Плотный такой, конопатый, двадцать девять лет, нет двух передних зубов, пять футов росту...

— Ах, Смозерс, — вскричал Морли. — Сол Смозерс? Как же мне его не знать, он живет на нашей улице в соседнем доме. А я думал, вы сказали Смизерс.

Морли взглянул на часы. Часы нужны непременно. Стоят они всего доллар. Лучше поголодать, нежели лишиться себя механизма, прикрытого латунными крышками, или девяностовосьмицентového хронометра из тех, по которым, как уверяют часовщики, регулируется железнодорожное движение.

— Мы с епископом лонг-айлендским, — сказал Морли, — условились встретиться в восемь на этом углу, чтобы отобедать вместе в Клубе Зимородков. Но не могу же я покинуть посреди улицы папашу моего друга Сола Смозерса. Мистер Смозерс, клянусь вам святым Суизином, нигде люди не работают так тяжело, как у нас на Уолл-стрит. Сказать, что мы устаем, — значит ничего не сказать! В тот момент, когда вы ко мне обратились, я как раз собирался перейти на ту сторону и пропустить стакан имбирного пива с глоточком хереса. Я непременно хочу проводить вас к дому вашего сына, мистер Смозерс. Однако прежде чем мы сядем в трамвай, вы, надеюсь, не откажетесь составить мне...

Часом позже Морли присел отдохнуть на тихую скамейку в Мэдисон-сквере. В его зубах дымилась двадцатипятицентовая сигара, во внутреннем кармане пиджака покоилось сто сорок долларов в изрядно помятых купюрах. Довольный, беспечный, ироничный и язвительно философичный, он смотрел, как мелькает луна в летящем лабиринте облаков. На другом краю скамейки, понурившись, сидел оборванный старик. Внезапно он зашевелился и взглянул на соседа. Наверно, обратил внимание, что Морли не похож на те жалкие существа, которые ночуют обычно на скамейках.

— Добрый господин! — заныл он. — Если у вас найдется десять центов или хоть грош для человека...

Морли оборвал эту стереотипную мольбу, швырнув ему доллар.

— Да благословит вас Бог! — сказал старик. — Я ищу работу вот уже...

— Работу! — эхом отозвался Морли и звонко рассмеялся. — Вы дурак, мой друг. Мир, без сомнения, неотзывчив, как камень, но уподобьтесь Аарону и ударьте по нему жезлом. Вы исторгнете из камня кое-что получше, чем водичка. Вот как нужно обходиться с миром. Мне он дает все, что я хочу.

— Господь взыскал вас Своей милостью, — сказал старик. — Сам я умею только работать. А теперь и работы достать не могу.

— Мне пора, — сказал Морли, вставая и застегивая пиджак. — Я тут только присел покурить. Желая вам найти работу.

— Да вознаградит вас Бог за вашу доброту, — сказал старик

— Ваше желание уже исполнилось, — заметил Морли. — Я всем доволен. Удача бегаёт за мной, как собачонка. Ночевать я буду в том отеле, огни которого сверкают за деревьями. А какая сегодня луна, все улицы освещены, и фонарей не надо. Я думаю, никто, кроме меня, не способен так наслаждаться лунным светом и прочими подобными нюансами. Доброй ночи.

Морли направился к перекрестку, чтобы перейти через дорогу к отелю. Струйки дыма от его сигары неторопливо плыли к небесам. Встречный полицейский отдал ему честь и удостоился кивка. Луна была великолепна.

Часы пробили девять, и тут девушка, едва вступившая в свою лучшую пору расцвета, остановилась на углу, поджидая приближающийся трамвай. Она, видимо, спешила домой со службы или задержавшись где-то по делам. Глаза у нее были ясные и чистые, белое платье

сшито очень просто, и она смотрела на подходивший трамвай, не поглядывая ни направо, ни налево.

Морли знал ее. Восемь лет назад они сидели за одной партой в школе. Между ними не было и намека на влюбленность — всего-навсего юношеская дружба тех невинных лет.

Но он свернул в безлюдный переулок, уткнулся запыхавшим вдруг лицом в холодный железный фонарный столб и с тоской сказал:

— Господи! Лучше бы я умер.

Закупщик из Кактус-сити

Перевод Е. Коротковой

Здоровый климат Кактус-Сити, штат Техас, не способствует простудам и насморку, и это очень хорошо, ибо начхать на расположенный там универсальный магазин «Наварро и Платт» было бы неразумно.

Двадцать тысяч жителей Кактус-Сити щедрой рукою расточают доллары, приобретая, что душе угодно. Этот ливень полудрагоценных монет почти целиком изливается на «Наварро и Платта». Их магазин, огромный кирпичный домина, занимает площадь, на которой разместилось бы пастбище для дюжины овец. У «Наварро и Платта» вы можете купить галстук из кожи гремучей змеи, или автомобиль, или последний крик моды — восьмидесятипятидолларовое коричневое дамское пальто любого из предлагаемых вам двадцати оттенков. Бывшие владельцы ранчо к западу от Колорадо-Ривер, Наварро и Платт первыми в своей округе переключились на коммерческую деятельность. Деловая сметка подсказала им, что даже в мире, где не осталось свободных пастбищ, простор для частной инициативы остается.

Каждую весну Наварро, старший компаньон фирмы, полуиспанец и космополит, оборотистый, обходительный, «наведывался» в Нью-Йорк за товаром. В этом году его устрасила поездка в такую даль. Пятьдесят пять лет все же давали себя чувствовать: в ожидании послеобеденной сиесты он не раз поглядывал на часы.

— Джон, — сказал он младшему компаньону, — нынче ты наведаешься за товаром.

Платт приуныл.

— Слыхал я, — сказал он, — этот Нью-Йорк на редкость нудный городишко. Ну уж, ладно, съезжу. По дороге для встряски кутну в Сан-Антонио, пришвартуюсь там на несколько деньков.

Две недели спустя мужчина в полном парадном облачении техасца — черный сюртук, широкополая полярковая шляпа, стоячий воротничок четыре дюйма в высоту, с отворотами, и черный кованого железа галстук — входил в помещение оптовой фирмы «Зиззбаум и Сын, готовое платье» на Нижнем Бродвее.

Старик Зиззбаум обладал глазомером морского орла, слоновьей памятью и умом, быстрым и точным, как складная линейка. Он вразвалку подошел к дверям, похожий на белого медведя с черной шерстью, и пожал Платту руку.

— Ну и как же поживает там в Техасе милейший мистер Наварро? Не рискнул в этом году пуститься в путь? Рад приветствовать мистера Платта.

— В самую точку, — сказал Платт, — и я бы дал сорок акров неорошаемой земли в округе Пекос, чтобы выяснить, как вы догадались.

— Я просто знаю, — усмехнулся Зиззбаум. — Точно так же, как знаю, что в этом году в Эль-Пасо выпало двадцать восемь и пять десятых дюйма атмосферных осадков, то есть на пятнадцать дюймов больше нормы, и поэтому «Наварро и Платт» нынешней весной купят одежды на пятнадцать тысяч долларов, а не на десять, как в засушливый год. Но это завтра. А сейчас вас ждет в моем кабинете сигара, аромат которой изгонит из вашего рта привкус контрабандного курева, которое вы вывозите из-за Рио-Гранде и считаете хорошим... потому что оно контрабандное.

День клонился к вечеру, торговля кончалась. Покуда Платт докуривал сигару, Зиззбаум заглянул в кабинет Сына. Собираясь уходить, тот стоял перед зеркалом и закалывал галстук бриллиантовой булавкой.

— Эйби, — сказал старик, — сегодня вечером тебе придется по городу мистера Платта. Они уже десять лет покупают у нас. С мистером Наварро мы играли в шахматы каждый раз, когда выдавалась свободная минутка. Прекрасное занятие, но мистер Платт человек молодой и в Нью-Йорке впервые. Развлечь его будет нетрудно.

— Хорошо, — ответил Эйби, старательно завинчивая замочек булавки. — Я им займусь. Когда он налюбуется на небоскреб «Утюг» и метрдотеля гостиницы «Астор» да послушает, как граммофон играет «Под старой яблоней», будет половина одиннадцатого, то есть самое время для мистера Техасца завернуться в одеяло. В половине двенадцатого я ужинаю с друзьями, но наш гость к этому времени будет уже спать сном младенца.

На следующее утро в десять Платт явился в магазин Зиззбаума в полной деловой готовности, с букетиком гиацинтов в петлице. Зиззбаум лично встретил посетителя. «Наварро и Платт» были хорошими клиентами и неизменно пользовались скидкой, как не прибегающие к кредиту.

— Ну и как вам понравился наш городок? — с простодушной улыбкой манхэттенца спросил Зиззбаум.

— Жить тут я бы не стал, — ответил Платт. — Мы с вашим сыном кое-где успели вчера побывать. С водой у вас хорошо, зато у нас в Кактус-Сити освещение получше.

— На Бродвее попадаются иногда светлые местечки, вам не показалось, мистер Платт?

— Темные личности там попадаются гораздо чаще, — ответил Платт. — Пожалуй, больше всего мне понравились тут лошади. Таких, чтобы сразу же на живодерню, я пока не встретил.

Зиззбаум повел его наверх смотреть образцы.

— Попросите сюда мисс Эшер, — велел он приказчику.

Вошла мисс Эшер, и вот тут-то Платта из фирмы «Наварро и Платт» озарило дивным светом романтического восторга. Он застыл, как гранитный утес над каньоном, вытаращив на нее глаза. Она это заметила и слегка покраснела, что было не в ее привычках.

Мисс Эшер была самой элегантной манекенщицей у «Зиззбаума и Сына». Оттенок ее волос принадлежал к так называемым «притушенно белокурым», а ее габариты несколько превосходили совершенством даже идеальную пропорцию 38–25—42. Она служила у Зиззбаума два года и знала свое дело. Сияние ее глаз обдавало холодом, и если бы ей вздумалось скрестить взгляд с пресловутым василиском, легендарное чудище спасовало бы первым. Знала она, кстати, и закупщиков.

— Так вот, мистер Платт, — сказал Зиззбаум, — мне бы сперва хотелось показать вам эти платья фасона «принцесса», светлых тонов. Именно то, что требуется у вас на юге. Пожалуйста, начните с этого, мисс Эшер.

Суперманекенщица скрылась в гардеробной и запорхала туда и назад, становясь все восхитительнее в каждом новом туалете. С блистательной невозмутимостью демонстрировала она их ошарашенному закупщику, а тот, недвижимый и безгласный, внимал медоточивым рассуждениям Зиззбаума о моде и фасонах.

На лице манекенщицы застыла профессиональная бесстрастная улыбка, казалось, прикрывавшая что-то похожее на скуку или презрение.

Когда показ окончился, Зиззбаум с некоторой тревогой заметил нерешительное выражение на лице Платта. Не вздумал ли клиент заглянуть к другим поставщикам? Но Платт просто перебирал в памяти лучшие участки в Кактус-Сити, раздумывая, где построить дом для будущей жены... которая в этот момент снимала в гардеробной вечернее платье, все сплошь из серебристой голубизны и тюля.

— Не спешите, мистер Платт. — сказал Зиззбаум. — Подумайте до завтра. Такой товар, как наш, за эту цену вам никто не уступит. Боюсь, что вы скучаете в Нью-Йорке, мистер Платт. Молодой человек ваших лет... без дамского общества, вам, конечно, тоскливо. Что, если вы

пригласите на обед какую-нибудь симпатичную молодую леди... Вот, скажем, мисс Эшер очень симпатичная молодая леди; с ней вам будет куда веселей.

— Но ведь она меня не знает, — изумился Платт. — Она обо мне слыхом не слыхала. Разве она согласится? Мы даже не знакомы.

— Согласится ли? — переспросил Зиззбаум, подняв брови. — Конечно, согласится. Я вас познакомлю. Конечно, она согласится.

Повысив голос, он позвал мисс Эшер.

Она вошла, невозмутимая и чуть презрительная, в белой английской блузке и простой черной юбке.

— Мистер Платт вас просит доставить ему удовольствие пообедать с ним сегодня вечером, — сказал Зиззбаум, выходя из комнаты.

— Да, конечно, очень приятно, — глядя в потолок, ответила мисс Эшер. — Западная двадцатая, девятьсот одиннадцать. К какому часу быть готовой?

— Скажем, в семь?

— Отлично. Но не приходите раньше времени. Я снимаю комнату с одной учительницей, и она не разрешает, чтобы к нам заходили мужчины. Гостиной у нас нет, вам придется ждать в коридоре. Но к семи я буду готова.

В половине восьмого Платт и мисс Эшер уже сидели в ресторане на Бродвее. На мисс Эшер было нечто черное, полупрозрачное, простого покроя. Платт не знал, что его спутница лишь выполняет одну из своих служебных обязанностей.

С ненавязчивой помощью опытного официанта ему удалось заказать вполне приемлемый обед, в котором не хватало лишь традиционной бродвейской заправки.

— Вы не возражаете, если мне принесут что-нибудь выпить? — сверкнув улыбкой, спросила мисс Эшер.

— Ну, конечно, — отозвался Платт. — Все что угодно.

— Сухой мартини, — сказала она официанту. Но когда бокал был перед ней, Платт протянул руку и отставил его в сторону.

— Что это? — спросил он.

— Коктейль, конечно.

— Я думал, вы заказываете себе что-то вроде чая. А это ведь спиртное. Вам не надо его пить. Как вас зовут?

— Близкие друзья, — ледяным тоном отозвалась мисс Эшер, — называют меня Элен.

— Послушайте, Элен, — заговорил, наклоняясь к ней, Платт. — Вот уже который год каждый раз, когда в прерии распускаются весенние цветы, меня одолевают мысли о ком-то, кого я никогда не видал, о ком и не слышал. Это вы, я сразу понял, когда вас увидел. Завтра я возвращаюсь к себе, и вы поедете со мной. Поедете, я это знаю с тех самых пор, как вы впервые на меня взглянули. И не вздумайте артачиться, номер не пройдет. Вот взгляните, какую штучку я только что купил вам.

Он щелчком переправил ей через стол кольцо с солитером в два карата. Мисс Эшер отшвырнула его обратно вилкой.

— Держитесь-ка в рамках, — сурово сказала она.

— Я стою двести тысяч долларов, — продолжал Платт. — Я выстрою для вас самый роскошный дом в Западном Техасе.

— Вам и за двести миллионов не купить меня, мистер Закупщик, — ответила мисс Эшер. — Не ожидала я, что мне придется вас одергивать. Сперва вы показались мне непохожим на остальных, но, видно, все вы одинаковы.

— Кто все?

— Закупщики. Вы думаете, если девушке приходится обедать с вами, чтобы не потерять работу, это дает вам право говорить ей все, что в голову взбредет? Ладно, кончим. Я считала вас не таким, как другие, теперь вижу, что ошиблась.

Платт вдруг грохнул рукой по столу, озаренный какой-то счастливой догадкой.

— Вспомнил! — выкрикнул он, торжествуя. — Участок Николсона в северном районе.

Там большая дубовая роща и естественное озеро. Старый дом можно снести, а новый мы построим подальше от дороги.

— Утихомирьтесь! — сказала мисс Эшер. — Жаль спускать вас с облаков, но с вашим братом нельзя иначе. В мои обязанности входит сопровождать вас в ресторан и развлекать, чтобы вам не расхотелось покупать у старого Зиззи костюмы, только не надейтесь, что в одном из купленных костюмов вы обнаружите меня.

— Вы хотите сказать, — произнес Платт, — что так же ходите по ресторанам и с другими клиентами и все они... все говорят вам то, что только что говорил я?

— Обхаживают меня все, — ответила мисс Эшер, — но признаюсь, в одном отношении вы перешибли других. Те только говорят о брильянтах, а вы и вправду свой приволокли.

— Вы давно работаете, Элен?

— О, я вижу, вы запомнили мое имя. Уже восемь лет я сама себя обеспечиваю. Была кассиршей, упаковщицей, потом продавщицей, пока не доросла до манекенщицы. Вам не кажется, мистер Техасский Житель, что наша беседа станет менее сухой, если размочить ее глотком вина?

— Вина вы теперь не будете пить, дорогая. Страшно подумать, что мы... Завтра я зайду за вами в магазин и увезу вас. Перед отъездом подберете на свой вкус какой-нибудь автомобиль. Больше нам нечего здесь покупать.

— Ох, да перестаньте. Если бы вы знали, как мне опротивели такие разговоры!

После обеда они прошли по Бродвею пешком и добрались до небольшого тенистого парка, над которым возвышалась башенка с Дианой. Платт засмотрелся на деревья и невольно свернул к дорожке, которая вилась между ними. В глазах мисс Эшер, отражая свет фонарей, засверкали две слезинки.

— Это мне уже не нравится, — сказал он. — В чем дело?

— Так, пустяки, — ответила мисс Эшер. — В общем, мне... ну, в общем, я сперва решила, что вы совсем другой. Но вы все одинаковы. А теперь будьте любезны, проводите меня домой или, может, позвать полисмена?

Платт проводил ее до пансиона. С минуту они постояли в подъезде. Мисс Эшер смотрела на него с таким презрением, что даже его дубовое сердце чуть екнуло. Рука Платта потянулась к ее талии, но тут девушка влепила ему звонкую пощечину.

Платт отпрянул, и выпавшее откуда-то кольцо запрыгало по каменному полу. Он нагнулся и вскоре его нашёл.

— Убирайтесь вместе с вашим злополучным брильянтом, мистер Закупщик! — проговорила она.

— Это другое... обручальное, — сказал техасец, разжав руку, на которой мерцало гладкое золотое колечко. Глаза мисс Эшер сверкнули из полутьмы.

— Так вы это имели в виду... значит, вы...

Кто-то открыл дверь, ведущую к лестнице.

— Доброй ночи, — сказал Платт, — до завтра.

Взбежав по лестнице, мисс Эшер влетела в свою комнату и принялась трясти учительницу; та вскочила на постели, готовая завопить: «Пожар!»

— Где? — крикнула она.

— Именно это я и хотела у тебя узнать, — сказала манекенщица. — Ты изучала географию, Эмма, кому же знать, как не тебе. Где этот городок по названию Как... Как... Карак... Каракас-Сити, так, что ли, он называется?

— И ты посмела разбудить меня из-за этого? — возмутилась учительница. — Каракас, разумеется, находится в Венесуэле.

— А какой он?

— Да в основном — вулканы, землетрясения, негры, обезьяны и малярия.

— Ну и пусть, — радостно отмахнулась мисс Эшер. — Завтра я туда уезжаю.

Бляха полицейского О'Руна

Перевод Н. Дехтеревой

Несомненен тот факт, что порой женщина и мужчина, едва взглянув друг на друга, мгновенно влюбляются. Рискованная штука эта любовь с первого взгляда, когда она еще не видела его чековой книжки, а он еще не видел ее в папильотках. Тем не менее в жизни оно бывает. Один такой пример и послужит для данного рассказа сюжетом — основным, но, благодарение Богу, отнюдь не заслоняющим собой более насущные и важные проблемы, как-то: пьянки, полисмены, кони и графские титулы.

Во время некоей войны кавалерийский отряд, присвоивший себе название «Смирные ребята», проник на своих скакунах в анналы истории и в один-два вражеских стана. Отряд был набран из аристократии лихих отпрысков Запада и из лихих отпрысков аристократии Востока. В хаки они утратили всякие различия и потому быстро сдружились и стали добрыми товарищами. Элсворт Рэмзен, из старинного рода коренных ньюйоркцев, компенсируя своим благородным происхождением скромное состояние в каких-нибудь десять миллионов, вместе со всеми уплетал мясные консервы у бивачного костра «Смирных ребят». Война казалась ему превеселым занятием — он почти не жалел о своем поло и о селедке, жаренной на вертеле.

Среди кавалеристов был один рослый, благодушный и невозмутимый молодой человек, известный под фамилией О'Рун. К этому молодому человеку Рэмзен испытывал особую симпатию. Они скакали бок о бок во время знаменитого штурма некоей высоты, успех которого отказывались тогда признать испанцы, а позже — демократы.

Война закончилась, и Рэмзен вернулся к своему поло и селедке, жаренной на вертеле. Но вот однажды его спокойное пребывание в клубе нарушил рослый, благодушный и невозмутимый молодой человек, и в следующую минуту Рэмзен и О'Рун колошматили друг друга, обмениваясь оскорбительными эпитетами, как оно полагается между давно не видавшимися друзьями. О'Рун несколько пообносился и, очевидно, не очень преуспевал, но был как будто вполне доволен жизнью. Последнее впечатление, впрочем, оказалось обманчивым.

— Слушай, Рэмзен, подыщи-ка мне работу, — сказал он. — Я только что отдал цирюльнику свой последний шиллинг.

— Это проще простого, — ответил Рэмзен. — Я знаю кучу людей в городе, у которых банки, магазины и все такое. Что ты, собственно, предпочитаешь? Можешь сказать?

— Да, — последовал ответ, и глаза О'Руна загорелись. — Сегодня утром я прошелся по вашему Центральному парку. Я не прочь стать конным полисменом. Как раз то, что мне требуется. Да я ни на что другое и не способен. Неплохо езжу верхом, люблю быть на свежем воздухе. Ну как, сумеешь меня устроить?

Рэмзен был уверен, что сумеет, и доказал это в самый непродолжительный срок. И вскоре те, кто не считал ниже своего достоинства кинуть взгляд на полисмена, могли увидеть рослого, благодушного и невозмутимого молодого человека на кауром коне, по долгу службы гарцующего по проезжим аллеям парка.

А теперь, сильно рискуя досадить старым джентльменам с часами на плетеной из кожи цепочке и престарелым дамам... Впрочем, нет! Бабушки еще млеют перед глупым, бессмертным Ромео — теперь повторяю: любовь с первого взгляда все-таки существует.

Она явилась Рэмзену, когда он, выйдя из своего клуба, только что ступил на Пятую авеню.

Еле-еле передвигаясь, по улице полз автомобиль, захлестнутый половодьем экипажей. В автомобиле находился шофер и старый господин — белоснежные бакенбарды и кепка в крупную клетку — такой головной убор для прогулки в автомобиле может позволить себе лишь весьма значительная особа. Даже агент виноторговой фирмы не осмелился бы на подобное. Но эти двое никакого значения не имели, разве только то, что один вел машину, а другой платил за нее.

Рядом со старым господином сидела юная девушка — краше цветка гранатового дерева,

изысканнее золотого серпа только что народившейся луны, когда он в сумерки проглядывает сквозь верхушки олеандров. Рэмзен увидел ее и понял, что обречен. Он бросился бы под колеса, увозившие ее, но он знал, что такой поступок — наихудший способ привлечь внимание тех, кто разъезжает в машинах. Автомобиль медленно проехал мимо, и если поэзию мы ставим выше автомобилизма, то, добавим, увез с собой сердце Рэмзена. Он был в огромном городе с многомиллионным населением и множеством женщин, издали напоминающих цветок гранатового дерева. И все же он надеялся увидеть ее снова. Ибо каждый воображает, что его любовь имеет своего ангела-хранителя и особое покровительствующее ему божество.

К счастью для Рэмзена, его душевное равновесие было несколько восстановлено приятным событием — встречей «Смирных ребят», проживающих в Нью-Йорке. Их набралось не так много, человек двадцать, и было тут все: пирушка, пьянка, тосты, и опять, уже задним числом, сильно досталось испанцам. Когда впереди замаячила угроза рассвета, уцелевшие приготовились расходиться по домам. Но некоторые полегли на поле битвы, и одним из таких оказался О'Рун, не закаленный по части крепких напитков. Ноги его отказывались выполнять обязанности, относительно которых он давал присягу в полицейском управлении.

— Все, Рэмзен, я упился, — поведал О'Рун другу. — И какого черта строят такие рестораны — кружатся и кружатся, словно огненный шар в фейерверке... У меня отберут мою бляху и выгонят в шею. Говорить-то челе... чле... членораздельно я могу, а вот ноги у меня заикаются. Через три часа мое дежурство. Мне каюк, Рэмзен, говорю тебе, мне каюк.

— Ну-ка взгляни на меня, — сказал Рэмзен, бодрый и веселый как ни в чем не бывало. — Кто перед тобой?

— Славный парень, — пробормотал О'Рун заплетаящимся языком. — Славный старина Рэмзен...

— Нет, — сказал Рэмзен. — Не то. Ты видишь конного полисмена О'Руна. Посмотри на свое лицо, впрочем, нет, без зеркала ты не сможешь... Ты смотри на мое лицо, а думай о своем, понимаешь? Похожи мы с тобой? Как два обеда за французским табльдотом! В твоём мундире, с твоей бляхой, на твоём коне я сегодня очарую молоденьких няnek и не дам траве расти под ногами гуляющих в парке. Я спасу тебе твою бляху и твою честь, не говоря уже о том, что для меня это будет самым развеселым делом с тех пор, как мы задали жару испанцам.

Точно в назначенное время в парке появилась подставная фигура конного полисмена О'Руна на его кауром коне. В форменной одежде два несхожих между собой человека выглядят похожими; двое, имеющие некоторое сходство в чертах и фигуре, покажутся близнецами. Рэмзен двигался рысцой по аллеям в полном восторге от этой забавы — так мало истинных удовольствий выпадает на долю обладателям десятиллионного состояния.

Рано утром по главной аллее застучали колеса открытой коляски, запряженной парой горячих гнедых рысаков. Это отдавало чем-то иностранным — в утренние часы парк посещают только люди малозначительные, желающие сохранить здоровье, бедность и мудрость. В коляске ехал старый господин — белоснежные бакенбарды и на голове кепка в крупную цветную клетку — для прогулки в коляске такую можно было надеть только весьма значительной персоне. Рядом с ним сидела та, что покорила сердце Рэмзена, — юная леди, напоминающая цветок граната и тоненький золотой серп молодой луны.

Коляска двигалась навстречу Рэмзену. На одно мгновение взгляды молодых людей встретились, и если бы не извечная робость сердца влюбленного, Рэмзен мог бы поклясться, что личико девушки вспыхнуло легким розовым румянцем. Еще шагов тридцать он продолжал рысцой свой путь, но вдруг резко повернул каурого вспять, услышав за спиной частый, быстро удаляющийся лошадиный топот — гнедые понесли.

Рэмзен пулей полетел вдогонку коляске. Тому, кто олицетворял собой полисмена О'Руна, предстояло дело, входящее в его прямые обязанности. Через полминуты каурый уже мчался рядом с гнедыми, он скосил глаз на Рэмзена и этим единственным способом, которым располагают полицейские лошади, сказал ему:

— Чего ты ждешь, самозванец? Ты не О'Рун, но тебе ничего не стоит наклониться вправо

и схватить под уздцы этих гнедых черепах. Ага, ты все же кое-что соображаешь! Сам О'Рун не сделал бы это ловчее.

Тугие мускулы Рэмзена принудили понесших коней к бесславному повиновению — коляска остановилась. Кучер, высвободив руки из вожжей, соскочил с козел и уже стоял впереди упряжки. Каурый приплясывал в знак одобрения своему всаднику и поносил на свой лошадиный лад смирившихся гнедых. Рэмзен медлил возле коляски, смутно сознавая присутствие невыносимого, ненужного старого господина в клетчатой кепке, который все что-то спрашивал и спрашивал, не умолкая. Зато он очень ясно сознавал, что перед ним глаза цвета фиалки, способные высечь искры из камня, или, как это там говорится, видел улыбку юной леди и взгляд, слегка испуганный, но таивший в себе нечто такое, что извечно робкое сердце влюбленного еще не способно было разгадать. И старый господин и его юная спутница допытывались у Рэмзена, как его зовут, и в самых любезных выражениях осыпали его изъявлениями благодарности за геройский поступок. Особенно говорлив и настойчив был старый господин, но более красноречивый призыв можно было прочесть в глазах юной леди.

В мозгу Рэмзена мелькнула приятно волнующая мысль, что, не проявляя излишней гордости, он может назвать имя, достойное быть произнесенным в самых высоких сферах, и затем с должной гордостью, не стыдясь, присовокупить к нему цифру своего скромного состояния.

Он уже было открыл рот, чтобы ответить, но тут же вновь закрыл его.

Кто он такой? Конный полисмен О'Рун. В его руках служебная бляха и честь товарища. Если спасителем цветка гранатового дерева и клетчатой кепки оказался Элсворт Рэмзен, обладатель десяти миллионов и коренной ньюйоркец старинного рода, то где, спрашивается, полисмен О'Рун? Не на своем посту, а значит, разоблачен, обесчещен, выгнан с позором. Да, явилась любовь, но до нее было другое, более важное — содружество людей на поле сражения против общего врага.

Рэмзен отдал честь и, глядя куда-то между ушей каурого, укрылся за стандартной полицейской формулой.

— Не стоит благодарности, — сказал он бесстрастным тоном. — Нам, полиции, за это платят. Это наша обязанность.

Он повернул коня и поехал прочь, в душе проклиная noblesse oblige, но отлично сознавая, что не мог поступить иначе.

К концу дня Рэмзен отвел каурого в конюшню и отправился к О'Руну. Рослый полисмен — вновь благодушный и невозмутимый — сидел у окна и курил сигару.

— Черт бы тебя побрал вместе со всей твоей полицией, бляхами, конями, медными пуговицами и всеми теми, кто валится с ног от двух стаканов сухого вина! — проговорил Рэмзен с чувством.

О'Рун улыбался, и лицо его выражало явное удовлетворение.

— Молодчина, старина Рэмзен! — сказал он благодушно. — Я уже все знаю. Они меня выследили-таки и два часа назад явились сюда. Понимаешь, у нас в семье произошла небольшая стычка, ну я взял и удрал из дому: пусть знают! Я, кажется, не говорил тебе, что мой родитель — граф Ардсли. Забавно, что вы столкнулись с ним в парке. Если ты загнал моего каурого, я тебе этого вовек не прощу. Я хочу купить его и забрать домой. Ах да, моя сестра — ну, понимаешь, леди Анджела — непременно хочет, чтобы я привел тебя вечером к ним в отель. А моя бляха? Ты ее не потерял, Рэмзен? Мне ведь придется вернуть ее, когда буду подавать рапорт об увольнении.

Квартал «Кирпичная пыль»

Перевод Т. Озерской

Блинкер был раздосадован. Человек менее состоятельный и не столь воспитанный и просвещенный мог бы и чертыхнуться. Но Блинкер всегда помнил, что он джентльмен, — чего

ни один джентльмен не должен себе позволять. Поэтому он ограничился тем, что, направляясь в кабриолете на Бродвей — к очагу неприятностей, коим являлась контора адвоката Олдпорта, управляющего его недвижимостью, — хранил сардоническое и скучающее выражение лица.

— Не понимаю, — сказал Блинкер, — почему я должен вечно подписывать эти треклятые бумаги! Мои вещи упакованы, и я намерен был еще утром отбыть в Нортвудс. Теперь же я вынужден задержаться до завтрашнего утра. Ночные поезда я не переносу. Мои лучшие бритвы, конечно, на дне какого-нибудь неопознаваемого чемодана. Это заговор, чтобы довести меня до нервного расстройства и заманить к страдающему словоблудию, криворукому парикмахеру. Дайте мне перо, которое не царапает бумаги. Терпеть не могу царапающие перья.

— Сядьте, — сказал седовласый тучный адвокат Олдпорт. — Вы еще не оповещены о самом худшем. О, тягостное бремя богатства! Бумаги еще не готовы на подпись. Но завтра в одиннадцать часов утра они будут лежать перед вами на столе. Вам придется потерять еще один день. Дважды будут пальцы брадобрея оттягивать кверху беззащитный кончик носа одного из Блинкеров. Возблагодарите судьбу за то, что среди прочих испытаний вам хотя бы не грозит стрижка.

— Я немедленно освободил бы вас от обязанности вести мои дела, — сказал Блинкер, поднимаясь со стула, — если бы это не влекло за собой подписывания еще новых бумаг. Будьте добры, дайте мне сигару.

— Если бы я захотел поглядеть, как сын моего старинного друга будет одним глотком проглочен какой-нибудь акулой, — сказал адвокат Олдпорт, — я бы давно попросил вас освободить меня от моих полномочий. А теперь перестаньте валять дурака, Александр. Помимо предстоящей вам завтра изнурительной обязанности тридцать раз поставить свою подпись под документами, вам придется еще рассмотреть один проект — проект чисто деловой, но затрагивающий вместе с тем вопросы человеколюбия или, если хотите, справедливости. Я уже обращался с этим к вам пять лет тому назад, но вы не пожелали меня выслушать, — вы спешили в какой-то вояж, насколько я помню. Сейчас этот вопрос возникает снова. Ваше недвижимое имущество...

— О, имущество! — перебил адвоката Блинкер. — Дорогой мистер Олдпорт, мне кажется, мы условились на завтра. Давайте уж я проглочу все за один прием — подписание бумаг, имущество, вонючий сургуч, лопающиеся резиночки и прочее. Поехали завтракать? Ладно, я постараюсь не забыть заглянуть к вам завтра в одиннадцать. Честь имею.

Капитал Блинкера был вложен в земельные участки, доходные дома и, выражаясь языком юридическим, в имущество, могущее быть предметом наследования. Как-то раз адвокат Олдпорт повез Александра в своем чахоточном автомобильчике по городу с целью познакомить его с теми постройками, вернее, кварталами построек, которые являлись собственностью Александра, поскольку он был единственным наследником. То, что он увидел, немало позабавило Блинкера. Невозможно было поверить, что эти развалюхи в состоянии произвести на свет те весьма крупные суммы денег, которые адвокат Олдпорт неустанно накапливал в банках, для того чтобы Александр мог их тратить.

Расстроенный Блинкер отправился в один из своих клубов с намерением пообедать там. В клубе не оказалось никого, кроме двух-трех старикашек, игравших в вист. Они приветствовали Блинкера с суровой вежливостью и поглядели на него с яростным презрением. Все стоящие упоминания люди разъехались из города! А его, словно школьника, держат тут и заставляют снова и снова писать свое имя на листках бумаги. Блинкер чувствовал себя глубоко уязвленным.

Он повернулся спиной к старикашкам и сказал метрдотелю, поспешившему к нему навстречу и молвившему какой-то вздор насчет свежей партии зернистой икры:

— Саймонс, я отправляюсь на Кони-Айленд. — Это прозвучало так, словно он сообщил: «Все кончено. Пойду брошусь в реку».

Шутка очень понравилась Саймонсу. Он рассмеялся — в одну шестнадцатую долю громкости, дозволяемой правилами, определяющими нормы поведения служащих.

— Ну, конечно, сэр! — восторженно захихикал он. — Само собой понятно, сэр. Так и вижу вас на Кони, мистер Блинкер!

Блинкер взял газету и разыскал расписание воскресных пароходов. Затем на ближайшем перекрестке остановил такси и покотил к одной из пристаней на Северной реке. Там он демократично стал в очередь, совсем как вы или я, купил билет, претерпел толчею и давку и, наконец придя в себя, обнаружил, что сидит на верхней палубе парохода и нахально разглядывает молодую девушку, одиноко сидящую в сторонке на складном стуле. Впрочем, нахальное поведение Блинкера было совершенно бессознательным, — просто девушка была так хороша собой, что это заставило его совсем позабыть о том, что он Принц-инкогнито, и вести себя так, как было для него привычно в светском обществе.

Девушка тоже смотрела на него и притом не слишком сурово. Порыв ветра едва не унес соломенную шляпу с головы Блинкера. Он поймал ее на лету и водворил на место. Движение руки со шляпой слегка смахивало на поклон. Девушка улыбнулась, кивнула, и в следующее мгновение Блинкер уже сидел рядом с ней. Она была одета во все белое и показалась Блинкеру чрезмерно бледной для простой молочницы и вообще для девушки низкого происхождения, но вместе с тем она была свежа и опрятна, как цветущая вишня, а прямой открытый взгляд ее серых глаз свидетельствовал о безмятежной чистоте ее помыслов и безгрешности души.

— Что это вы себе позволяете? Чего это вдруг снимаете шляпу и раскланиваетесь? — спросила девушка, смягчая улыбкой суровость вопроса.

— Я не... — начал было Блинкер, но вовремя осекся и исправил свою оплошность: — Я не мог удержаться от поклона, увидав вас.

— Я не разрешаю мужчинам садиться возле меня, если они не были мне представлены, — сказала она таким неожиданно высокомерным тоном, что Блинкер принял ее слова всерьез. Он неохотно поднялся со стула, но ее задорный смех заставил его опуститься на прежнее место.

— Что-то вы, я вижу, не спешите уйти, — заметила она с великолепной самоуверенностью знающей себе цену красавицы.

— Куда вы едете, на Кони-Айленд? — спросил Блинкер.

— Я? — Глаза ее расширились от удивления, и она насмешливо поглядела на Блинкера. — Станный вопрос! Разве вы не видите, что я катаюсь в парке на велосипеде? — Шутка была произнесена несколько вызывающим тоном.

— Ну а я выкладываю высокую кирпичную трубу на фабричной крыше, — в тон ей сказал Блинкер. — Может быть, мы прогуляемся по Кони вместе? Я еду один и ни разу там не бывал.

— Это будет зависеть от того, хорошо ли вы будете себя вести, — сказала девушка. — Я успею обдумать ваше предложение, пока мы туда добираться.

Блинкер приложил усилия к тому, чтобы его предложение было принято. Он постарался произвести хорошее впечатление. Он, пользуясь его же собственным шутливым заявлением, кирпич за кирпичом воздвигал здание своего безукоризненного поведения, пока постройка не стала вполне законченной и прочной. Светские манеры в конечном счете сводятся к простоте и естественности, а поскольку для девушки это и было ее родной стихией, они довольно быстро нашли общий язык.

Блинкер узнал, что девушку зовут Флоренс и ей двадцать лет. Он узнал, что она украшает отделкой дамские шляпки в шляпной мастерской, снимает меблированную комнату вместе со своей подругой Эллой, которая работает кассиршей в обувном магазине, и что стакан молока из бутылки, поставленной на подоконник, и яйцо, которое успевает свариться, пока волосы укладываются в пучок, вполне хороший завтрак хоть для кого. Услыхав фамилию «Блинкер», Флоренс расхохоталась.

— Ну что ж, — сказала она. — Это, по крайней мере, доказывает, что вы не лишены воображения. И что ни говори, а беднягам «Смитам» тоже надо дать передышку.

Они сошли с парохода на Кони-Айленд и на гребне суматошной человеческой волны были вместе с другими искателями развлечений выброшены на дорожки и аллеи Страны

Волшебных Сказок, преобразенных в водевиль.

Критически настроенный Блинкер окидывал холодно-любопытствующим взором башни, пагоды и павильоны с общедоступными развлечениями, благоразумно воздерживаясь от замечаний. Веселящиеся простолюдины пихали его, и толкали, и норовили сбить с ног. Его били по бокам корзинами со снедью, заготовленной для пикников. Липкие от леденцов мальчишки кувыркались у него под ногами, обсахаривая его брюки. Нахального вида юнцы, с добытыми трудом тросточками под мышкой и без труда добытыми девицами под руку, прогуливались между павильонами, пуская дым дешевых сигар ему в лицо. Зазывалы, стоя с мегафонами в руках перед своими умопомрачительными аттракционами, производили в его ушах шум, подобный реву Ниагарского водопада. Музыка всех сортов, какую только можно исторгнуть из меди, камыша, дубленых шкур или тонких жил, яростно отвоевывала у конкурентов место для размещения своих вибраций в пространстве. Но особенно пугающе-завораживающим был для Блинкера вид толпы, народных масс, пролетариев, спешащих, орущих, прущих, продирающихся, ломящихся в самозабвенно-бесстыдном исступлении в бутафорские дворцы нелепых, мишурных развлечений. Эта чудовищная вульгарность, это грубое нарушение всех норм приличия и вкуса, установленных его кастой, вызывали в нем глубочайшее отвращение.

Исполненный негодования, он отвернулся и поглядел на стоявшую рядом с ним Флоренс. Ее лицо в ответ мгновенно расцвело улыбкой, и она подняла на него взгляд чистых, как вода в форелевом ручье, светящихся счастьем глаз. Ее глаза говорили ему без слов, что имеют право светиться счастьем, потому что здесь, рядом с их обладательницей, стоит Ее Кавалер, Ее Мужчина (на сегодняшний вечер), владеющий волшебными ключами, отпирающими все врата этого сказочного города веселья.

Блинкер не сумел прочесть все, что было в ее взгляде, но зато с ним совершилось чудо: он внезапно увидел Кони-Айленд в совершенно новом свете.

Перед ним уже не было толпы неотесанных простолюдинов, жаждущих грубых развлечений. Он явственно увидел перед собой десятки тысяч подлинных мечтателей, которые нашли здесь забвение своих горестей и обид. Блинкер понял, что, сколь бы ни были обманчивы и фальшивы убогие радости этих стеклярусных дворцов, они приносили драгоценное успокоение беспокойным человеческим душам и проливали на них целительный бальзам. Здесь сохранилась хотя бы оболочка Романтики, сохранились сверкающие, хотя и картонные доспехи Рыцарства, упоительные — невзирая на гарантированную безопасность — взлеты и падения на крылах Приключения, волшебные Ковры-самолеты, уносящие вас в страну сказки, пусть даже на расстояние всего нескольких жалких ярдов. Теперь Блинкер видел перед собой не чернь, а своих братьев в погоне за мечтой. Здесь не было магии поэзии или магии искусства, но колдовская сила воображения этих людей превращала желтый миткаль в золотую парчу и обыкновенные мегафоны — в серебряные трубы веселых герольдов.

Пристыженный Блинкер закатал повыше рукава своей фантазии и присоединился к мечтателям.

— Вы настоящая целительница, — сказал он Флоренс. — С чего мы начнем наше знакомство с этим веселым концерном под вывеской «Волшебные сказки»?

— Мы начнем отсюда, — сказала Принцесса, указывая на Пагоду Смеха, стоящую на берегу пролива, — и понемногу обойдем все.

Они поспели на отходящий в восемь часов вечера обратный пароход и с чувством приятной усталости уселись на палубе у поручней, прислушиваясь к звукам музыки, извлекаемой из арфы и скрипки двумя итальянцами. Блинкер отбросил прочь все тяготившие его заботы. Нортвудс представлялся ему теперь необитаемой пустыней. И стоило ли так кипятиться из-за простого росчерка пером по бумаге! Чуть! Да он распишется хоть сто раз! А какое прелестное имя у этой девушки, столь же прелестное, как она сама! «Флоренс, Флоренс», — то и дело повторял он про себя.

Когда пароход приближался к пристани, какое-то издававшее виды двухтрубное океанское судно иностранного обличья разворачивалось у входа в бухту. Пароход повернул к своему

причалу. Судно переменило курс, как бы ища лазейки, вильнуло, увеличило ход и со страшным грохотом и треском врезалось пароходу в борт возле кормы.

Все шестьсот пассажиров парохода с криками ужаса повалились кто куда, а капитан закричал капитану иностранного судна, чтобы он не давал задний ход, иначе вода хлынет в пробоину. Но жестокосердное судно, словно хищная рыба-пила, выдрало свой нос из борта и умчалось на всех парах.

Пароход начал оседать кормой, но продолжал медленно двигаться к причалу. Охваченные паникой пассажиры являли взору довольно непривлекательное зрелище.

Блинкер, крепко обхватив Флоренс руками, помогал ей усидеть на месте, пока пароход выравнивался. Она ни разу не вскрикнула, ничем не проявила испуга.

Блинкер встал на складной стул и, оторвав планки у себя над головой, сбросил на палубу несколько спасательных поясов. Затем он принялся прилаживать один из поясов на Флоренс. Прогнившая материя лопнула, и трухлявая бесполезная пробка просыпалась на палубу. Флоренс собрала ее в пригоршню и весело рассмеялась.

— Похоже на гречневую крупу, — сказала она. — Снимите с меня это. Никчемная штука.

Она расстегнула пояс и бросила его на палубу. Потом заставила Блинкера сесть, уселась рядом с ним и взяла его за руку.

— Держу пари, что мы не дотянем до пристани, на сколько спорите? — спросила она и принялась напевать песенку.

Появился капитан и начал наводить порядок среди пассажиров. Пароход, без сомнения, успеет доставить их на берег, сказал он и распорядился, чтобы женщины и дети перешли на нос, откуда их будут высаживать первыми. Пароход, уже изрядно погрузившийся кормой в воду, мужественно старался сдержать данное капитаном обещание.

— Флоренс, — сказал Блинкер, чувствуя ее крепко прижатый к его боку локоть. — Я люблю вас.

— Все вы так говорите, — беспечно отвечала Флоренс.

— Я не «все», — не отступался он. — Я еще не встречал девушки, которую мог бы полюбить. А с вами я мог бы прожить всю жизнь и быть вечно счастливым. Я богат. Я могу хорошо устроить вашу жизнь.

— Все вы так говорите, — повторила, вернее, пропела она на мотив своей задорной песенки.

— Прошу вас, не надо больше этого повторять, — произнес Блинкер таким тоном, что Флоренс поглядела на него с неподдельным изумлением.

— А почему? — безмятежно спросила она. — Все вы на один лад.

— Кто это — все? — спросил Блинкер, впервые в жизни ощутив укол ревности.

— Ну как — кто? Знакомые парни.

— У вас так много знакомых?

— Да уж, во всяком случае, я не подпираю стенку на танцах, — скромно, но с достоинством отвечала Флоренс.

— А где же вы встречаетесь с ними... с этими парнями? У себя дома?

— Нет, понятно. Так же вот, как с вами. Когда на пароходе, когда в парке, а бывает, и на улице. Я мужчин распознаю с первого взгляда. Через две секунды могу сказать, станет этот парень нахальничать или нет.

— Как это понимать... «нахальничать»?

— Ну как... Полезет вас целовать... Меня то есть.

— И кто-нибудь из них уже лез? — спросил Блинкер, скрипнув зубами.

— А как же. Все мужчины такие. Будто не знаете.

— И вы им позволяете?

— Как кому. Не всем. А то ведь без этого другой и не поведет тебя никуда.

Она повернула голову и внимательно поглядела на Блинкера. Взгляд ее был невинен, как взгляд ребенка. Он выражал недоумение. Казалось, Блинкер чем-то ставил ее в тупик.

— Что плохого в том, что я встречаюсь с парнями? — удивленно спросила она.

— Всё! — свирепо отрезал Блинкер. — Почему вы не принимаете своих друзей у себя дома? Почему нужно заводить знакомство на улице с первым встречным?

Она не сводила с него детски бесхитростного взгляда.

— Посмотрели бы вы, где я живу, так не стали бы спрашивать. Я живу в квартале «Кирпичная пыль». Его прозвали так потому, что кирпич крошится и красная пыль заползает во все щели. Я уже четвертый год там живу. Принимать гостей мне негде. Приводить их к себе в комнату я не могу. Так что же остается делать? Девушка же не может не встречаться с мужчинами, как по-вашему?

— Да, — выговорил он хрипло. — Девушка не может... не может не встречаться с мужчинами.

— Когда в первый раз один тип заговорил со мной на улице, — продолжала Флоренс, — я со всех ног помчалась домой и проревела до утра. Но потом привыкаешь. Я встречаю много славных парней в церкви. Хожу туда в дождливую погоду и стою поближе к дверям, пока не подойдет кто-нибудь с зонтиком. Жаль, что нет у меня дома гостинной, чтобы принять вас, мистер Блинкер... А вы совершенно уверены, что ваша фамилия не Смит?

Пароход благополучно причалил к пристани. Блинкер, как в тумане, брел с Флоренс по тихим, опустевшим улицам, пока она, остановившись на каком-то перекрестке, не сказала, протягивая ему руку:

— Я живу через квартал отсюда. Благодарю вас за очень приятно проведенный вечер.

Блинкер пробормотал что-то невнятное и стремительно зашагал к северу, а потом сделал знак проезжавшему мимо такси. Откуда-то справа выплыла серая громада церкви. Блинкер погрозил ей в окно кулаком.

— На прошлой неделе я пожертвовал тысячу долларов на твое благоустройство, — прошипел он сквозь зубы. — А она знакомится с ними на твоём пороге. Нет, здесь что-то не так, что-то не так.

На следующий день в одиннадцать часов утра Блинкер тридцать раз подряд поставил, где следовало, свою подпись, действуя новым пером, приготовленным для него адвокатом Олдпортом.

— А теперь отпустите меня, я хочу сбежать, — угрюмо сказал он.

— Вы плохо выглядите, — сказал адвокат Олдпорт. — Поездка пойдет вам на пользу. Но прежде, если вы не возражаете, я хотел бы сделать вам одно деловое предложение, с которым я пробовал обратиться к вам вчера, а также еще пять лет тому назад. Речь идет о некоторых строениях, числом пятнадцать, пятилетний срок аренды которых должен быть возобновлен. Ваш отец предполагал внести кое-какие изменения в условия арендного договора, но так и не удосужился сделать это. Он намерен был оговорить, чтобы в дальнейшем гостинные в этих домах не заселялись, а жильцам было разрешено использовать их для приема гостей. Эти дома расположены в торговом районе, и живут в них преимущественно молодые девушки, работающие в магазинах и мастерских. Сейчас им приходится заводить знакомства где попало. Это ряд красных кирпичных строений...

Горький, странно неуместный смех Блинкера оборвал его речь на полуслове.

— Это квартал «Кирпичная Пыль», ручаюсь головой! И владелец этих домов — я. Так? Я не ошибся?

— Да, тамошние жильцы называют их как-то в этом роде.

Блинкер встал, взял шляпу и надвинул ее на глаза.

— Делайте с ними, что хотите, — сказал он резко. — Перестройте их, сожгите, сровняйте с землей. Все равно, друг мой, теперь уже слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно.

Рождение ньюйоркца

Перевод Е. Коротковой

Рэглз был поэтом, хотя не только поэтом. Его называли бродягой, но это лишь эллиптическая замена утверждения, что в нем слились философ, художник, путешественник, натуралист и открыватель. Однако прежде всего он был поэтом. Он не написал ни одной стихотворной строки — поэзией была его жизнь. Его одиссея, будь она записана, оказалась бы рифмованной побасенкой. Но сохраним исходную формулировку — Рэглз был поэтом.

Окажись его уделом бумага и чернила, он избрал бы своим жанром сонеты о городах. Он изучал их, как женщины изучают свое отражение в зеркале; как дети, выпотрошив куклу, изучают опилки и швы; как мужчины, пишущие о диких животных, изучают клетки в зоологическом саду. Город был для Рэглза не просто нагромождением кирпича и бетона, вместившим в себя определенное количество жителей; город был для него существом, наделенным своеобразной, Неповторимой душой; сплавом жизней, непохожим на все другие, со своим особым нравом, ароматом, настроением. Две тысячи миль на север и на юг, на запад и восток отмахал он, в поэтическом угаре привлекая все новые города к своей груди. То он попирал ногами пыль дорог, то с комфортом мчался в товарном вагоне — время не заботило его. Нащупав сердце города и выслушав его тайные признания, он снова пускался в путь. Ветреник Рэглз! Впрочем, возможно, он не встретил пока населенного пункта, который удовлетворил бы его взыскательный вкус.

От поэтов древности мы знаем, что город — существо женского рода. Такими же видел их поэт Рэглз, и воображение весьма отчетливо рисовало ему фигуру, типически и символически представлявшую предмет его очередных домогательств.

От Чикаго на него повеяло уютным мирком пересудов, пачулей, шляпок с перьями; прелестная, манящая песнь обещания парила в воздухе, смущая его покой. Но Рэглза отрезвил пронизывающий холод и неотвязное ощущение, что чьи-то романтические идеалы гибнут здесь, растворившись в душном запахе картофельного салата и рыбы.

Такое впечатление он вынес от Чикаго. Возможно, наше описание неточно и расплывчато, но это вина Рэглза. Свои эмоции ему следовало бы излагать в пригодных для журналов стихах.

Питтсбург был как трагедия «Отелло», исполненная на вокзале по-русски негритянским ансамблем Докстэдера. Шикарная, величественная леди, эта Питтсбург, и в то же время такая неприязнительная простушка; раскрасневшись, моет посуду в своем шелковом платье и нарядных белых туфельках и приглашает Рэглза подсесть к камельку и запить шампанским поросячьи ножки с жареным картофелем.

Мадемуазель Новый Орлеан устремила на него украдкой взгляд с балкона. Печальные лучистые глаза да колыхание веера — вот и все, что удалось разглядеть Рэглзу. И лишь однажды они встретились лицом к лицу. Это случилось на рассвете, когда она окатила водой из ведра красные кирпичные ступеньки. Она смеялась и мурлыкала французскую песенку и до краев наполнила ботинки Рэглза ледяной водой. Что ж, бывает...

Бостон поэтическое воображение Рэглза восприняло сумбурно и причудливо. Ему казалось, что его напоили холодным чаем и что город — белая холодная повязка, туго стянутая вокруг его головы, дабы побудить его к какому-то титаническому усилию мысли. Когда же он, хлеба насущного ради, пошел сгребать снег на улицах, повязка намочла и затвердевшие узлы примерзли к голове.

Туманные и невразумительные фантазии, скажете вы; но присовокупите к осуждению благодарность; эти образы создало воображение поэта... каково бы было встретить их в стихах.

А потом он посетил Манхэттен, королеву городов, чтобы покорить и ее сердце. Она не знала себе равных, и ему хотелось отыскать графу, в которой она числится; распробовать, оценить, определить, разгадать, украсить ярлычком и поместить по ранжиру среди тех, кто уже выдал ему свой секрет. И тут автор слагает с себя обязанности толмача и становится летописцем Рэглза.

Итак, однажды утром, сойдя с парома, Рэглз направился к жизненным центрам Нью-Йорка. На нем был тщательно продуманный костюм, неотъемлемый от термина

«неопознанная личность». Ни одна страна, народность, класс, клика, содружество, партия, клан или объединение игроков в кегли не смогли бы заявить на него свои права. Облачение, пожалованное ему поштучно горожанами, рост которых был разный, зато сердце одинаково большое, оказалось все же не столь стеснительно для тела, как те сшитые заочно по заказу изделия, что доставляют нам трансконтинентальные поезда вместе с чемоданом, подтяжками, шелковым носовым платком и перламутровыми запонками в качестве премии. Без денег — как подобает поэту, — но с пылом астронома, открывающего новую звезду в кордебалете Млечного Пути, или человека, у которого вдруг потекла вечная ручка, Рэглз вступил в великий город.

В конце дня он вынырнул из сутолоки и рева с застывшим от ужаса лицом. Он был растерян, удручен, испуган. Другие города он перелистывал, словно букварь; видел их насквозь, как сельскую красотку; разгадывал, как ребусы «вместе-с-ответом-присылайте-плату-за-подписку»; проглатывал, как устричный салат. Этот же был холоден, ослепителен, безмятежен и недоступен, словно четырехкаратовый брильянт в глазах влюбленного приказчика из отдела галантереи, который смотрит на витрину, ощупывая потными пальцами в кармане свое недельное жалованье.

Ему знаком был отклик других городов — их доморощенное благодущие, их чисто человеческая гамма грубоватой отзывчивости, дружеской бранчивости, болтливости любопытства, откровенной доверчивости и столь же откровенного безразличия.

Этот же, Манхэттен, не выдал себя ничем, отгородившись неприступными стенами. Как стальная река, он тек мимо Рэглза по улицам. Никто и взгляда на него не бросил; никто с ним не заговорил. Каким желанным казался ему сейчас дружеский тычок закопченной ручищи Питтсбурга; грозный окрик общительного скандалиста Чикаго; тусклый, снисходительно брошенный в монокль взгляд Бостона... даже незаслуженный, но беззлобный пинок Луисвилля или Сент-Луиса.

На Бродвее Рэглз, обольстителю многих городов, засмутился, как деревенский увалень. Впервые испытал он жгучее унижение незамечаемого. А когда он попробовал подогнать под какой-то стандарт этот искрящийся, струящийся, леденящий город, у него не вышло ровным счетом ничего. Даже глаз поэта не улавливал здесь ни оттенков, ни штришков для метафоры или сравнения, ни единой царапинки на отполированных гранях, ни одной зацепки, ухватившись за которую он мог бы повертеть город и так и сяк и разглядеть его форму и строение, как не раз бесцеремонно, а зачастую свысока обходился он с другими городами. Дома — оскалившиеся бойницами бесчисленные бастионы, люди — окрашенные в живые цвета, но бескровные призраки, марширующие мрачным строем себялюбцев.

Больше всего угнетал Рэглза и обуздывал его поэтическую фантазию дух эгоцентризма, казалось пропитавший всех прохожих, словно краска детскую игрушку. Каждый, на ком он останавливал свой взгляд, представлялся ему чудовищем бесстыдного и гнусного самодовольства. В этих людях не было ничего человеческого: словно каменные идолы, ковыляя они по улицам, поклоняясь лишь себе и взыскав поклонения других таких же идолов. Равнодушные, безжалостные, непостижимые и неумолимые, скроенные все на один образец, они спешили по своим делам, похожие на мраморные статуи, которые привел в движение какой-то чародей, не сумев пробудить в них мысли и чувства.

Мало-помалу Рэглз выделил несколько типов. Первый — пожилой джентльмен с белоснежной бородкой, гладким розовым лицом и жестким взглядом прозрачных голубых глаз, разодетый, как юный франт, и словно олицетворяющий богатство, процветание и ледяное бездушие города. Второй тип — высокая, красивая женщина, четкая, как гравюра на стали, невозмутимая, как богиня, одетая, словно принцесса старинных времен, с льдисто-синими глазами, подобными отражению солнечного луча на глетчере. И еще один тип, побочный продукт этого города марионеток, — чванливый, угрюмый, грозный в своей безмятежности здоровяк, с челюстью, обширной, как сжатая нива, с румянцем только что извлеченного из купели младенца и кулаками боксера. Представители этого типа подпирали плечами вывески табачных лавок и с негодующим презрением взирали на мир.

Поэты — создания чувствительные, и вскоре Рэглз зябко съежился в неласковых объятиях неопределимого. Холодное, сфинсоподобное, ироничное, непроницаемое, ненатуральное, жесткое выражение этого города подавило и обескуражило его. Да есть ли у него сердце? Лучше уж ночевки в стоге сена, брань хозяек, с уксусными лицами отчитывающих тебя у черного хода; благодушная издевка провинциальных буфетчиков у стоек с бесплатной закуской; ласковая свирепость сельских констеблей, пинки, каталажки, шальные причуды тех других, шумливых и вульгарных грубиянов городов, чем это ледяное бессердечие.

Собравшись с духом, Рэглз стал просить подаяния. Отчужденная и безучастная толпа спешила мимо, и никто и бровью не повел в знак того, что его существование замечено. И тогда он окончательно уверился в том, что этот прелестный, но неотзывчивый город лишен души, что обитатели его — манекены, приводимые в движение проволочками и пружинками, а единственное одушевленное существо в этой необъятной пустыне — он сам.

Рэглз побрел через улицу. Взрыв, грохот, треск, и он отлетел вверх тормашками, отброшенный на шесть ярдов от того места, где только что был. Падая, словно патрон взорвавшейся шутихи, он видел, как земля и все земные города превратились в раздробленный сон.

Рэглз открыл глаза. Прежде всего он уловил аромат — так пахнут первые весенние цветы, распускающиеся в райских куцах. Потом чела его коснулась ручка, нежная, как падающий лепесток. Женщина, одетая, как принцесса старинных времен, склонилась над ним, и ее льдисто-синие глаза смотрели ласково, увлажненные простой человеческой жалостью. Под его затылком на мостовой шелестели шелка и меха. Держа шляпу Рэглза и порозовев больше обычного после пылкой речи, в которой он заклеил злодеев-возчиков, стоял пожилой джентльмен, олицетворяющий богатство и процветание города. Из ближайшего кафе спешил побочный продукт с обширной челюстью и младенческим румянцем, держа в руке стакан, наполненный темно-красной влагой, сулящей восхитительные перспективы.

— На, хлебни-ка, приятель, — сказал продукт, поднося стакан к губам Рэглза.

Спустя мгновение вокруг уже толпились сотни людей, чьи лица выражали глубочайшее участие. Два величественных полисмена, протиснувшись к Рэглзу, заботливо ограждали его от мощного напора самаритян. Старая дама в черной шали громогласно толковала о камфаре, мальчишка-газетчик подсунул одну из газет под локоть Рэглза, оказавшийся в луже. Шустрый юноша записывал в блокнот фамилии.

Внушительно зазвонил колокол, и санитарная карета расчистила себе дорогу в толпе. Невозмутимый врач сноровисто и быстро приступил к осмотру.

— Как себя чувствуете, старина? — спросил он, наклоняясь над Рэглзом.

Принцесса в шелках и атласе смахнула душистой паутиной несколько красных капелек, выступивших на лбу Рэглза.

— Я-то? — с блаженной улыбкой спросил Рэглз. — Лучше некуда.

Он обнаружил наконец сердце нового города.

Через три дня его перевели в палату для выздоравливающих. Он не пробыл там и часа, когда санитары услышали шум потасовки. Как выяснилось в ходе расследования, Рэглз, учинив неожиданное нападение, оскорбил действием соседа по палате, желчного любителя новых впечатлений и мест, угодившего в больницу в результате крушения товарного поезда.

— Что тут у вас случилось? — осведомилась сестра.

— Этот тип хаял мой город, — сказал Рэглз.

— Какой город? — спросила сестра.

— Нью-Йорк, — ответил Рэглз.

Русские соболя

Перевод Т. Озерской

Когда синие, как ночь, глаза Молли Мак-Кивер положили Малыша Брэди на обе лопатки, он вынужден был выйти из банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее двух часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос — залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки.

Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутое в длину, как труба, естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого Адовой кухней. Пролегая вдоль реки, параллельно Одиннадцатой и Двенадцатой авеню, Дымовая труба огибает своим прокопченным коленом маленький, унылый, неприятный Клинтон-парк. Вспомнив, что дымовая труба — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в Адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара облечены только члены банды «Дымовая труба».

Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы, на углах улиц, посвящая, по видимости, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножинок. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в две сотни слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку.

Однако деятели «Дымовой трубы» не просто украшают собой уличные перекрестки, предаваясь хохоту и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие — освобождать обывателей от кошелев и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда ошарашенный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность излить свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы.

Полицию банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков Дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают: если из Трубы потянуло дымком — значит, развели огонь в Адовой кухне.

Малыш Брэди обещал Молли стать паинькой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым франтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять.

Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо, когда парень следует советам своей подружки, в Адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски.

Можешь подставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила, — это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит.

— Закрой свой водоразборный кран, — сказал Малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. — Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо-скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартиру, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в кадке и попробуем жить честно.

— Ах, Малыш! — воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. — За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть! Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми.

Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли.

— Труднее всего придется по части барахла, — заявил он. — Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в шестьдесят пять долларов. Насчет одежды я разборчив — все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать — тогда прощай маленький человечек с большими ножницами!

— Пустяки, дорогой! Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле.

На заре своей юности Малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь и вернулся. Но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской, а ведь это только хозяева мастерских — отнюдь не их помощники — носят брильянты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка.

Восемь месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а банда «Дымовая труба» по-прежнему бесчинствовала «на большой дороге», раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрой платья и тона галстуков Пятой авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но Малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно не полированных ногтей и он теперь минут пятнадцать простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся.

Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой.

— Ну-ка, Молли, разверни! — небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. — Это тебе.

Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких Мак-Киверов, а следом за ними — и мамаша Мак-Кивер; как истая дочь Евы, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой.

Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, словно боа-констриктор.

— Русские соболя! — горделиво изрек Малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. — Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию — не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли.

Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелюзгу из рода Мак-Киверов. Вниманию редакторов отдела рекламы! Секрет красоты (сияющие глаза, разрумившиеся щеки, пленительная улыбка): Один Гарнитур из Русских Соболей. Обращайтесь за справками.

Оставшись с Малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка.

— Ты настоящее золото, Малыш, — сказала она благодарно. — Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука? Помнится, мне кто-то говорил.

— А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи? — спокойно и с достоинством спросил Малыш. — Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины «любой предмет за десять центов»? Допусти, что это боа стоит двести пятьдесят долларов и муфта — сто семьдесят пять. Тогда ты будешь иметь некоторое представление о стоимости русских соболей. Хорошие вещи — моя слабость. Черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли!

Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка снова погасла,

и Молли пытливым и грустным взглядом посмотрела Малышу в глаза.

Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд; он рассмеялся, и щеки его порозовели.

— Выкинь это из головы, — промолвил он с грубоватой лаской. — Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана.

— Из своего заработка, Малыш? Из семидесяти пяти долларов в месяц?

— Ну да. Я откладывал.

— Откладывал? Постой, как же это... Четыреста двадцать пять долларов за восемь месяцев...

— А-а, да перестань ты высчитывать — с излишней горячностью воскликнул Малыш. — У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Но я же сказал тебе, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся.

Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с Малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболий мех, в который Малыш Брэди обрядил свою милашку. По улицам разносились восторженные «ахи» и «охи», и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку Малыша, и возобновили свою непринужденную беседу.

На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из Главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе Дымовой трубы. Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил из предпосылки, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы.

— Что это за волнение там на углу? — спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере.

— Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые Малыш Брэди повесил на свою девчонку, — отвечал юнец. — Говорят, он отвалил за них девятьсот долларов. Шикарная покрывка, ничего не скажешь.

— Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом, — сказал сыщик. — Он ведь больше не вожжается с бандой?

— Ну да, он работает, — подтвердил красный свитер. — Послушайте, приятель, а что, меха — это не по вашей части? Пожалуй, таких зверей, как нацепила на себя его девчонка, не поймает в паяльной мастерской.

Рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул Малыша за локоть.

— На два слова, Брэди, — сказал он спокойно. Взгляд его скользнул по длинному пушистому боа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо Малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону.

— Ты был вчера у миссис Хезкоут на Западной Семьдесят второй? Чинил водопровод?

— Был, — сказал Малыш. — А что?

— Гарнитур из русских соболей, стоимостью в тысячу долларов, исчез отсюда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку.

— Поди ты... поди ты к черту, — запальчиво сказал Малыш. — Ты знаешь, Рэнсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...

Малыш внезапно умолк, не закончив фразы.

— Я знаю, ты честно работал последнее время, — сказал Рэнсом. — Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдём вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди.

— Пошли, — сердито сказал Малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли.

— Ни к чему все это, — сказал он угрюмо. — Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если б даже цена им была миллион долларов, все равно они недостаточно хороши для тебя.

Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав Малыша.

— О Малыш, Малыш, ты разбил мое сердце! — простонала она. — Я так гордилась тобой... А теперь они упекут тебя — и конец нашему счастью!

— Ступай домой! — вне себя крикнул Малыш. — Идем, Рэнсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь! Нет, постой, ей-богу, я... К черту, пусть меня лучше повесят... Беги домой, Молли. Пошли, Рэнсом.

Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Кона, направляющегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Кон подошел, и Рэнсом объяснил ему положение вещей.

— Да, да, — сказал Кон. — Я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел?

Кон приподнял на ладони конец собольего боа — бывшей собственности Молли Мак-Кивер — и внимательно на него поглядел.

— Когда-то я торговал мехами на Шестой авеню, — сказал он. — Да, конечно, это соболя. С Аляски. Боа стоит двенадцать долларов, а муфта...

Бац! Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на Малыша и с помощью Кона надел на него наручники.

— Это боа стоит двенадцать долларов, а муфта — девять, — упорствовал полицейский. — Что вы тут толкуете про русские соболя?

Малыш опустил на грудь бревен, и лицо его медленно залилось краской.

— Правильно, Царь Соломон! — сказал он, с ненавистью глядя на полицейского. — Я заплатил двадцать один доллар пятьдесят центов за весь гарнитур. Я, Малыш, шикарный парень, презирающий дешевку! Мне легче было бы отсидеть шесть месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да, Молли, я просто-напросто хвастун — русских соболей на мой заработок не купишь.

Молли кинулась ему на шею.

— Не нужно мне никаких денег и никаких соболей! — воскликнула она. — Ничего мне на свете не нужно, кроме моего Малыша! Ах ты, глупый, глупый, безмозглый, хвастливый индюк!

— Сними с него наручники, — сказал Кон сыщику. — На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя — они висели у нее в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией.

Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с Малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи боа, перекинув один конец за спину.

— Пара молодых идиотов, — сказал Кон сыщику. — Пошли отсюда.

Социальный треугольник

Перевод Е. Коротковой

Часы пробили шесть, и Айки Сниглфриц отставил в сторону утюг. Айки был портновским подмастерьем. Неужели и в наше время существуют портновские подмастерья?

Как бы там ни было, Айки трудился весь день напролет в зловонной, жаркой, как парилка, мастерской — резал, сметывал, гладил, латал и чистил губкой. Зато, окончив работу, он воспарял ввысь и витал в облаках в пределах отведенного ему небосвода.

Была суббота, и хозяин нещедрой рукой выложил на ладонь подмастерья двенадцать щедро просаленных долларов. Айки наскоро ополоснул лицо, облачился в пиджак, шляпу, воротничок, затрепанный галстук, украшенный халцедоновой булавкой, и отправился на поиски своих идеалов.

Ибо каждому из нас по завершении дневных трудов надлежит устремиться в погоню за идеалом, будь то любовь, или карты, или омар по-ньюбургски, или сладкое безмолвие пыльных книжных полок.

Поглядите на Айки, как он семенит под грохочущей надземкой между двумя рядами пропахших потом мастерских. Бледный, сутулый, невзрачный, жалкий, обреченный на вечную духовную и телесную нищету, он помахивает дешевой тросточкой и дымит вонючей папиросой, всем своим видом намекая, что и в его чахлой груди жива бацилла светскости.

Ноги Айки доставили его к порогу, а затем и переправили через порог прославленного увеселительного заведения, известного под названием кафе Мажини — прославленного благодаря частым посещениям Билли Мак-Мэхана, великого человека, самого замечательного, по мнению Айки, из всех, кто когда-либо рождался на свет.

Билли Мак-Мэхан был местным политическим боссом. «Тигр»⁵⁸ был с ним ласков, как котенок, а жители района считали его источником и даятелем всех благ. В тот миг, когда Айки вошел в кафе, Мак-Мэхан, раскрасневшийся, великолепный, торжествующий, стоял, окруженный шумливой гурьбой своих сподвижников и избирателей. Судя по всему, только что состоялись выборы; была одержана блестящая победа; метла голосования основательно прошлась по городу и навела в нем порядок.

Айки шмыгнул к стойке и, часто задышав, уставился на своего кумира.

Как хорош был Билли Мак-Мэхан — веселое, открытое лицо с гладкой кожей и крупными чертами; острые, как у молодого сокола, серые глаза; брильянтовое кольцо; трубный голос; как царственно он держится, как лихо готов растрясти пухлую пачку денег, как сзывает друзей и товарищей — нет ему равных, он король! Как затмил он всех своих сподвижников, хоть и они ребята видные, и, похоже, серьезные, выбриты до синевы, и лица грозные, а руки держат глубоко в карманах. И все же Билли... нет, бессильны простые слова изобразить его в том ореоле славы, в каком видел его Айки Сниглфриц!

Кафе, как чуткая струна, звенело на мажорной ноте. Одетые в белые куртки буфетчики творили чудеса, манипулируя бутылкой, пробкой и стаканом. Два десятка настоящих гаванских сигар создавали иллюзию облачного неба. Все верные и уповающие пожимали руку Билли. И в полной обожания душе Айки Сниглфрица вдруг созрел безумный план.

Он вступил на пятачок, где пребывал кумир, и протянул ему руку.

Билли Мак-Мэхан без колебаний пожал ее и улыбнулся.

Теряя рассудок по воле задумавших погубить его богов, Айки выхватил свой меч и пошел на штурм Олимпа.

— Выпейте со мной, Билли, — сказал он фамильярно. — Разрешите угостить вас и ваших приятелей.

— Что ж, я не против, старина, — сказал великий босс. — Для чего пустовать бокалам? Тут последние остатки разума покинули Айки.

— Вина! — крикнул он буфетчику, взмахнув трясущейся рукой.

Откупорены три бутылки; шампанское, пенясь, полилось в выстроившиеся длинным рядом на стойке бокалы. Билли Мак-Мэхан поднял свой и с ослепительной улыбкой кивнул Айки. Сподвижники и соратники, буркнув: «Ваше здоровье», подняли свои. В безумии восторга Айки поднял свой кубок нектара. Все выпили.

⁵⁸ «Тигр» — эмблема нью-йоркской организации демократической партии, Тэмени-холла.

Айки, скомкав, швырнул на стойку недельное жалованье.

— Все правильно, — сказал буфетчик, расправляя долларовые бумажки. Толпа опять сомкнулась вокруг Билли Мак-Мэхана. Кто-то рассказывал, как Бранниган обставил их в одиннадцатом участке. Айки постоял немного, прислонившись к стойке, и вышел.

Он побрел по Эстер-стрит, потом по Кристи и свернул на свою Деланси. Дома на него набросилась, требуя денег, семейка: пьянчуга мать и три обшарпанных сестры. Когда он поведал им правду, они яростно взвыли и стали поносить его со всей красочностью местного витийства.

Но, невзирая на удары и щипки, Айки был по-прежнему вне себя от восторга. Он воспарил в облака; достиг невиданных высот. Потеря жалованья и попреки женщин казались сущей безделицей в сравнении с тем, что выпало на его долю.

Он пожал руку Билли Мак-Мэхану

Билли Мак-Мэхан был женат, и на визитных карточках его жены стояло: «Миссис Уильям Дарра Мак-Мэхан». Эти карточки имели одно огорчительное свойство: при всей своей миниатюрности, они не могли проникнуть в некоторые дома. Билли Мак-Мэхан был диктатором в политике, незыблемой твердыней бизнеса, Великим Моголом среди своих, которым он внушал почтение, любовь и трепет. Его богатства множились; дюжина газетных репортеров следила за тем, чтобы ни единая оброненная им крупинка мудрости не пропала для печати; его возвеличивали карикатуристы, изображая, как он держит на сворке укрощенного «Тигра».

Но и у него порой щемило сердце. Существовал общественный круг, куда Билли Мак-Мэхан не был вхож, хотя взирал на него, как Моисей на Землю Обетованную. Подобно Айки Сниглфрицу, и он стремился к идеалам и, случалось, потеряв надежду их достичь, ощущал привкус праха и тлена в своем незыблемом успехе. А на пухлом, хотя и миловидном личике миссис Уильям Дарра Мак-Мэхан запечатлелось выражение недовольства, и шорох ее шелковых юбок походил на вздох.

В ресторане одной знаменитой гостиницы, где Мода охотно демонстрирует свои чары, как всегда, собралось великолепное и блестящее общество. За одним из столиков сидел Билли Мак-Мэхан с женой. Они мало разговаривали, но сопутствующие им аксессуары не нуждались в поручительстве слов. Брильянты миссис Мак-Мэхан были чуть ли не лучшие в зале. Официант носил к их столику самые изысканные вина. Напрасно вы старались бы найти здесь более впечатляющую фигуру, чем Билли, в смокинге, с суровым выражением гладко выбритого властного лица.

За четыре столика от них одиноко сидел высокий худощавый человек лет тридцати с задумчивым меланхолическим взглядом, вандейковской бородкой и тонкими, необычайной белизны руками. Его ужин составляли филе миньон, гренки и аполлинарис. Человек этот был Кортленд Ван Дайкинк, он стоил восемьдесят миллионов и унаследовал почетное место в самой избранной и недоступной общественной касте.

Билли Мак-Мэхан не разговаривал ни с кем из окружающих, потому что никого не знал. Кортленд Ван Дайкинк не поднимал глаз от тарелки, так как знал, что все присутствующие жадно ловят его взгляд. Он мог одним кивком пожаловать престиж и знатность, но остерегался слишком умножать ряды аристократии.

И тут Билли Мак-Мэхан задумал и осуществил самый поразительный и дерзкий шаг в своей жизни. Неторопливо встав, он подошел к столику Кортленда Ван Дайкинка и протянул ему руку.

— Скажите, мистер Ван Дайкинк, — заговорил он. — Правду я слышал, будто вы затеваете какие-то реформы для бедняков в моем районе? Я Мак-Мэхан, тот самый. Так вот слушайте, если и впрямь дойдет до дела, я пособлю вам, чем могу. А мое слово кое-что значит в наших палестинах, верно? Во всяком случае, мне так сдается.

Печальные глаза Ван Дайкинка блеснули. Он встал с места — худой, долговязый — и пожал Билли Мак-Мэхану руку.

— Благодарю вас, мистер Мак-Мэхан, — проговорил он присущим ему искренним

серьезным тоном. — Я действительно намеревался предпринять что-нибудь в этом роде. С удовольствием приму вашу помощь. Рад познакомиться с вами.

Билли вернулся к своему столику. Сладко ныло плечо, по которому, даруя рыцарство, плашмя ударила его мечом рука монарха. Сотни глаз провожали его с завистью и обновленным восхищением. Миссис Уильям Дарра Мак-Мэхан так затрепетала, что блеск ее брильянтов слепил глаза. И тут многие из посетителей неожиданно вспомнили, что имеют удовольствие быть знакомыми с мистером Мак-Мэханом. Его приветствовали улыбками и поклонами. Хмель честолюбия ударил ему в голову. Его покинула сдержанность закаленного в баталиях бойца.

— Вина для той шараги, — приказал он, тыча пальцем. — И вон туда. И трем господчикам под зеленым кустом. Скажите, я их угощаю. Эх, где наша не пропадала! Вина для всех!

Официант рискнул шепнуть, что выполнить такой заказ, быть может, не совсем удобно, памятуя о солидности заведения, где подобные обычаи не в ходу.

— Ладно, — ответил Билли. — Я не пойду против правил. А вот скажите, могу я послать бутылочку моему другу Ван Дайкинку? Тоже нет? Ну что же, зато в моем кафе сегодня будет море разливанное. Каждый, кто туда завернет до двух ночи, пей, сколько влезет.

Билли Мак-Мэхан был счастлив.

Он пожал руку Кортленду Ван Дайкинку.

* * *

Большое бледно-серое авто со сверкающими металлическими частями, медленно продвигаясь среди ручных тележек и мусорных куч Ист-Сайда, выглядело неуместно. Столь же неуместно выглядел, старательно объезжая оборванных шныряющих по мостовой юнцов, Кортленд Ван Дайкинк, его породистые черты, тонкие белые руки. Столь же неуместно выглядела сидящая с ним рядом мисс Констанция Шайлер, ее строгая, неяркая красота.

— Ах, Кортленд, — вздохнула она. — Как прискорбно, что люди вынуждены жить в такой нищете и скудости. И как благородно с твоей стороны думать о них, уделять свое время и деньги для облегчения их участи.

Ван Дайкинк обратил к ней свой сумрачный взгляд.

— Я могу сделать лишь немного, — сказал он печально. — Работа это огромная, по силам лишь всему обществу. Но и действуя в одиночку, кое-чего можно добиться. Взгляни, Констанция! На этой улице я организовал постройку бесплатной столовой, откуда никто не уйдет голодным. А на той вон стоят старые дома, и я добьюсь, что их снесут и выстроят новые на месте этого рассадника пожаров и болезней.

Бледно-серое авто ползло по Деланси. Стайки нечесаных, немых, босоногих детишек при виде его испуганно разбегались. Перед ветхим домом, скособоченным и грязным, автомобиль остановился.

Ван Дайкинк вылез из него, чтобы под наиболее удобным углом обзреть покосившуюся стену. С крылечка этого строения спускался молодой человек, как бы воплотивший в себе всю запущенность, нищету и убожество дома, — бледный, узкогрудый, неприглядный молодой человек с папиросой в зубах.

Повинуясь внезапному порыву, Ван Дайкинк сделал шаг к нему и с жаром схватил руку этого, как казалось ему, живого укора.

— Я хочу узнать вас всех поближе, — сказал он взволнованно. — Я собираюсь вам помочь, чем смогу. Мы подружимся.

Когда авто осторожно поползло дальше, Кортленд Ван Дайкинк ощутил непривычное тепло в груди. В этот миг он был близок к счастью.

Он пожал руку Айки Сниглфрицу.

Алое платье

Перевод В. Азова

Алый цвет сейчас в ходу. Вы замечаете это на улице. Конечно, другие цвета тоже не менее модны. Я на днях видел премиленькую дамочку: оливково-зеленый альбатрос, юбка с тройной оборкой, с инкрустациями в виде квадратиков из шелка, кружевное фишко над фигаро, рукава с двойными буфами, перетянутыми ленточками и образующими внизу два шу. Но все-таки встречается много алых платьев. Попробуйте пройтись вечером по Двадцать Третьей улице.

Поэтому Мейда — девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, служащая в универсальном магазине «Улей», — сказала Грес, девушке с брошкой из самоцветных камней и с запахом мятных лепешек в разговоре:

— У меня будет алое платье, алое платье от портного ко Дню благодарения.

— Ах, вот как! — сказала Грес и убрала перчатки $7\frac{1}{2}$ в коробку $6\frac{3}{4}$. — Ну, я предпочитаю красный цвет. На Пятой авеню видишь больше красного. И мужчины, по-видимому, любят больше красное.

— Мне больше нравится алый цвет, — сказала Мейда. — И старый Шлегель обещал сделать мне платье за восемь долларов. Оно будет премиленькое. У меня будет плиссированная юбка, а на жакетке — отделка: галун, белый суконный, и воротничок с двумя рядами...

— Ну и штучка же ты! — сказала Грес, с особенной манерой прищуривая глаза.

— ...с двумя рядами сутажа над плиссированной белой жилеткой, баска складками и...

— Хитрая штучка! — повторила Грес.

— ...рукава буф «gigot», перетянутые у манжет бархатными ленточками. А что ты хочешь этим сказать?

— Ты думаешь, что мистер Рамзай любит алый цвет? Я слышала, как он вчера говорил, что находит темные оттенки красного очень эффектными.

— Мне все равно, — сказала Мейда. — Я предпочитаю алый цвет, а те, которым он не нравится, могут перейти на другую сторону улицы.

Это замечание Мейды наводит на размышления: в конце концов, поклонники алого цвета могут испытать разочарование. Опасность близка, когда девушка воображает, что она может носить алый цвет независимо от своего цвета лица и чужих убеждений, и когда императоры думают, что их алые мантии без износа.

Мейда скопила благодаря восьмимесячной экономии восемнадцать долларов. Из этих денег она купила материал для алого платья и заплатила Шлегелю четыре доллара вперед за работу. Накануне Дня благодарения у нее будет как раз достаточно денег, чтобы заплатить оставшиеся четыре доллара. И тогда она в праздник — в новом платье. Может ли земля предложить девушке что-либо более восхитительное?

Старый Бахман, владелец универсального «Улья», ежегодно в День благодарения угощал своих служащих обедом. А потом в каждый из последующих трехсот шестидесяти четырех дней, исключая воскресенья, он имел обыкновение напоминать им о радостях минувшего банкета и о надеждах на грядущие, побуждая их этим относиться к работе с усиленным энтузиазмом. Обед сервировали в самом магазине, на одном из длинных средних столов. Окна на улицу завешивались оберточной бумагой, а индюшка и другие вкусные вещи приносились через черный ход из ресторана на углу. Отсюда вы можете заключить, что «Улей» не был шикарным универсальным магазином с лифтами и прочими усовершенствованиями. Вы могли войти в него сразу, получить что нужно и благополучно выйти. На «благодарственных» обедах мистер Рамзай всегда...

Ах, батюшки! Прежде всего я должен был упомянуть о мистере Рамзае. Он куда значительнее алого или зеленого цвета и даже красного брусничного салата.

Мистер Рамзай был старшим приказчиком, и, поскольку это вообще касается меня, я ему

симпатизирую. Он никогда не щипал девушек за руку при встрече с ними в темных уголках магазина. И когда он в часы застоя торговли рассказывал им разные истории и девушки хихикали и восклицали: «ах! фу!» — дело было не в фривольностях. Он был настоящим джентльменом, но в других отношениях отличался оригинальными причудами. Он был помешан на здоровье и считал, что люди никогда не должны есть то, что им нравится.

Он резко восставал против всяких удобств и возмущался, когда люди спешили укрыться под крышей от снежной вьюги, или носили галоши, или принимали лекарства, или так или иначе холили себя. Каждая из десяти продавщиц видела каждую ночь в своих сонных грезах — свиные котлеты с жареным луком, — что она стала миссис Рамзай. Ведь в будущем году старый Бахман сделает его своим компаньоном. И каждая из них отлично знала, что, если ей удастся его поймать, она вышибет из него его манию здоровья самым радикальным образом и даже раньше, чем у него пройдет несварение желудка, вызванное свадебным тортом.

Мистер Рамзай был церемониймейстером на этих обедах. Два итальянских музыканта играли обыкновенно на скрипке и на арфе, и после обеда в магазине устраивались танцы.

Два платья были задуманы, чтобы околдовать Рамзая: одно алое, другое красное. Конечно, остальные девушки также будут на обеде в платьях, но они в счет не шли. Они, по всей вероятности, наденут какие-нибудь белые блузки с черными юбками; куда же им равняться с ослепительными алым и красным? Грес также накопила деньжонок. Она решила купить платье готовое. Какой смысл возиться с портными, когда обладаешь такой хорошей фигурой? Готовое и предназначается для идеальной фигуры — только чуть-чуть ушить в талии. Эти средние размеры отличаются ужас какой широкой талией.

Наступил вечер, канун Дня благодарения. Мейда спешила домой, бодрая и счастливая в ожидании благословенного завтра. Ее мысли были алого цвета: она была полна счастливого энтузиазма молодости к удовольствиям: юность должна иметь удовольствия, если она не хочет зачахнуть. Она знала, что алый цвет будет ей к лицу и в тысячный раз старалась убедить себя, что мистеру Рамзаю нравится именно алый, а не красный цвет. Она сначала зайдет домой, чтобы взять четыре доллара, завернутые в папиросную бумагу и спрятанные в последнем ящике комода, а потом снесет деньги Шлегелю и сама возьмет свое платье домой.

Грес жила в том же доме. Она занимала комнату над Мейдой. Дома Мейда застала гвалт и сумятицу. Хозяйка в передней злобно вертела языком, словно сбивала им масло в маслобойке. Затем Грес зашла к ней в комнату с глазами, красными, что твое красное платье.

— Она говорит, чтоб я убиралась вон! — сказала Грес. — Старая скотина! Потому, что я задолжала ей четыре доллара, она выставила мой сундук в переднюю и заперла дверь на ключ. Мне некуда идти. У меня нет ни одного цента...

— У тебя вчера были деньги! — сказала Мейда.

— Я купила на них мое платье, — сказала Грес. — Я думала, что оно подождет с квартирной платой до будущей недели.

Всхлипывание — рыдание, рыдание — всхлипывание. Ничего не поделаешь: Мейдиным четырем долларам пришлось появиться на свет.

— Прелесть моя ненаглядная! — воскликнула Грес, превратившаяся из солнечного заката в радугу. — Я сейчас заплачу этой подлой старой ведьме, а потом примерю свое платье. По-моему, оно божественное. Поднимись ко мне и посмотри. Я выплачу тебе эти деньги по доллару в неделю, — честное слово.

День благодарения.

Обед был назначен в полдень. Без четверти двенадцать Грес проскользнула в комнату Мейды. Да, она выглядела очаровательной. Красный цвет был словно создан для нее. Мейда сидела у окна в старой шевиотовой юбке и в голубой блузке, штопая свой чул... виноват, занимаясь изящным дамским рукоделием.

— Ты еще не одета? — взвизгнула девица в красном. — А что, на спине хорошо у меня сидит, посмотри-ка? Ты не находишь, что эти бархатные вставки здорово шикарны? Почему ты до сих пор не одета, Мейда?

— Мое алое платье не поспело, — сказала Мейда. — Я не пойду на обед.

— Вот ужас-то! Мне страшно жаль тебя, Мейда. Надень что-нибудь другое и пойдя. Ведь будут только наши магазинные: они не осудят.

— Я мечтала об алом платье, — сказала Мейда. — Раз у меня его нет, я лучше совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги скорее, а то опоздаешь. Ты ужасно интересна в красном.

Мейда просидела у окна добрую часть дня. Обед в магазине уже прошел. Она мысленно слышала крики девушек, вырывающих друг у дружки косточку «бери да помни», слышала, как грохотал старый Бахман над своими собственными глубоко туманными островами; она видела бриллианты на жирной миссис Бахман, появлявшейся в магазине только в День благодарения, она видела мистера Рамзая. Он, конечно, был все время на ногах, ловкий, проворный, внимательный, и старался, чтобы всем было хорошо.

В четыре часа дня Мейда с лицом, лишенным выражения, и с безжизненным видом медленно дошла до Шлегеля и сказала ему, что не может уплатить ему четыре доллара, которые она должна ему за платье.

— Donnerwetter! — сердито воскликнул Шлегель. — Отчего это у вас такой унылый вид? Заберите ваше платье. Оно готово. Когда-нибудь заплатите. Разве я не вижу, как вы проходите мимо моего магазина каждый день уже два года? Оттого, что я шью платья, я не должен понимать людей? Вы мне потом заплатите, когда сможете. Забирайте платье. Оно мне очень удалось. Вы будете в нем очень хорошенькой. Да. Заплатите, когда сможете...

Мейда прошептала миллионную часть благодарности, наполнявшей ее сердце, и убежала со своим платьем. Когда она выходила из магазина, хлесткая струя дождя ударила ее по лицу. Она улыбнулась, не почувствовав этого.

О, вы, дамы, разъезжающие за покупками в экипажах, вы ее не поймете. Девушки, гардероб которых заполняется за счет вашего папаши, вам тоже не понять, почему Мейда не почувствовала холодной струи благодарственного дождя.

В пять часов она вышла на улицу в своем алом платье. Дождь усилился и поливал ее непрерывным потоком, подгоняемым ветром. Люди спешили домой или в трамвай, закрывшись зонтиками и плотно застегнув макинтоши. Многие удивленно оборачивались на красивую, спокойную девушку со счастливыми глазами, которая шла в алом платье среди бури, словно прогуливалась в саду под летними небесами. Я уже сказал, что вам не понять ее, дамы с туго набитыми кошельками и гардеробными шкапами; вы не знаете, что значит жить в постоянной тоске по красивым вещам и недоедать в течение восьми месяцев, чтобы свести воедино алое платье и праздничный день. Что ей теперь до дождя, града, вихря, снега, циклона?

У Мейды не было ни зонтика, ни галош. На ней было только алое платье, и она шла в нем по улице. Пускай стихия разыгрывается вовсю. Изголодавшееся сердце должно получить хоть одну крупичку за год. Дождь лил на нее и стекал с ее пальцев.

Какой-то мужчина показался из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла глаза и встретила взгляд мистера Рамзая, сверкавший восхищением и сочувствием.

— О мисс Мейда! — сказал он. — Вы положительно великолепны в вашем новом платье. Я был ужасно разочарован, не видя вас за обедом. Из всех девушек, которых я знаю, вы проявляете больше всего здравого смысла и разума. Ничего не может быть полезнее для здоровья и ничто так не укрепляет дух, как ваша манера бравировать погодой... Разрешите мне пройтись с вами?

Мейда покраснела и чихнула.

Иностранная политика 99-й пожарной команды

Перевод под ред. В. Азова

Джон Бирнс, возница в 99-й пожарной команде, был одержим недугом, который его товарищи называли японитом.

У Бирнса, во втором этаже пожарного депо, всегда лежала развернутая на столе карта

военных действий, и в любой час дня или ночи он готов был объяснить вам точное расположение, состояние и намерения русской и японской армий. Карта его была утыкана пучками булавок, которые изображали враждующие стороны, и он перемещал их изо дня в день в соответствии с военными известиями в газетах.

Каждый раз, когда японцы одерживали победу, Джон Бирнс переставлял соответствующим образом булавки, а затем исполнял бурно-восторженный военный танец; его товарищи пожарные слышали его возгласы: «Здорово! Вот это так здорово! Ах вы, чертенята, обезьяны морские бесхвостые — вот молодчаги-то! Карлики, черти кривоногие, морды собачьи! Ну, жарьте, жарьте на прованском: будете скоро лопать рис в самом Петербурге».

Даже на прекрасном острове Ниппоне вряд ли нашелся бы более ревностный поклонник японского оружия. Сторонникам русских не рекомендовалось показываться в пределах пожарного депо № 99.

Но иногда все мысли о японцах испарялись из головы Джона Бирнса. Это бывало тогда, когда раздавался пожарный сигнал, и он взбирался на свое высокое качающееся сиденье на повозке с пожарным рукавом, чтобы править Эребом и Джо, самой лучшей запряжкой во всем пожарном департаменте, по убеждению 99-й команды.

Из всех существующих кодексов, принятых людьми для урегулирования их отношений к своим ближним, величайшими следует признать: кодекс рыцарей Круглого Стола, сподвижников короля Артура, конституцию Соединенных Штатов и неизданные правила нью-йоркского пожарного департамента.

Приемы рыцарей Круглого Стола стали теперь неприменимы. Их отменило изобретение трамваев и процессов о нарушении обещания жениться; а нашу конституцию с каждым днем начинают считать все более и более антиконституционной. Таким образом, преимущество приходится отдать кодексу наших пожарных.

Пароход из Европы выбросил на эмигрантскую пристань на острове Эллисе кусок первичной материи, в надежде, что из него вылупится со временем американский гражданин. Служащий столкнул его со сходней; доктор накинудся на его глаза, как ворон, отыскивая трахому или офтальмию. Его вышвырнули на берег и выбросили в город Свободы. Теоретически, может быть, все это проделывалось над ним, чтобы сделать ему прививку против монархизма каплей его собственного яда.

Подкожное вспрыскивание европеизма благополучно потекло по венам великого города. Широкая, счастливая, ребяческая улыбка не сходила с его лица. Его не отягощали ни багаж, ни заботы, ни честолюбивые замыслы. Его тело было ладно скроено и одето в какой-то экзотический халат или кафтан. Блаженно-бессмысленное лицо его, с маленьким плоским носом, почти заросло густой, лохматой, вьющейся бородой, похожей на шерсть болонки. В карманах этого привозного продукта было несколько чужестранных монеток — динариев, скудо, копеек, пфеннигов, пиастров. Кто его знает, какая финансовая номенклатура была в его неведомой стране?

Болтая сам с собою, все время улыбаясь во всю ширь своего лица, радуясь шуму и движению варварского города, куда его забросил дешевый пароходный тариф, чужеземец забрел, удаляясь все время от ненавистного ему моря, в район 99-й пожарной команды.

Легкий, как пробка, он плыл, качаясь на волнах человеческого прилива, — невиннейший атом в потоке тины, который вливался в резервуар Свободы.

Пересекая Третью авеню, он замедлил шаги, восхищенный грохотом воздушной железной дороги над его головой и успокоительным стуком экипажных колес по булыжнику. И вдруг — новая, восхитительная струна прозвучала в этом оркестре, — музыкальное бряцание гонга. Откуда ни возмись появилась огромная, изрыгающая пламя и дым колесница, — и толпа кинулась смотреть на нее.

Это прекрасное, чарующее взор явление быстро промелькнуло, и эмигрант из протоплазмы последовал за ним, все с той же широкой, восхищенной, бессмысленной улыбкой. И, следуя за ним, он подвернулся под колеса мчавшейся вслед повозки с пожарным

насосом, на которой Джон Бирнс натягивал стальными мускулами вожжи над ныряющими крупами Эреба и Джо.

Неизданный кодекс пожарной конституции не знает исключений и поправок. Это простой закон, такой же ясный, как тройное правило. Даны — неосторожная человеческая единица поперек дороги, пожарная повозка с рукавом и железный столб воздушной железной дороги.

Джон Бирнс приналег всей своей тяжестью и всей силой своих мускулов на левую вожжу. Запряжка и повозка метнулись в эту сторону и ударились, как подводная мина, о железный столб. Люди на повозке разлетелись во все стороны, как кегли; сиденье возницы сломалось; столб устоял против удара, а Джон Бирнс очутился на земле со сломанным плечом на расстоянии двадцати футов, в то время как Эреб, черный как вороново крыло, красавец Эреб, общий любимец, лежал и бился в своей сбруе со сломанной ногой.

Из уважения к чувствам 99-й пожарной команды я только слегка коснусь подробностей. Команда не любит, когда вспоминают этот день. Собралась огромная толпа, были даны сигналы; и в то время, как карета скорой помощи расчищала себе дорогу, пожарные 99-й команды слышали револьверный выстрел и отвернулись, не решаясь взглянуть на Эреба, над которым нагнулся полисмен.

Когда пожарные вернулись в депо, они заметили, что один из них приволок с собой за ворот виновника постигшего их несчастья. Они поставили его посреди зала и угрюмо собрались вокруг него.

Виновник катастрофы с большим жаром объяснял что-то и размахивал руками.

— Черт его знает, что он лопочет, — с отвращением сказал Даулинг. — Шипит, словно сода с кислотой. Тьфу! Тошнит меня.

— И это называется человеком! Наш Эреб стоил целого парохода, набитого такими двуногими животными. Эмигрант это, вот это что.

— Посмотрите на карантинный знак мелом на его одежде, — сказал Рейли из канцелярии. — Он только что высадился. Это, должно быть, какой-нибудь даго,⁵⁹ или гунн, или из этих, как их там, финнов, что ли. Вот каким товаром награждает нас Европа.

— Нет, подумайте только! Чтобы из-за подобного существа Джон очутился в больнице и погибла лучшая пожарная запряжка во всем городе! — застонал другой пожарный. — Его следовало бы свести на пристань и утопить.

— Сходите кто-нибудь за Словиским, — предложил возница паровой машины, — надо все-таки узнать, на какую нацию падает ответственность за это соединение волос и шипящих звуков.

Словиский держал закусочную за углом на Третьей авеню и славился как языковед. Один из пожарных привел его, угодливого толстяка с наблюдательным взглядом и разнородными гастрономическими запахами.

— Словиский, попробуй-ка на язык этот привозной продукт, — попросил Майк Даулинг. — Мы никак не можем понять, откуда он — из Неметчины или из Гонконга на Ганге.

Словиский последовательно обратился к чужеземцу на нескольких диалектах; они отличались один от другого по ритму и по каденции; он начал со звуков, похожих на те, которые производит полоскание горла при ангине, и кончил наречием, вполне напоминающим открывание жестяной банки с томатом при помощи ножниц. Эмигрант отвечал звуками, напоминающими откупоривание бутылки с имбирным пивом.

— Я узнал его имя, — доложил Словиский, — вам его все равно не выговорить. Лучше я напишу его на листке бумаги.

Ему дали лист бумаги, и он написал: «Димитри Свангвск».

— Похоже на какую-то стенографию, — сказал Рейли из канцелярии.

⁵⁹ Презрительная кличка для испанцев, итальянцев, португальцев и всех вообще народов латинского племени, кроме французов.

— Он говорит на каком-то жаргоне, — продолжал переводчик, вытирая себе лоб. — Это смесь австрийского с некоторой долей турецкого. Попадают еще венгерские слова, немного польских и много похожих на румынские, но без примеси наречия, на котором говорит одно племя в Бессарабии. Я его не совсем понимаю.

— Что же он, по-твоему, все-таки, даго или полячишка, или что? — спросил Майк.

— Он, — ответил Словиский, — он... я думаю — он из... я думаю, что он дурак, — закончил он, недовольный своей лингвистической неудачей. — Извините меня, но я должен вернуться в мой магазин.

— Так мы и не узнали, что это за птица, — сказал Майк Даулинг. — Но все равно вы сейчас увидите, как она полетит.

Взяв иноземную птицу, залетевшую в гнездо свободы, за крыло, Майк потащил ее к дверям пожарного депо и дал ей пинка ногой; это был пинок достаточно прочувствованный, чтобы выразить в нем всю злобу 99-й пожарной команды. Димитри Свангвск побежал по панели, но один раз оглянулся, чтобы показать огорченным пожарным свою неискоренимую улыбку.

Джон Бирнс вышел из больницы через три недели и вернулся к своему посту. С большим смаком он занялся приведением своей карты военных действий в соответствие с данными минуты.

— Держу все время за японцев, — объявил он. — Вы только посмотрите на этих русских; это волки. Их надо истребить. Будьте благонадежны, эти чертенята япончики выметут их, как помелом. Молодцы эти джиу-джитчики, ей-ей! Помяните мое слово.

На другой день по возвращении Бирнса в пожарное депо пожаловал неразоблаченный Димитри Свангвск Он ухмылялся еще шире, чем всегда. Ему удалось дать понять, что он желает поздравить возницу с повозки с рукавом с выздоровлением и выразить свое сожаление, что он был виновником несчастного случая. Он выразил это с такими необычайными жестами и в таких странных звуках, что команда полчаса веселилась. Затем его снова вытолкали, а на другой день он пришел опять и опять улыбался. Как и где он жил, никому не было известно. Девятилетний сын Джона Бирнса, принеший из дому лакомства для выздоравливающего, прельстился чужеземцем, и последнему позволили иногда безопасно околачиваться у входа в пожарное депо.

Однажды днем большой коричневый автомобиль из главного управления пожарного департамента остановился жужжа у входа в здание 99-й команды, и из него вылезло начальствующее лицо для производства ревизии. Пожарные вышвырнули чужеземца, причем на этот раз пинок был более внушительным, чем обыкновенно, и торжественно провели начальника по всему зданию 99-й команды; все блестело там, как зеркало.

Начальник сочувственно отнесся к огорчению команды по поводу гибели Эреба и обещал доставить для Джо сотоварища, который в грязь лицом не ударит. Джо вывели из конюшни; пусть начальник сам увидит, что Джо заслуживает самой лучшей пары, какую только можно найти во всем лошадином царстве.

Пока пожарные столпились, разглагольствуя, вокруг Джо, Крис залез в автомобиль пожарного департамента и, нажав стартер, пустил его полным ходом. Пожарные услышали пыхтение чудовища и крик мальчика и кинулись на помощь, — но поздно! Громадный автомобиль помчался, — к счастью, посередине улицы. Мальчик ничего не понимал в его механизме; он сидел, уцепившись за подушки, и ревел.

Никто не мог остановить автомобиль, кроме кирпичной стены, но Крис от такой остановки ничего бы не выиграл.

Димитри Свангвск только что вернулся, ухмыляясь, за получением нового пинка, когда Крис сыграл свою забавную шутку. Когда другие, услышав крик ребенка, бросились к дверям, Свангвск бросился на Джо. Он вполз на голую спину коня, как змея, и закричал ему в ухо что-то, напоминавшее свист дюжины хлыстов. Один из пожарных впоследствии клялся, что Джо ответил ему на том же языке. Через десять секунд после того, как автомобиль умчался, огромный конь уже глотал по его следам асфальт, как макаронину.

Несколько человек, в двух с половиной кварталах от пожарного депо, видели, как произошло спасение мальчика. Они передавали, что никакого автомобиля они не видели; видели они только коричневый шум, а посередине его, вместо Криса, черную точку. Вдруг огромный дом с лежащей на нем ящерицей поравнялся с шумом; ящерица перегнулась, ухватила черное пятно и вытащила его из коричневого шума.

Через пятнадцать минут после последнего пинка, полученного иностранцем из рук, или, вернее, от ног 99-й пожарной команды, он въехал на Джо в ворота вместе с мальчиком, спасенным, но подавленным тяжелым сознанием ожидающей его трепки.

Свангвск соскользнул на землю, прислонился головой к морде Джо и издал звук, похожий на куриное кудахтанье. Джо кивнул головой и громко фыркнул через ноздри; Словиский из закуской был посрамлен. Джон Бирнс подошел к иностранцу; чужеземец ухмылялся и ожидал очередного пинка. Бирнс так крепко пожал ему руку, что тот на всякий случай ухмыльнулся, но принял это за новый способ наказания.

— Этот язычник ездит верхом, как казак, — заметил один из пожарных, видевший в цирке ковбоев и индейцев, — это лучшие наездники в мире.

Это слово будто наэлектризовало чужеземца. Он ухмыльнулся еще шире, чем всегда.

— Казак... казак, — бормотал он, ударяя себя в грудь.

— Казак? — задумчиво повторил Джон Бирнс. — Это, кажется, что-то вроде русского?

— Да, это одно из русских племен, — сказал Рейли из канцелярии, который почитывал, в промежутках между пожарными тревогами, книги.

Как раз в эту минуту олдермен Фоул, возвращаясь домой и ничего не зная о происшествии с автомобилем, остановился в дверях пожарного депо и закричал Бирнсу:

— Алло, Джимми! Ну, как война? Японцы все накладывают русским медведям? А?

— О! Не знаю, — сказал Джон Бирнс раздумчиво. — Японцы еще настоящего-то не видали. Подожди-ка, задаст им Куропаткин здоровую трепку, так небось подождут хвосты, как пуделя.

Утерянный рецепт

Перевод под ред. В. Азова

Кон Лэнтри работал на трезвой стороне бара в кафе Кинели. Мы с вами стояли на одной ноге, как гуси, перед стойкой на противоположной стороне и добровольно растворяли наше недельное жалованье. Кон гарцевал напротив, аккуратный, воздержный, с ясной головой, вежливый, в белой куртке, точный, достойный доверия, молодой, ответственный, и забирал наши деньги. Салун Кинели находился на одной из маленьких площадей, которые только тем отличаются от улиц, что они прямоугольны, и которые населены преимущественно прачечными, разорившимися аристократами и богемой, не имеющей ничего общего с первыми.

Над кафе жили Кинели и его семья. У его дочери Катрины глаза были темно-ирландского цв... Но зачем вам это знать? Довольно с вас вашей Джеральдины или Элизы Анн. Ибо Катриной грезил Кон, и, когда она спускалась вниз по черной лестнице и мягким голосом просила кувшин пива к обеду, его сердце поднималось и опускалось, как молочный пунш в сбивалке. Законы любви непреложны. Вы бросаете на стойку ваш последний шиллинг за виски, а бармен возьмет его и женится на дочери своего хозяина, и это поведет к счастливому концу.

Но не так обстояло дело с Коном. Ибо в присутствии женщин он становился немым и пунцовым. Кон, умевший усмирить взглядом шумного юношу, разошедшегося под влиянием пунша из красного вина, свалить выжималкой для лимона нахала или выставить за дверь скандалиста, даже не помяв своего белого галстука, — этот самый Кон стоял перед женщиной безгласный, заплетающийся, заикающийся, погребенный под горячей лавиной робости и смущения. Чем же он мог быть в присутствии Катрины? Тварью дрожащей, беззащитнейшим

из земных творений, самым немым из всех влюбленных, когда-либо лепетавших о погоде в присутствии своего божества.

Однажды к Кинели явились двое загорелых людей, Рили и Мак-Кирк. У них произошло совещание с Кинели, а потом они заняли одну из задних комнат в его квартире и заполнили ее бутылками, сифонами, кувшинами и аптечными измерительными стаканами. Все приспособления и напитки для салуна были здесь налицо, но они не продавали никаких напитков. Оба они целыми днями корпели в комнате, смешивая жидкости из бутылок и кувшинов в неведомые составы и растворы. Рили был образованнее и производил расчеты на листах бумаги, переводя галлоны в унции; Мак-Кирк, угрюмый человек с красными глазами, выливал все неудавшиеся смеси в помойное ведро с тихими, хриплыми и глубокими проклятиями. Они работали усердно и неутомимо, добываясь какого-то таинственного состава, как два алхимика, стремящиеся добыть из элементов золото.

Однажды вечером Кон, окончив дежурство, проник в эту комнату. Его профессиональное любопытство было задето этими таинственными барменами, устроившими бар, в котором никто не пил, и каждый день опустошавшими погреб Кинели, чтобы продолжать свои убыточные и бесполезные опыты.

С черной лестницы спустилась Катрина, с улыбкой, словно восход солнца над заливом.

— Добрый вечер, мистер Лэнтри, — сказала она. — Что новенького слышно?

— По... похоже на д... дождь, — пробормотал робкий малый, прижимаясь к стене.

— Очень кстати, — сказала Катрина. — Немножко воды никогда не может повредить.

В задней комнате Рили и Мак-Кирк трудились, как бородатые ведьмы, над своими странными смесями. Они слили в большой стеклянный сосуд напитки из пятидесяти различных бутылок, взяв из каждой количество согласно вычислениям Рили, и теперь взбалтывали все это вместе. Затем Мак-Кирк выльет всю бурду с мрачным кощунством в помойку, и они начнут сначала.

— Присядьте, — сказал Кону Рили. — Я вам скажу, в чем дело. Прошлым летом мы с Тимом решили, что открыть американский бар в Никарагуа будет выгодным делом. Там есть город на берегу, в котором нечего жрать, кроме хинина, и нечего пить, кроме рома. Туземцы и иностранцы ложатся спать с простудой и просыпаются с горячкой. Хорошая американская смесь — лучшее природное средство для таких тропических недугов. Мы приобрели в Нью-Йорке изрядную партию питейных товаров, все оборудование для бара и стекло и отправились на пароходе в эту самую Санта-Пальму. Дорогой мы с Тимом смотрели летающих рыб, играли с капитаном и слугой в «семь сбоку» и вообще считали уже себя королями виски-сода на тропике Козерога. Когда мы находились в пяти часах хода от страны, в которой мы собирались проповедовать запой и опохмеление, капитан позвал нас вдруг на мостик. Он что-то вспомнил.

— Я забыл предупредить вас, ребята, — говорит он, — что в Никарагуа с прошлого месяца установлена новая ввозная пошлина: сорок восемь процентов *ad valorem* со всех товаров в закупоренных бутылках. Дело вышло из-за того, что ихний президент принял по ошибке средство для укрепления волос из Цинцинати за соевый соус к бифштексу, и оно подействовало. Напитки в бочках свободны от пошлин.

— Жаль, что вы раньше не сообщили нам об этом, — сказали мы.

Что было делать? Мы купили у капитана две бочки, вместимостью по сорок два галлона, раскупорили все бутылки и вылили содержимое их в эти бочки. Эти сорок восемь процентов нас разорили бы. Мы и решили попытать счастья и сделать лучше на тысячу двести долларов коктейль, чем побросать за борт все бутылки. По приезде мы открыли одну из бочек. Смесь оказалась душераздирающей. Цветом она напоминала гороховый суп, а вкусом — один из этих кофейных суррогатов, которые вам дает ваша тетья, когда вы продуетесь и жалуется на сердце. Мы дали одному негру попробовать рюмочку, так он лежал три дня под кокосовой пальмой, колотил пятками по песку и даже отказался подписать благодарственный отзыв.

Зато другая бочка... Скажите, бармен, приходилось вам когда-нибудь надеть соломенную шляпу с желтой лентой и подняться на воздушном шаре с хорошенькой девушкой, имея при этом в кармане восемь миллионов долларов на мелкие расходы? Вы бы

испытали нечто подобное, выпив тридцать капель этой смеси. Проглотив полрюмки, вы просто закрыли бы лицо руками, и плакали бы, и обливались бы слезами, и кричали бы, что несчастный вы человек, потому что некому дать по морде в этом мире, кроме паршивого какого-то Джима Джеффри. Да, сэр, смесь во второй бочке оказалась дистиллированным эликсиром борьбы, богатства и высокого полета. Цвета она была как золото, прозрачная как стекло, и сияла она, после захода солнца, словно солнце село в нее. Тысяча лет пройдет, пока вы снова получите такой напиток в баре.

Итак, мы начали дело с одним лишь сортом напитка, и этого оказалось достаточно. Разноцветная аристократия этой страны прилипла к нему, как пчелы к меду. Если бы наша бочка не иссякла, эта страна стала бы величайшей на земле. Когда мы открывали утром торговлю, у дверей стояла очередь длиной в целый квартал, состоявшая из генералов, полковников, экс-президентов и революционеров. Мы начали с пятидесяти центов серебром за стаканчик. Последние десять галлонов легко прошли по пять долларов за глоток. Это была замечательная смесь. Она придавала мужчине мужество, честолюбие и энергию для достижений. Выпив полбочки, Никарагуа отказалась от уплаты национального долга, отменила пошлину с папирос и собиралась уже объявить войну Англии и Соединенным Штатам.

Мы случайно открыли этого короля всех спиртных напитков, и будет большое счастье, если мы снова нападём на него. Мы делаем опыты уже десять месяцев. Маленькими дозами мы смешали уже, слава тебе, тетерев, целые бочки всех зловредных специй, известных в кабацкой науке. Мы могли бы заполнить десять баров всеми виски, водками, джинами, наливками, настойками и винами, которые мы с Тимом потратили даром. Подумайте! Такой божественный напиток — и пропал для людей. Это прямо бедствие и потеря денег. Соединенные Штаты, как нация, приветствовали бы такой напиток и платили бы за него.

Все это время Мак-Кирк тщательно вымерял и смешивал небольшие дозы разнородных спиртных напитков, следуя последним предписаниям Рили. Полученная смесь оказалась дрянного пятнисто-шоколадного цвета. Мак-Кирк попробовал ее и вылил с соответствующим эпитетом в помойное ведро.

— Это странная история, даже если это правда, — сказал Кон. — Ну, я пойду ужинать.

— Выпейте чего-нибудь крепенького, — предложил Рили, — у нас имеется все что угодно, кроме утерянной смеси.

— Я не пью, — сказал Кон, — ничего, кроме воды. Я только что встретил мисс Катрину на лестнице. Она сказала верное слово. «Немножко воды, — сказала она, — никогда не может повредить».

Когда Кон ушел, Рили чуть не сбил с ног Мак-Кирка, ударив его по спине.

— Ты слышал? — воскликнул он. — Мы дураки! Шесть дюжин воды аполлинарис, которые были у нас на пароходе, — ты сам их откупорил, — в какую бочку ты влил их, глупая твоя голова?

— Я думаю, — медленно сказал Мак-Кирк, — я влил их во вторую бочку на которой сбоку была приклеена синяя бумажка.

— Эврика! — закричал Рили. — Вот чего нам не доставало! В воде-то и был весь секрет! Все остальное мы сделали правильно. Скорей, ты, чучело! Тащи сюда две бутылки аполлинариса из бара; я сейчас вычислю на бумажке пропорцию.

Час спустя после ужина Кон подходил к кафе Кинели. Так усердные служащие, под влиянием какого-то таинственного притяжения, бывают влекомы в час досуга поближе к месту своей работы.

Полицейская карета стояла у дверей. Трое дюжих полисменов отчасти подсаживали, отчасти вталкивали в нее Рили и Мак-Кирка. Их физиономии были покрыты синяками и кровоподтеками — следами кровавого и жестокого конфликта. Тем не менее они испускали странные крики радости и торжества и направляли на полисменов остатки своего воинственного безумия.

— Начали вдруг драться в своей комнате, — объяснил Кону Кинели. — Все переломали

почти дочиста. Но они хорошие парни: за все заплатят. Хотели изобрести какой-то новый коктейль. Вероятно, завтра утром придут как ни в чем не бывало.

Кон отправился в заднюю комнату, чтобы осмотреть поле битвы. Когда он проходил через коридор, Катрина как раз спускалась с лестницы.

— Еще раз добрый вечер, мистер Лэнтри, — сказала она. — Какие у вас еще новости о погоде?

— Все еще соб... бирается д... дождь... — сказал Кон и проскользнул мимо нее с краской на гладких бледных щеках.

Рили и Мак-Кирк действительно дали великий и дружеский бой. Повсюду валялись разбитые бутылки и стаканы. В комнате стояли алкогольные пары; пол был покрыт лужами спирта.

На столе стоял измерительный стакан в тридцать две унции. На дне его были еще ложки две жидкости — блестящей золотой влаги, которая словно заперла солнечные лучи в своей золотистой глубине. Кон понюхал ее. Попробовал. Выпил.

Когда он проходил опять через коридор, Катрина как раз поднималась по лестнице.

— Ничего новенького, мистеър Лэнтри? — спросила она со своим дразнящим смехом.

Кон поднял ее с пола за талию и удержал в этом положении.

— Последняя новость, — сказал он, — это то, что я вас люблю.

— Отпустите меня, сэр! — закричала она с возмущением... — О, Кон! Где вы набрались наконец храбрости сказать мне это?

Гарлемская трагедия

Перевод Е. Коротковой

Гарлем.

Миссис Финк на минутку зашла к миссис Кэссиди, живущей этажом ниже.

— Красотища, да? — спросила миссис Кэссиди.

Она горделиво повернулась к подруге, чтобы та могла получше разглядеть ее лицо. Обведенный огромным зеленовато-пурпурным синяком глаз заплыл и превратился в узенькую щелку. Расквашенная губа немного кровоточила, на шее с обеих сторон багровели следы пальцев.

— Мой муж никогда бы себе не позволил так поступить со мной, — сказала миссис Финк, скрывая зависть.

— А я не вышла бы за человека, который бы не колотил меня хоть раз в неделю, — объявила миссис Кэссиди. — Ведь не пустое же я место, как-никак жена. Да уж, ту порцию, что он мне вчера вкатил, никак не назовешь гомеопатической дозой. У меня до сих пор искры из глаз сыплются. Зато теперь он до конца недели будет ублажать меня. Эдакий фонарь не обойдется ему дешевле шелковой блузки, а в придачу пусть еще и по театрам меня поводит.

— Ну а я надеюсь, — с напускным самодовольством сказала миссис Финк, — мой муж слишком джентльмен для того, чтобы поднять на меня руку.

— Ой, да брось ты, Мэгги, — засмеялась миссис Кэссиди, прикладывая к синяку примочку из ореховой коры, — твой муженек просто какой-то замороженный или сонный, где уж ему вlepить тебе затрещину. Придет с работы, плюхнется на стул да зашуршит газетой — вот и вся его гимнастика, разве не так?

— Мистер Финк, бесспорно, просматривает по вечерам газеты, — признала, встряхнув головой, миссис Финк. — Но бесспорно и то, что он потехи ради не превращает меня в отбивную котлету — уж чего нет, того нет.

Миссис Кэссиди издала воркующий смешок счастливой и уверенной в себе матроны. С видом Корнелии, указующей на свои украшения,⁶⁰ она отвернула ворот халата, обнажив еще

⁶⁰ Корнелия, мать Гракхов, будучи спрошена, где ее украшения, ответила, указывая на сыновей: «Вот мое

один бережно лелеемый кровоподтек, пунцовый, с оливково-оранжевой каймой, уже почти невидимый, но дорогой как память.

Миссис Финк пришлось капитулировать. Ее настороженный взгляд смягчился, выражая теперь откровенное завистливое восхищение. Они ведь были старые подружки с миссис Кэссиди, вместе работали на картонажной фабрике, пока год назад не вышли замуж и не поселились в этом доме: Финки — наверху, а Мэйм с мужем прямо под ними. Так что с Мэйми ей задаваться не стоило.

— И больно он тебя лупцует? — с интересом спросила миссис Финк.

— Больно ли? — прозвенела восторженная колоратура. — Падал на тебя когда-нибудь кирпичный дом? Точно так, ну, точнехонько так себя чувствуешь, когда тебя выкапывают из-под развалин. Если Джек ударит левой — это уж наверняка два дневных спектакля и новые полуботиночки, ну а правой... тут можно смело запрашивать поездку на Кони-Айленд плюс шесть пар ажурных фильдеперсовых чулок.

— Да за что же он тебя колотит? — расспрашивала миссис Финк, широко раскрыв глаза.

— Вот дурочка, — снисходительно сказала миссис Кэссиди. — Просто спьяну. Это ведь у нас почти всегда случается в субботу вечером.

— А какие ты ему даешь поводы? — не унималась любознательная миссис Финк.

— Здравсьте вам, да разве я ему не жена? Джек придет домой под мухой, а дома его кто встречает? Попробовал бы он только поколотить какую-нибудь другую. Уж я бы ему показала. Иной раз он делает мне выволочку, потому что не поспела с ужином; в другой раз — потому что поспела. Джеку любой повод хорош. Наклюкается, потом вспомнит, что у него есть жена, и спешит домой меня разукрасить. По субботам я уж загодя сдвигаю мебель, чтобы не разбить голову об острые углы, когда он начнет орудовать. Левый свинг у него — просто дух захватывает. Иногда я в нокауте после первого раунда; ну а если мне охота недельку поразвлекаться или обзавестись каким-нибудь новым барахлишком, я встаю и получаю все сполна. Вот как вчера. Джек знает, что я уже месяц мечтаю о шелковой синенькой блузке, а за такую одним синяком, ясное дело, не расквитаешься. Но вот, спорим на мороженое, Мэг, нынче вечером он мне ее притащит.

Миссис Финк погрузилась в задумчивость.

— Мой Мартин, — сказала она, — ни разу меня пальцем не тронул. Но ты верно заметила, Мэйм: кислый он какой-то, из него и словечка не вытянешь. Мы никуда не ходим. Дома от него никакого толку. Он мне, правда, покупает разные вещи, но с таким брюзгливым видом, что пропадает все удовольствие.

Миссис Кэссиди обняла подругу.

— Бедняжка! — сказала она. — Но не может же у каждой женщины быть такой муж, как Джек. Если бы все были такие, то неудачных браков вообще не бывало бы. Всем недовольным женам только одно и нужно: чтобы раз в неделю муж задавал им хорошую таску, а потом расплачивался за нее поцелуями и шоколадными тянучками. Вот тогда бы они сразу ожили. По мне уж если муж — так муж; пьяный — трясина жену, как грушу, трезвый — люби ее, как душу. А который ни того, ни другого не может, мне и даром не нужен!

Миссис Финк вздохнула.

Прихожая и коридор внезапно огласились шумом. Дверь распахнулась: ее толкнул ногой мистер Кэссиди, — руки у него были заняты свертками. Мэйм бросилась ему на шею. Ее неподбитый глаз сверкнул нежностью, как у юной девицы племени маори, когда, очнувшись, она видит перед собой своего вздыхателя, который втащил ее в хижину, оглушив перед этим внезапным ударом.

— Привет, старушка! — гаркнул мистер Кэссиди. Усеяв пол россыпью свертков, он подхватил жену в могучие объятия. — Я принес билеты в цирк, а если ты взломаешь один из этих свертков, ты, пожалуй, найдешь ту шелковую блузку... а, добрый вечер, миссис Финк, не заметил вас сразу. Как поживает старина Март?

— Превосходно, мистер Кэссиди, спасибо, — сказала миссис Финк — Мне пора уходить. Март вот-вот вернется, надо подать ему ужин. Завтра я занесу тебе выкройку, которую ты просила, Мэйм.

Поднявшись в свою квартирку, миссис Финк всплакнула. Она заплакала, сама не зная почему; так плачут только женщины, плачут без особой причины, плачут просто попусту; в каталоге горя эти слезы самые безутешные, хотя просыхают быстрее остальных. Почему Мартин ее никогда не колотит? Он такой же большой и сильный, как Джек Кэссиди. Неужели она ничего не значит для него? Он никогда с ней не бранился: придет, сядет сложа руки и молчит. Зарабатывает он неплохо, но совершенно не ценит того, что придает вкус жизни.

Корабль ее мечты попал в штиль. Капитан курсировал между вареным пудингом с корицей и подвесной койкой. Пусть бы уж отдал концы или хоть изредка задавал команде взбучку. А ей грезилось такое веселое плавание с заходом в каждый порт на островах Услады! Но сейчас — сменим метафору — измотанная тренировочными поединками со спарринг-партнером — она была готова признать себя побежденной, не получив ни царапины. На миг она чуть не возненавидела Мэйм, Мэйм, прикладывающую к синякам и ссадинам бальзам обновок и поцелуев и кочующую по бурному морю жизни с драчливым, грубым и любящим спутником.

Мистер Финк явился в семь, проштемпелеванный печатью домоседства. Вдаль его не тянуло из дома, где все мило, привычно, знакомо. Он был подобен человеку, успевшему вскочить в трамвай, анаконде, проглотившей свою жертву, лежащему камню.

— Вкусно, Март? — спросила миссис Финк, весь свой пыл вложившая в приготовление ужина.

— М-м-м-да, — буркнул мистер Финк.

Поужинав, он углубился в чтение газет. Он сидел в носках, без ботинок

Встань, о новый Данте, и воспой закоулок ада, уготованный для человека, сидящего дома в носках! А вы, мученицы семейных уз и долга, стойко прошедшие сей искус шелковых, нитяных, хлопчатобумажных, шерстяных и фильдеперсовых, неужели отринете вы новую песнь?

Следующий день был Днем Труда.⁶¹

Мистеру Кэссиди и мистеру Финку предстоял круглосуточный отдых. Труд готовился к триумфальному шествию по городу и к прочим забавам.

С утра миссис Финк отнесла миссис Кэссиди выкройку. Мэйм уже надела новую блузку. Даже ее подбитый глаз излучал праздничное сияние. Джек, чье раскаяние обрело практические формы, предложил захватывающую программу Дня, включавшую прогулки в парках, пикники и пиво.

Кипя завистливым негодованием, миссис Финк возвратилась наверх. Счастливица Мэйм, на чью долю так обильно выпадают синяки, за которыми так быстро следует примочка. Но неужели счастье выпало лишь ей одной? Где сказано, что Мартин Финк хуже Джека Кэссиди? Так почему его жене навеки оставаться необласканной и небитой? Мысль, блистательная и дерзкая, внезапно осенила миссис Финк. Она докажет Мэйм, что и другие мужья умеют поработать кулаками и приласкать потом жену не хуже, чем какой-то Джек.

Праздник у Финков ожидался чисто номинальный. На кухне с вечера мокло в лоханках накопленное за полмесяца белье. Мистер Финк сидел в носках, читая газету Так и должен был, по-видимому, пройти День Труда.

Зависть вздымалась в груди миссис Финк и, захлестывая эту зависть, — отчаянная решимость. Если муж не желает ее ударить, если он не желает таким образом подтвердить свое мужское достоинство, свои прерогативы и уважение к семейному очагу, его нужно подтолкнуть к исполнению долга.

Мистер Финк закурил трубку и безмятежно поскреб лодыжку пальцем затянутой в носок

⁶¹ День Труда — первое воскресенье в сентябре, официальный праздник в США.

ноги. Он застыл в рамках семейного уклада, как застывает на корочке пудинга прозрачный жир. Вот так и мыслился ему его монотонный элизиум — обозреть компактно втиснутый в газетные столбцы далекий мир под уютные всплески мыльной воды в лоханках и круговерть приятных запахов, свидетельствующих о том, что завтрак убран со стола, а обед уже близок. Можно назвать немало мыслей, не приходивших ему в голову, но особенно далек он был от мысли поколотить жену.

Миссис Финк отвернула кран с горячей водой и погрузила в пену стиральную доску. Снизу послышался радостный смех миссис Кэссиди. Он прозвучал издевательством, словно Мэйм рисовалась своим счастьем перед обойденной супружескими кулаками подругой. И миссис Финк решила: пора!

Словно фурия, накинулась она на мужа.

— Лодырь несчастный! — крикнула она. — Вожусь, обстирываю тут его, уродину, так что чуть руки не отваливаются, а ему наплевать. Муж ты мне или чурбан бесчувственный?

Мистер Финк, окаменев от изумления, выронил газету. Миссис Финк, боясь, что недостаточно раззадорила мужа и он не рискнет ее ударить, сама подскочила к нему и нанесла сокрушительный удар в челюсть. В этот миг ее охватил прилив столь страстной любви к мужу, какой она давно уже не испытывала. Встань, Мартин Финк, и осуществи свои суверенные права! Ей нужно, ей необходимо было почувствовать тяжесть его кулака... ну, просто чтобы знать, что он ее любит... ну, просто чтобы знать это.

Мистер Финк вскочил — Мэгги живо наградила его еще одним размашистым свингом в челюсть. Потом, закрыв глаза и обмирая от страха и счастья, она ждала, шептала про себя его имя и даже подалась вперед навстречу вожделенному тумаку.

Этажом ниже мистер Кэссиди с пристыженным и смущенным видом запудривал синяк под глазом жены, готовясь к выходу в свет.

Внезапно наверху раздался пронзительный женский голос, затем стук, топот, возня, грохот опрокинутого стула — несомненные признаки семейного конфликта.

— Март и Мэг затеяли поединок? — оживился мистер Кэссиди. — Не знал, что они этим развлекаются. Сбежать, что ли, взглянуть, не нужен ли им секундант?

Один глаз миссис Кэссиди заискрился, как бриллиант чистой воды. Второй блеснул... ну, скажем, как фальшивый.

— О-о... — негромко протянула она с непостижимым для мужа волнением. — Стой-ка, стой-ка... Лучше я сама схожу к ним, Джек.

Она вспорхнула по ступенькам. Едва она вступила в пределы коридора, как из кухни вихрем вылетела миссис Финк.

— Ну что, Мэгги, — восторженным шепотом вскричала миссис Кэссиди. — Он решился?

Миссис Финк, подбежав к подруге, уткнулась ей лицом в плечо и горько разрыдалась.

Миссис Кэссиди нежно отстранила от себя головку Мэгги и заглянула ей в лицо. Распухшее от слез, оно то вспыхивало, то бледнело, но бархатистую, бело-розовую, в меру присыпанную веснушками гладь не расцветила ни синяком, ни царапиной трусливая длань мистера Финка.

— Ну, скажи мне, Мэгги, — взмолилась Мэйм, — или я войду туда и все сама узнаю. Что у вас случилось? Он обидел тебя? Как?

Миссис Финк в отчаянии поникла головой на грудь подруги.

— Не заглядывай ты туда, ради бога, — всхлипнула она. — И не вздумай кому-нибудь проболтаться, слышишь? Он и пальцем меня не тронул... он... господи боже... он там стирает... он стирает белье.

Чья вина?

Перевод под ред. М. Лорие

В качалке у окна сидел рыжий, небритый, неряшливый мужчина. Он только что закурил

трубку и с удовольствием пускал синие клубы дыма. Он снял башмаки и надел выцветшие синие ночные туфли. Сложив пополам вечернюю газету, он с угрюмой жадностью запойного потребителя новостей глотал жирные черные заголовки, предвкушая, как будет запивать их более мелким шрифтом текста.

В соседней комнате женщина готовила ужин. Запахи жареной грудинки и кипящего кофе состязались с крепким духом трубочного табака.

Окно выходило на одну из тех густонаселенных улиц Ист-Сайда, где с наступлением сумерек открывает свой вербовочный пункт Сатана. На улице плясало, бегало, играло множество ребятишек. Одни были в лохмотьях, другие — в чистых белых платьях и с ленточками в косах; одни — дикие и беспокойные, как ястребята, другие — застенчивые и тихие; одни выкрикивали грубые, непристойные слова, другие слушали, замирая от ужаса, но скоро должны были к ним привыкнуть. Толпа детей резвилась в обители Порока. Над этой площадкой для игр всегда реяла большая птица. Юмористы утверждали, что это аист. Но жители Кристи-стрит лучше разбирались в орнитологии: они называли ее коршуном.

К мужчине, читавшему у окна, робко подошла двенадцатилетняя девочка и сказала:

— Папа, поиграй со мной в шашки, если ты не очень устал.

Рыжий, небритый, неряшливый мужчина, сидевший без сапог у окна, ответил, нахмурившись:

— В шашки? Вот еще! Целый день работаешь, так нет же, и дома не дают отдохнуть. Отчего ты не идешь на улицу, играть с другими детьми?

Женщина, которая стряпала ужин, подошла к дверям.

— Джон, — сказала она, — я не люблю, когда Лиззи играет на улице. Дети набираются там чего не следует. Она весь день просидела в комнатах. Неужели ты не можешь уделить ей немножко времени и заняться с ней, когда ты дома?

— Если ей нужны развлечения, пусть идет на улицу и играет, как все дети, — сказал рыжий, небритый, неряшливый мужчина. — И оставьте меня в покое.

— Ах, так? — сказал Малыш Меллали. — Ставлю пятьдесят долларов против двадцати пяти, что Энни пойдет со мной на танцульку. Раскошеливайтесь.

Малыш был задет и уязвлен, черные глаза его сверкали. Он вытащил пачку денег и отсчитал на стойку бара пять десятков. Три или четыре молодых человека, которых он поймал на слове, тоже выложили свои ставки, хотя и не так поспешно. Бармен, он же третейский судья, собрал деньги, тщательно завернул их в бумагу, записал на ней условия пари огрызком карандаша и засунул пакет в уголок кассы.

— Ну и достанется тебе на орехи, — сказал один из приятелей, явно предвкушая удовольствие.

— Это уж моя забота, — сурово отрезал Малыш. — Наливай, Майк.

Когда все выпили, Бэрк — прихлебатель, секундант, друг и великий визирь Малыша — вывел его на улицу, к ларьку чистильщика сапог на углу, где решались все важнейшие дела Клуба Полуночников. Пока Тони в пятый раз за этот день наводил глянец на желтые ботинки председателя и секретаря клуба, Бэрк пытался образумить своего начальника.

— Брось эту блондинку, Малыш, — советовал он, — наживешь неприятностей. Тебе что же, твоя-то уже нехороша стала? Где ты найдешь другую, чтобы тряслась над тобой так, как Лиззи? Она стоит сотни этих Энни.

— Да мне Энни вовсе и не нравится, — сказал Малыш. Он стряхнул пепел от папиросы на сверкающий носок своего башмака и вытер его о плечо Тони. — Но я хочу проучить Лиззи. Она вообразила, что я — ее собственность. Бахвалится, будто я не смею и заговорить с другой девушкой. Лиззи вообще-то молодец. Только слишком много стала выпивать в последнее время. И ругается она неподобающим образом.

— Ведь вы с ней вроде как жених и невеста? — спросил Бэрк.

— Ну да. На будущий год, может быть, поженимся.

— Я видел, как ты заставил ее в первый раз выпить стакан пива, — сказал Бэрк. — Это

было два года назад, когда она, простоволосая, выходила после ужина на угол встречать тебя. Скромная она тогда была девчонка, слова не могла сказать, не покраснев.

— Теперь-то язык у нее — ого! — сказал Малыш. — Терпеть не могу ревности. Поэтому-то я и пойду на танцульку с Энни. Надо малость вправить Лиззи мозги.

— Ну смотри, будь поосторожнее, — сказал на прощанье Бэрк. — Если бы Лиззи была моя девушка и я вздумал бы тайком удрать от нее на танцульку с какой-нибудь Энни, непременно поддел бы кольчугу под парадный пиджак.

Лиззи брела по владениям аиста-коршуна. Ее черные глаза сердито, но рассеянно искали кого-то в толпе прохожих. По временам она напевала отрывки глупых песенок, а в промежутках стискивала свои мелкие белые зубы и цедила грубые слова, привнесенные в язык обитателями Ист-Сайда.

На Лиззи была зеленая шелковая юбка. Блузка в крупную коричневую с розовым клетку ловко сидела на ней. На пальце поблескивало кольцо с огромными фальшивыми рубинами, а с шеи до самых колен свисал медальон на серебряной цепочке. Ее туфли со сбившимися на сторону высокими каблуками давно не видели щетки. Ее шляпа вряд ли влезла бы в бочку из-под муки.

Лиззи вошла в кафе «Синяя сойка» с заднего хода. Она села за столик и нажала кнопку с видом знатной леди, которая звонит, чтобы ей подали экипаж. Подошел слуга. Его широкая улыбка и тихий голос выражали почтительную фамильярность. Лиззи довольным жестом пригладила свою шелковую юбку. Она наслаждалась. Здесь она могла давать распоряжения и ей прислуживали. Это было все, что предложила ей жизнь по части женских привилегий.

— Виски, Томми, — сказала она. Так ее сестры в богатых кварталах лепечут: «Шампанского, Джеймс».

— Слушаю, мисс Лиззи. С чем прикажете?

— С сельтерской. Скажите, Томми, Малыш сегодня заходил?

— Нет, мисс Лиззи, я его сегодня не видел.

Слуга не скупился на «мисс Лиззи»: все знали, что Малыш не простит тому, кто уронит достоинство его невесты.

— Я ищу его, — сказала Лиззи, глотнув из стакана. — До меня дошло, будто он говорил, что пойдет на танцульку с Энни Карлсон. Пусть только посмеет! Красноглазая белая крыса! Я его ищу. Вы меня знаете, Томми. Мы с Малышом уже два года как обручились. Посмотрите, вот кольцо. Он сказал, что оно стоит пятьсот долларов. Пусть только посмеет пойти с ней на танцульку. Что я сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Еще виски, Томми.

— Стоит ли обращать внимание на эти сплетни, мисс Лиззи, — сказал слуга, мягко выдавливая слова из щели над подбородком. — Не может Малыш Меллали бросить такую девушку, как вы. Еще сельтерской?

— Да, уже два года, — повторила Лиззи, понемногу смягчаясь под магическим действием алкоголя. — Я всегда играла по вечерам на улице, потому что дома делать было нечего. Сначала я только сидела на крыльце и все смотрела на огни и на прохожих. А потом как-то вечером прошел мимо Малыш и взглянул на меня, и я сразу в него втюрилась. Когда он в первый раз напоил меня, я потом дома проплакала всю ночь и получила трепку за то, что не давала другим спать. А теперь... Скажите, Томми, вы когда-нибудь видели эту Энни Карлсон? Только и есть красоты, что перекись. Да, я ищу его. Вы скажите Малышу, если он зайдет. Что сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Так и знайте. Еще виски, Томми.

Нетвердой походкой, но настороженно блестя глазами, Лиззи шла по улице. На пороге кирпичного доходного дома сидела кудрявая девочка и задумчиво рассматривала спутанный моток веревки. Лиззи плюхнулась на порог рядом с ребенком. Кривая, неверная улыбка бродила по ее разгоряченному лицу, но глаза вдруг стали ясными и бесхитростными.

— Давай я тебе покажу, как играть в веревочку, — сказала она, пряча пыльные туфли под зеленой шелковой юбкой.

Пока они сидели там, в Клубе Полуночников зажглись огни для бала. Такой бал устраивался раз в два месяца, и члены клуба очень дорожили этим днем и старались, чтобы

все было обставлено парадно и с шиком.

В девять часов в зале появился председатель, Малыш Меллали, под руку с дамой. Волосы у нее были золотые, как у Лорелеи. Она говорила с ирландским акцентом, но никто не принял бы ее «да» за отказ. Она путалась в своей длинной юбке, краснела и улыбалась — улыбалась, глядя в глаза Малышу Меллали.

И когда они остановились посреди комнаты, на навощенном полу произошло то, для предотвращения чего много ламп горит по ночам во многих кабинетах и библиотеках.

Из круга зрителей выбежала Судьба в зеленой шелковой юбке и под псевдонимом «Лиззи». Глаза у нее были жесткие и чернее агата. Она не кричала, не колебалась. Совсем не по-женски она бросила одно-единственное ругательство — любимое ругательство Малыша — таким же, как у него, грубым голосом. А потом, к великому ужасу и смятению Клуба Полуночников, она исполнила хвастливое обещание, которое дала Томми, исполнила, насколько хватило длины ее ножа и силы ее руки.

Затем в ней проснулся инстинкт самосохранения... или инстинкт самоуничтожения, который общество привило к дереву природы?

Лиззи выбежала на улицу и помчалась по ней стрелою, как в сумерки вальдшнеп летит через молодой лесок.

И тут началось нечто — величайший позор большого города, его застарелая язва, его скверна и унижение, его темное пятно, его навечное бесчестье и преступление, поощряемое, ненаказуемое, унаследованное от времен самого глубокого варварства, — началась травля человека. Только в больших городах и сохранился еще этот страшный обычай, в больших городах, где в травле участвует то, что зовется утонченностью, гражданственностью и высокой культурой.

Они гнались за ней — вопящая толпа отцов, матерей, любовников и девушек, — они выли, визжали, свистели, звали на подмогу, требовали крови. Хорошо зная дорогу, с одной мыслью — скорее бы конец — Лиззи мчалась по знакомым улицам, пока не почувствовала под ногами подгнившие доски старой пристани. Еще несколько шагов — и добрая мать Восточная река приняла Лиззи в свои объятия, тинистые, но надежные, и в пять минут разрешила задачу, над которой бьются в тысячах пасторатов и колледжей, где горят по ночам огни.

Забавные иногда снятся сны. Поэты называют их видениями, но видение — это только сон белыми стихами. Мне приснился конец этой истории.

Мне приснилось, что я на том свете. Не знаю, как я туда попал. Вероятно, ехал поездом надземной железной дороги по Девятой авеню, или принял патентованное лекарство, или пытался потянуть за нос Джима Джеффриса,⁶² или предпринял еще какой-нибудь неосмотрительный шаг. Как бы то ни было, я очутился там, среди большой толпы, у входа в зал суда, где шло заседание. И время от времени красивый, величественный ангел — судебный пристав — появлялся в дверях и вызывал: «Следующее дело!»

Пока я перебирал в уме свои земные прегрешения и раздумывал, не попытаться ли мне доказать свое алиби, сославшись на то, что я жил в штате Нью-Джерси, — судебный пристав в ангельском чине приоткрыл дверь и возгласил:

— Дело № 99852743.

Из толпы бодро вышел сыщик в штатском — их там была целая куча, одетых в черное, совсем как пасторы, и они расталкивали нас точь-в-точь так же, как, бывало, полисмены на грешной земле, — и за руку он тащил... кого бы вы думали? Лиззи!

Судебный пристав увел ее в зал и затворил дверь. Я подошел к крылатому агенту и спросил его, что это за дело.

— Очень прискорбный случай, — ответил он, соединив вместе кончики пальцев с

⁶² Джим Джеффрис — известный американский боксер.

наманикюренными ногтями. — Совершенно неисправимая девица. Я специальный агент по земным делам, преподобный Джонс. Девушка убила своего жениха и лишила себя жизни. Оправданий у нее никаких. В докладе, который я представил суду, факты изложены во всех подробностях, и все они подкреплены надежными свидетелями. Возмездие за грех — смерть. Хвала Создателю!

Из дверей зала вышел судебный пристав.

— Бедная девушка, — сказал специальный агент по земным делам, преподобный Джонс, смахивая слезу. — Это один из самых прискорбных случаев, какие мне попадались. Разумеется, она...

— ...Оправдана, — сказал судебный пристав. — Ну-ка, подойди сюда, Джонси. Смотри, как бы не перевели тебя в миссионерскую команду да не послали в Полинезию, что ты тогда запоешь? Чтобы не было больше этих неправых арестов, не то берегись. По этому делу тебе следует арестовать рыжего, небритого, неряшливого мужчину, который сидит в одних носках у окна и читает газету, пока его дети играют на мостовой. Ну, живей, поворачивайся!

Глупый сон, правда?

У каждого свой светофор

Перевод под ред. М. Лорие

Где-то в глубинах большого города, там, где выпавшая в осадок муть постоянно вечно сбивается, встретились молодой Мюррей с Капитаном, и они подружились. Оба оказались на такой прочной мели, какую и представить себе трудно, оба скатились, по крайней мере, со средних высот респектабельности и социальной значимости, и оба они были типичным продуктом чудовищной и весьма специфичной в социальном отношении системы.

Капитан уже не был капитаном. Один из внезапных моральных катаклизмов, которые время от времени сотрясают город, сбросил его с высокой и престижной должности в департаменте полиции, сорвал кокарду с фуражки и пуговицы с мундира, перекинул в руки его адвокатов солидные куски имущества, которые его природная бережливость позволила ему нажить. Настигший его потоп выбросил на мель и промочил до нитки. Через месяц после того, как его раздели, лишили полицейской формы, владелец салуна, дотянувшись до него от своего прилавка, на котором ставят бесплатный ланч, и схватив его за шкирку, как хватает полосатая кошка своего котенка из корзинки, выбросил его вон, — прямо на асфальт.

Тоже довольно низко, согласитесь. После этого Капитан купил себе костюм, и, застегнув на все кнопки краги, как у конгрессмена, принялся писать жалобы в газеты. Вскоре он подрался со служащим в муниципальной ночлежке из-за того, что тот хотел вымыть его в ванной. Когда Мюррей увидел его впервые, он держал за руку какую-то итальянку, торговавшую яблоками и чесноком на Эссекс-стрит, и цитировал ей баллады из песенника.

Падение Мюррея было если и менее зрелищным, зато поистине люциферианским. Все маленькие удовольствия, все соблазны в Готхэме, как называют шутники Нью-Йорк, были ему доступны. Гиды орали в мегафон, заставляя туристов посмотреть на великолепный дом его богача-дяди, расположенный на большой и респектабельной авеню. Но потом вдруг возник какой-то скандальный шум, и принц был выпровожен из дома дворецким, что на этой авеню расценивалось как пинок под зад. Слабосильный принц Гэл, лишившись шпаги и наследства, не спеша побрел навстречу своему мрачному Фальстафу, чтобы теперь вместе с ним бесцельно бродить по горбатым нью-йоркским улочкам.

Однажды вечером они сидели на скамье в небольшом сквере в нижней части города. Грузный Капитан, полноту которого голод только увеличивал, — что могло лишь вызвать иронию, а не жалость к нему тех, кто читал его петиции о материальной помощи, — всей своей огромной массой откинулся на спинку скамейки. Его красная физиономия с всплесками киновари, его отращенные за неделю усы, мятая белая соломенная шляпа на голове были похожи на ту картину в витрине на темной Третей авеню, которая требовала игры

воображения, чтобы определить, что это такое, — что-то новенькое в области модных женских шляпок или слоеный торт с клубничной начинкой. Туго затянутый ремень — единственная реликвия его былой щеголеватости — образовывал глубокую впадину в его окружности. На его ботинках не было застежек. Глухим басом он проклинал свою невезучую звезду.

Сидевший рядом с ним Мюррей весь съежился в своем грязном, порванном костюме из голубой саржи.

Надвинув шляпу низко на лоб, он сидел тихо-тихо, совсем неслышно, словно неприкаянный призрак.

— Жрать хочется, — заворчал Капитан. — Клянусь верхней филейной частью башанского быка, я умираю с голода. Сейчас я смог бы сожрать весь ресторан на Боуэр-стрит вместе с вытяжной трубой его печи, выходящей на аллею. Ты ничего не можешь придумать, Мюррей? Сидишь здесь, сгорбившись. Воображаешь, что ты Реджинальд Вандербильд за рулем своего авто. Чего сейчас воображать, скажи на милость. Лучше подумай, где нам что-нибудь пожевать.

— Ты, мой дорогой Капитан, забываешь, — сказал Мюррей, не шелохнувшись, — что наша последняя попытка пообедать была предпринята по моей инициативе.

— Готов держать пари, ты прав, — промычал Капитан, — клянусь жизнью, так и было. Ну а сейчас ничего на ум не приходит?

— Думаю, что нам не повезло, — вздохнул Мюррей. — Я был уверен, что Мэлон предложит нам еще один бесплатный ланч после той нашей с ним беседы о бейсболе. Тогда я оставил целый никель в его заведении.

— Вот эта рука, — сказал Капитан, протягивая свою длань, — вот эта рука уже лежала на ножке индейки и на двух сэндвичах с сардинами, когда официанты нас схватили.

— А я был всего в двух каких-то двух дюймах от оливок, — сказал Мюррей. — Фаршированные оливки. За год не пробовал ни одной такой.

— Ну, что же будем делать? — недовольно проворчал Капитан. — Не подышать же с голода.

— Не подышать? — тихо спросил Мюррей. — Приятно это слышать от тебя. Я уже боялся, что именно это нам предстоит.

— Ладно, подожди меня здесь, — сказал Капитан, поднимаясь всем своим грузным телом с одышкой. — Попытаюсь пойти еще на одну уловку. А ты оставайся здесь, жди меня, Мюррей. Думаю, мне понадобится не более получаса. Если трюк сработает, то вернусь с кучей денег.

Он попытался неловко, по-слоновьему, прихорошиться. Задрал кончики своих огненно-рыжих усов к небу, вытянув манжеты с запонками с черным ободком, чтобы их было лучше видно, углубил впадину в своем теле, затянув пояс еще на одну дырочку, он пошел прочь, элегантный, словно носорог в зоопарке, по направлению к южному выходу из сквера.

Когда он скрылся из вида, Мюррей тоже решил уйти и быстро зашагал в восточном направлении. Он остановился возле здания, ступеньки которого освещали два зеленых глаза фонаря.

— Капитан полиции Мэрони, — начал он, обратившись к дежурному сержанту, — был уволен со службы после суда над ним, который состоялся три года назад. Кажется, вынесение приговора было отложено. Разыскивает ли его в настоящее время полиция?

— Для чего вы спрашиваете об этом? — нахмурился сержант.

— Я думал, что за него объявлено вознаграждение, — не моргнув глазом, объяснил Мюррей. — Я хорошо знаю этого человека. Сейчас он старается не выходить из тени. Если предусмотрено вознаграждение...

— Никакого вознаграждения, — резко оборвал его сержант. — Никто его не разыскивает. И вас тоже. Так что проваливайте! Это, судя по всему, ваш друг, а вы пришли его заложить. Ну-ка вон отсюда, или я помогу вам пинком!

Мюррей смотрел на полицейского лучезарным взглядом, излучавшим все его добродетельное достоинство.

— Просто я хотел исполнить свой долг гражданина и джентльмена, — посуровев, вдруг сказал он. — Помочь закону поймать одного из его нарушителей.

Мюррей поспешил в сквер на свое старое место. Сложив руки, он вновь съезжился в своем голубом рваном костюме и вновь стал похож на немомго призрака.

Минут через десять на место их встречи вернулся и Капитан, весь порывистый, как самые жаркие летние дни в Канзасе. воротник у него был оторван, соломенная шляпа разорвана и измята; его рубашка с полосками цвета бычьей крови была разодрана до живота. С головы до ног он весь пропитался какой-то вонючей маслянистой жидкостью, которая была в нос, заявляя тем самым о своем составе — чесноке и всевозможных кухонных отходах.

— Ради бога, Капитан, — приняхивался Мюррей, — я не стал бы тебя ждать, если бы знал, что ты оказался в таком отчаянном положении, что согласился таскать бочки с помоями...

— Заткнись! — грубо ответил Капитан. — Пока я еще не кормлю свиней. Это только так кажется. Я отправился на Эссекс-стрит и предложил Кэтрин, у которой там овощная лавка, выйти за меня замуж. Можно было бы, конечно, проверить такой бизнес. Она и сама похожа на персик, если вообще итальянка может так выглядеть. Я был уверен, что на прошлой неделе я обольстил синьорину. Ты посмотри только, что она со мной сделала! Остается надеяться, что эта дрянь хотя бы свежая! Ну вот еще один замысел провалился.

— Не хочешь ли ты сказать, — начал Мюррей с выражением безграничного презрения к приятелю, — что ты женился бы на этой женщине, только чтобы выбраться из своего позорного положения?

— Это я-то? — спросил капитан. — Да я женился бы на китайской императрице за одну миску похлебки. Совершил бы убийство за тарелку тушеной говядины. Стащил бы последнюю просвиру у нищего. Стал бы мормоном из-за чашки моллюсков со свиной.

— А я, — вдруг сказал Мюррей, положив голову на руки, — стал бы Иудой за один стаканчик виски. За эти тридцать сребреников я бы...

— Ах, да перестань, — воскликнул Капитан, приходя в отчаяние. — Разве ты мог бы пойти на это, Мюррей? Я всегда считал, что донос этого жида на своего босса был самым низким поступком, дальше некуда. Человек, который предает своего друга, хуже пирата.

Через сквер шел крупный мужчина, разглядывая скамейки, которые освещались электрическими лампочками.

— Это ты, Мэк? — спросил он, останавливаясь возле потенциальных преступников. Его брильянтовая булавка в галстукe ярко блестела. Его усыпанный брильянтами брелок на цепочке добавлял драгоценного сверканья. Это был крупный гладкий человек, который явно отлично питался. — Ну, теперь вижу, что это ты, — продолжал он. — Мне у Майка сказали, что тебя можно найти здесь. Можно тебя на пару минут, Мэк?

Капитан довольно живо поднялся со своего места. Если Чарли Финнигэн спустился в эту бездонную яму, чтобы найти его, то, вероятно, для чего-то весьма важного.

— Ты знаешь, Мэк, — сказал он, — что сейчас судят инспектора Пикеринга по обвинению во взяточничестве?

— Он был моим инспектором, — сказал Капитан.

— Его место хочет получить О'Ши, — продолжил Финнигэн.

— И он должен его получить.

— Для пользы дела его нужно утопить. Твоего свидетельства будет достаточно. Доля его взятка проходила через твои руки. Ты должен выступить на суде и дать показания против него.

— Он был... — начал было Капитан.

— погоди, — перебил его Финнигэн. Из внутреннего кармана его пиджака появилась тугая пачка купюр.

— Здесь пятьсот долларов. Они — твои. Двести пятьдесят сразу, остальные...

— Он был моим другом, — вот что я хотел сказать, — закончил фразу капитан. — Скорее я увижу тебя вместе с твоей бандой в геенне огненной, чем стану давать показания против Пикеринга. Моему положению, конечно, не позавидуешь, я на мели, но я не предатель, а этот

человек был моим другом. — Голос Капитана сорвался и звучал как расстроенный тромбон. — Ну-ка убирайся отсюда, Чарли Финнигэн, где воры, бродяги и пьяницы твои лучшие друзья, убирайся вместе со своими грязными деньгами.

Финнигэн перешел на другую дорожку. Капитан вернулся на свое место на скамейке.

— Знаешь, я все слышал, не мог не услышать, — мрачно сказал Мюррей. — Мне кажется, что ты самый большой дурак на свете. Никогда такого не видел.

— Ну а как бы ты поступил на моем месте? — спросил его Капитан.

— Как-как! Приколотил бы гвоздями Пикеринга к кресту, — ответил Мюррей.

— Извини, — сказал Капитан, хрипло, без особого подъема, — мы с тобой разные люди. Нью-Йорк разделен на две части — ту, что идет вверх от Сорок второй, и ту, что идет вниз от Четырнадцатой. Ты из другой части. У каждого свой светофор.

Освещенный циферблат, хорошо видимый над верхушками деревьев, сообщал, что до полуночи осталось полчаса. Оба вдруг встали со скамьи, словно обоих одновременно посетила одна и та же мысль, и пошли по дорожке. Они вышли из сквера, пересекли узкую улочку и вышли на Бродвей, который в этот поздний час был темным, пустынным и тихим, как проселочная дорога, ведущая в разрушенные Помпеи.

Там они повернули на север. Полицейский внимательно осмотрел их неухоженные, крадущиеся фигуры, которые могли вызвать подозрение у любого стража закона в любой час и в любом месте, ибо на каждой улице этой части города другие помятые и крадущиеся фигуры шаркая спешили к пункту сбора, к пункту, который не отмечен ни каким знаком, за исключением выбоин на тротуаре, протоптанных десятками тысяч торопящихся в ночлежку ног.

На Девятой улице какой-то высокий человек в цилиндре соскочил с бродвейского трамвая и устремил свой взор в пространство. Но вдруг, увидев Мюррея, подбежал к нему и потащил его к фонарному столбу. Капитан медленно, словно раненый медведь, доковылял до угла и ворча стал там ждать дальнейшего развития событий.

— Джерри! — закричал человек в шляпе, — Какая удача! Я собирался заняться твоими поисками прямо с утра. Старик капитулировал. Теперь ты снова в фаворе. Поздравляю! Приходи в офис завтра утром — получишь все деньги, которые только пожелаешь. У меня на твой счет весьма широкие полномочия.

— Ну а это матримониальное дельце? — спросил Мюррей, отвернувшись.

— Ну... да, да, конечно, твой дядя все понимает, ожидает что твое обручение с мисс Вандерхерст будет...

— Пока! — сказал Мюррей, отходя от него в сторону

— Ты что, с ума сошел? — закричал человек в цилиндре, схватив его за руку. — Неужели ты откажешься от двух миллионов из-за...

— Ты, старик, когда-нибудь видел ее шнобель? — спросил торжествуя Мюррей.

— Но, Джерри, ты должен поступать как здравомыслящий человек. Мисс Вандерхерст — наследница и...

— Нет, ты видел ее шнобель?

— Ну видел, должен признать, что носик у нее не...

— Пока! — повторил Мюррей. — Мой друг заждался меня. Я процитирую его и скажу, чтобы ты передал следующее: «ничего не подделаешь». Спокойной ночи!

Змеящаяся очередь ожидающих мужчин протянулась от двери на Третьей улице до Бродвея. Капитан с Мюрреем заняли свои места в хвосте этой извивающейся гусеницы-сороконожки.

— Прошлой ночью очередь была на двадцать футов длиннее, — отметил Мюррей, поглядывая на угол церкви Святой Благодати.

— Придется простоять с полчаса, чтобы получить свое гнилье, — проворчал Капитан.

Городские часы стали отбивать полночь. Хлебная очередь двигалась медленно, кожаные подметки шуршали по каменным плитам, словно шипящая змея, а те, у кого свой светофор, — замыкали ее хвост.

Сон в летнюю сушь

Перевод М. Лорие

Спят рыцари, ржавеют их мечи,
Лишь редко-редко кто из них проснется
И людям из могилы постучит.

Дорогой читатель! Было лето. Солнце жгло огромный город с немилосердной жестокостью. Солнцу трудно в одно и то же время быть жестоким и проявлять милосердие. Термометр показывал... нет, к черту термометр! — кому интересны сухие цифры? Было так жарко, что...

В кафе на крышах сутилось столько добавочных официантов, что можно было надеяться быстро получить стакан джина с содовой... после того как будут обслужены все остальные. В больницах были приготовлены добавочные койки для уличных зевак. Потому что когда лохматые собачки высовывают язык и говорят своим блохам: «Гав, гав», а нервные старухи в черных бомбазиновых платьях визжат: «Собака взбесилась!», и полисмены начинают стрелять, — тогда без пострадавших не обходится. Житель Помптона (штат Нью-Джерси), который всегда ходит в пальто, сидел в отеле на Бродвее, попивая горячее виски и нежась в немеркнущих лучах ацетиленовой лампы. Филантропы осаждали законодателей просьбами обязать домовладельцев строить более поместительные пожарные лестницы, чтобы люди могли умирать на них от солнечного удара не по одному или по два, а сразу целыми семьями. Такое множество знакомых рассказывали, сколько раз в день они принимают ванну, что оставалось только недоумевать, как же они будут жить дальше, когда хозяин квартиры возвратится в город и поблагодарит их за то, что они так хорошо о ней заботились. Тот молодой человек, что громко требовал в ресторане холодного мяса и пива, уверяя, что в такую погоду о жареных цыплятах и бургонском даже думать противно, краснел, встречаясь с вами взглядом: ведь вы всю зиму слышали, как он тихим голосом заказывал эти же самые, более чем скромные, яства. Супы стали жиже, актеры и бумажники — худее, а блузки и дружеские намеки на бейсбольной площадке — совсем прозрачными. Да, было лето.

На углу Тридцать четвертой улицы стоял человек и ждал трамвая — человек лет сорока, седой, румяный, нервный, весь словно натянутый, в дешевом костюме и с загнанным выражением усталых глаз. Он вытер платком лоб и громко засмеялся, когда проходивший мимо толстяк в туристском костюме остановился и заговорил с ним.

— Нет, любезнейший! — крикнул он сердито и вызывающе. — Никаких этих ваших болот с москитами и небоскребов без лифта, которые вы называете горами, я не признаю. Я умею спастись от жары. Нью-Йорк, сэр, — вот лучший летний курорт во всей стране. Не ходите по солнцу, питайтесь с разбором да держитесь поближе к вентиляторам. Что такое все ваши горы, и Адирондакские и Кэтскилские? В одном Манхэттене больше комфорта, чем во всех других городах Америки, вместе взятых. Нет, любезнейший! Карабкаться на какие-то утесы, вскакивать в четыре часа утра, оттого что на тебя напала целая туча мошкары, питаться консервами, которые нужно везти из города, — нет, спасибо! В маленьком пансионе под вывеской Нью-Йорк и летом находится место для нескольких избранных постояльцев; комфорт и удобства семейного дома — вот это для меня.

— Вам нужно отдохнуть, — сказал толстяк, внимательно к нему присматриваясь. — Вы уже сколько лет не выезжали из города. Поехали бы со мной недели на две. Форель в Биверкилле так и бросается на все, что хоть отдаленно напоминает муху. Хардинг пишет, что на прошлой неделе поймал одну в три фунта весом.

— Ерунда! — воскликнул патриот столицы. — Если вам по душе проваливаться в

трясину в резиновых сапогах и уставать до полусмерти, чтобы поймать одну несчастную рыбешку, — пожалуйста, на здоровье. Я, когда мне хочется рыбы, иду в какой-нибудь ресторанчик, где попрохладнее, и даю заказ официанту. Просто смешно делается, как подумаешь, что вы там носитесь по жаре и воображаете, будто хорошо проводите время. Мне подавайте усовершенствованную ферму папаши Никербокера да тенистую аллею, что пересекает ее из конца в конец.

Толстяк вздохнул и пошел дальше, сокрушаясь о своем приятеле. Человек, назвавший Нью-Йорк лучшим летним курортом страны, сел в трамвай и покатил в свою контору. По дороге он отшвырнул газету и поднял взгляд на лоскуток неба, видневшийся над крышами.

— Три фунта! — пробормотал он задумчиво. — Хардинг не стал бы врать. Вот если бы мне... да нет, невозможно, надо оставить их там еще на месяц, не меньше.

В конторе поборник летних радостей большого города с головой окунулся в бассейн деловых бумаг. Эдкинс, его клерк, вошел в комнату и подсыпал ему еще писем, служебных записок и телеграмм.

В пять часов утомленный делец откинулся на спинку стула, положил ноги на стол и подумал вслух:

— Интересно бы узнать, на какую наживку ловил Хардинг.

В тот день она была в белом платье, и на этом Комтон проиграл Гейнсу пари. Комтон уверял, что она будет в голубом, так как знает, что это его любимый цвет. Комтон был сыном миллионера, а это почти равносильно обвинению в том, что, заключая пари, он был заранее уверен в исходе. Но нет, она надела белое платье, и Гейнс был до краев переполнен гордостью, как и подобает в таких случаях человеку, едва достигшему двадцати пяти лет.

В маленьком горном отеле подобралось в то лето веселое общество. С одной стороны — два-три студента, несколько художников и молоденький офицер флота. С другой — хорошенькие девушки в количестве вполне достаточном для того, чтобы корреспондент отдела светской хроники мог применить к ним слово «букет». Но ясным месяцем среди всех этих звезд была Мэри Сьюэл. Все молодые люди стремились к такому положению дел, при котором они могли бы оплачивать ее счета от портнихи, топить ее печку и убедить ее в том, что ее фамилия — не единственно возможная. Те из них, которые могли прожить здесь всего неделю или две, в день отъезда заводили разговор о пистолетах и разбитых сердцах. Но Комтон оставался, незыблемый, как горы, окружавшие отель, потому что он был достаточно богат для этого. А Гейнс оставался, потому что в нем жил дух борьбы, и он не боялся миллионерских сыновей, и... ну, в общем он обожал природу.

— Только подумайте, мисс Мэри, — сказал он однажды. — Я знал в Нью-Йорке одного оригинала, который уверял, что ему там нравится летом. Он говорил, что там прохладнее, чем в лесу. Глупо, правда? По-моему, на Бродвее после первого июня вообще невозможно дышать.

— Мама думает вернуться в город через неделю, — сказала мисс Мэри с изящной гримаской.

— Но если вдуматься, — сказал Гейнс, — летом и в городе есть немало приятных мест. Кафе на крышах, знаете, и... мм... кафе на крышах.

Синее-синее было в тот день озеро — в тот день, когда они устроили шуточный турнир и мужчины гарцевали по лесной поляне на низкорослых фермерских лошадках и ловили на острие копыя кольца от занавесок. Так было весело!

Прохладно и сухо, как лучшее вино, было дыхание густо-зеленого леса. Долина внизу призрачно мерцала сквозь опаловую дымку. Белый туман от невидимого водопада смазывал зеленую верхушку рощицы на половине спуска в ущелье. Молодежь веселилась, и веселилось молодое лето. На Бродвее такого не увидишь.

Жители деревни собрались посмотреть, как развлекаются чудаки-горожане. Леса звенели смехом эльфов, дриад и фей. Гейнс поймал больше колец, чем все остальные. Ему выпала честь возложить венок на голову королеве праздника. Он был победителем на турнире — во всяком случае, по кольцам. На рукаве у него красовался белый бант. На рукаве Комтона

— голубой. Она как-то сказала, что больше любит голубой цвет, но в тот день она была в белом.

Гейнс стал искать королеву, чтобы короновать ее. Он услышал ее веселый смех, словно из облаков. Она, оказывается, успела взобраться на «Трубу» — небольшой гранитный утес — и стояла там, как белое видение среди лавровых кустов, на пятьдесят футов выше всех.

Не колеблясь, Гейнс и Комтон приняли вызов. Сзади подняться на утес было легко, но спереди почти некуда было поставить ногу, почти не за что ухватиться рукой. Каждый из соперников быстро наметил себе путь и стал карабкаться вверх. Трещина, куст, крошечный выступ, ветка дерева — все помогало достичь цели и сократить время. Это была шутка — никто не обещал победителю приза, но тут, о ворчливый читатель, была замешана молодость, и беспечность, и еще что-то, о чем так очаровательно пишет мисс Клей.⁶³

Гейнс крепко ухватился за корень лавра, подтянулся и упал к ногам мисс Мэри. Венок из роз висел у него на руке, и под радостные крики и аплодисменты собравшихся внизу фермеров и публики из отеля он возложил его на чело королеве.

— Вы доблестный рыцарь, — сказала мисс Мэри.

— Если б я всегда мог быть вашим верным рыцарем... — начал Гейнс, но мисс Мэри засмеялась, и он умолк, потому что из-за края утеса вылез Комтон — с опозданием на одну минуту.

Какие удивительные были сумерки, когда они ехали обратно в отель! Опаловая дымка в долине медленно окрашивалась пурпуром, озеро блестело, как зеркало, в рамке темных лесов, живительный воздух проникал в самую душу. Первые бледные звезды показались над вершинами гор, где еще догорал...

— Виноват, мистер Гейнс, — сказал Эдкинс.

Человек, считавший Нью-Йорк лучшим летним курортом в мире, открыл глаза и опрокинул на стол пузырек с клеем.

— Я... я, кажется, заснул, — сказал он.

— Это от жары, — сказал Эдкинс. — Жара невыносимая, в городе просто...

— Ерунда! Город летом даст десять очков вперед любой деревне. Какие-то дураки сидят в грязных ручьях и устают до смерти — а все, чтобы наловить рыбешки величиной с ваш мизинец. Устроиться с комфортом и не выезжать из города — вот это для меня.

— Пришла почта, — сказал Эдкинс. — Я подумал, что вы захотите перед уходом просмотреть письма.

Давайте заглянем ему через плечо и прочтем несколько строк в одном из этих писем:

«Мой милый, милый муж, только что получила твое письмо, в котором ты велишь нам пробыть здесь еще месяц... Рита почти перестала кашлять... Джонни совсем одичал — прямо маленький индеец... спасение для обоих детей... так много работаешь, и я знаю, что твоих денег еле хватает, а мы живем здесь уже так долго... лучший человек, какого я... всегда уверяешь, что любишь лето город... ловить форель, ты этим так всегда увлекался... все для нашего здоровья и счастья... приехала бы к тебе, если бы не ребята, которые так чудно поправляются... вчера стояла на «Трубе», как раз в том месте, где ты надел на меня венок из роз... на край света... когда ты сказал, что хочешь быть моим верным рыцарем... пятнадцать лет, милый, подумать только!.. всегда им оставался... навсегда.

Мэри» .

Человек, утверждавший, что Нью-Йорк — лучший летний курорт страны, зашел по дороге домой в кафе и выпил стакан пива, стоя под электрическим вентилятором.

— Интересно все-таки, на какую наживку ловил Хардинг, — сказал он, ни к кому в

⁶³ Клей Берта (1836–1884) — английская писательница, автор слащаво-сентиментальных романов.

особенности не обращаясь.

Последний лист

Перевод Н. Дарузес

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некому художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!

И вот в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы люди искусства набрали на своеобразный квартал Гринич-Виллидж. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Ист-Сайду этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс... ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, — например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых

художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбить его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы шторы.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже, под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевельными ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу уже двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик... противный старый болтунишка.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.

— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему земному. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низко нависшей голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днем пришел доктор, и Сю под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сю. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сю:

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же день к вечеру Сю подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

Черное платье

Перевод Э. Бродерсон

Однажды вечером, когда Энди Донован пришел обедать в меблированные комнаты на Второй авеню, где он жил, миссис Скотт, хозяйка пансиона, познакомила его с новой жилищей, мисс Конвэй. Мисс Конвэй была молодая, скромная девушка небольшого роста. На ней было простое, табачного цвета платье, и все свое внимание она уделяла баранине на ее тарелке. Она застенчиво подняла глаза, бросила критический взгляд на мистера Донована, вежливо поздоровалась с ним и снова обратилась к баранине. Мистер Донован поклонился с тем изяществом и с той сияющей улыбкой, которые ему завоевали быстрое продвижение в общественной, деловой и политической сферах. И вслед за тем мысленно вычеркнул мисс Конвэй из списка лиц, достойных его внимания.

Две недели спустя Энди сидел на ступеньках крыльца, наслаждаясь сигарой. Над ним послышалось сзади мягкое шуршанье. Энди повернул голову и... так и застыл в этой позе.

Из дверей выходила мисс Конвэй. На ней было платье чернее ночи из креп де... креп де... Одним словом, из этой тонкой черной ткани. Шляпа на ней была черная, и со шляпы ниспадала и развевалась черная вуаль, тонкая, как паутина. Мисс Конвэй стояла на верхней ступени и натягивала черные шелковые перчатки. Нигде на всем ее туалете не было ни одного белого или цветного пятнышка. Ее пышные золотистые волосы были стянуты в мягкий сияющий узел, низко лежавший у затылка. Ее лицо нельзя было назвать хорошеньким, но теперь оно было почти прекрасно. Оно освещалось огромными серыми глазами, которые были устремлены вдаль с выражением самой трогательной грусти и меланхолии.

Имейте в виду, барышни, — она была совсем в черном креп де... о, крепдешин... вот как называется эта материя! Совсем в черном, и этот грустный, далекий взгляд и волосы, блистающие под черной вуалью (конечно, для этого вы должны быть блондинками!). Старайтесь придать себе такой вид, как будто вы хотите сказать, что хотя ваша молодая жизнь и разбита, но от прогулки в парке вы не отказываетесь. И постарайтесь показаться в дверях в нужный момент! И... вы можете быть уверены, что вы поймаете на эту удочку всякого

мужчину. Это, конечно, очень цинично с моей стороны — не правда ли? — говорить в таком тоне о траурных костюмах.

Мистер Донован внезапно снова вписал мисс Конвэй в список лиц, достойных его внимания. Он отбросил свою сигару, хотя ее хватило бы еще на восемь минут, и быстро поднялся.

— Какой чудный, ясный вечер, мисс Конвэй! — сказал он. Если бы метеорологическое бюро услышало убедительность его тона, оно не преминуло бы воспользоваться его словами для своих предсказаний.

— Да, для тех, кто может им наслаждаться, мистер Донован, — сказала со вздохом мисс Конвэй.

Мистер Донован проклял в своей душе хорошую погоду. Бессердечная погода! Должен был бы идти град, снег, дождь, чтобы гармонировать с настроением мисс Конвэй!

— Я надеюсь, что никто из ваших родственников?.. — осмелился спросить мистер Донован.

— Смерть вырвала у меня, — сказала мисс Конвэй несколько нерешительно, — не родственника, но человека, который... Но я не хочу навязывать вам свое горе, мистер Донован.

— Навязывать? — запротестовал Донован. — Что вы, мисс Конвэй! Я был бы в восторге, то есть мне было бы жаль... Я хочу сказать, что никто не мог бы сочувствовать вам более искренно, чем я...

Мисс Конвэй слегка улыбнулась. И, о боже! ее улыбка была еще печальнее, чем раньше.

— «Смейся — и мир засмеется с тобою; плачь — и смех будет тебе ответом», — процитировала она. — Я это узнала на деле, мистер Донован. У меня здесь, в городе, нет ни друзей, ни знакомых. Но вы выразили столько сочувствия, и я это высоко ценю. (Он передал ей за столом два раза перец.)

— Очень грустно быть одной в Нью-Йорке, — сказал Донован. — Скажите, мисс Конвэй, не прогулялись ли бы вы немного в парке? Это разогнало бы немного вашу хандру! И если бы вы позволили мне...

— Благодарю вас, мистер Донован. Я очень охотно принимаю ваше предложение, если вы думаете, что общество той, чье сердце полно мрачной грусти, может быть вам приятно.

Через открытые ворота железной решетки они вошли в старый парк, где когда-то разгуливало избранное общество, и уселись на уединенной скамейке.

Есть разница между горем молодежи и горем стариков. Горе молодежи делается легче постольку, поскольку ей сочувствует кто-нибудь другой; у стариков же горе остается всегда одинаковым.

— Он был моим женихом, — поверяла через час свое горе мисс Конвэй. — Мы должны были обвенчаться будущей весной. Мне не хочется, чтобы вы думали, будто я хвастаюсь перед вами, мистер Донован, но он был настоящим графом. У него были в Италии поместья и замок. Его звали граф Фернандо Маззини. Я никогда не видела никого, кто мог бы сравниться с ним по элегантности. Отец, конечно, противился браку, и мы бежали, но отец нагнал нас и вернул обратно. Я была уверена, что отец и Фернандо будут драться на дуэли. Мой отец отдает лошадей внаем в Покипси, знаете?

В конце концов отец пошел на уступки и сказал, что соглашается на наш брак. Мы решили обвенчаться будущей весной. Фернандо предъявил ему доказательства своего титула и состояния и поехал в Италию, чтобы приготовить для нас замок. Мой отец очень гордый человек, и, когда Фернандо хотел подарить мне несколько тысяч долларов для приданого, отец рассердился и обозвал его каким-то страшным словом. Он даже не позволил мне принять от Фернандо кольцо или другие подарки. И когда Фернандо уехал на пароходе, я приехала в Нью-Йорк и получила место кассирши в кондитерской.

Три дня тому назад я получила письмо из Италии. И в письме мне сообщили, что Фернандо был убит в гондоле.

Вот почему я в трауре. Мое сердце, мистер Донован, навсегда погребено в его могиле. Я знаю, мистер Донован, что со мною должно быть очень скучно, так как я не могу ничем

интересоваться. Я не хотела бы отвлекать вас от веселья и от ваших друзей. Может быть, вы предпочитаете вернуться домой?

Теперь, барышни, если вы желаете, то поглядите, как быстро молодой человек возьмется за лопату, если вы ему скажете, что ваше сердце зарыто в могиле какого-нибудь другого мужчины. Молодые люди по натуре своей грабители мертвецов. Спросите об этом любую вдову. Нужно же что-нибудь сделать, чтобы вернуть похороненное сердце скорбящим ангелам в черном крепдешине! С какой стороны ни смотреть, хуже всего, конечно, приходится в таких историях мертвым мужчинам.

— Мне вас страшно жаль, — нежно сказал мистер Донован. — Нет, мы еще не вернемся домой. Не говорите, что у вас нет друзей в этом городе, мисс Конвэй. Мне вас страшно жаль, и я хочу, чтобы вы поверили, что я ваш друг и что мне страшно жаль вас.

— У меня его портрет здесь, в медальоне, — сказала мисс Конвэй, вытерев глаза платком. — Я никому никогда его не показывала, но вам я покажу, мистер Донован, потому что я верю, что вы искренний друг.

Мистер Донован долго и с большим интересом разглядывал фотографию в медальоне, который мисс Конвэй открыла для него. Лицо графа Маззини могло возбудить интерес. У него была умная, открытая, почти красивая физиономия. Такой человек легко мог стать трибуном, вождем...

— У меня в комнате есть большой портрет, в рамке, — сказала мисс Конвэй. — Когда мы вернемся, я вам его покажу. Это все, что у меня осталось на память о Фернандо. Но он всегда будет в моем сердце, это уже наврное.

Мистеру Доновану предстояла очень трудная задача — заменить в сердце мисс Конвэй несчастного графа, и он решился на это, потому что искренне восхищался ею. Но трудность задачи, казалось, не особенно беспокоила его. Он взял на себя роль сочувствующего, но веселого друга и так успешно разыграл ее, что еще через полчаса они уже сидели за двумя порциями мороженого. Несмотря на все старания молодого человека развлечь мисс Конвэй, в ее огромных серых глазах выражение печали нисколько не уменьшилось.

Раньше, чем расстаться в этот вечер, она побежала наверх в свою комнату и принесла вниз фотографию в рамке, любовно обернутую в белый шелковый шарф. Мистер Донован молча и внимательно смотрел на портрет.

— Он дал мне эту карточку в тот вечер, когда уехал в Италию, — сказала мисс Конвэй. — Я с нее заказала портрет для медальона.

— Красивый мужчина, — сказал от всего сердца Донован. — А как вы думаете, мисс Конвэй: что, если бы вы сделали мне удовольствие поехать со мною на остров Кони-Айленд в следующее воскресенье?..

Месяц спустя они объявили о своей помолвке миссис Скотт и другим жильцам. Мисс Конвэй продолжала носить траур.

Через неделю после их помолвки они сидели вдвоем на той же скамейке в старом парке, и трепещущие листья деревьев бросали на них при лунном свете колеблющиеся, неясные тени. Но у Донована весь этот день было на лице мрачное выражение. Он был так молчалив, что его невеста наконец не выдержала.

— В чем дело, Энди, что ты сегодня так не в духе?

— Ничего, Мэгги.

— Но я вижу это ясно! Ты никогда таким не был. Что такое?

— Да так, пустяки. Ничего особенного, Мэгги.

— Нет, что-то есть, и я хочу это знать. Держу пари, что ты думаешь о какой-нибудь другой девушке! Отлично. Почему ты не идешь к ней, если ты ее желаешь? Возьми свою руку прочь, пожалуйста!

— Хорошо, я тебе скажу, — ответил Энди, — но мне кажется, что ты меня не поймешь. Ты слышала о Майке Селливане, да? «Большой Майк», как его все называют.

— Нет, я не слышала, — сказала Мэгги. — И не хочу слышать, если это из-за него ты такой грустный. Кто он?

— Он самый крупный человек в Нью-Йорке, — сказал Энди почти благоговейно. — Он может сделать что угодно с любым политическим деятелем. Он стоит на недостижимой высоте. Стоит тебе сказать что-нибудь непочтительное о Большом Майке, — и через две секунды на тебя набросится миллион людей. Да что говорить! Он недавно посетил Европу, и короли попрятались по двойным норам, как кролики. Ну, так вот, Большой Майк — мой друг. Я незначительная величина в моем районе, но Майк так же хорошо относится и к незначительным людям, как и к видным. Я встретил его сегодня на Бауэри, и знаешь, что он сделал? Он подошел и пожал мне руку. «Энди, — сказал он, — я следил за твоими успехами. Ты нанес несколько хороших ударов в боксе, и я горжусь тобой. Что ты хочешь выпить?» Он берет сигару, а я — хайбол. И я ему рассказал, что собираюсь жениться через две недели. «Энди, — сказал он, — пошли мне приглашение! Тогда я не забуду и приду на свадьбу». Вот что мне сказал Большой Майк, а он всегда держит слово.

Ты, конечно, не понимаешь этого, Мэгги, но я готов дать отсечь себе руку, чтобы только Майк Селливан был на нашей свадьбе. Это был бы самый приятный день в моей жизни. Если он приходит на чью-нибудь свадьбу, то карьера жениха обеспечена на всю жизнь. Вот почему я выгляжу сегодня таким печальным...

— Так почему же ты его в таком случае не пригласишь, если он так много для тебя значит? — спросила Мэгги.

— Есть причина, почему я не могу этого сделать, — грустно сказал Энди. — Есть причина, почему он не должен быть на свадьбе. Не спрашивай меня, Мэгги! Я все равно не могу тебе это сказать.

— О, я и не интересуюсь! — сказала Мэгги. — Это, очевидно, по политическим соображениям. Но это все же для тебя не причина перестать быть любезным со мной!

— Мэгги, — сказал Энди после небольшой паузы, — скажи откровенно, ты меня так же любишь, как твоего... графа Маззини?

Он ждал долгое время ответа, но Мэгги не отвечала. Потом она вдруг прислонилась к его плечу и начала плакать. Она плакала и даже тряслась от рыданий, крепко держа его руку и обильно смачивая крепдешин слезами.

— Ну, ну, ну! — успокаивал ее Энди, забыв свое собственное горе. — В чем же дело? Что опять такое?

— Энди, — рыдала Мэгги, — я солгала тебе! Я все время чувствовала, что должна тебе это сказать, Энди! Никогда не было никакого графа! У меня никогда не было в жизни ни одного возлюбленного! А у всех других девушек были, и они постоянно говорили о них и хвастались ими! И я заметила, что из-за этого молодые люди за ними больше ухаживали. Притом, Энди, я так шикарно выглядела в черном — ты знаешь, как мне идет черное. Потому я пошла к фотографу и купила ту карточку. А с нее заказала маленькую для медальона. И выдумала всю эту историю с графом, чтобы иметь возможность носить траур... И никто не может любить лгунов, и ты, Энди, меня разлюбишь, и я умру от стыда. О, я никого не любила, кроме тебя. Это все!

Но вместо того, чтобы ее оттолкнуть, Энди лишь еще крепче прижал ее к себе. Она взглянула на него и увидела над собой улыбающееся, просветленное лицо.

— Ты мог бы... ты мог бы простить меня, Энди?

— Конечно, — сказал Энди. — Теперь все в порядке. Пусть граф отправляется на кладбище. Ты все теперь выяснила, Мэгги. Я так и надеялся, что ты сделаешь это до свадьбы.

— Энди, — сказала Мэгги с робкой улыбкой, после того как она уверилась в полном прощении, — ты поверил всей этой истории о графе?

— Ну, как сказать... не особенно! — сказал Энди, вынимая свой портсигар. — Потому что в медальоне у тебя был портрет Майка Селливана.

Страна иллюзий

Перевод Э. Бродерсон

Грэнджер, редактор журнала «Doe's Magazine», опустил крышку на своем конторском столе, надел шляпу, вышел на площадку лестницы, нажал кнопку и стал ожидать лифта.

Сегодня был для него очень утомительный день. Издатель несколько раз покушался на доброе имя журнала, пытаясь принять совершенно неприемлемые рукописи. Между прочим, какая-то дама, известная только тем, что ее дедушка сражался с Мак-Клеллэном, лично принесла ему целый портфель своих стихов.

Кроме прямых обязанностей, на Грэнджера было возложено попечение о всех знаменитостях, принимающих участие в журнале. Так, сегодня он угостил завтраком одного полярного исследователя, одного известного писателя — специалиста по мелким новеллам — и знаменитого романиста, автора криминальных романов. Вследствие этого в его мозгу перемешались ледяные горы, Мопассан и загадочные убийства.

В таких случаях он отводил душу в обществе богемы. И сегодня он решил поискать там отдыха и развлечений и первым делом захватить к Мэри Адриан, которая рецензировала книги в их журнале.

Полчаса спустя он входил в подъезд дома, в котором были небольшие квартиры и который носил громкое название «Idealia».

Швейцар доложил по домашнему телефону о приходе Грэнджера таким вялым тоном, что звук по инерции должен был бы непременно упасть обратно в швейцарскую. Однако доклад швейцара все же поднялся наверх и достиг ушей мисс Адриан. Мистера Грэнджера, конечно, просили пожаловать, и он поднялся наверх.

Прислуга-негритянка открыла ему дверь. Грэнджер вошел в узкую переднюю. Из-за дверей показались пышные волосы цвета умбры и зеленоватые глаза цвета морской волны. Длинная белая обнаженная рука высунулась из щели и преградила путь.

— Как я рада, что пришли вы, Рикки, а не кто-нибудь другой, — сказала собственница глаз. — Закурите папиросу и дайте ее мне. Хотите пригласить меня к обеду? Великолепно. Проходите в первую комнату, пока я кончу свой туалет. Но не садитесь на ваше любимое кресло — оно все в пирожном. Капельман запустил вчера вечером в Ривса сладким пирогом в то время, как тот декламировал, но попал не в Ривса, а в кресло. Софи сейчас приберет комнату. Вы раскурили папиросу? Спасибо. На камине пунш — ах, нет, его там нет — там шартрез. Попросите Софи разыскать его вам. Я скоро к вам выйду.

Грэнджер благополучно избег кресла с пирожным и уселся на другое. Во время ожидания его настроение еще более упало. Атмосфера комнаты была тяжелая. Остатки вчерашнего пиршества были разбросаны по всей комнате и лежали в самых невероятных местах. Растрепанный букет темно-красных роз в банке из-под варенья наклонял головки над табачным пеплом и невымытыми рюмками. Жаровня стояла почему-то на рояле. На тетради нот, на стуле, была небрежно сложена куча сэндвичей.

Вошла Мэри, сияющая и одетая в тонкий черный крепдешин.

Сначала они отправились в кафе Андре. Так как кафе Андре единственный настоящий ресторан богемы, то мы хорошо сделаем, если последуем туда за Грэнджером и Мэри.

Хозяин этого заведения, Андре, начал свою профессиональную карьеру в качестве официанта в небольшой закусочной. Если бы вы его увидели в то время, вы назвали бы его грубияном — конечно, про себя, а не вслух, потому что он тогда мгновенно бы вас обругал. Он скопил немного денег и открыл в подвальном помещении столовую на Восьмой или Девятой улице. Андре любил выпить. Однажды в пьяном виде он объявил своим изумленным домочадцам, что он великий тибетский лама и что поэтому ему требуется большой зал для приема своих почитателей. Он перенес все столы и стулья из ресторана на двор, завернулся в красную скатерть и уселся на импровизированном троне.

Когда столующиеся начали приходить к обеду, растерявшаяся жена Андре повела гостей на двор. Между столами были протянуты веревки, и на них висело белье. Часть посетителей, поклонники богемы, приветствовали художественную обстановку восторженными возгласами одобрения и... белье оставили висеть в течение целого лета.

Когда Андре пришел в себя и увидел успех нововведения, он пошел дальше и отпечатал меню на крепко накрахмаленных манжетах, а мороженое подавал в маленьких мыльницах.

Затем он снял вывеску и выкрасил в темный цвет передний фасад дома. Если вы отправлялись туда обедать, вы должны были ощупью искать кнопку электрического звонка, чтобы позвонить. Швейцар сначала открывал небольшое отверстие в дверях, подозрительно глядел на вас и спрашивал, знакомы ли вы с сенатором Геродотом Мак-Миллиганом, из племени чикасо. Если вы были с этим господином знакомы, то вас впускали и милостиво позволяли обедать. Если же вы не были знакомы, вас тоже впускали и так же милостиво позволяли обедать. Из этого вы можете заключить, насколько строги принципы богемы.

Скопив двадцать тысяч долларов, Андре переехал в центр города, к Бродвею. Здесь мы видим его уже вежливо встречающим своих клиентов в автомобильных вуалях и брильянтах.

В одном уголке кафе есть большой круглый стол, за которым могут сидеть шестеро. К этому столу и направились Грэнджер и Мэри Адриан. Каппельман и Ривс были уже там, а также художница мисс Тукер, которая нарисовала обложку для майского номера их журнала. Была тут и миссис Посзунтер, которая не пила ничего, кроме черного кофе, так как носила траур по мужу.

Если вы, дорогие читатели, не очень утомлены и желаете ближе познакомиться с богемой, то взгляните на обстановку кафе и на его посетителей.

На стенах вы усмотрите оригинальные рисунки художников. Они придают ресторану своеобразный колорит. На большинстве рисунков изображены красивые женщины. Затем, если мы скажем «сирены и сифоны», то мы приблизительно определим атмосферу кафе.

Во-первых, я хочу познакомить вас с моим другом, мисс Мэри Адриан. Мисс Тукер и миссис Посзунтер вы уже знаете, и вот сейчас, пока она будет надевать свои длинные перчатки, я постараюсь набросать ее портрет. Возраст — что-то среднее между двадцатью семью годами и возрастом, когда уже начинают носить закрытые вечерние платья. Сильно развитое чувство товарищества. Подобный тип встречается всюду — от Сизтла до Тьера-дель-Фуэго. Темперамент, не поддающийся определению: она позволяла Ривсу сжимать ей руку после декламации своих стихов, а вместе с тем считала сдачу, когда давала ему доллар на покупки. Уменьше вести себя в обществе — семьдесят пять процентов. Нравственность — сто процентов — Мэри была одной из «принцесс» богемы. Во-первых, уже было большой смелостью называться Мэри. Вы найдете двадцать Фифи и Элоиз на одну Мэри в царстве богемы.

Перчатки уже надеты.

Мисс Тукер приняла позу, которую она решила придать фигуре на июньской обложке журнала, миссис Посзунтер слегка пожевала свои губы, чтобы они были краснее. Ривс несколько раз ощупал свой карман, чтобы убедиться, там ли его последние стихи. Каппельман украдкой следил за часами. Без десяти девять. Когда наступит ровно девять, он экспромтом сочинит рассказ. Конспект рассказа: французская девушка спрашивает своего воздыхателя: «Просил ты моей руки у моего отца в девять часов утра, как ты хотел?» — «Нет, — отвечает он, — в девять часов у меня была дуэль на рапирах в Булонском лесу». — «Трус!» — восклицает она.

Обед был заказан. Как вы, вероятно, уже знаете, настроение богемы должно соответствовать блюдам. Юмор — с устрицами; остроумие — с супом; быстрые реплики — с антремэ; хвастовство — с жарким; цитаты из Уистлера и Кипплинга — с салатом; песни — с кофе; стук по столу — с ликерами.

Между бровей мисс Адриан виднелась складка. Она свидетельствовала о сильном напряжении, требуемом для того, чтобы чувствовать себя свободно среди богемы. Каждый остроумный выпад, каждое словечко, каждая эпиграмма должны быть кстати. Нельзя было пропустить ни одной возможности выделиться. Она должна быть готова парировать каждое слово в обращенной к ней фразе. И это было необходимо делать быстро, как бы играя, руководствуясь девизом богемы «laissez faire». {«Не мешать» (фр.)} Иногда сквозь клубы дыма сюда заглядывал седой призрак старого убитого короля Приличия. Свобода здесь —

тиран, который держит всех в рабстве.

По мере того как обед приближался к концу, сотрапезники прибегали больше к перцу, чем к соли остроумия. Мисс Тукер, не забывая о деле, наклонилась через стол к Грэнджеру, опрокинув при этом свой стакан вина.

— Теперь, когда вы сыты и в хорошем настроении, — сказала она, — я желала бы дать вам идею относительно новой обложки.

— Великолечно, — сказал Грэнджер, вытирая скатерть своей салфеткой, — я поговорю об этом с официантом.

Художник Каппельман был *enfant terrible* {Ужасный ребенок (англ.)} в этом обществе. Желая выказать свое остроумие, он вскочил со стула и провальсировал по зале с одним из официантов. Этот тупой и презирающий искусство, но все-таки достойный человек постарался поскорее освободиться и вернулся, со свойственной официантам профессиональной улыбкой, к своим обязанностям, предав этот случай немедленно забвению. Ривс начал декламировать свои новые стихи. Миссис Посзунтер рассказала новеллу о мужчине, познакомившемся с вдовой в поезде. Мисс Адриан напевала шансонетку. Грэнджер сопровождал каждое выступление одобрительной улыбкой. Он душой отдыхал в их обществе. Он был счастлив. Но были ли они также счастливы? Была ли довольна своей судьбой Мэри Адриан — или это была только иллюзия, самообман? Вот вопрос, который часто всплывал у него в голове.

Метрдотель подошел к ним с поклоном и напомнил, что, к сожалению, уже настало время закрытия ресторана. Все вышли в звездную ночь, наполнив улицу веселым смехом, и унылые жители невдохновенного и нелитературного мира с завистью смотрели на них.

Грэнджер расстался с Мэри у лифта в вестибюле «Idealia».

* * *

После того как Грэнджер ушел, Мэри снова спустилась вниз, держа в руках небольшой саквояж, по телефону вызвала кеб и поехала на Центральный вокзал. Там она села в поезд, отходивший в двенадцать часов пятьдесят пять минут, проехала четыре часа, стучаясь головой о мягкую спинку дивана, и, когда уже всходило великолепное сверкающее солнце, высадилась на небольшой станции Крокусвилль.

Она прошла пешком около мили, а затем вошла во двор одного дома. В глубине стоял непритязательный коричневый коттедж. Старик с бледным лицом кальвиниста, в черном длиннополом костюме, мыл руки в жестяном рукомойнике на крыльце.

— Как поживаешь, отец? — спросила робко Мэри.

— Так, как позволяет мне это Провидение. Мать в кухне. Пройди к ней!

В кухне сухая седая женщина холодно поцеловала Мэри в лоб и указала на картофель, который еще не был очищен к завтраку. Мэри села на деревянный стул и, с трепетом в сердце, принялась чистить картофель.

К завтраку были: молитва, хлеб, картофель, ветчина и чай.

— Надеюсь, ты занимаешься в городе тем же делом, о котором ты нам время от времени писала, — сказал ее отец.

— Да, — сказала Мэри, — я все еще рецензирую книги для издательства «Doe's Magazine».

После завтрака она помогла вымыть посуду, а затем все трое уселись на стулья с прямыми спинками в уютной гостиной.

— У меня обычай, — сказал старик, — по воскресным дням читать вслух произведения великого философа и богослова Иеремии Тэйлора под названием «Защитительное слово в пользу дозволенных и установленных форм литургии».

— Я знаю это, — сказала смиренно Мэри, складывая руки.

В продолжение двух часов слова великого Иеремии раскатывались, как звуки оратории, исполняемой на виолончели. Мэри сидела неподвижно, с радостью ощущая мучительную

физическую боль от деревянного стула. Может быть, ни одно счастье в жизни не сравнится со счастьем мученика. Минорные аккорды Иеремии ее убаюкивали, как музыка там-тама. «О, зачем, — подумала она про себя, — никто не сочинит к ним текста?»

В одиннадцать часов они пошли в церковь в Крокусвилл. Проповедник, заметив ее, призывал все грома небесные на ее голову. По обе ее стороны сидели непоколебимые родители и сурово наблюдали за происходящим над ней судом. Муравей прополз по ее шее, но Мэри не посмела шевельнуться. Она опускала глаза перед собранием молящихся — этим стооком цербером, охраняющим ворота, в которые ее проталкивали ее грехи.

Ее душа была полна почти фанатической радости, потому что она вырвалась из когтей тирана — свободы. Догмат и вера сковали ее с такой благодетельной жестокостью, как стальной бандаж охватывает ноги искалеченного ребенка. Ее загнали в тупик, запугали, сковали, надели на нее смирительную рубашку, привели к молчанию, застрашали. Когда они вышли из церкви, пастор остановился, чтобы поздороваться с ними. Мэри смиренно опускала голову и на все его вопросы отвечала только «да, сэр»; «нет, сэр». Когда она увидела, что другие женщины прижимали молитвенники к груди левой рукой, она покраснела и быстро переложила свой молитвенник из правой руки в левую.

С трехчасовым поездом она вернулась обратно в Нью-Йорк. В девять она сидела за круглым столом в кафе Андре. Здесь собралось почти то же общество.

— Где вы были сегодня? — спросила мисс Посзунтер. — Я звонила вам в двенадцать, и вас не было дома.

— Я была далеко — в богеме, — ответила Мэри с мистической улыбкой.

Ну, вот! Мэри меня подвела. Она испортила нарастание моей темы. Я хотел бы вам сказать, что богема не что иное, как страна иллюзий, в которой вы не живете. Если вы пытаетесь приобрести в ней права гражданства, то немедленно весь двор и свита собирают свой архив и сокровища и удаляются от вас куда-то в горы.

Ровно в половине двенадцатого Каппельман, введенный в заблуждение необычной мягкостью и медленностью речи Мэри Адриан, пытался поцеловать ее. В то же мгновение она ударила его по лицу с такой силой и яростью, что он отскочил, отрезвленный, с пылающим красным отпечатком руки на растерянном лице. Все встрепенились, как будто тень огромных крыльев вспугнула стаю чирикающих воробьев. Кто-то нарушил главный закон богемы, гласящий «Laisser faire». Пощечина произвела эффект школьного учителя, вошедшего в класс расшалившихся учеников. Женщины опустили свои рукава и пригладили растрепавшиеся прически. Мужчины взглянули на часы. Не последовало никакой ссоры. Это просто была молчаливая паника, вызванная появлением полисмена — Совести, который постучал в двери игорного дома — Сердца. В то время как они медленно надевают свои пальто, делая вид, будто ничего не случилось, и бормочут непривычные для них официальные приветствия, я должен распроститься с моей компанией богемы.

* * *

Впечатление каждого рассказа может быть ослаблено, если осветить его с другой стороны. Вот это-то я теперь и хочу сделать.

Минни Браун со своей теткой приехала из Крокусвилля в Нью-Йорк, чтобы посмотреть город. Ввиду того что в июле месяце, когда я жил в их деревне, Минни водила меня к безрыбным ручьям и сломала мой фотографический аппарат, я должен был показать ей все достопримечательности Нью-Йорка.

В особенности ее очаровала богема. Она была поражена и восхищена, сколько остроумия можно почерпнуть в вине.

Однажды вечером я прочел ей рукопись этого рассказа, который тогда кончался без этого добавления, и спросил ее мнение.

— Я не совсем запомнила время отхода поезда, — сказала она. — Сколько времени была

Мэри в Крокусвилле?

— Десять часов и пять минут, — ответил я.

— В таком случае конец правдивый, — сказала Минни. — Но если бы она оставалась там неделю, Каппельман получил бы не пощечину, а поцелуй.

На пароме

Перевод Э. Бродерсон

На углу улицы, в потоке людского прилива и отлива, стоял человек из Номи — человек, твердый, как гранит. Полярное солнце и ветры окрасили его лицо в темно-коричневый цвет. Его глаза сохраняли лазурный отблеск ледников.

Он был живой, как лисица, жесткий, как котлета из канадского оленя, и такой же громадный, как северное сияние. Он стоял, обрызганный Ниагарой звуков — грохотом надземной железной дороги, шумом автомобилей, стуком колес и переругиваниями кучеров и ломовых. Превратив золотой песок, добытый на севере, в кругленькую сумму в сто тысяч долларов и вкусив в течение недели нью-йоркской жизни, человек из Номи невольно вздохнул при мысли о необходимости снова вернуться в Чилкут, в страну, далекую от уличного шума и яблочных пирожных.

Вверх по Шестой авеню, вместе с потоком быстро идущих, болтающих, веселых, спешащих домой людей, шла девушка со своей службы из магазина Зибер-Мэзона. Человек из Номи невольно обратил на нее внимание, так как она ему показалась необыкновенно красивой. Затем он заметил, что она шла с такой уверенной грацией, с какой бегут влекомые собаками полярные сани по гладкой снежной поверхности. Все это, вместе взятое, возбудило в нем страстное желание обладать ею, — так быстро возникают желания в людях из Номи. Кроме того, он через короткое время должен был возвратиться на север, и поэтому было необходимо как можно скорее привести свое желание в исполнение.

Сотни девушек из огромного универсального магазина Зибер-Мэзона шли по тротуару. Они представляли несомненную опасность для мужчин, которые в продолжение многих лет не видели других женщин, кроме индианок. Но человек из Номи остался верен той, которая пробудила дремавшее в нем чувство. Он окунулся в поток и последовал за ней.

Она быстро скользила по Двадцать третьей улице, не оглядываясь по сторонам и кокетничая не больше, чем мраморная статуя Дианы. Ее красивые каштановые волосы были аккуратно уложены; ее чистая блузка и аккуратно выглаженная черная юбка говорили о ее вкусе и экономии. В двадцати футах за ней следовал человек из Номи, воспламененный страстью.

Мисс Клэрибель Кольби, девушка из магазина Зибер-Мэзона, жила на острове Джерсей. Она вошла на пристань и быстрой, удивительно красивой походкой добежала до парома, который как раз двинулся с места. Человек из Номи покрыл отделяющие его двадцать футов в три прыжка и вскочил на паром сразу вслед за ней.

Мисс Кольби заняла уединенное местечко у перил парома. Ночь была теплая, и она желала скрыться от любопытных взоров и назойливых разговоров пассажиров. Кроме того, ей необычайно хотелось спать, и она чуть не падала от усталости. Накануне она всю ночь протанцевала на ежегодном балу в клубе приказчиков оптовых рыбных складов и не успела выспаться, так как ей нужно было в обычное время быть на службе.

К тому же день выдался необычайно беспокойный. Покупатели были как-то особенно придиричивы и надоедливы, ее лучшая подруга, Мэми Тетхил, обидела ее тем, что пошла завтракать с другой служащей.

Девушка из магазина Зибер-Мэзона была в том размягченном настроении, которое часто овладевает самостоятельными служащими девушками. Это настроение наиболее благоприятно для мужчин, которые собираются ухаживать за ними. В такие моменты девушки жаждут перемен в надоевшей им будничной жизни. Они жаждут утешения, поддержки,

сильной руки и покоя, покоя. Мисс Клэрибель Кольби к тому же очень хотела спать.

И вот к ней подошел сильный мужчина с обветренным коричневым лицом, хорошо, но немного небрежно одетый, со шляпой в руке.

— Леди, — сказал человек из Номи почтительно, — простите меня, что я обращаюсь к вам, но я... я видел вас на улице и...

— Отстаньте, пожалуйста, — проговорила девушка, взглянув на него со всей холодностью, на которую она была способна. — Неужели нет возможности отделаться от вечных приставаний? Я уж все перепробовала, — и ела лук, и носила длинные булавки для шляп. Ступайте своей дорогой, сэр!

— Я не из таких, леди, — сказал человек из Номи, — честное слово, нет. Как я вам сказал, я увидел вас на улице и я так страстно пожелал познакомиться с вами, что не мог поступить иначе, как последовать за вами. Я боялся, что если с вами не заговорю, то я вас никогда больше не увижу в этом большом городе. Вот почему я к вам подошел.

Мисс Кольби пристально посмотрела на него при тусклом освещении парома. У него не было приторной улыбки или бесстыдного нахальства уличных соблазнительей. Сквозь его полярный загар светилась искренность и скромность. Она почувствовала к нему некоторое доверие и сказала, вежливо скрывая зевок рукой:

— Вы можете сесть, но помните, если вы себе позволите какие-нибудь вольности, я немедленно позову сторожа парома.

Человек из Номи уселся около нее. Он восхищался ею, — он более чем восхищался ею. Она совершенно подходила к его идеалу женщины, который он так долго и тщетно искал до настоящего времени. Сможет ли она когда-нибудь полюбить его? Это нужно было узнать. Во всяком случае, он должен сделать все, что было в его силах, чтобы ближе познакомиться с нею.

— Меня зовут Блэйден, — сказал он. — Генри Блэйден.

— Вы вполне уверены, что не Джонс? — спросила девушка с восхитительной насмешкой, наклонившись к нему.

— Я из Номи, — продолжал он серьезно. — Я там наскреб довольно много песочку и привез его с собой.

— Скажите пожалуйста, как интересно! — засмеялась она, продолжая насмехаться. — Значит, вы недавно приехали? А я думала, что я вас где-то видела.

— Вы видели меня сегодня на улице, когда я увидел вас.

— Я никогда не смотрю на мужчин на улице.

— А я смотрел на вас; и я никогда не видел до сих пор такой хорошенькой девушки, как вы. Я полагаю, что вы считаете меня грубым человеком, но я могу быть очень нежным с теми, кого я люблю. Я пережил тяжелое время там, на севере, но теперь я добился своего. Я промыл почти пять тысяч унций песку.

— Господи! — с участием воскликнула мисс Кольби. — Разве он был такой грязный?

А затем ее глаза сомкнулись. Голос человека из Номи, благодаря своему серьезному тону, звучал монотонно. Кроме того, как скучно было разговаривать о песке! Она прислонилась головой к столбу.

— Мисс, — сказал человек из Номи с еще большей серьезностью и монотонностью, — я никогда не встречал никого, кто бы мне так нравился, как вы. Я знаю, что вы не можете меня сразу полюбить, но не можете ли вы хотя бы дать мне надежду? Не позволите ли вы мне ближе познакомиться с вами? Тогда, может быть, вы полюбите меня!

Голова девушки тихо скользнула и легла на его плечо. Сладкий сон охватил ее, и ей снился восхитительный бал приказчиков оптовых рыбных складов.

Джентльмен из Номи не обнял ее. Ему в голову не приходило, что она спит, но он был слишком умен, чтобы приписать это движение капитуляции. Радостный трепет пробежал по его телу, но он смотрел на ее жест как на поощрительный, как на предвестник его успеха.

Его радость была омрачена только одним обстоятельством: не говорил ли он слишком открыто о своем богатстве? Он хотел, чтобы любили его, а не его деньги.

— Я хочу сказать, мисс, — сказал он, — что вы можете полагаться на меня. Меня знают по всему Клондайку и вдоль всего Юкона. Много бессонных ночей провел я там, на севере. Как невольник, я проработал три года и задавал себе вопрос, встречу ли я когда-нибудь женщину, которая меня полюбит? Мне не нужен был этот песок для себя. Я думал, что встречу когда-нибудь девушку, о которой всегда мечтал, и вдруг сегодня это случилось! Очень хорошо иметь деньги, но добиться любви той, которую любишь, гораздо лучше. Если бы вы захотели выбрать себе мужа, мисс, что вы желали бы, чтобы он имел?

— Деньги в кассу!

Громко и резко сорвалось это слово с уст мисс Кольби. Очевидно, она во сне видела себя за прилавком большого универсального магазина Зибер-Мэзона.

Ее голова внезапно качнулась в сторону. Она проснулась, выпрямилась и протерла глаза. Человек из Номи пропал...

— Вот тебе на! Кажется, я уснула, — сказала мисс Кольби. — Интересно, куда делся незнакомец?

Рассказ грязной десятки

Перевод Е. Коротковой

Деньги говорят. Но вы, может быть, думаете, что в Нью-Йорке голос старенькой десятидолларовой бумажки звучит еле слышным шепотом? Что ж, отлично, пропустите, если угодно, мимо ушей рассказанную *sotto voce* {*Вполголоса (ит.)*} автобиографию незнакомки. Если вашему слуху милей рев чековой книжки Джона Д.,⁶⁴ извергаемый из разъезжающего по улицам мегафона, дело ваше. Не забудьте только, что и мелкая монета порой не лезет за словом в карман. Когда в следующий раз вы подсунете лишний серебряный четвертак приказчику из бакалейной лавки, дабы он с походом отвечивал вам хозяйское добро, прочтите-ка сперва слова над головкой дамы.⁶⁵

Колкая реплика, не правда ли?

Я — десятидолларовая ассигнация выпуска 1901 года. Вы, возможно, видали такие в руках у кого-нибудь из ваших знакомых. На лицевой стороне у меня изображен бизон американский, ошибочно называемый буйволом пятьюдесятью или шестьюдесятью миллионами американцев. По бокам красуются головы капитана Льюиса и капитана Кларка. С тыльной стороны в центре сцены стоит, грациозно взгромоздившись на оранжерейное растение, то ли Свобода, то ли Церера, то ли Мэксин Эллиот.⁶⁶

За справками обо мне обращайтесь: параграф 3. 588, исправленный устав. Если вы вздумаете разменять меня, дядюшка Сэм выложит вам на прилавок десять звонких полновесных монет — право, не знаю, серебряных ли, золотых, свинцовых или железных.

Рассказываю я немного сбивчиво, вы уж простите — прощаете? Я так и знала, благодарю — ведь даже безымянная купюра вызывает такой раболепный трепет, стремление угодить, не правда ли? Понимаете, мы, грязные деньги, почти начисто лишены возможности шлифовать свою речь. Я отродясь не встречала образованного и воспитанного человека, у которого десятка задержалась бы на больший срок, чем требуется для того, чтобы добежать до ближайшей кулинарной лавки. Для шестилетней у меня весьма изысканное и оживленное обращение. Долги я отдаю так же исправно, как провожающие покойника в последний путь. Каким только хозяйевам я не служила! Но и мне однажды довелось признать свое невежество,

⁶⁴ Джон Д. — так сокращенно называли Рокфеллера-младшего, одного из крупнейших капиталистов США.

⁶⁵ На оборотной стороне американских монет стоят слова: «На Бога уповаем».

⁶⁶ Мэксин Эллиот — американская актриса.

и перед кем? Перед старенькой, потрепанной и неопрятной пятеркой — серебряным сертификатом. Мы повстречались с ней в толстом, дурно пахнущем кошельке мясника.

— Эй ты, дочь индейского вождя, — говорю я, — хватит охать. Не понимаешь разве, что тебя уже пора изымать из обращения и печатать заново? Выпуск всего лишь 1899 года, а на что ты похожа?

— Ты, видно, думаешь, раз ты бизонша, так тебе положено без умолку трещать, — отозвалась пятерка. — И тебя бы истрепали, если бы держали целый день под фильдеперсом и подвязкой, когда температура в магазине ни на градус не опускается ниже восьмидесяти пяти.

— Не слыхивала о таких бумажниках, — сказала я. — Кто положил тебя туда?

— Продавщица.

— А что такое продавщица? — вынуждена была я спросить.

— Это уж ваша сестра узнает не раньше, чем для их сестры наступит золотой век, — ответила пятерка.

Но тут из-за моей спины подала голос двухдолларовая банкнота с головой Джорджа Вашингтона.

— Ишь, барыня! Ей фильдеперс не по душе. А вот засунули бы тебя за хлопчатобумажный, как сделали со мной, да донимали весь день фабричной пылью, так что даже расчихалась эта намалеванная на мне дамочка с рогом изобилия, что бы ты тогда запела?

Этот разговор состоялся на следующий день после моего прибытия в Нью-Йорк. Меня прислал в бруклинский банк один из их пенсильванских филиалов в пачке таких же, как я, десяток. С тех пор мне так и не пришлось свести знакомство с кошельками, в каких побывали мои пятидолларовая и двухдолларовая собеседницы. Меня прятали только за шелковые.

Мне везло. Я не засиживалась на месте. Иногда я переходила из рук в руки раз по двадцать в день. Мне была знакома изнанка каждой сделки; о каждом удовольствии моих хозяев опять-таки радела я. По субботам меня неизменно шваркали на стойку. Десятки всегда шваркают, а вот банкноты в доллар или два складывают квадратиком и скромно пододвигают к бармену. Постепенно я вошла во вкус и норовила либо нализаться виски, либо слизнуть со стойки расплескавшийся там мартини или манхэттен. Как-то ездивший с тележкой по улице разносчик вложил меня в пухлую засаленную пачку, которую носил в кармане комбинезона. Я думала, мне уж придется позабыть о настоящем обращении, поскольку будущий владелец универсального магазина жил на восемь центов в день, ограничив свое меню мясом для собак и репчатым луком. Но потом разносчик как-то оплошал, поставив свою тележку слишком близко от перекрестка, и я была спасена. Я до сих пор благодарна полисмену, который меня выручил. Он разменял меня в табачной лавочке поблизости от Бауэри, где в задней комнате велась азартная игра. А вывез меня в свет начальник полицейского участка, которому самому в этот вечер везло. Днем позже он меня пропил в ресторанчике на Бродвее. Я также искренне порадовалась возвращению в родимые края, как кто-нибудь из Асторов, когда завидит огни Чаринг-Кросса.

Грязной десятке не приходится сидеть без дела на Бродвее. Как-то раз меня назвали алиментами, сложили и упрятали в замшевый кошелек, где было полно десятицентовиков. Они хвастливо вспоминали бурный летний сезон в Осининге, где три хозяйкины дочери то и дело выуживали какую-нибудь из них на мороженое. Впрочем, эти младенческие кутежи просто бури в стакане воды, если сравнить их с ураганами, которым подвергаются купюры нашего достоинства в грозный час усиленного спроса на омары.

О грязных деньгах я услышала впервые, когда очаровательный юнец Ван Кто-то-там швырнул меня и несколько моих подружек в уплату за пригоршню фишек

Около полуночи разухабистый и дюжий мальчик с жирным лицом монаха и глазами дворника, только что получившего надбавку, скатал меня и множество других банкнот в тугой рулон — «кусок», как выражаются загрязнители денег.

— Запиши за мной пять сотен, — сказал он банкometу, — и пригляди, чтобы все было как следует, Чарли. Хочется мне прогуляться по лесистой долине, пока на скалистом обрыве

играет свет луны. Если кто-нибудь из наших влипнет — имей в виду, в левом верхнем отделении моего сейфа лежат шестьдесят тысяч долларов, завернутые в юмористическое приложение к журналу. Держи нос по ветру, но не бросай слов на ветер. Пока.

Я оказалась между двух двадцаток — золотых сертификатов. Одна из них сказала мне:

— Эй ты, «новенькая» старушка, повезло тебе. Увидишь кое-что занятное. Сегодня Старый Джек собирается превратить весь «Бифштекс» в крошево.

— Объясните попонятней, — говорю я. — Звучит все это очень интересно, но я неважно разбираюсь в кулинарии.

— Прошу прощения, — отвечает двадцатка. — Старый Джек — владелец этого игорного притона. Сегодня он кутит напропалую: дело в том, что он хотел пожертвовать на церковь пятьдесят тысяч, а у него их отказались взять, потому что, как ему объяснили, деньги эти грязные.

— Что такое церковь? — спрашиваю я.

— Ох, я и забыла, что говорю с десяткой, — отвечает она. — Откуда же вам знать. Для церковной кружки вы крупноваты, для благотворительного базара слишком мелки. Церковь — это такой большой дом, где перочистки и салфеточки продают по двадцать долларов за штуку.

Я не любительница точить лясы с золотыми сертификатами. Молчание — золото. Опять же, не все то золото, что брызжит.

Зато Старый Джек и впрямь был парень золотой. Когда наступало время раскошелиться, он не вынуждал официанта бегать за полисменом.

Мало-помалу пронесся слух, что Джек исторгает питье для всех жаждущих из камня в безводной пустыне; и все бродвейские молодчики с железной хваткой и лужеными желудками рысью пустились по нашему следу. Не жизнь, а Третья Книга Джунглей — только обложки не хватало. Деньги Старого Джека, возможно, были и не первой свежести, зато его счета на первосортный камамбер росли с каждой минутой. Сперва его осаждали друзья; затем к ним присоединились шапочные знакомые друзей; затем кое-кто из его недругов закурил трубку мира; а под конец он закупал сувениры для такого множества неаполитанских рыбацек и всяких баядерок, что метрдотели, устремившись к телефону, умоляли полицию прислать кого-нибудь и навести хоть какой-то порядок.

И наконец, мы заплыли в кафе, с которым меня связывало тесное знакомство. Когда содружество грузчиков в белых передниках и куртках углядело нас на пороге, главный отшибала этой футбольной команды отдал распоряжение, и все они надели защитные маски, пока не выяснится, затеваем мы Порт-Артур или Портсмут.⁶⁷

Но Старый Джек не настроен был в этот вечер поощрять деятельность мебельных и стекольных фабрик. Он сидел смирно и уныло напевал «Прогулку». Уязвлен в самое сердце, сказала мне двадцатка, тем, что церковь не приняла его пожертвования.

Кутеж, однако, шел своим чередом, и сам Брэди не сумел бы лучше поставить массовую сцену поглощения искристой жидкости, которая исторгается из обернутой салфеткою бутылки.

Старый Джек заказал всем еще по одной, расплатился моей соседкой, и сверху пачки оказалась я. Он положил пачку на стол и послал за хозяином.

— Майк, — сказал он. — От этих денег отказались хорошие люди. Возьмете их, дьявола ради, за свой товар? Мне сказали, они грязные.

— Возьму, — говорит Майк, — и положу их в ящик рядом с банкнотами, уплаченными дочке священника за благочестивые поцелуи на церковном базаре, затеянном, чтобы еще в одном приходе построить дом, где поселится дочка священника.

В час ночи, когда грузчики собирались отгородить от нового притока посетителей зал,

⁶⁷ Порт-Артур — место нападения японских эсминцев на русскую эскадру в начале русско-японской войны; Портсмут (в США) — место подписания в 1905 г. мирного договора между Россией и Японией.

где все текло по-прежнему, в дверь вдруг шмыгает какая-то женщина и подходит к столику Старого Джека. Вы, конечно, видали таких — черная шаль, нечесанные космы, обтрепанная юбка, бледное лицо, а глаза как у архангела Гавриила и в то же время как у хворого котенка — словом, одна из тех женщин, которые всегда озираются, опасаясь то ли автомобиля, то ли патруля, охраняющего город от нищих, — и эта женщина, не говоря ни слова, останавливается возле нас и глядит на деньги.

Старый Джек встает, отделяет меня от пачки и с поклоном протягивает женщине.

— Мадам, — говорит он точь-в-точь как актеры, которых мне довелось слышать, — вот грязная купюра. Я — игрок. Эта купюра досталась мне сегодня от юноши из благородной семьи. Как он заполучил ее, не знаю. Если вы окажете мне честь принять ее, она ваша.

Женщина взяла меня дрожащими пальцами.

— Сэр, — сказала она, — я пересчитывала и укладывала в пачки тысячи купюр этого достоинства, когда они безупречно чистыми сходили с печатного станка. Я работала в казначействе. Один служащий казначейства устроил меня туда. Вы говорите, сейчас они грязные. Если бы вы знали... но я ничего не скажу. Благодарю вас от всего сердца, сэр, благодарю вас... благодарю.

Куда, вы думаете, она потащила меня чуть ли не бегом? В булочную. От Старого Джека, с которым мы так весело кутили, и в булочную! Там она меня разменяла и выдала рекордный кросс с дюжиной булок и ломтем сладкого рулета величиной с колесо турбины. Я, конечно, тут же потеряла ее из виду, густая белая пыль из пекарни засыпала меня, и я лишь думала: где-то меня разменяют завтра — в аптеке или в строительной конторе?

Неделю спустя я столкнулась с одной из долларовых бумажек, которыми булочник сдал той женщине сдачу.

— Привет, E-35039669, — говорю я. — Это не вами ли в прошлую субботу выплачивали с меня сдачу?

— Угу, — отвечает эта солистка со свойственным ей красноречием и светским лоском.

— А как развивались события дальше? — спросила я.

— E-17051431 она промотала на молоко и бифштекс, — отвечает стоцентовка. — А меня держала до тех пор, пока к ней не пришел сборщик квартирной платы. Комната у нее — настоящая дыра, а в ней больной мальчонка. Но видели бы вы, как он набросился на хлеб и на пирог с замазкой. Он, наверно, просто с голоду помирал. Потом мамаша начала молиться. Вам, десяткам, не стоит драть перед нами нос. За то время, что вы слышите одну молитву, мы, однодолларовые, слышим десять. Она что-то говорила вроде «кто дает бедным...». Э, прекратим этот трущобный разговор. Мне опротивело тереться в нищенской компании. Я бы не прочь настолько поукрупнеть, чтобы войти в то общество, где обращаетесь вы — грязные купюры.

— Заткнись, — отвечаю я. — Таких нет. Я ведь знаю ту молитву до конца. «Тот дает в долг Господу», — говорится там дальше. А теперь взгляни-ка мне на спину и прочти, что там написано?

— «Подлежит обязательному приему по номинальной стоимости при погашении всех казенных и частных долгов».

— Ну вот и хватит, — говорю я. — Опротивела мне эта болтовня о грязных деньгах.

Эльза в Нью-Йорке

Перевод Э. Бродерсон

Для неопытной молодежи улицы и все вообще пути Нью-Йорка полны ловушек и силков. Но охранители нравственности ознакомились с кознями нечестивых, и большинство опасных путей охраняются специальными агентами. Последние всячески стараются отстранить от молодежи опасность, которая ей ежеминутно угрожает. Этот рассказ вам покажет, как

благополучно они провели мою Эльзи через все опасности к той цели, к которой она стремилась.

Отец Эльзи был закройщиком в магазине верхних вещей Фокса и Оттера, помещающегося на Бродвее. Он был уже стар и уже не мог быстро ходить по шумным улицам Нью-Йорка. Однажды неопытный шофер сшиб его с ног за неимением другой, более интересной, жертвы. Старика привезли домой, где он пролежал около года и умер, оставив два с половиною доллара наличными деньгами и письмо от мистера Оттера, обещающего сделать все, что было в его силах, чтобы придти на помощь верному, старому служащему. Старый закройщик смотрел на это письмо, как на ценное наследство, оставляемое им своей дочери, и он с гордостью вручил его ей, когда ножницы судьбы перерезали нить его жизни.

Затем на сцену выступил квартирохозяин и принял участие в ликвидации имущества. К сожалению, для полной иллюзии не было снежной вьюги, как в старых романах, чтобы Эльзи могла тайком уйти из дома, кутая свои плечи в небольшую дырявую шаль. Тем не менее Эльзи все-таки ушла из дома, не обращая внимания на неподходящую декорацию. Светло-коричневое пальто Эльзи стоило дешево, но оно имело покррой лучших моделей Фокса и Оттера. А природа, со своей стороны, щедро наградила ее красивой наружностью, голубыми невинными глазами и одним долларом, уцелевшим из отцовского наследства. Кроме этого, у нее было письмо мистера Оттера! В нем вся загвоздка. Я желаю, чтобы в моем рассказе все было ясно. Детективных рассказов развелось так много, что их уже никто не хочет читать.

Итак, мы видим Эльзи готовой отправиться в свет искать счастья. Относительно письма мистера Оттера была одна неприятность — в нем не был указан новый адрес фирмы, которая переехала около месяца тому назад в новое помещение. Но Эльзи думала, что она сможет узнать его. Она слышала, что если к полисменам вежливо обратиться, они иногда дают сведения и указывают адреса. Таким образом, она села в трамвай на Сто семьдесят седьмой улице и доехала до Сорок второй. Эта улица, как она думала, должна была находиться на окраине города. Здесь она в нерешительности остановилась на перекрестке, так как шум и суетня ошеломили ее. До сих пор она жила в предместье Нью-Йорка — так далеко от города, что по утрам ее будили молочницы, везущие молоко в город.

Загорелый молодой человек, с приятным лицом, в мягкой шляпе, шел мимо Эльзи в центральное депо. Это был Хэнк Росс с ранчо «Подсолнечник» в Айдахо. Он приехал погостить в Нью-Йорк и теперь возвращался домой. На сердце Хэнка было тяжело — ранчо «Подсолнечник» было очень уединенным местом, и в нем чувствовалось отсутствие женщин. Он надеялся найти во время своего пребывания в городе девушку, которая согласилась бы разделить с ним его дом и состояние, но ни одна девушка в Нью-Йорке не пришлась ему по вкусу. Но вот, проходя сейчас по улице, он заметил с радостным трепетом прелестное наивное личико Эльзи и ее нерешительную позу, выражавшую сомнение и одиночество. С решительностью, свойственной людям Запада, он подумал: вот подходящая подруга жизни!

Он уже чувствовал, что он полюбит ее и окружит ее таким комфортом и так будет ее любить, что она будет счастлива.

Хэнк повернул обратно и пошел по направлению к ней. Так как намерения его были честны, он уверенно подошел к девушке, снял свою мягкую шляпу. Робкий взгляд Эльзи не успел еще заметить красивое, открытое лицо молодого человека, как дюжий полисмен бросился на фермера, схватил его за шиворот и оттащил в сторону. Полисмен был так возмущен поведением фермера, что даже не заметил, как в нескольких шагах от него грабитель вышел из подъезда с целым мешком на плече.

— Как вы смеете, сэр, на моих глазах разыгрывать комедию? — заорал полисмен. — Я проучу вас приставать на улице к молодым девушкам! Ступайте подобру-поздорову!

Эльзи со вздохом отвернулась, когда молодого фермера оттащили от нее. Ей понравились его светло-голубые глаза на загорелом лице.

Она перешла улицу, думая, что уже находится в том районе, где работал ее отец. Она надеялась найти кого-нибудь, кто бы мог указать ей фирму Фокса и Оттера.

Насколько сильно было у нее желание отыскать мистера Оттера, мы, конечно, не знаем.

Знаем только, что от своего отца она унаследовала дух независимости и что ей гораздо приятнее было бы найти себе работу, не обращаясь за помощью к мистеру Оттеру.

Эльзи увидела вывеску «Бюро для найма служащих» и вошла туда. Вдоль стены на стульях сидело много девушек. Несколько хорошо одетых дам разглядывали их. Старая леди с симпатичным лицом, белыми волосами и в шуршащем черном шелковом платье подошла к Эльзи.

— Дорогая моя, — сказала она приятным голосом, — вы ищете места? Мне очень нравится ваше лицо и ваша внешность. Мне нужна девушка, которая, на правах компаньонки, могла бы помочь мне по хозяйству. У вас будет уютная комната, и я буду платить вам тридцать долларов в месяц.

Не успела Эльзи выразить свою благодарность и согласие на предложение старой леди, как ее схватила за руку какая-то женщина с золотым пенсне на носу и оттащила ее в сторону.

— Я — мисс Тикльбаум, — сказала она, — член «Общества охраны девушек, ищущих труда». На прошлой неделе мы воспрепятствовали сорока семи девушкам поступить на места! Я дежурю здесь специально для этого. Я должна предупредить и вас. Остерегайтесь всякого, кто предложит вам место. Разве вы можете знать, не захочет ли эта женщина заставить вас работать, как рудокопа в угольной шахте, или даже убить вас, чтобы воспользоваться вашими чудными зубами. Ведь она же может быть зубным врачом! Если вы согласитесь принять какую бы то ни было работу без позволения нашего общества, вы будете арестованы одним из наших агентов.

— Но что же мне делать? — сказала Эльзи. — У меня нет ни дома, ни денег. Мне нужно заработать на хлеб. Почему мне не позволяют принять предложение этой симпатичной леди?

— Я не знаю, — сказала мисс Тикльбаум. — Это дело нашего комитета. Моя обязанность вас предупредить. Вы мне дадите ваше имя и адрес и будете являться в нашу канцелярию каждый четверг. У нас записано шестьдесят девушек, которые ждут очереди и которым в свое время позволят принять места, по мере того, как откроются вакансии в нашем списке квалифицированных работодателей. Их теперь значится уже двадцать семь. Каждое воскресенье в нашем обществе происходят молитвенные собрания, затем концерт и угощение лимонадом, вход свободный.

Эльзи поспешила уйти, поблагодарив мисс Тикльбаум за своевременное предупреждение и совет. Ей, конечно, ничего другого не оставалось, как попытаться найти мистера Оттера.

Но, пройдя несколько домов, она увидела в окне кондитерской объявление: «Требуется кассирша». Она вошла, бросив предварительно быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что член «Общества охраны девушек, ищущих труда» не следит за ней.

Владелец кондитерской был добродушный старик. Расспросив Эльзи довольно подробно, он решил, что она подойдет для работы кассирши. В ее услугах нуждались сразу же, и довольная Эльзи, сняв пальто, начала уже усаживаться на стул перед кассой. Но раньше, чем ей это удалось сделать, перед ней появилась сухоощавая леди с стальными очками. Подняв палец, леди воскликнула: «Девушка, остановись!»

Эльзи поднялась.

— Знаете ли вы, — сказала леди, — что, поступая на это место, вы можете сегодня вызвать гибель сотни жизней в страшных физических муках и обречете столько же душ на вечную гибель?

— Нет, не знаю, — испуганно сказала Эльзи. — И не могу себе представить, как это может произойти!

— Ром, — сказала леди, — дьявольский напиток! Знаете ли вы, почему так много людей погибает, когда в театре случается пожар? Конфеты, выделяемые из рома, представляют страшную опасность в пожарном отношении. Наши светские женщины, сидя в театре, пьянеют, кушая конфеты, наполненные ромом. Когда возникает пожар, они не в состоянии бежать, так как моментально вспыхивают. Магазины, торгующие конфетами, дьявольское наваждение. Если вы способствуете продаже этих коварных конфет, то способствуете гибели

души и тела вашего ближнего. Подумайте, девушка, прежде чем прикоснуться к деньгам, которые вам платят за эти дьявольские конфеты!

— Боже мой! — сказала растроганно Эльзи. — Я не знала, что эти конфеты содержат ром. Но мне нужно же на что-нибудь жить! Что мне делать?

— Отказаться от места, — сказала леди, — и пойти со мной. Я скажу вам, что делать.

Заявив владельцу кондитерской, что она передумала насчет места, Эльзи надела пальто и вышла с леди на улицу, где ожидал ее элегантный экипаж.

— Ищите какой-нибудь другой работы, — сказала леди, — и помогайте раздавить многоголовую алкогольную гидру.

И с этими словами она села в экипаж и уехала.

— Значит, мне все-таки нужно обратиться к мистеру Оттеру, — сказала грустно про себя Эльзи. — И мне очень жаль, потому что я охотнее пробила бы себе дорогу без его помощи.

Около Четырнадцатой улицы Эльзи увидела у одной двери прибитое объявление, на котором стояло: «Требуется немедленно пятьдесят портних для шитья театральных костюмов. Плата хорошая».

Она уже собиралась войти, когда торжественного вида мужчина, весь в черном, положил руку на ее плечо.

— Дорогое дитя, — сказал он, — я умоляю вас не входить в это обиталище дьявола.

— Господи боже мой! — воскликнула Эльзи с некоторым нетерпением. — Кажется, дьявол вмешивается во все дела в Нью-Йорке. Что же здесь нехорошего?

— Здесь, — торжественно проговорил мужчина, — изготавливаются регалии Сатаны, другими словами, костюмы, которые носят на сцене. А сцена — путь к разврату и гибели души. Неужели вы хотите рисковать блаженством вашей души, поддерживая сатанинское дело работой ваших рук? Знаете ли вы, мое дорогое дитя, к чему приводит театр? Знаете ли вы, куда идут актеры и актрисы после того, как опускается занавес?

— Не знаю, — сказала Эльзи. — Очевидно, домой... Но разве вы думаете, что с моей стороны было бы грешно зарабатывать себе на хлеб шитьем? Мне нужно найти какой-нибудь заработок и как можно скорее.

— О, святая невинность! — воскликнул достопочтенный джентльмен, воздев руки к небу. — Я прошу вас, дитя мое, уйдите из этого места греха и беззакония!

— Но что мне делать, чтобы получить заработок? — спросила Эльзи. — Хорошо, я не буду шить костюмы для театров, если они такие греховные, как вы говорите, но мне нужно достать место.

— Всемогущий Господь позаботится о вас, дорогое дитя, — сказал торжественно мужчина. — Каждое воскресенье в сигарном магазине рядом с церковью происходят бесплатные духовные собеседования. Да будет мир с вами. Аминь. Прощайте.

Эльзи пошла дальше. Вскоре она очутилась в фабричном районе. На большом кирпичном здании красовалась вывеска: «Пози и Триммер, искусственные цветы». Внизу висело объявление: «Требуется пятьсот девушек для изучения ремесла. Хорошее жалованье с самого начала. Справиться на втором этаже».

Эльзи подошла к двери, около которой стояли группами двадцать или тридцать девушек. Одна из них, высокая, в черной соломенной шляпке, надвинутой на глаза, шагнула и преградила Эльзи дорогу.

— Послушай, — сказала девушка, — ты не за работой ли идешь туда?

— Да, — сказала Эльзи, — мне нужна работа.

— И не думай идти туда, — сказала девушка. — Я председательница стачечного комитета. Нас четыреста работниц, которых рассчитали за то, что мы требовали пятьдесят центов надбавки в неделю. Ты слишком смазливая, чтобы быть простой работницей. Ступай и постарайся найти себе другое место!

— Я попробую найти где-нибудь в другом месте, — сказала Эльзи.

Она бесцельно побрела по Бродвею, и внезапно сердце ее учащенно забилось — она увидела вывеску «Фокс и Оттер», протянувшуюся через весь фасад высокого здания. Как

будто невидимая рука привела ее окольными путями к этому дому.

Она вошла в магазин и попросила служащего доложить мистеру Оттеру о ее приходе и передать ему письмо, которое он написал ее отцу. Ее провели прямо в его кабинет.

Когда Эльзи вошла, мистер Оттер встал из-за письменного стола и, взяв ее за обе руки, сердечно приветствовал. Это был полный мужчина средних лет, немного плешивый, в золотых очках, вежливый, хорошо одетый, самодовольный.

— Так вот, значит, дочурка старого Битти! Ваш отец был один из наших самых ценных и работоспособных служащих. Он ничего не оставил вам после смерти! Но мы не забыли его верной службы. Я уверен, что найдется вакантное место среди наших манекенщиц. О, это очень легкая работа — ничего нет легче.

Мистер Оттер позвонил. Длинноносый служащий просунул часть своего туловища в дверь.

— Пошлите сюда мисс Хаукинс, — сказал мистер Оттер.

Мисс Хаукинс явилась.

— Мисс Хаукинс, — сказал мистер Оттер, — принесите для мисс Битти для примерки манто, отделанное русскими соболями, и... погодите... одну из последних моделей шляп из черного тюля с белыми эспри.

Эльзи стояла перед большим зеркалом с покрасневшимися от волнения щеками. Глаза ее сияли, как звезды. Она была прекрасна. Увы! Она была прекрасна.

Я желал бы закончить на этом свой рассказ, но боюсь, что читатель будет недоволен. Рассказ должен быть доведен до конца! В таком случае я его доведу до конца, то есть почти до конца. Но прежде всего я хотел бы поднести букеты мудрому полисмену, леди, члену «Общества охраны девушек», стороннице запрещения продажи конфет с ромом, небесному кормчому, который восстает против театральных костюмов, и всем тысячам добрых людей, которые предохраняют молодежь от сетей, расставленных на каждом шагу в большом городе. А затем я хотел бы указать, как они все способствовали тому, чтобы Эльзи достигла благодетеля своего отца, ее доброго друга и избавителя от бедности. Это был бы очень хороший конец в старом духе. Я бы очень хотел написать такой конец, но мне нужно добавить еще два или три слова.

В то время как Эльзи восхищалась собой в зеркале, мистер Оттер подошел к телефону и назвал какой-то номер. Не спрашивайте меня, какой это был номер, я забыл.

— Оскар, — сказал он, — я хочу, чтобы вы на сегодняшний вечер сохранили для меня тот же стол... Что? Ну да, тот, в мавританской комнате, налево от пальм... Да, два... Да, как всегда, виски, а к жаркому — «Иоганнес бергер» восемьдесят пятого года. Если он не будет такой температуры, как следует, я переломлю вам все ребра... Нет, не с ней... Нет, новенькая — персик, настоящий персик!

Примечания

Горящий светильник (The Trimmed Lamp), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Шехерезада с Мэдисон-сквера (A Madison Square Arabian Night), 1904. На русском языке под названием «Современная арабская ночь» в журнале «Всемирная новь», 1915, № 46.

Из Омара (The Rubaiyat of a Scotch Hihball), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Маятник (The Pendulum), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон. На материале нью-йоркской обывательской жизни О. Генри развертывает здесь сюжетную схему своей более ранней новеллы «По кругу» (см. сб. «Остатки»).

Во имя традиции (Two Thanksgiving Day Gentlemen), 1905. На русском языке под названием «Традиция» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Рыцарь удачи (The Assessor of Success), 1905. На русском языке под названием «Собиратель дани» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Закупщик из Кактус-Сити (The Buyer from Cactus City), 1906. На русском языке под названием «Покупатель из Техаса» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Бляха полицейского О'Руна (The Badge of Policeman O'Roon), 1904. На русском языке под названием «Полисмен самозванец» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон. Эта пародия О. Генри на американские рассказы «из светской жизни» дала ему повод для другого пародийного рассказа, «Обед у...» (см. сб. «Под лежащий камень»), где он высмеивает шаблоны журнальных редакций, печатающих низкопробную беллетристику подобного рода.

«Лихие ребята», упоминаемые в обоих рассказах, — добровольческая кавалерийская часть, сформированная по инициативе Теодора Рузвельта во время империалистической войны США с Испанией на Кубе (1898) и состоявшая в значительной части из богатой «золотой молодежи». К подвигам «Лихих ребят», о которых трубила в те годы американская пресса, О. Генри относится весьма иронически.

Квартал «Кирпичная пыль» (Brickdust Row), 1906. На русском языке под названием «Мусорный дворец» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Рождение ньюйоркца (The Making of a New Yorker), 1905. На русском языке под названием «Как сделаться настоящим нью-йоркцем» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Русские соболя (Vanity and Some Sables), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Социальный треугольник (The Social Triangle), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1975, пер. Е. Коротковой. При традиционной оценке О. Генри только лишь как «развлекательного» писателя «Социальный треугольник» оставался в тени как «слабый» (недостаточно занимательный по сюжету) рассказ. Между тем это весьма характерный и острый для своего времени фельетон О. Генри на социальные темы.

Алое платье (The Purple Dress), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Иностранная политика 99-й пожарной команды (The Foreign Policy of Company 99), 1904. На русском языке под названием «Перемена фронта» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Утерянный рецепт (The Lost Blend), 1905. На русском языке под названием «Затерянный рецепт» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Гарлемская трагедия (A Harlem Tragedy), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Чья вина? (The Guilty Party), 1905. На русском языке под названием «Виновная сторона» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

У каждого свой светофор (According to Their Lights), 1905. На русском языке публикуется впервые.

Сон в летнюю сушь (A Midsummer Knight's Dream), 1905. На русском языке под названием «Различные точки зрения» в книге: О. Генри. Горящий светильник Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Последний лист (The Last Leaf), 1905. На русском языке в журнале «Пламя», 1918, № 19, пер. Ал. Х-ка.

Черное платье (The Count and the Wedding Guest), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Страна иллюзий (The Country of Elusion), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

На пароме (The Ferry of Unfulfilment), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Рассказ грязной десятки (The Tale of a Tainted Tenner), 1905. На русском языке под названием «История одной десятидолларовой кредитки» в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.

Эльза в Нью-Йорке (Elsie in New York), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Горящий светильник. Л., 1924, пер. Э. Бродерсон.